

НОВЫЙ МИР

8

МОСКВА

1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

АВГУСТ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б—46049.
Одано в набор 27/VII—38 г. Подписано к печати 26/VIII—38 г.
17 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 2164.
Технический редактор А. И. Гессен.
Тип. «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ЗА МИР, ЗА СОЦИАЛИЗМ, ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА	5
А. Г. МАЛЬШКИН.	11
Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ. — Последняя встреча. стихотворение, памяти Матэ Залка, перевод с украинского П. Антокольского.	13
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ. — Монте де эль Пардо, стихотворение, перевод с испанского Б. Пастернака.	16
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ. — Испанский дневник, продолжение.	17
ЛЕСЯ УКРАИНКА Стихотворения, переводы с украинского Е. Благиной и М. Алигер.	42
ВЛ. ЛИДИН. — Апрель, рассказ.	45
ШЕКСПИР. — Сонет, перевод с английского Б. Пастернака.	49
ВЕРЛЕН. — Стихотворение, перевод с французского Б. Пастернака.	50
А. ДЕРМАН. — Дело об игумене Парфении, роман-хроника, продолжение.	51
В. ПОЛТОРАЦКИЙ. — Баллада о земляке, стихотворение.	109
Д. СТОНОВ. — Братья, рассказ.	111
Н. СИДОРЕНКО. — Медный грошик, стихотворение.	121
А. КОПШТЕЙН. — Летчица, стихотворение.	122
С. ГЕХТ. — Узкая колея, рассказ	123
С. КРЫЖАНИВСКИЙ. — Песня, перевод с украинского Бр. Кежу.	135
О. РУНОВА. — Вор, рассказ.	136
А. СНЕГОВ. — Ягоды, рассказ.	142

ЛЮДИ И ФАКТЫ

И. ЖИГА. — Подземная газификация, очерк.	146
А. КАРЦЕВ. — Кондуктор Никифоров, быль.	164

НАУКА И ТЕХНИКА

Проф. Б. Г. КУЗНЕЦОВ. — Из прошлого русской науки.	175
--	-----

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Полк. комиссар И. БУЛОЧНИКОВ. — Красная Армия — оплот мира	197
Полк. И. ПОПОВ. — Угроза новой мировой войны.	202
Полк. С. ГУРОВ. — Оборона Царицына.	209

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

ПАМЯТИ К С. СТАНИСЛАВСКОГО	219
В. САХНОВСКИЙ. — К. С. Станиславский.	220
В. ПЕРЦОВ. — Исторические романы Ал. Н. Толстого.	224
М. АПЛЕТИН. — Антифашистский фронт писателей.	236
МИКОЛА БАЖАН. — Леся Украинка (1871—1913 гг.).	247
Проф. Д. БАЛИКА. — Горький над страницами философских книг.	253
Д. КОСАРИК. — Шевченко и русская литература.	262

БИБЛИОГРАФИЯ

П. БЕРЕЗОВ. — Вл. Саблин и Э. Фазин «Чрезвычайный комиссар».	266
Н. ЛЮБИМОВ. — Вл. Лидин «Большая река».	267
М. ГЕРШЕНЗОН. — С. Михалков «Мои стихи».	269
В. РУБИН. — Джордж Милбэри «Прейскурант».	271

ЗА МИР, ЗА СОЦИАЛИЗМ, ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА!

Великий вождь революции, гениальный Ленин учил большевиков неустанно разъяснять народным массам реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается. Партия Ленина—Сталина смело и терпеливо раскрывала перед народами истинный лик империалистической бойни 1914—1918 гг., затеянной в угоду капиталу. Большевики разоблачали цели и смысл подлых махинаций буржуазии, ввергшей народы всех стран в пучину бедствий и ужасов.

Кровавый счет империалистической войны оплачен гибелью миллионов рабочих и крестьян. Страшным, вечным памятником живет в сознании народов всего мира одна истина: 10 миллионов было убито и 30 миллионов было искалечено на полях сражения во славу алчных хищников капитализма. Такова страшная жатва этой кровавой бойни, которой мир никогда не забудет.

И только в нашей стране, ставшей надеждой всего человечества, рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, руководимые Лениным и Сталиным, повернули в октябре 1917 года штыки против буржуазии, взяли в свои руки власть и стали творцами своей собственной судьбы. В марте 1918 года, в дни наибольшего напряжения Великой социалистической революции, разрушившей одну из самых старых и варварских империй, Ленин писал:

«История человечества прodelывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное—без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное—значение. От войны к миру; от войны между хищниками, посылающими

на бойню миллионы эксплуатируемых и трудящихся ради того, чтобы установить новый порядок раздела награбленной сильнейшими из разбойников добычи, к войне угнетенных против угнетателей, за освобождение от ига капитала; из бездн страданий, мучений, голода, одичания к светлому будущему коммунистического общества, всеобщего благосостояния и прочного мира...»¹.

Большевики добились всеобщего благосостояния народных масс. Социализм стал фактом, реальностью нашей жизни. Советское правительство выступает на международной арене, как самый последовательный и самый страстный поборник мира. В глазах всего прогрессивногo человечества социализм — это мир, фашизм — это война. Активным защитником мира является великий Советский Союз, к которому тянутся взоры всех трудящихся, всей передовой интеллигенции. Наша страна вдохновляет на антифашистскую борьбу все мыслящее человечество, поднимающееся на последний, решительный бой с каннибалами фашизма.

В международном рабочем движении стало традицией отмечать годовщину империалистической войны антивоенным днем, днем единения всех сил демократии против агрессоров и поджигателей новых кровавых войн. Двадцать четыре года минуло со дня начала империалистической войны. Реальная угроза новой мировой войны нависла над всем земным шаром. Пожар всеобщей войны раздувают фашистские агрессоры, фашистский блок Рим — Берлин — Токио, блок эксплуататоров и поработителей

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 375.

трудящихся масс, блок контрреволюции, об'единившей Гитлера, Муссолини, Троцкого, все черные силы реакции.

Ни один народ войны не желает. Война — это орудие фашизма. Раздираемые внутренними противоречиями в своих странах, боясь народного гнева и возмущения, чувствуя, как почва все больше и больше накаляется у них под ногами, фашистские правители Германии, Италии и Японии пускаются на провокации, на авантюру, лишь бы заварить мировую войну. «Война может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не об'являются. Они просто начинаются» (И. Сталин).

Фашисты поджигают капиталистический мир с разных сторон. Бомбами и газами фашисты Италии обрушились на Абиссинию. Японские фашисты вторглись в Китай, народ которого единым фронтом борется за свою честь, свободу и независимость. Вот уже два с лишним года в горах и на полях Испании разыгрывается величайшая драма современности: в неистовом напряжении всех своих сил отважный испанский народ отражает удары, героически борется против итало-германских фашистских чудовищ, тщетно пытающихся сломить дух свободолюбивого, благородного и смелого народа. Германский фашизм рыщет в поисках слабых и незащитных жертв. При явном покровительстве т. н. «великих держав» Англии и Франции в ключья разодрана Австрия. Германский фашизм протягивает свои лапы к Чехословакии.

Фашистские хищники действуют политикой шантажа и запугиваний, но при первом же решительном отпоре поджигают хвост. И, чем больше беснуется фашизм, тем быстрее накаляются гнев и возмущение народных масс всех стран против агрессоров. Ширится движение народов за мир, множатся ряды народного антифашистского фронта. В это могучее движение за мир и демократию вовлекаются все более широкие слои трудящихся, цвет народа, цвет культуры и цивилизации, видящих в фашизме своего смертельного врага. Международная солидарность трудящихся преграждает дорогу мутным волнам агрессии.

Народами всех стран все больше овладевает мысль, зовущая к действию, единая мысль о том, что борьба против фашизма — это веление эпохи, это — общее дело всего прогрессивного, всего передового человечества.

Недавно состоявшаяся в Париже Международная конференция защиты мира заявила голосом лучших людей человечества заявила свой решительный протест против агрессивных действий фашистов, несущих гибель народам, разрушение цивилизации. Конференция выразила свою солидарность и восхищение стойкой борьбой китайского и испанского народов, отражающих удары фашизма. Делегатов конференции, людей труда и науки, объединяет священная ненависть к фашизму, к поджигателям войны. Вестником героической Испании явилась на конференцию Долорес Ибаррури. Она принесла с собой героизм и отвагу своего народа, на боевых знаменах которого начертан лозунг, зовущий к борьбе и победе: «Они не пройдут!». Пламенной страстью была пронизана речь Долорес Ибаррури, выступившей на митинге в Париже. Она говорила кратко и зажигающе:

— Мы пришли вам заявить, что Испания жива; она готова умереть, если нужно, но она победит. Долг демократии помочь нам в скорейшей победе. Фашизм отступает, когда демократия проявляет энергию. Пример Испании показывает, что для того, чтобы заставить правительства выполнять волю народов, необходимо об'единиться.

Жива Испания! Жив Китай! Фашисты не пройдут, они никогда не победят, потому что народы всего мира, охваченные идеей народного фронта, сметут фашистов — этих вырожденков рода человеческого. Плоды фашизма видны на примерах Германии, Италии, Японии, где попорана и растоптана человеческая личность, где убита живая мысль и властвуют насилие и угнетение миллионов; на примерах Китая и Испании, куда ринулись дикие орды фашистов, разрушая университеты, школы, библиотеки, сея смерть и голод. Безудержную эксплуатацию трудящихся, изгнание передовых людей науки и искусства, унич-

тожение величайших духовных и материальных ценностей цивилизации, — вот что несет с собою фашизм. Его путь усеян трупами незащищенных людей. Свинцом и бомбами заливают итальянские, германские и японские фашисты незащищенные города и селения Испании и Китая. Убивают детей, женщин, стариков — об этом нагло и открыто говорит итальянский фашистский генерал Меккоцци: «Мы убеждены, что в процессе войны выгодно организованно истреблять молодежь и детей противника...».

И они это делают с равнодушием мясников, с «храбростью» трусов, знающих, что дети бессильны в своей защите.

Простит ли им человечество эти ужасные преступления? — Никогда! Сильно и гневно свидетельствует американский писатель Эрнст Хэмингуэй, свыше года видевший убийства, совершаемые в Испании фашистскими интервентами:

«Вы не злитесь, когда фашисты пытаются вас убить. Но в вас поднимается гнев и ненависть, когда вы видите, как они убивают. А вы видите это почти каждый день! Вы видите, как они делают это в Барселоне, где они бомбардируют рабочие кварталы с такой огромной высоты, откуда можно различить лишь целые кварталы жилых домов, а не отдельные объекты. Вы видите убитых детей со сплетенными ногами, странно раскинутыми руками и с личиками, осыпанными штукатуркой. Вы видите женщин, умерших от контузии. Вы видите убитых, которые похожи на кучку окровавленных лохмотьев. Вы видите такие причудливые куски человеческого тела, как будто это туша, разделанная каким-то безумным мясником. И вы ненавидите итальянских и германских убийц, ненавидите так, как никого в мире».

Ненависть к фашизму рождает волю к активной борьбе с ним. Обнаженный лик фашизма вызывает омерзение к нему всего прогрессивного человечества.

На защиту мира встают лучшие люди всех народов. Их вдохновляет успешная борьба за социализм в Советском Союзе, окрыляет образ нашей родины, в которой они видят завтрашний день всего

мира. Они знают, что сила СССР — это и их сила. В жизни нашей страны они черпают вдохновение, познают своих друзей, лучше видят свой путь борьбы с фашизмом.

Единственная и подлинная опора всех народов в борьбе за мир, против фашизма — это Советский Союз — отечество международного пролетариата. Сердца рабочих, крестьян, интеллигенции всего мира полны любви к стране социализма. Товарищ Сталин образно сказал, что: «Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнета и эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения»¹.

Отсюда — бешеная злоба фашистских агрессоров к первому в мире государству рабочих и крестьян, в котором народ и правительство едины. Мудрая политика Сталинского Центрального Комитета и Советского правительства срывает все планы и замыслы поджигателей войны. Неустанно укрепляя оборону нашей родины, все более успешно строя социализм, морально и политически сплачивая народы, беспощадно истребляя троцкистско-бухаринских бандитов — агентов фашизма, великий Советский Союз гордо и непоколебимо стоит на страже мира. Советский народ не боится угроз и провокаций. Воспитанные в духе советского патриотизма, трудящиеся СССР не дают застигнуть себя врасплох, они всегда готовы ответить ударом на удар подлых поджигателей войны. Любая провокационная попытка фашистских агрессоров разбивается о крепость наших границ.

Советские границы на крепком замке. И каждый раз, когда японские бандиты пробуют сунуть свое свиное рыло в советский огород, они неизменно получают молниеносный, сокрушающий удар. Так было и при недавней попытке японских агрессоров посягнуть на целостность наших границ на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. Советское прави-

¹ И. Сталин. О Ленине. Партиздат. 1937, стр. 15.

тельство спокойно и твердо дало почувствовать разнузданной японской фашистской клике, что Москву не запугаешь. Сокрушительный удар, который получили японские бандиты, выброшенные с советской территории, показал горе-самураям и их сообщникам из Рима и Берлина, что ни одного клочка своей земли мы никогда никому не отдадим. Провокация дорого обошлась японским агрессорам. Советский Союз явил миру замечательный урок твердости, который горячо приветствовали все друзья мира.

Мы живем в стране, в которой народ и коммунизм составляют одно целое, в стране, где правительство выражает волю миллионов и, не покладая рук своих, работает для блага и счастья народа. Мы живем в стране, где осуществлена братская, сталинская дружба народов — источник мощи, непобедимости, нашей родины. С какой любовью народ приветствовал вторую сессию Верховного Совета СССР, заседавшую в Кремле! Взоры всей страны были прикованы к сессии, к избранникам народа, выступавшим с кремлевской трибуны и отражавшим думы всего народа.

Все решения сессии выражают мощь и организованность нашего социалистического государства. С большевистской деловитостью и вдумчивостью высший орган Советского Союза разрешал крупнейшие государственные вопросы. Мудрость и прозорливость признавали работу сессии. В речах депутатов звучали гордость и достоинство активных строителей социализма, неустанно работающих над укреплением мощи нашей родины. Сессию отличал сталинский стиль в работе. Депутаты социалистического парламента обсудили и единодушно утвердили государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик на 1938 год, «Закон о судеустройстве СССР, союзных и автономных республик», избрали Верховный Суд СССР, приняли закон «О гражданстве СССР», утвердили закон «О порядке ратификации и денонсации международных договоров СССР» и ряд других законов и указов президиума Верховного Совета.

Было принято также решение о пере-

носе срока открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на 1939 год. Вся подготовка к выставке будет идти под знаком развертывания социалистического соревнования в сельском хозяйстве, борьбы за дальнейшее развитие его.

Все законы, рассмотренные и единогласно утвержденные сессией Верховного Совета СССР, направлены на благо и процветание нашего народа. Решения по каждому вопросу принимались в результате всестороннего обсуждения и обобщения опыта лучших передовых людей народа.

Государственные деятели СССР — это цвет нашей родины. Взволнованно прозвучала на сессии речь депутата Бадаева, который напомнил сессии о тех временах, когда Ленин и Сталин направляли и руководили работой депутатов-большевиков в царской Государственной Думе. Было это 26 лет назад. Маленькая горстка большевиков составляла в Думе островок, вокруг которого бесновались зубры буржуазии.

«Товарищ Сталин учил нас, — рассказывал сессии тов Бадаев, депутат Верховного Совета СССР, — тогда еще молодых депутатов-большевиков, тому, что следует говорить и что делать в Государственной Думе.

Мне, в прошлом депутату-большевику в Государственной Думе, особо приятно и радостно видеть, что плоды долготейней борьбы за дело Ленина—Сталина, за дело социализма дали свои замечательные результаты. Заседающий здесь социалистический парламент является подлинно народным парламентом, так как весь он состоит только из трудящихся».

Народный парламент СССР свою плодотворную деятельность начал с обсуждения доклада о бюджете нашего государства. Бюджет отразил жизнь нашей родины, неуклонное движение трудящихся к высотам культуры и зажиточности. Советский бюджет имеет своей основой — под'ем благосостояния народных масс, укрепление обороны нашей родины. На финансирование народного хозяйства из государственного бюджета направлено 47,2 миллиарда рублей. Ог-

решнейшие суммы отпущены на здравоохранение, на просвещение, на социалистическую культуру. В противовес фашистским странам, бюджеты которых преследуют одну цель — ограбление миллионов трудящихся, — бюджет СССР обеспечивает повышение народного благосостояния, повышение мощи всего государства.

Каждый гражданин СССР горячо приветствует решение сессии отпустить из государственного бюджета на нужды обороны 27 миллиардов рублей. Депутаты Верховного Совета СССР целиком и полностью выразили стремление народа — сделать Красную Армию и Военно-Морской Флот еще более могущественным защитником нашего отечества. Сессия аплодировала словам депутата Коротченко, который сказал с чувством достоинства советского патриота:

«Пусть знают японские самураи, пусть знают немецкие фашисты и их прихлебатели — польские паны и румынские бояре, что мы не только одобряем ассигнования в 27 миллиардов рублей, но, если понадобится, мы их устроим! Мы не только дадим миллиарды рублей на укрепление обороны нашей родины, — мы, если это потребуется, жизни своей не пощадим для того, чтобы защищать свою родину и уничтожить любого врага».

Именно в эти дни бойцы Красной Армии выбрасывали в районе озера Хасан японских бандитов с советской земли, священной и дорогой сердцу каждого трудящегося СССР. Все провокационные вторжения японских налетчиков представляли и представляют собою явную попытку японской военщины стянуть Японию в войну с Советским Союзом. Первая (Приморская) армия прочила военно-фашистскую клику. Бандиты получили сокрушительный удар, эхо которого звучит в письмах японских солдат родным домой: «Такой мощной силы и такой техники мы еще никогда не видели».

Блестяще действовала наша советская авиация. По словам Героя Советского Союза тов. Рычагова, красные летчики скальпировали огневые рубежи и сопки,

на которых окопались японские фашисты. Героизм и мужество красноармейцев, выбивавших японских налетчиков с нашей территории, — это захватывающая, волнующая эпопея. В газете «Красная Звезда» описан замечательный пример героизма заместителя политрука тов. Бамбурова. Окруженный японцами, он бил по врагам из ручного пулемета до последнего патрона. Дважды раненный, он отважно отбивался от фашистов с помощью пулеметного ствола. Охваченный кольцом врагов, тов. Бамбуров метнул в них гранату, вырвался из рук врагов. Командование предложило тов. Бамбурову отправиться в тыл. Боец отказался. Ему сделали перевязку, и, взяв винтовку, он снова пошел в бой с врагами своей родины.

Советский гражданин, боец тов. Бамбуров с полным правом может сказать словами Владимира Маяковского:

Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись
где каплей
льешься с массаами, —
с такой
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

На сессии, при обсуждении закона «О гражданстве СССР», с яркой проникновенной речью выступил депутат Образцов. Старый профессор говорил о великой гордости советского человека быть гражданином СССР. С кремлевской трибуны депутат народа читал стихи Маяковского о советском паспорте:

— Читайте,
завидуйте.
Я —
гражданин
Советского
Союза.

Великая честь носить звание гражданина социалистического отечества.

Мы сильны своим единством, своей волей к победе. У нас есть что защищать, кому защищать и чем защищать! Советский народ — это народ патриотов, беспредельно любящих свою родину. В день авиации, отпразднованный 18 августа, мы снова и снова увидели, какую замечательную плеяду летчиков воспитала партия Ленина—Сталина. Это Громовы и Чкаловы, Коккинаки и Бряндинские, Гризодубовы и Осипенко, тысячи и тысячи скромных и благородных героев и героинь, олицетворяющих смелость и бесстрашие советского народа, его безграничную преданность делу Ленина—Сталина.

Защита отечества — священный долг каждого гражданина СССР. Это записано в Сталинской Конституции, это выражает дух нашего народа, безгранично любящего родину. В те дни, когда на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, зашевелились японские провокаторы, вся страна наша встала единой, грозной стеной. Голос миллионов прозвучал на многочисленных митингах. Народ выразил свою преданность партии и правительству, свое восхищение доблестной Красной Армией.

Сессия Верховного Совета, выражая волю всего советского народа, восторженно отзывалась аплодисментами всякий раз, как ораторы говорили о замечательной работе советской разведки, руководимой сталинским наркомом Н. И. Ежовым. В этих аплодисментах — не только выражение уважения и любви, но и призыв к еще большей революционной бдительности. Сама революционная бдительность — это одно из конкретных выражений любви к народу, к родине.

Любовь к отечеству, — какая это грозная и непобедимая сила! Свыше де-

вяноста лет назад Фридрих Энгельс говорил о гражданине коммунистического общества, который в случае войны «должен защищать действительное отечество, действительный очаг, что он, следовательно, будет бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, пред которыми должна разлететься, как солома, механическая выучка современной армии. Вспомните, какие чудеса совершал энтузиазм революционных армий от 1792 до 1799 г., которые боролись только за иллюзию, за мнимое отечество, и вы должны будете понять, как сильна должна быть армия, которая борется не за иллюзию, а за реальную действительность»¹.

Мы патриоты своего отечества и до последней капли крови готовы защитить Советский Союз — страну социализма. Поборник мира, друг нашей страны Ромэн Роллан однажды сказал, что стрелка компаса показывает на Север, на цель, к которой идут авангарды Европы, героические революционеры СССР, — на социальную и нравственную перестройку человечества.

Счастье всего человечества куется в нашей стране. Советский Союз — оплот мира, ударная бригада мирового пролетариата. И это накладывает на нас большие обязательства быть всегда бдительными, как зеницу ока, беречь нашу родину, памятуя сталинские слова:

«Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III, стр. 278.



А. Г. Малышкин (1890 — 1938 гг.).

А. Г. Малышкин

Молодо, свежо, со своими особыми, неповторимыми интонациями прозвучал в советской литературе голос Александра Малышкина. Боец Красной Армии — после лет гражданской войны — сменил оружие на перо, и перед советским читателем возник прекрасный, строгий к себе и целомудренный художник.

Малышкин стал одним из основоположников молодой советской литературы. Его первые произведения — «Падение Даира», «Поездка на юг» — взволновали нашего читателя высоким пафосом героических бойцов Красной Армии. Малышкин выразительно, как никто до него, показал обреченность прошлого мира и великий энтузиазм побеждающего класса. Взыскательный художник, он оттачивал каждую фразу своего нового произведения. Его «Падение Даира» и «Севастополь» — книги огромной взволнованной напряженности, книги, в которых Малышкин показывает крушение старого мира в индивидуалистическом сознании интеллигента, противопоставляя ему ту же безымянную, родную его художническому чувству массу матросов Черноморского флота, как показывал он красноармейскую массу в «Падении Даира».

Ему близки были эти огромные пласты, глыбы народа в их движении вперед, в их ломке старых устоев и старых понятий, и он находил типические черты этих народных героев в самом

маленьком человеке... Цесых семь лет отделяют «Севастополь» от последнего, самого зрелого романа Малышкина — «Люди из захолустья». И здесь, описывая весь героический подъем народа, осуществляющего Сталинскую пятилетку, Малышкин в лице этих маленьких людей показал решающий сдвиг народного сознания, ломку прошлых устоев и вековых традиций собственнического начала в человеке...

Он шел огромными шагами, этот глубокий художник. Его планы были велики, для них нехватало короткой сорокавосьмилетней жизни Александра Георгиевича. Закончена была только первая часть романа «Люди из захолустья». В черновиках остались отрывки и наброски из 2-й части. Из Красной Армии, воспитавшей его, он вынес строгость к себе и те качества, которые так располагали к Малышкину: горячее ощущение товарищества, скромность, радость за любой успех настоящего писателя, ибо успех отдельного писателя — успех всей советской литературы.

Образ Малышкина-человека неотделим от его писательского облика. Они шли рядом, рука об руку, вдумчивый и требовательный к себе художник и человек большой душевной искренности, товарищ и друг, любимый всеми и почитаемый всеми. Советская литература потеряла Малышкина. Он умер рано, полный еще не осуществленных планов!

Но и того, что он создал, достаточно, чтобы поставить Малышкина в первый ряд советской литературы. Книги его не забудутся читателем. Не раз вернется он к этим большим и замечательным полотнам, с такой силой передающим дыхание эпохи великого перелома, эпохи создания нового человека.

С душевной скорбью мы проводили Малышкина в последний путь.

Книги его живут и будут жить. Золото художнической правды не тускнеет от времени. Правда Малышкина, как художника, долго будет согревать и радовать миллионы читателей в нашей стране.

Последняя встреча

(Памяти МАТЭ ЗАЛКА)

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

... Под звездами, над нами, над водой,
Как тень, ночная птица проплыла,
Совсем стемнело, — только Млечный Путь
Качался, отраженный в черных волнах.

— Что привело меня на Украину?
Война, мой друг, всемирная война!
Плен, и Сибирь, и дальше Украина...
(...Качался Млечный Путь на черных волнах...)
Тропой Войны зовется Млечный Путь
Там, в Венгрии безрадостной моей.
И есть у нас народное преданье,
Что взятый в небо сын Атиллы, Чаб,
За Венгрию с отважным войском бьется —
Там в небесах, в мерцаньи млечных звезд.
Но час придет, и Чаб на землю снидет,
Лишь только вождь на битву позовет.
Тропой Войны прошел я из Сибири,
Чтобы достигнуть Венгрии родимой,
Тропой Войны прошел я Украину,
Где тоже дрались звездные бойцы.
Я коммунист, — не Чаб, не сын Атиллы...
Но всюду в мире, где встает народ
И где врага он порохом встречает, —
Там снова бой за Венгрию мою!

Кто в ту минуту мог бы угадать,
Что это ночь последняя редела,
Что никогда той ночи не вернуть!
Вставало тихо утро над водой.
Тропа Войны померкла в небесах.
Но шел по ней веселый древний воин,
Чтоб счастье на земле завоевать.
Тропа легла, всю землю опоясав,
И он не знал, что в дальней стороне
Конец ее назначен для него...

Серебряным крылом сверкнула чайка.
 Скользнуло солнце по воде. Проплыло
 Над нами облако в сияньи мирном,
 Как золотистое перо Жар-Птицы.
 Так начинался наш последний день
 На берегу Днепра. Со мною рядом,
 Опершись на корму, тогда стоял он,
 И Тиссу, и Дунай припоминал
 Еще безвестный генерал Лукач...

Еще не запылали Пиренеи,
 Дремали Саламанка и Мадрид,
 И далеко, на подступах к Уэске,
 Не выла орудийная пальба.
 Но в той душе уже росла тревога!
 И, вглядываясь в мирный небосвод,
 Он различал там крылья бомбовоза
 И слышал мотора грозный гуд.

— Недолго ждать нам встречи в Будапеште! —
 Промолвил он и руку сжал мою...
 Я больше никогда его не видел
 И голоса его не услышал...

Когда гроза дошла до стен Мадрида,
 И обагрилась кровью Гвадаррама,
 Когда воскресли все кошмары Гойи,
 И на арену цирка вышел зверь, —
 Узнал я имя новое твое,
 Прочел его впервые на столбцах
 Одной газеты маленькой, окопной,
 Задымленной, в пороховых ожогах...

С тех пор я всюду был с тобою рядом.
 Мадрид пылал, — ты бился за Мадрид.
 Был час, — в окопах у Каса дель Кампо
 Ты грезил о боях за Будапешт.
 Харама, Алакрон, Мирабуэно...
 О, сколько рек и сел, и городов
 Прошла твоя бригада, генерал,
 По иберийской солнечной земле!
 Ночь незабвенная Гвадалахары!
 Грома орудий, самолетов гуд,
 Остервенелый стрекот пулеметов
 И конницы неудержимый лет!
 Огонь! Огонь! Бежит трусливый враг,
 Бросая на дороге снаряжение,
 Орудья, танки, пулеметы, трупы,
 Грузовики и ящики с горючим...

...Не мне пришлось склониться
 Над теплым телом у стены Уэски.
 Не я внимал твоим словам последним,
 И принял твой последний вздох не я.

Испания почетным караулом
Стояла молчаливая у гроба.
И целый мир дивился, услышав
Про жизнь и смерть народного героя.
По улицам Валенсии старинной
Прошел в последний путь веселый воин.
За гробом шли и плакали бойцы,
И женщины Испании клялись
Отмстить — поднятым, сжатым кулаком.

Но не конец еще Тропе Войны!
Она легла, всю землю опоясав.
Идет Червонозвездная по ней,
Негнушаяся гвардия свободы,
И много песен, смелых и простых,
Споет она о нашем генерале!..

На берегу веселого Днепра
Твоих шагов еще следы не стерлись.
Я верю, что мы встретимся еще...
— Недолго ждать нам встречи в Будапеште...

*Перевел с украинского
П. АНТОКОЛЬСКИЙ*



Монте де эль Пардо

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

★

Столько солнца на фронте; в контрасте
С синевой тишина так резка,
Так надменно небес безучастье,
Снисходящее так свысока;

Так полянам до смерти нет дела;
Ход часов так собой поглощен;
Снег такую горячку белой
Смотрит с гор вне пространств и
времен,—

Что от боли валюсь я и слепну
И лазурь, превратясь в динамит,
Темнотой осыпается склепной
И расколотой тишью гремит.

*Перевел с испанского
Б. ПАСТЕРНАК*

★

Испанский дневник

КНИГА ТРЕТЬЯ¹

(Продолжение)

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

★

16 ИЮНЯ

Бильбао, видимо, переживает последние часы. Связь Валенсии с басками все время прерывается. Радиостанцию перевели в Сантандер. Еще идут жаркие бои с наседающими итальянцами, но в городе, очевидно, уже начались паника и предательство.

Фашисты атакуют пляж и дачный район Лас Аренас. Республиканцы еще кое-как держатся вдоль реки Нервион и на возвышенностях Деусто, Бегония, Эчебарри и Гальдакано. Мятежники бешено рвутся на эти пункты, они хотят прорваться одновременно севернее и южнее Бильбао, окружить город со всех сторон. Они еще нажимают на Дос Каминос, чтобы проникнуть в южные кварталы Бильбао.

Невыносимо отсюда, из Валенсии, следить за всем этим. Бессильно следить и наблюдать. В Мадриде тогда, в ноябре, в последний момент случилось чудо. Некоторые надеются, ждут, верят, что чудо произойдет и в Бильбао. Они говорят: «Вы не знаете наших испанцев. Они — как дети, как школьники. Не готовятся к экзаменам до самого последнего дня. А когда припрет, тогда вдруг встрепенутся и сделают все в одну ночь. Ведь в Мадриде все организовалось в последнюю ночь. Так будет и на севере».

Я не верю в это чудо. Я очень верю в чудеса, я очень верующий, но в Бильбао чуда не будет. Я только пять дней

оттуда, я видел. Народ, солдаты, рабочие хотят драться, за свою свободу, за независимость, против итальянцев, но некому их организовать. Нет костяка. Нет крепко сколоченного авангарда. Нет подлинного боевого единства. Нет Пятого полка. Коммунисты там не в силах организовать городскую народную массу для обороны города, как это произошло в Мадриде. Руководство коммунистов-басков не проявило ни чутья, ни понимания обстановки, ни подлинного желания бить врага. Хуан Астигаррания — самовлюбленный схематик, обзванный партийный бюрократ, возмнивший себя непогрешимым с тех пор, как попал в коалиционное правительство. Это вообще не фасон, когда секретарь, глава партии, становится министром в чужом правительстве. Конечно, коммунисты могут и при известных условиях должны входить в правительство народного фронта. Но над министрами-коммунистами, которые идут в смешанные правительства, должен сохраняться крепкий контроль партии. В Бильбао этого не было. Получилось по-социал-демократически, как у Блюма, — он и министр, он и глава партии, сам управляет, сам себя контролирует.

17 ИЮНЯ

Фашисты заняли Лас Аренас. Они уже форсируют реку Нервион. Окраины города заняты ими. Правительство эвакуировалось и оставило Хунту обороны в составе трех человек — Лерсаола, Асанья и Астигаррания. Но и эта трой-

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 4—7 с. г.

ка покинула город через несколько часов. Бильбао пал. Автономия басков отменена приказом генерала Франко. Чуда не случилось. Оно в этот раз не могло случиться.

Валенсия омрачена, но спокойна. По улицам маршируют вновь сформированные части. Публика наблюдает их с уважением и любопытством. Иногда, если в колонне шагает знакомый бухгалтер или тореадор, в толпе пересмеиваются.

Войска имеют приличный вид, хорошо, единообразно одеты и обуты, полностью вооружены, пулеметные взводы — при пулеметах, саперы — при своем шанцевом инструменте, санитары — при носилках и походных аптечках. Солдаты выглядят более солидно, офицеры немного слишком подчеркивают свою новую профессию, они ощущают взгляды публики и позируют. Рядом с командиром части, в ногу с ним, идет комиссар. Почему-то его одели в особую форму, цвета какао, дали очень странную полуфуражку-полукепку. В таком виде комиссар выделяется среди всех, как чужеродное тело. Авторы этой затеи думали, видимо, подчеркнуть особые права и функции комиссара. Но получилось не то. Получился отрыв политработника от массы бойцов и противопоставление комиссара командиру. Эту форму надо сменить.

Настроение и в войсках, и в штабах, и в тылу сейчас неплохое, твердое. Даже потеря Бильбао не очень омрачила его. Здесь умеют быстро свыкаться с потерями и даже забывать их. Даже чересчур быстро. Бесстрашный Прието, — кому, как баску, должна была быть особенно горька потеря Бискайи, — сказал в беседе: «У моего друга была жена, которую он очень сильно любил и которая была неизлечимо больна. Он делал все, чтобы спасти ее, но мог только умерить ее страдания. Когда она умерла, мой друг признался, что чувствует облегчение. К тому же он может больше заняться остальной семьей».

Прието всячески подчеркивает, что теперь он занят остальной семьей. Подготавливается новое наступление, очень энергичное, в районе Мадрида. В отли-

чие от прошлого, об этом мало болтают. Кое-что просачивается, но направление готовящегося удара почти никому не известно. В этом отношении потеря Бильбао заставила прозреть даже слепых. Слишком много предателей!

Люди честные и храбрые начинают понимать, что предатели не собраны в каком-то отдельном предательском секторе, а разбросаны и рассеяны среди этих же честных и храбрых людей. Сырость рождает ржавчину и плесень, но пятна от ржавчины и плесени располагаются по своему собственному рисунку, иногда дальше, иногда ближе, чем можно предсказать. Надо заранее искоренять сырость, не доводить до плесени. В Бильбао сырость надо было выводить заранее. Этого не сделали. В Валенсии только сейчас начинают приглядываться друг к другу, рассматривать людей, даже хорошо работающих, новыми, критическими глазами.

К этому не так просто и быстро можно привыкнуть. Надо иметь жизненный опыт. Ходил человек рядом, работал, радовался успехам, огорчался неудачам — и вдруг он предатель. Как же так?! Неужели же он все время, непрерывно, с утра до ночи носил маску? Нет, не обязательно носить маску непрерывно. Даже самый завзятый предатель и изменник может временами забывать о своих, под спудом запряганных, потайных мыслях, он может увлекаться работой, быть толковым, энергичным, храбрым.

В девятнадцатом году, на юго-западном фронте, в августе, мы отступили вверх по Днепру от Деникина. Я был редактором газеты Двенадцатой армии, а некто Сахаров — заведующим экспедицией и бумажным складом. Это был чудо-работник. Он доставал бумагу из-под земли, со всего Киева. Он рассылаз газету красноармейцам на самые передовые линии. Это была надежда и опора редакции... При посадке на пароходы, в общей суматохе мы растеряли друг друга. Я сел на один пароход, а Сахаров — на другой, очевидно, на тот, куда он погрузил бумагу. Двое суток по всем пристаням я бегал и справлялся, где Сахаров с бумагой. Надо было скорее

возобновить печатание газеты. Могилевский, председатель Ревтрибунала армии, наблюдал мою суетню. Он, наконец, сказал холодно:

— Чего вы колбаситесь? Ваш Сахаров, наверно, остался в Киеве. Его там неплохо примут — с бумагой!

Мне пришло в голову все, что угодно, кроме этого. Это Сахаров-то остался? Такой работник, такой человек! Но Могилевский оказался прав. Он был старше и умнее.

После ухода Ларго Кавальеро началась довольно энергичная чистка в армии. Людей начали снимать не только на основе прямо компрометирующих данных, но и тех, кто ходил с охранными грамотами «бездарных, но безобидных», «честных, но беспомощных», «чуждых, но способных и полезных». Практика показала, что за одним минусом почти всегда прятался второй. «Бездарный, но безобидный» был вскоре после отставки изобличен в попытке перебежать к фашистам. «Чуждый, но способный и полезный», как оказалось, очень искусно и втихую деморализовал свою часть, приготовил командный состав к переходу на сторону врага при первом боевом соприкосновении. Пришлось после него сменить в части и арестовать целую группу офицеров.

Все это очищение и укрепление боеспособности армии происходит с большими трудностями. Надо преодолевать не только прямое сопротивление врагов, но и кучу просто предрассудков, семейно-патриархальные обычаи, навыки к добрым отношениям, высокопарное донкихотство, просто неповоротливость и благодушие.

Испанские коммунисты были и остаются застрельщиками в этих трудных делах. Их травил Ларго Кавальеро — обвинял их в диктаторских замыслах, в стремлениях командовать всем народным фронтом, в поползновении захватить руководящие посты и всюду всем распоряжаться. Это было ложью. Коммунисты не требовали власти для себя. Это было просто бессмысленно, противоречило бы в корне идее всенародной, национальной борьбы при участии всех антифашистских партий.

Но, строго держась рамок своего участия в правительстве, коммунисты сами, по своей инициативе, не дожидаясь отстающего государственного аппарата, поднимают и проталкивают множество забытых, застрявших и вместе с тем больших, неотложных вопросов. В печати, на собраниях, в переписке, в профсоюзной работе они организуют патриотов-антифашистов, они суют свой нос и в производство патронов, и в эвакуацию детей, и в руководство по саперному делу и в покрое солдатских плащей, и в уборку риса. Иногда они зарываются, преувеличивают свою роль, свое влияние в массах, в профсоюзах. Жизнь больно бьет их по носу за ошибки и просчеты. Они отряхиваются — и работают дальше. Это раздражало и бесило канцеляриста-диктатора Кавальеро: на этом вопросе, на вопросе о низовой, общественной и партийной инициативе, о праве широчайших народных масс самим организовываться для борьбы с врагом, он дал бой и проиграл его — вынужден был уйти.

Правительство Негрина охотно принимает помощь всех партий, и коммунистов в том числе, в организации фронта и тыла. «Стало легче дышать» — говорит Долорес. Она работает сейчас особенно много — днем, ночью, всегда. Завтра — пленум Центрального Комитета, и она делает доклад по основному вопросу — о единой партии пролетариата. Все кругом проявляют заботу, хотят дать ей возможность отдохнуть, сосредоточиться, собраться с мыслями, и все же тормозят ее, пристают с вопросами, с бумагами, знакомят все с новыми и новыми людьми. Иногда она сама не выдерживает, просит разрешения уйти с совещания, полежать, отдохнуть в пустой, прохладной комнате. Сегодня и мне пришлось потревожить ее в такой момент. Я постучался, ответа не было, тихо вошел — она не лежала, а сидела у подоконника, у раскрытого окна и писала, с очень довольным, почти детским выражением лица. Ей очень нравится писать, хотя она почему-то стесняется своих статей. А ведь она настоящая писательница, народная писательница. Она много знает, не только из области по-

литики, но и из литературы, истории, особенно истории своей страны. Очень охотно вставляет в свои вещи исторические примеры... Ее дергают, тащат говорить на митинги, к микрофону, но гораздо охотнее она соглашается написать что-нибудь. Видно, ей по душе посидеть хоть немного вот так, одной, собраться с мыслями и тихо переложить их на бумагу.

— Долорес, помнишь, как мы познакомились? Тогда, в Бильбао.

Шесть лет назад на рабочей окраине Бильбао, в маленькой таверне на берегу реки Нервион, товарищи познакомили меня с высокой, худой, молчаливой женщиной. Как все испанки простого звания, она, несмотря на палящую жару, была одета во все черное. Держалась замкнуто, немного стеснительно, слушала разговор очень жадно, но сама почти ничего не говорила, только разглядывала всех большими, ясными черными глазами и, как заметно было по этим глазам, наскоро передумывала для себя каждую фразу разговора.

О ней мне тогда сказали только одно:

— Первая испанская женщина-коммунистка.

Монархия уже была свергнута в Испании. У власти находились испанские Керенские и Милюковы. Коммунистическая партия оставалась, как в королевские времена, нелегальной и преследуемой. Да и сама по себе она была слаба, работала неумело, еще плохо была связана с массой.

Для тридцать первого года женщина в простом черном платье была громадным приобретением в партии. В буржуазных, в парламентских, в светских кругах уже появились адвокатессы, профессорши, ораторши, даже депутатки. Рабочая женщина, по отсталости окружающей среды, оставалась затворницей, ей не давали ходу, она сама робела и смущалась, редко показывалась на людях, а о выступлениях, о речах перед публикой не смела и думать.

Я тогда с трудом запомнил имя молчаливой испанки в черном платье. Мы встретились с Долорес позже — когда она в составе делегации своей партии со скамей седьмого конгресса Коминтер-

на слушала речи ораторов, внимательно, аккуратно делала записи в тетради и сама выступила с громкой, страстной, блестящей речью. И еще позже, в этот год, когда ее гордая голова, гневные и смеющиеся уста предстали миллионам и миллионам людей, с трибуны, у микрофона, с кинематографического полотна, со страниц газет и журналов, с огромных плакатов на улицах Барселоны, Парижа, Лондона, Кантона, Мексико-Сити, как символ мужества и благородства, пролетарского патриотизма, страдающего и борющегося народа Испании.

— Помнишь Бильбао, Долорес?

— Бильбао!

Ее губы кривятся болью.

— О, да, я помню Бильбао. Не будем сейчас говорить об этом, Мигэль. Я пишу доклад на завтра.

18 ИЮНЯ

Пленум опять собрался в здании консерватории. Основной вопрос — о единой партии пролетариата.

Об этом в последние недели особенно много говорят и спорят. В рабочем классе огромная тяга к единству. Окопы сроднили и сдружили коммунистов с социалистами. В рабочей, в боевой среде почти стерлись грани между обеими партиями. В руководящих кругах тоже есть большое стремление объединиться, хотя здесь гораздо больше настороженности и недоверия. Коммунисты боятся оппортунизма и соглашательского склада ума некоторых социалистических вождей. Социалисты, в свою очередь, опасаются напористости коммунистов, их организационной активности, их, как они выражаются, диктаторских замашек. Их пугает тот факт, что рабочие-социалисты вступают в компартию, а из компартии никто сейчас не переходит в социалистическую. Они боятся поглощения. При этом есть крупнейшие социалисты, стоящие за объединение. Больше всего — Альварес дель Вайо и Рамон Ламонеда.

Дель Вайо даже явился на пленум коммунистического ЦК. Его встречают овациями. При всей своей мягкости и доброте — он принципиальный и твер-

дый человек в политических вопросах. Он мужественно отошел от Ларго Кавальеро, хоть ему было трудно высвободиться из-под влияния старика, перешагнуть через многолетнюю дружбу: Дель Вайо не вошел в новое правительство, он остался только генеральным комиссаром армии. Он рассказал мне, что Ларго Кавальеро издевается над ним: «Бедный Вайо, его ничем не вознаградили за то, что он меня оставил!..». Кавальеро вернулся в свой кабинет секретаря Всеобщего рабочего союза. Оттуда он интригует против нового правительства, распускает панические слухи, сочиняет и рассылает клеветные меморандумы и докладные записки. С генералом Асенсио, который привлечен к суду за саботаж и измену, у него постоянный деловой контакт.

Долорес делает большой доклад.

Она начинает с разбора международной обстановки и положения на фронте. Создана регулярная армия. «Кто мог думать в начале войны, что мы будем иметь под ружьем более полумиллиона человек? И эта цифра постоянно растет».

Она говорит о росте партии. «Мы можем с гордостью заявить, что в наших рядах сейчас уже есть 301.500 человек, находящихся на территории республиканского правительства, — не считая 64 тысяч членов Объединенной социалистической партии в Каталонии и 22 тысячи в Бискайе».

Дальше — о двух методах руководства пролетарской политикой — о методе Второго Интернационала, который раздробляет и распыляет пролетарские силы, и о методе Коминтерна, выдвинувшего идею народного фронта и политического и профсоюзного объединения пролетариата.

Дальше — о борьбе испанской компартии за единство. О врагах единства. О троцкистах, о троцкистском мятеже в Каталонии, который имел своей целью взорвать пролетарское единство. О друзьях единства: «Есть социалисты, которые, честно работая в левом движении, сумели высоко поднять знамя единства, покинутое другими! Среди этих поборников единства видное место

занимает Альварес дель Вайо. (*Зал встает и устраивает дель Вайо овалю.*) Товарищ Альварес дель Вайо неутомимо борется за союз социалистической партии с коммунистической. Он ставит выше всего интересы пролетариата и революции, вполне справедливо заявляя, что единство — это высший закон переживаемого момента».

Долорес подробно излагает условия, на которых коммунисты согласны создать единую партию и влиться в нее.

Демократический централизм. Пролетарская демократия и дисциплина. Самокритика. Идеологическое единство, на основе учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

— Быть учеником Сталина и проводником сталинской политики — честь для каждого пролетария, для каждого революционера, желающего быть преданным защитником интересов своего класса. Только предатели, ренегаты, дезертиры революционного лагеря могут упрекать нас в том, что мы называем себя сталинцами. Да, мы сталинцы, и гордимся этим, потому что сталинская политика — это путь, ведущий к укреплению социализма и свержению капитализма! (*Продолжительные аплодисменты.*)

— Товарищ Сталин для народов Испании является символом международной солидарности... Солидарность страны социализма наполнила бодростью нашу страну. Всего лишь несколько дней тому назад председатель кортесов сеньор Мартинес Барриос заявил решительно и определенно, что без солидарности Советского Союза Испания перестала бы существовать как республика и как национальное целое. Разве это не достаточный мотив, чтобы единная партия пролетариата обновилась на подлинном пролетарском интернационализме, имеющем таких блестящих учителей и руководителей, как товарищ Сталин? (*Аплодисменты.*)

Доклад Долорес, живой, убедительный, доказательный, всех очень приподнял и настроил. На пленуме создалось радостное праздничное настроение — как будто единая партия уже создана и существует. Но трудностей еще очень

много. Не только фракция Ларго Кавальеро враждебна по отношению к коммунистам. Среди социалистических лидеров, даже очень дружелюбно держащих себя с коммунистами, есть предвзятое и опасливое отношение к идее единой партии. Они пока не высказываются, но когда вопрос будет поставлен на практические рельсы, они покажут свои когти.

20 ИЮНЯ

Хосе Диас не присутствует на пленуме. Ему опять стало хуже, он временно не участвует в оперативной работе.

Я был у него сегодня. Он не хочет жить за городом, где меньше шума и легче дышать, он остался здесь, в нескольких кварталах от Центрального Комитета. Я поднялся в верхний этаж, позвонил; в прихожей дежурила охрана — два комсомольца с винтовками, они играли в шахматы.

Прошел несколько пустых комнат чей-то, видимо, оставленной владельцами, безвкусно убранной квартиры с портретами дедушек и бабушек. В последней комнате, на огромной кровати, прикрытый легким одеялом, лежал Хосе. Он был один.

— Ты все-таки вернулся сюда, не соврал, значит.

— Видишь, вернулся.

— Отдохнул?

— Не очень.

— И первого мая ты был в Москве?

— Был.

— Хороший парад?

— Очень хороший.

Мы смотрели друг на друга и улыбались. Иногда хочется только улыбаться, ничего больше. Смотреть и улыбаться. Очень радостно было видеть опять, пусть на подушках, это хорошее лицо, простое лицо испанца и рабочего, молодое, исчерченное морщинками, очень трудовое и очень мыслящее лицо. Сейчас, побеждая болезнь, это лицо светилось улыбкой. Он улыбался потому, что я приехал из Москвы.

— У меня есть срочное поручение.

— Говори.

— Боюсь, что поврежу тебе что-ни-

будь внутри. Мне сказано обнять и поцеловать тебя, как только смогу крепко.

— Действуй на всю мощность.

Он присел на постели и сбросил одеяло.

— Ты видел там всех? Всех друзей наших?

— Всех.

— И его видел?

— Кого?

— Ясно, кого.

— Да.

— Ты его видел? Говорил? Долго?

— Почти полтора часа.

— Полтора часа! Богато! И сколько из них об Испании?

— Все об Испании. Почти час он расспрашивал.

— О чем?

— Обо всем. О народе, о руководителях, об армии, о партии. Он восхищен народом, его стойкостью, упорством, выдержкой, волей к продолжению борьбы с интервентами. О тебе. Это он сказал — крепко обнять и поцеловать тебя. Он сказал, что для тебя главный фронт сейчас — это твоё здоровье.

— Есть еще и другие фронты...

— Нет, главный — этот, только победив на этом фронте, ты сможешь драться на других.

Теперь Диас не смотрел больше на меня. Попржнему улыбаясь, он глядел далеко в пространство, и было понятно, куда он глядит.

— А остальные полчаса — он говорил сам? Ты все слышал?

— Я не глухой. Особенно, когда говорит Сталин.

— Ругал нас? Критиковал?

— Критиковал, но не ругал. Восхищался. Он сказал, что при всех жертвах, при всех неудачах — это изумительная и по существу, победоносная борьба. Если бы раньше, год назад, спросить у любого человека, что произойдет, если два крупных европейских фашистских государства внезапно нападут на Испанию, обрушат на нее всю мощь военной техники, — всякий ответил бы, что Испания будет полностью покорена в несколько недель. И вот — фашистские государства обрушились,

собственная кадровая армия Испании оказалась на стороне завоевателей, и, несмотря на это, испанский народ, безоружный, при враждебном нейтралитете всех капиталистических государств, блокированный со всех сторон, обороняется вот уже почти год, и не складывает оружия, а наносит полчищу своих врагов сильные, чувствительные удары. Даже потеряв половину своей территории, он сражается еще и еще, он изматывает своих палачей, он кидается все в новые и новые схватки, — как же не преклоняться перед такой борьбой, таким мужеством?!

Теперь Хосе Диас лежал неподвижно, откинувшись навзничь, голова запрокинута на подушки, черты лица заострены, только брови его шевелились, расходясь и сходясь. Он сказал, медленно, почти по слогам, вдыхая в каждый звук огромное волнение и суровую страсть:

— Это именно так... Не мы последние... Пелена спадает с глаз у многих... Фашизм встретит отпор... Немного позже или немного раньше... Его разобьют... Но мы... наш народ... мы начали первые... Мы первые ответили ударом на удар... Первые пошли в контратаку... Одни... Только одна страна... один народ... одна партия... Только он протянул нам руку... И когда все будет уже хорошо... пусть вспомнят испанцев... Как они дрались... И тех, кто предал их... И тех, кто им помог...

Он опять замолчал, в комнате долго было тихо.

Затем, подобно тому, как три дня назад с Долорес мы вспомнили Бильбао, он вспомнил Севилью тридцать первого года.

Красивая Севилья, увенчанная женственной башней Хиральды, веселая, в мантилье, с цветком в зубах, любимица туристов. В Севилье я видел Хосе Диаса в первый раз.

— А Адату помнишь?

— Помню, конечно. Ведь ее еще называли Америкой.

— Не Америкой, а Соединенными Штатами! Ты все позабыл.

Я ничего не позабыл. Я помню Адату, кошмарный лагерь бездомных бед-

няков на окраине Севильи. Я помню даже мертвую собаку с развороченным брюхом посередине главного проспекта Адаты. Самый проспект был только ухабистой, пыльной расщелиной в восемь шагов шириной, между двумя рядами чего-то, что должно было, повидимому, именоваться жилищами. На «проспекте» чернели рытвины и ямы глубиной в полроста человека. Асфальтовая гладь чудесных севильских улиц казалась здесь, на расстоянии одного километра, несбыточным сном.

Уродливые собачьи будки из железных и жестяных отбросов. Дырявая мешковина, натянутая на четырех столбах. Первобытные очаги из нескольких камней. Спальные ложа — охапки прокисшего сена. Удушливая вонь разложения. Кто здесь обитал и, наверно, обитает по сей день — люди, скот? Десять тысяч граждан Испанского государства. Одна из гражданок подошла ко мне, когда я искал назначенное место встречи. С первого взгляда это была развалившаяся старуха, сгорбленная, медленная, жуткая, как чума, в своем черном рубище. Но она была не стара, она оказалась молодой девушкой. У нее чудом сохранились два ряда прекрасных белых зубов, это только струпья обезобразили ее лицо, развели глаза и щеки. Струпья от «дурной крови», от хронической болезни нарушенного питания организма, от многих лет непрерывного поста, умеряемого несколькими оливками, несколькими глотками воды в день. Это была севильянка. Богатые американцы переплывали океан, чтобы посмотреть прославленных севильянок, — известно ли было им, что в Севилье есть свои Соединенные Штаты и там такие изумительные женщины?! Люди со впалыми грудями готовили себе обед. Они поджигали несколько щепочек между двух кирпичей и ворочали над огнем подобранную в городе пустую консервную коробку с остатками масла на дне. В коробку клали несколько горошин, картофелину — вот и целое блюдо. Сгорбленные фигуры тяжелыми паралитическими шагами проходили изредка между лачугами и палатками. Каждый шаг причинял им боль и раздражение. Испанцы

ли это были? Андалусцы ли — веселый народ статных, красивых, бурно танцующих людей?

Кто обитал в страшном поселке Ада-та? Подонки и отребья человечества? Деклассированные бродяги?

Нет, рабочие, пролетарии, труженики. Раньше они приходили по гудку на заводы. Но даже и те, что сохранили работу, из-за нищенской платы могли жить только здесь, в дырявых платках, сделанных собственными руками. Эту голодраную севильскую обитель, особое государство нищих, севильцы прозвали Соединенными Штатами. Здесь в лачужке прятался после полицейского разгрома и заседал севильский комитет коммунистической партии. Здесь работал Хосе Диас.

— А Люсену помнишь? Синко Касас помнишь, Хосе?

Он улыбнулся.

— Помню. Тогда только начиналась по-настоящему работа в деревне. Было время...

Мы ехали в одном поезде от самой Севильи. В одном поезде, в разных вагонах. Подъезжая к станции Люсена, я стал следить из окна, чтобы не пропустить. Все вышло правильно. Молодой человек соскочил с поезда на станции Люсена. И я за ним.

Смуглый молодой человек, или просто парень, или даже паренек. Есть такие вневозрастные облики у людей. Не знаешь, играл ли он еще два года назад в камушки с младшими ребятами, или у него самого уже есть трое ребят.

Молодой человек соскочил с поезда, он подошел к возбужденной, взволнованной толпе на платформе.

Толпа на станции Люсена кого-то ждала. Для кого-то был приготовлен букет жарких гвоздик, крепко перевязанный рыжей пшеничной соломой.

Молодой человек прошел в толпу, и сейчас же пустой край платформы стал быстро увеличиваться. Толпа двинулась от станции. Она поджидала вот именно этого смуглого парня. Это ему был букет.

Странное шествие двинулось от станции Люсена, мимо города, прямо в поле. Странное для чужого и даже для

испанского глаза. Странное тогда — и теперь тоже.

Впереди шагали десять человек крестьян, в будничных своих затрапезных коротких штанах, в толстых белых нитяных чулках, в пестрых платках на головах. Они шли с большими палками и как бы расчищали дорогу, хотя впереди никого не было, никто не преграждал путь.

Дальше шел смуглый молодой человек из Севильи, окруженный радостной и дружелюбно-почтительной свитой.

Он шел с цветами в руках и улыбался, а рядом с ним здоровенный верзила благоговейно нес в высоко поднятых руках обыкновенный серп и обыкновеннейший кузнечный молоток с обгорелой ручкой.

Это вместо знамени. Но это было гораздо страшнее, чем знамя.

Обыкновенные предметы, вырванные из обычной своей обстановки, превращенные в эмблему, ощущались, как грозные символы.

У крестьян еще не было знамени с серпом и молотом. Они подняли серп и молот, как знамя.

За первыми шеренгами шла, довольно беспорядочно, но плотная и как-то организованная толпа. Испанские крестьяне и батраки не приучены были к строю. Страна уже сто лет не участвовала в больших войнах. Прошедшие свой срок солдаты мгновенно забывали вялую армейскую муштру.

В этот раз люди старались дружно маршировать в ногу. Это их занимало, и не как развлечение только, а как некая, хотя и маленькая, но серьезная задача. Они хотели показать приезшему пропагандисту, что умеют шагать в ногу.

Трое жандармов, трое солдат гардиа сивиль торопливо поспевали за толпой. Лимонные ремни снаряжения сдвинулись набок, лакированные треуголки с'ехали на затылок, карабины болтались в разные стороны.

Они совещались на ходу. Было о чем совещаться. В Люсену почти открыто приехал агитатор-коммунист из Севильи. Его почти открыто встречали с цветами на станции, его ведут выступать на сельском митинге.

Шествие свернуло с большой шоссе-ной дороги на проселочную. Оно змеисто закачалось по пригоркам, между оливковых рош. Полуголые батраки мотыгами разрыхляли рыжую, сухую, в трещинах, землю под оливами. Многие из них, всмотревшись в колонну, слушая оклики и призывы, швыряли мотыги и примыкали к толпе.

Процессия шла долго, она забралась куда-то вглубь. На повороте дороги старший жандарм отправил одного из своей тройки в город. Колонна это заметила и ускорила шаг.

На широком куске голой красной земли начался митинг. Трибуной служили два, составленных вместе камня. Батрак из первой шеренги остановился, он поднял высоко вверх серп и молот — вокруг него люди уплотнились кольцом.

Первым говорил старик. Я помню, старик говорил первым. Бледный, высокий старик в бедном крестьянском платье.

Он сказал, что крестьяне устали терпеть. Они отдают последние силы этой проклятой, чужой земле. Не получают взамен даже надежды не умереть с голоду. Помещик выписал себе трактор — и выгнал тридцать человек с семьями, даже не оглянулся в их сторону. Крестьяне нищенствуют, да еще каждый день прибывают безработные из города, ходят по поместьям и сбивают цену на поденщину. Бедняки тонут и при этом виснут друг на друге. А ведь надо другое. Надо сплотиться и вытаскивать друг друга. В Люсене несколько ребят записалось в коммунисты. Они выписали из Севильи вот этого молодого сеньора. Пускай гость говорит. Пусть он расскажет, как надо бороться, чтобы получился толк, как борются коммунисты в России, ведь там вышел толк.

Старик отошел в сторону, толпа повернулась к севильскому парню и дружески приветствовала его. Парень был серьезен, он уже не улыбался. Лицо его, хорошее лицо, простое лицо испанца и рабочего, молодое, очень трудовое и очень мыслящее лицо, было напряжено. Он хотел говорить.

— Товарищи!

На этот призыв вдруг откликнулся

капрал из гардиа сивиль. Он приблизился к оратору и без всяких признаков власти взял его за рукав. Пропагандист выдернул руку, отвернулся и хотел продолжать. Жандарм не уступал:

— Во исполнение закона о защите республики ты говорить не будешь.

В толпе люди вскипели от ярости:

— Крестобаль, старый королевский пес, давно ли ты стал опорой республики?! Ведь даже в день выборов ты записывал всех, кто, по-твоему, не голосовал за Бурбонов! А сегодня ты опять душишь нас, уже как республиканец!

Капрал знаками зовет своего спутника. Второй жандарм протолкнулся через толпу, встал сбоку. Севильский парень уже имеет вид арестованного. Зажатый между двумя треуголками и двумя винтовками, он подымает руку, требует тишины. Мгновенно воцарилось безмолвие.

— Товарищи! Я плюю на этих цепных собак. Я их не боюсь. Пусть я буду сегодня ночевать в тюрьме. Но помогите мне сказать, что я хочу. Дайте мне сказать все от начала до конца, а потом пусть мне рубят голову, пусть держат за решеткой и...

Дальше он не был слышен из-за дикого общего вопля. Толпа, минуту назад стоявшая в почти сонной неподвижности, прорвалась быстрой лавой, разединила агитатора с гардией сивиль, отеснила жандармов в сторону, на кочку, к запыленным кактусам.

Жандармы так и остались стоять, озадаченные, угрожающие. О них забыли. Жадно, с расширенными зрачками, батраки слушали севильского коммуниста. Он говорил, — и то, что говорил он, батраки пили, глотали, удрученно шевеля плечами каждый раз, когда им казалось, что оратор устал, что он собирается кончить.

Севильский коммунист говорил вещи простые до головокружения.

Он говорил, что надо забрать у помещиков землю, вот эту самую землю, — забрать, разделить между собой. И не через сто лет, а сейчас.

— Вы скажете: где ж и когда видано, чтобы крестьяне и батраки захватили землю помещиков, прогнали их и сами

стали хозяевами? Но ведь вы сами знаете — вот уже тринадцать лет, как крестьяне и рабочие в России прогнали и пожгли своих сеньоров, они выбросили их за границу и сами строят свою жизнь. Там тракторы не лишают бедняков куска хлеба, там сами крестьяне просят тракторов для облегчения своей работы, и государство помогает машинами всем крестьянским товариществам — колхозам. И крестьянская молодежь, парни и девушки, отправляются учиться в университеты, не хуже нисколько, чем здешние сеньоры. Тринадцать лет непоколебимо стоит Советская Россия, тринадцать лет, — а мы здесь добились пока того, что гардиа сивиль разгоняет нас не от имени короля, а от имени республики.

— В Синко Касас крестьяне взяли за воротник свое начальство. К алькальду пришли в полночь, толстого бездельника сняли с жены и сказали ему: «Бери свой алькальдов жезл и надевай свою почетную цепь». Он стал желтый, как майсовая мука, он не смел спросить, в чем дело. Он взял свой алькальдов жезл и надел на шею серебряную цепь, а штанов ему не дали надеть, и так он вышел на улицу, этот почтенный глава деревни Синко Касас. А потом люди вбежали еще и к начальнику гадиа сивиль и тоже сказали ему: «Надевай мундир, надевай ордена!». И он тоже испугался, как мышь, и не посмел ругаться, он надел мундир и ордена, но побоялся полезть в шкаф за оружием, потому что этим же оружием его прикончили бы на месте. Он вышел с людьми на улицу, а там уже стояло все село с алькальдом без штанов. И обоих жирных тарантулов повели по главной улице, мимо церкви и кабака, за городские ворота. Их вывели за ворота, а там сказали: «Уходите, сеньоры, пока живы. Нам вы не нужны».

Севильский коммунист разбирает этот случай:

— Хорошо ли поступили в Синко Касас? Хорошо, да не совсем. Алькальд и жандарм ушли из города, это верно. Но ведь они вернулись поутру с военным отрядом, и когда они вернулись, это было уже не село, а перепу-

ганный курятник. Жандармы голыми руками взяли всех жожаков и еще в придачу кучу не причастного народа. Село не могло бороться. Хватило сил и умения только на первую пору. Я не говорю, что не надо было выгонять этих подлых паразитов. Но при этом надо было организоваться, выбрать батрацкий, крестьянский комитеты. Захватить и разделить землю. Надо было достать оружие и с оружием в руках защищать эту землю. С оружием! Мы, коммунисты, предлагаем вам драться не кулаками, а навахами и винтовками; будет время — достанем пулеметы и пушки — будем драться пулеметами и пушками!

Оратора прервали аплодисментами, криками и киданьем в воздух соломенных шляп.

Старик, тот, что открывал собрание, опять вышел на середину, взобрался на камни трибуны, он опять заговорил, медленно, подолгу останавливаясь почти после каждого слова.

— Братья! Я не все вам сказал, когда говорил в первый раз. Я сказал, что у нас на селе есть несколько человек коммунистов. А ведь я — я один из них. Уже довольно давно. Раньше молчал, а теперь, — старик повышает голос, — теперь говорю громко, что я коммунист, пусть слышат все, и этот жирный москит Крестобаль. Пусть слышит и делает со мной, что хочет. Но, братья, не стыдно ли, что у нас в деревне только полдюжины коммунистов? Когда я был малышом, я слышал от старших, как дрались когда-то наши земляки против сеньоров и их лакеев. Разве же теперь, когда страдания наши умножились, разве теперь мы не пойдем в партию, которая знает, как надо брать за глотку наших палачей?

Старик поднял вверх чистый лист бумаги. Он пустым, белым листом колыхал горячий остановившийся воздух. Он махал листом и призывал.

По толпе пошли странные волны. Что-то в ней колобродило, что-то тяготило присутствующих и что-то сопротивлялось. Толпу распырало. Ее корчило. Корчи эти были родильные.

На красном куске голой земли толпа

темных, безграмотных испанских батраков рожала. Толпа сознавала себя борющимся классом и рожала партию, рожала коммунистов. Хосе Диас, молодой коммунист из Севильи, был восприимчивым при родах. Жандарм Кристобал вынул записную книжку. Один за другим, непрерывной чередой, к гранитному валуну подходили люди и, оглянувшись на застывшее лицо жандарма, склонялись над листом.

Старик, призывавший записываться, знал всех в деревне в лицо. Но сейчас он был торжественно, чисто по-испански формален. Он был почти обряден. Он громко спрашивал об имени, и каждый подошедший громко называл себя.

Каждый, уже подписавший лист или еще не подошедший к нему, лихорадочно переживал поведение окружающих. Все щупали друг друга глазами. Трусы под этими взглядами старались потихоньку отодвинуться в сторону. Другие с поднятыми головами, преувеличенно расталкивая толпу, протискивались к трибуне. Долго длилось сладостное испытание записи в партию на глазах у полиции. Росли два одинаковых списка — один на листе у старика, другой в книжке у жандарма.

Наконец старик встал с листом. Он сказал вслух:

— Сто четыре.

Жандарм захлопнул книжку. Собрание было недовольно.

— Мало!

— Нет, братья, это не мало. Это почти восьмая часть всех, кто есть здесь. Из этой сотни мы еще отсеем. Мы проверим каждого, обсудим каждого, можем ли мы его принять в коммунисты. Если даже полсотни в нашей деревне храбро начнут борьбу против помещиков, ростовщиков и жандармов, — эти полсотни потянут за собой и тысячу, и десять тысяч. Только смотрите — не показывать спину врагу, не предавать товарищей! Ведь вы присягали, — он усмехается, — вы присягали совсем официально, в присутствии жандарма!

Шествие двинулось назад, оно уже приобрело новый облик. Сотня батраков-коммунистов в ногу шагала за долговязым знаменосцем, за смуглым пар-

нем из Севильи. И толпа шла вслед поиному. Это была уже не толпа, это был отряд. Крестьянский отряд, готовый драться и побеждать. Люди смотрели на оливковые рощи другими глазами; не глазами жертв, а важными глазами будущих хозяев.

Много ли уцелело из тогдашней люсенской ячейки? Трудно сказать. Сейчас в южной Андалусии властвует генерал Кейпо де Льяно. Но сотни и тысячи коммунистов ушли с юга в Хаен, в Эстремадуру, под Мадрид сражаться с фашизмом. И еще больше осталось оборонять родную землю. Ловкими, гибкими партизанскими отрядами бродят они вокруг Севильи и тревожат и атакуют регулярные фашистские войска, и напоминают крестьянству о его надежде на победу, о его правах на эту горячую, красно-коричневую андалусскую землю, на оливковые рощи, на помещичьи дома.

Молодой пропагандист-рабочий из Севильи стал руководителем всех испанских большевиков. Как жаль, что он сейчас прикован к постели! Но он поправится, конечно. Его надо поскорее оперировать... Он берет с ночного столика стакан и медленно, маленькими глотками, пьет воду. А тогда, в Люсене, ему так и не дали напиться...

Его довели, под надежной защитой, до станции. Торжественно и радостно проводили. Жандармы не смели даже приблизиться. На обратном пути я следил из другого вагона. Через две станции он вышел на платформу напиться. Он не пил весь день. Ведь и полевая трибуна в Люсене не была оборудована графинами и стаканами. Мальчишка взял десять сентимосов и подал поррон, глиняную посудину с одним коротким и одним длинным носом. Привычным жестом испанского простого народа агитатор поднял кувшин выше головы и на весу наклонил его, чтобы холодная струйка воды упала в раскрытый рот. В этот миг его взял за плечо гардиасивиль.

Этот жандарм был чистенько выбрит и в лиловых очках от солнца. Он только-что вышел с листком в руках из станционной двери, из-под вывески «Те-

лефонос». С другого конца перрона спустились еще двое, придерживая карабины.

Пока парень предъявлял свои документы, мальчишка с кувшином убежал. Так и не пришлось выпить. На ходу, между двумя конвойными, агитатор взял из кармана щепотку длинных канарских корешков и стал делать самокрутку.

23 ИЮНЯ

Есть надежда на спасение Реглера. Из спины у него все вынимают и выкидают осколки. Некоторые придется так пока и оставить в теле. У Реглера отличное настроение. Он надеется выздороветь настолько, чтобы выступить на конгрессе.

Залка очень дождался конгресса. Его волновала мысль, сможет ли он встретиться с делегатами. Ему очень хотелось.

— Конечно, вы сможете увидеться, что за вопрос. Вы можете даже пригласить к себе, на фронт, устроить обед. Вам, может быть, придется и выступить. Так сказать, как испанскому генералу, любящему литературу.

— Боюсь, неудобно будет, Михаил Ефимович. Вы меня лучше посадите где-нибудь в публике, потихоньку, сзади. Ну, просто на галерке. Мне бы только на них посмотреть. Это ведь очень знакомое для меня личности.

Он не дожидаясь только трех недель.

Конгресс писателей все-таки состоится, хотя и с небольшим опозданием. Добиться этого было очень трудно. Правительству многих «невмешивающихся» стран препятствуют проезду делегатов, отказывают в паспортах, волокитят, запугивают, отговаривают, увещевают. Но и в среде самих писателей нашлись такие, которые, именую себя и левыми, и антифашистами, всячески высказываются против конгресса и участия в нем.

Они доказывают, что в Испании, в военной обстановке, трудно будет всерьез обсуждать писательские дела и литературные проблемы. (Разве трудно? Вовсе не так трудно! Во всяком случае, это возможно.) Что конгресс

выльется в одну сплошную демонстрацию сочувствия Испании. (А почему бы и нет?) Что затея слишком претенциозна и шумлива. (Не более, чем всякий другой конгресс или конференция.) Что никто никому не давал права таскать писателей под огонь и подвергать их жизни опасности, а их семьи волнениям. (Вот это, пожалуй, довод; но никто никого не тащит, кто едет — едет добровольно, да и вообще все будет сделано для того, чтобы избавить делегатов от даже самой отдаленной опасности и риска. Приезжали же сюда всякого рода парламентские и дамские делегации, вплоть до английских герцогинь, и ничего с ними не случилось!). Что этот конгресс раздражит фашистов, и дело кончится тем, что Франко соберет у себя другой конгресс, с другими писателями, может быть, даже почище этого. (Тут уж можно только развести руками.)

Нет ни одного дела, при котором не нашлось бы нытиков и отговаривателей. Если бы Архимед нашел свою недостающую точку опоры для того, чтобы перевернуть мир, — это было бы еще не все. Вторая важная трудность была бы в нытиках и отговаривателях. Они ходили бы вокруг Архимеда, дергали бы за хитон, за трусики: «Брось ты это дело! Не связывайся! Надорвешься! На кой тебе? И какой смысл! Ведь мы же не враги тебе, — а советуем от души — оставь, плюнь ты на это дело!».

Арагон пишет из Парижа, что троцкистствующие писатели ходят по домам своих коллег и отговаривают их от поездки на конгресс в Испанию.

25 ИЮНЯ

Республиканская полиция долго колебалась и раскачивалась, долго торговалась с министром юстиции Ирухо, наконец, не вытерпела и начала ликвидировать самые крупные гнезда ПОУМ, арестовывать троцкистских вожakov. Отряды республиканской гвардии заняли в Барселоне несколько домов и отелей, где квартировали поумовцы. Дома реквизированы. В особняке, где помещался центральный комитет ПОУМ, реквизирова-

но много ценностей и звонкой монеты на восемь миллионов песет. (В Барселоне весь последний месяц население страдало от отсутствия разменной монеты.) На реквизированных зданиях вывешены республиканские флаги. Публика собирается перед этими флагами и аплодирует.

В Валенсии очистка зданий от поумовцев идет гораздо более медленно и вяло. Здесь этому мешают какие-то невидимые, но довольно властные руки. Троцкисты сразу пронюхали об этом, те из них, кто еще был на свободе, спешно перебрались из Барселоны в Валенсию.

На арестах троцкистов особенно настаивала мадридская полиция. В ней работают социалисты, республиканцы и беспартийные, которые до сих пор считали борьбу с троцкистами частным коммунистическим делом — вдруг натолкнулись на такие дела поумовцев, от которых они пришли в совершенное расстройство чувств.

В Мадриде была обнаружена новая разведывательная фашистская организация, следы которой вели также в Барселону. Арестованные шпионы имели свою радиостанцию, которая тайно передавала Франко сведения о расположении и перегруппировках республиканских войск.

В Мадриде арестовано более двухсот членов организации. Среди них есть офицеры штаба фронта, офицеры артиллерии, бронетанковых частей и интендантской службы. Организация имела своих агентов в информационном отделе военного и морского министерства.

В шпионской организации, совместно с представителями старой реакционной аристократии и «испанской фаланги», участвовали руководители ПОУМ. Речь шла, кроме шпионской работы, также о подготовке в определенный момент вооруженного фашистского восстания на улицах Мадрида.

Шпионов удалось захватить внезапно. При них были найдены изобличающие документы. Это вынудило арестованных признаться. При одном из шпионов найден план Мадрида, и на обороте его полиция обнаружила документ, написанный симпатическими чер-

нилами. Чернила проявили, текст оказался такой:

«Генералиссимусу лично. Сообщаю: сейчас мы в состоянии сообщать вам все, что знаем о передвижениях красных частей. Последние сведения, посланные нашим передатчиком, доказывают серьезное улучшение нашей информационной службы».

Дальше шла зашифрованная часть документа. Ее никак не удавалось расшифровать. Полиция бродила в погемках. Следователь догадался запросить генеральный штаб. Там нашлись перехваченные шифры Франко. Один из них в точности подошел к письму. Продолжение письма гласило:

«Группировка и собрание сил для движения в тылу идет с некоторой медленностью. Мы сейчас имеем около 400 человек, готовых действовать. Они, будучи хорошо вооружены, могут при благоприятных условиях служить ударной силой для движения. Ваш приказ о просачивании наших людей в ряды экстремистов и ПОУМ исполняется с успехом. Нам не хватает руководителя пропаганды, который начал бы эту работу независимо от нас, чтобы действовать в большей безопасности. Выполняя ваш приказ, я был в Барселоне, чтобы увидеться с Н. — руководящим членом ПОУМ. Я ему сообщил все ваши указания. Отсутствие связи между вами и им объясняется авариями его радиопередатчика, который сейчас начал заново действовать, когда я был там. Вы, наверно, получили его ответ по основному вопросу. Н. самым настоятельным образом просит вас и иностранных друзей, чтобы я был единственным лицом для связи с ним. Он обещал мне послать в Мадрид новых людей, чтобы активизировать работу ПОУМ. Благодаря этим мерам ПОУМ станет в Мадриде так же, как и в Барселоне, реальной опорой нашего движения. Сведения, посланные через Б., потеряли свою актуальность. В ближайшее время мы сообщим вам новые данные. Организация групп содействия ускоряется. Вопрос об операциях, подготавливаемых на юге, остается невыясненным».

27 ИЮНЯ

На фронтах повсюду полное затишье, только небольшая возня на Хараме. Республиканцы готовят большой удар под Мадридом. Здесь сосредотачиваются лучшие ударные части, дивизии Листера, Кампесино, Вальтера, много артиллерии и авиации. Но подготовка идет пока еще очень медленно. Наступление начнется не раньше первых чисел июля, если противник не упредит.

Ночью невозможно уснуть в Валенсии. От духоты спирает в горле. В открытое окно рвется петушиная вакханалия. Валенсийцы все, в каждом доме завели себе петухов и кур, держат их на балконах, надстроили балконы деревянными решетками, во всех дворах вдоль стен висят пяти-, восьмизатяжные курятники. Я ездю ночевать в Перельо, рыбацью деревню. Дорога идет оросительными каналами, рисовыми полями; теплые испарения пахнут гнилостно, малярийно, огромные неправдоподобные цветы, люди в высоких конических соломенных шляпах, высокие полукруглые мостики вызывают в воображении Китай—Кантон, может быть, Бразилию...

Перельо стоит у самого моря, осыпан теплыми брызгами прибоя, улочки бальных и цветных домов, очень много из них заколочено, в остальных живут старики, женщины, дети.

Здесь кулак владеет двухэтажным домом на перекрестке. Это обычный комбинат сельского богатея, какой встречается по всему свету. В нижнем этаже — жилье хозяина, две небольших комнаты; таверна — стойка, бочки с вином, очаг, темные от копоти и жира столы; магазин — за прилавком торгуют жена хозяина и дочка, на полках — парусиновые туфли, ламповые стекла, ликеры, соломенные шляпы, мадридская парфюмерия, папиросная бумага, портреты кинозвезд. Более ходовых и продовольственных товаров уже нет, только оливковое масло, и то в очередь, по литру. В верхнем этаже — номера для приезжающих, шесть комнаток с сетками от москитов. Во дворе — склад маиса и сарай с над-

писью: «Гараж для сеньоров и гостей отеля».

Хозяин непрерывно бродит по дому, из этажа в этаж, неимоверной толщины человек с тремя затылками и тремя подбородками, в крестьянской одежде из черного сатина, похоже на нашу толстовку. По животу экватором проходит широкий пояс из засаленной черной материи. За этим поясом хозяин носит спички, свечи, мыло, расчетные книги, ключи; он мог бы заложить сюда целого барашка. Вчера ночью, когда мы с Сориа приехали сюда, затерялся ключ от моей комнаты. Хозяин долго возился с замком, сопел, у него одышка. Потом вдруг повернулся и чуть-чуть толкнул дверь огромным задом. Дверь упала с петель, как подкошенная. Сориа страшно хохотал, хохотали мы все, разбудили весь дом, больше всех хохотал сам хозяин, он был польщен. С этих пор, встречая Сориа или меня, он уже издали хохочет, напоминая о ночном случае.

Все-таки в номерах у кулака очень душно. Дородо устроил мне ночевку напротив, через улицу, у местного шофера Рамона.

Рамон сейчас не работает. Высокий, неуклюжий парень со сросшимися бровями, один глаз косою. Он недавно женился. Его отец, рыбак, вдовец, зимой утонул в море. Рамон живет с молодой женой в отцовском домике. Здесь одна только комната, глиняный пол, очаг, высокий ворох душистых трав. Они отгородили мне цыновками угол у окна, поставили туда холостую кровать Рамона; сам он с женой спит на большой отцовской кровати.

Но они не спят, впрочем. Матильда, жена Рамона, сладко мучает его всю ночь. И я тоже не могу из-за них заснуть. До позднего утра не унимаются шопот и стоны.

— Рамон, сладость моя! О, какая это сладость, Рамон! Почему я не знала раньше, что это такая сладость!

— Я немножечко устал, Матильдита.

— Рамон, ты лишь немножечко устал, правда? Не засыпай, Рамон. Я не дам тебе спать. Смотри, как я крепко тебя обнимаю. Спи, Рамон! Я все равно не

буду спать, я буду глядеть на тебя, моя любовь.

— Тогда и я не усну.

— О, Рамон! Ты не можешь спать, когда я рядом? Сладость моя! Рамон, мы сумасшедшие, правда?!

Утром он тяжелыми, развинченными движениями подымает кувшин над головой, льет себе в горло струйку воды, споласкивает лицо и шею. Матильда сидит на старой широкой кровати, свесив худые, длинные ножки, я вижу ее сквозь ветхую циновку. Ей девятнадцать лет; черная коса, бледное тельце полурепенка. Но это не ее мучают. Это она мучает большого, неуклюжего Рамона.

Он охотно присоединяется к завтраку, который мы с Дорадо приносим из автомобиля. К нашему сыру, хлебу, помидорам он прибавляет кувшин кислото белого вина из отцовской бочки. Матильда почти ничего не ест. Она равнодушно прислушивается к разговору.

— Мы умеем драться, — говорит Рамон, — мы это показали. Признайтесь, вы не ожидали, что испанский народ будет так драться.

— Отчего же не ожидал? Ожидал.

— Признайтесь, все-таки вы не ожидали. Никто не ожидал. Какие солдаты, э? Какие офицеры, э? А наши шоферы! — Рамон воодушевляется. — Я вас уверяю, нигде в мире вы не найдете таких смелых шоферов, как у нас. На фронте наш испанский шофер покажет себя лучше любого другого. Мне, как шоферу, это особенно приятно.

— А вам сколько лет?

— Мне? Двадцать шесть.

Держа в руках кружку с вином и кусок хлеба, он смотрит вдаль мечтательным гордо-простодушным взглядом. Он не понимает, что он дезертир.

Рыбаки Перелью тянут сети. Они их тянут издалека. Сначала баркасом, затем, дойдя до берега, тянут по песку. Это очень, очень долго. Выкупавшись, я тоже помогаю тащить сети из воды. Дорадо этого не делает, он лежит в сторонке в своих полосатых трусиках. Он прав, у него есть свой испанский, вернее, народный такт. Это как-то ни к

чему, когда человек в купальном костюме помогает рыбакам тащить сети.

Вот-вот сеть покажется из голубой воды. Но нет, это длится еще очень долго. Рыбаков двенадцать человек — почти все старые люди. Они не разговаривают между собой. Сеть вытаскивать довольно трудно, она тяжелая. Улов, наверно, килограммов на триста. Мы тащим, тащим, а сети все не видно.

Наконец, показалась сеть. Она совсем пустая. Все-таки ее тащат по песку, тяжелую, сейчас бессмысленно большую. Старики серьезно, хмуро, медлительно разворачивают мокрый узел. Там копошится килограмма полтора мелкой рыбешки, вроде наших снетков. Это все, что дало двенадцати человекам богатое Средиземное море. За пять часов работы.

Старики ничего не говорят. Они наматывают сеть на деревянный вал. Они сейчас опять выйдут в море.

Я говорю Дорадо:

— Проработать пять часов, и не получить ничего. Двенадцать человек.

Он отвечает:

— Там все-таки было почти два кило рыбы. Они ее продадут в Валенсии — ее едят соленою, в барах, как закуску к вермуту.

— На двенадцать человек, ведь это гроши!

— Да, гроши. А вы что думали. Это не миллионное дело — быть здесь рыбаком.

29 ИЮНЯ

Страшная суетня и бестолковщина в подготовке конгресса. Занимаются этим одновременно два правительства, центральное и каталонское, и в них по три министерства — иностранных дел, внутренних дел, просвещения, и, кроме того, — военное министерство, и генеральный комиссариат, и альянса писателей, и еще все, кому не лень. Со всеми ними приходится от имени Ассоциации писателей спорить и торговаться. Бюрократизм в Испании ленив и наивно высокопарен. Главная забота министерских чиновников — скрыть от делега-

гов тот неприличный факт, что в Испании сейчас происходит война. Для этого они придумывают тысячи мероприятий и ухищрений. Места для заседаний они предлагают в отдаленных и тихих районах, в загородных дворцах, укрытых парками. В программу экскурсий вставляют разную туристическую чепуху, рыбную ловлю, осмотр старинных развалин и стоянок доисторического человека. Я доказываю, что, если делегаты искали бы тишины и развлечений, они, пожалуй, нашли бы сейчас более подходящую страну для конгресса. Чиновников это не убеждает. Мысль о поездке писателей в Мадрид приводит их в ужас. «Ну что они там увидят? Разрушенный, запущенный город. Какой смысл конгрессу уезжать из Валенсии? Здесь правительство, все министерства, здесь теперь столица, здесь все, что может их заинтересовать...».

3 ИЮЛЯ

Утром выехал навстречу делегатам конгресса. В Беникарло, на берегу моря, на верандах туристского павильона им предложен завтрак. Испанцы напрягли все силы, приготовили прекрасное меню, красиво сервировали, выставили отличные вина. Кругом цветы, голубое море, изобилие и нарядная красота Леванта. «Где же война? — изумляются гости. — Сплошная лирика, рай земной».

Из машины выходят и здороваются знакомые, друзья со всего света. Парижане, американцы, балканцы, русские. Они устали, но возбуждены. Жадно оглядываются кругом, расспрашивают испанских «старожиллов», Людвига Рена, Ральфа Бейтса, Эренбурга, Нордаля Грига, ловят детали, ревниво прислушиваются к разговорам, как бы не пропустить чего, самого главного. Одни патетически взвинчены — Мюленштейн, Гонсалес Туньон, Вишневский, они требуют тут же дать им в руки винтовку или что-нибудь, чтобы они немедленно побежали сражаться. Другие воспринимают все окружающее только в трагическом аспекте — Анна Зегерс, Андрэ Шамсон, португалец Кортесао, англичанин Спендер. Третья группа, наибо-

лее уравновешенная, медлительно, как водолазы из своих писательских скафандров, разглядывают испанский водоворот и запасаются впечатлениями впрок. Это Толстой, Эрих Вайнерт, Жульен Бенда, Фадеев, Мархвица, Мусинак. Четвертые воспринимают конгресс и обстановку вокруг него только в плане общественного служения, они озабочены своим выступлением, ходом и порядком заседаний, стенограммой, газетными отчетами.

Кто-то из делегатов привез книжку Андрэ Жида — уже вторую его книжку об СССР. Я перелистал — это уже открытая троцкистская брань и клевета. Он и не скрывает этого — открыто называет имена видных троцкистов и антисоветских деятелей, которые «любезно» предоставили материалы. А материалы эти — смесь демагогически надерганных газетных вырезок и старых контрреволюционных анекдотов.

4 ИЮЛЯ

Конгресс открылся сегодня утром, официально и торжественно, в зале муниципалитета, в котором теперь заседает парламент. Глава правительства Хуан Негрин открыл конгресс краткой приветственной речью. Ему отвечал от имени писателей старейший делегат Мартин Андерсен-Нексе. Старик немного не учел торжественности обстановки. Всю дорогу, в автомобиле, в пыли, в тропической жаре, он трясся в черном сюртуке, в тугой крахмальной манишке, с черным погребальным галстуком. Здесь же, на официальной церемонии, он предстал, как бродяга, в расстегнутой рубашке без воротника, с седыми космами на широкой дряхлой груди. Кинооператоры были разочарованы, но зал дружно аплодировал живым, простым словам доброго, старого Нексе. Негрин пригласил его в президиум и, передав председательствование, удалился.

Альварес дель Вайо, член Ассоциации писателей, участвовал в первом конгрессе, в Париже, как испанский эмигрант. Сейчас он получил свою делегатскую карточку, но приветствовал

участников конгресса как генеральный военный комиссар:

— Наши бойцы передовых окопов учатся грамоте. Они дали клятву — ни одного безграмотного среди них. Они ваши союзники. Они читали в окопах пламенные слова Ромэн Роллана и Генриха Манна. На братские призывы они отвечают своей кровью. Испанский народ хочет победить, и он победит. Он отбил врага у Мадрида и у Пособланко.

Альваресу дель Вайо от имени конгресса кратко отвечает председатель советской делегации Кольцов. Овации по адресу Советского Союза. Зал поет «Интернационал».

Председатель испанской альянсы Хосе Бергамин говорит о культуре своей страны:

— Основная забота писателя — связь с другими людьми. В этой связи корни его существования. В этом смысл его жизни и работы. Связь писателя с другими людьми происходит во времени, и она осуществляется словом. Слово хрупко, и испанский народ называет одуванчик — цветок, жизнь которого зависит от дыхания, — «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна. Наш великий поэт Сервантес сказал о слове: «Оно должно быть одной ногой на губах, другой — между зубами». Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и это вместе с тем отрицание нашей отъединенности... В ощущении целостности времени, в ощущении движения вперед, в революционном осознании этого движения, этой связи прошлого с настоящим и настоящего с будущим, — утверждение народа, как человека, и человека, как народа... Вся испанская литература прошлых времен — свидетельство народных чаяний, порывов испанского народа к будущему. Все богатство испанской культуры, которая всегда была культурой народной, исходит от органической связи творцов культуры с чаяниями народа... Поглядите назад, на вершины испанской народной культуры — Сервантес, Кеведо, святая Тереса, Каль-

дерон, Лопе де Вега. Вы увидите, насколько они одиноки и вместе с тем насколько выросли они в толщу народа. Они — голос народа. Вся испанская литература написана кровью испанского народа. Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Эта же кровь теперь кричит о правде в немых жертвах. Кровь кричит в нашем Дон-Кихоте, бессмертном Дон-Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему наш народ, верный своим гуманитарным традициям, принял бой против смерти. В незабываемые июльские дни он своей кровью оправдал свои слова. Испанский народ спасает теперь человеческие ценности — в первую очередь братство — против человеческого эгоизма.

Сегодня же правительство чествовало конгресс обедом на пляже, в ресторане Лас Аренас. Здесь все было более непринужденно, впрочем, тоже с речами. Говорил министр просвещения Хесус Эрнандес, затем Людвиг Ренн, Толстой, Эренбург, Мальро. Писатели сидели попеременно с министрами и военными, знакомились, беседовали и болтали. Анне Зегерс очень понравился плотный, добродушный испанец в очках, остроумный и веселый, к тому же изумительно говорящий по-немецки. Он давал ей справки и быстрые живые характеристики испанцев, сидевших за столом. «А вы здесь какую должность занимаете?» — ласково спросила Анна, щуря близорукие глаза. «Я здесь председатель совета министров, я у вас выступал сегодня на конгрессе» — ответил Негрин.

К концу обеда, под аплодисменты, прибыла прямо из Барселоны запоздавшая часть конгресса. Английским писателям их правительство отказало в паспортах. Мальро взялся переправить эту группу и нескольких немцев-эмигрантов без особых формальностей в Испанию. Сейчас он не без эффекта ввел своих клиентов в зал. Под шум и аплодисменты он шепнул, мальчишески мне подмигнув: «Контрабандисты вас приветствуют».

Ночью город основательно бомбили, возможно, что по случаю конгресса. Де-

легаты дрыхли мертвым сном после дороги и дневных переживаний. Так они могли проспать все — я приказал телефонистке «Метрополя» разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрестанно, звук — как будто раздирают огромные куски полотна. Издалека слышались глухие взрывы бомб. «Каково?» — спросил я тоном гостеприимного хозяина. Все были взволнованы и очень довольны. Вишневский спросил, какого веса бомбы. Но я не знал, какого они веса. Чорт их знает, какой у них вес. Толстой сказал, что наплевать, какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в малиновой пижаме здесь, в погребе.

Я уснул в хорошем настроении. Все-таки он состоялся, этот чортов конгресс, как ни интриговали против него.

Все идет хорошо.

5 ИЮЛЯ

Сегодня выступали Жюльен Бенда, голландский писатель Брауэр, Малькольм Коулэй, аргентинец Гонсалес Туньон, мексиканец Мансисидор.

Анна Зегерс говорила о немецких писателях, которые потеряли свою родину и нашли ее в окопах Мадрида, среди немецких бойцов интернациональных бригад.

Толстой говорил о свободе и культуре.

Он сказал:

— Никогда человечество не променяет свободу освобожденного труда на трудовые лагеря фашизма. Мамонты и носороги, пещерные медведи были, казалось, куда как могучи. В пиренейских пещерах гений человека оставил бессмертное изображение побежденного им мира чудовищ. Разве это одно не дает нам повода для великого оптимизма? Говорят, что большое искусство не совпадает с революционными эпохами. Искусство, отражающее горечь разочарования, искусство мечтательности, не находящей себе приюта в этой жизни, негативное искусство до сих пор как будто совпадало с временами социально-

го и политического затишья... Но то было. Это дела минувшие. Сокровища искусств и гуманитарная мысль — наше наследство... Мы — поколение великого рубежа, когда старый мир перед тем, как рухнуть навсегда, огрызается, как матерый волк, на четыре стороны. Мы строим искусство революции, искусство нового человека. Пусть оно покажется изощренным людям Запада еще сырым, технически несовершенным, но в нем кипит и бьется освежающей влагой новый гуманизм. Оно поднято массами. Оно их искусство. Оно человеколюбиво. И наши читатели именно во имя величия понятия «искусство» лишили, например, такого стилиста, как Андрэ Жид, звания народного писателя. Советское искусство реалистично, как земля под ярким солнцем, это искусство реалистично, как та суровая женщина, идущая по борозде, героично, как боец, отдающий жизнь за счастье родины, оптимистично, как молодость, это искусство всенародно потому, что оно создается творческими импульсами народных масс.

6 ИЮЛЯ

Большим караваном конгресс переехал сегодня из Валенсии в Мадрид. В пути одна машина, в которой ехали Мальро, Эренбург и Кельвин, наскочила на грузовик со снарядами. Чуть не случилась катастрофа.

В деревне Мингланилья делегаты обещали у крестьян. Разыгрались трогательные, горячие сцены братания. Вечером, у Мадрида, в саду на окраине города, адъютант генерала Миахи встретил и приветствовал конгресс.

Взволнованные, нервные, писатели расположились в пустынном отеле «Виктория», кое-как приведенном в порядок ради такого особого случая.

Ночью гремели пушки. Конгресс не спал, люди слонялись из комнаты в комнату, тревожно прислушиваясь. Но пушки гремели свои: вчера республиканские войска прорвали фронт у Вильянуэва де Каньяда, они атакуют Брунете и Кихорну! В радостный день мы приехали сюда.

7 ИЮЛЯ

С утра конгресс заседает в зале «Аудиториум». Мадридцы посрамили суматошную Валенсию, они все очень толково и дельно организовали. Обстановка работы здесь другая, подтянутая, четкая, менее официальная, более революционная. На местах для публики много военных, бойцов и офицеров, испанцев и интернационалистов. Делегаты отыскивают своих земляков, радостно беседуют, отдают подарки, сигареты, одежду, продовольствие.

Утром выступали Рене Блэк, аргентинец Утурбуру, чилиец Ромеро, Вилли Бредель, Всеволод Вишневский, Владимир Ставский, Людвиг Ренн, Нордаль Григ.

В середине заседания в зал вдруг вошла делегация из окопов, с известием о взятии Брунете и со знаменем, только-что отнятым у фашистов. Началось неопишное ликование.

Я совершенно не вижу Мадрида. Проношу по улицам на автомобиле и не успеваю ничего заметить — изменился ли город за эти месяцы?

В вечернем заседании большинство ораторов говорило по-испански. Его поэтому перенесли в огромный зал кино «Гойя», чтобы мадридцы могли послушать.

Председательствовала Мария Тереса, очень торжественная и трогательная. Она предоставила слово командиру дивизии и члену писательской альянсы Густаво Дюрану, а затем мне.

Я волновался — впервые пришлось произносить большую речь на испанском языке.

Я сказал:

— Направляясь на этот конгресс, я спрашивал себя, что же это в сущности такое: съезд дон-кихотов, литературный молебен о ниспослании победы над фашизмом или еще один интернациональный батальон добровольцев в очках? Что и кому может дать этот съезд и дискуссии людей, вооруженных только своим словом, что они могут дать здесь, где металл и огонь стали аргументами, а смерть — основным доказательством в споре?

— С самых древнейших времен, как только возникло искусство мысли, выраженной в слове, до сегодняшнего дня писатель спрашивает, кто он — пророк или шут, полководец или барабанщик своего поколения? Ответы получались всегда разные, иногда триумфальные, иногда уничтожающие. В той стране, в которой мы сейчас находимся, в Испании, писатели познавали и обиды, унижения, и высшие почести для себя самих и для своего ремесла. Есть страны, где писателей считают чем-то в роде гипнотизеров. Есть одна страна, где писатели участвуют в управлении государством, — как, впрочем, и кухарки, — как, впрочем, и все, кто работает руками или головой.

— Если писатели испытывали много обольщений и заблуждений в оценке своей роли в обществе, то этому отчасти виной особый характер их профессии. Труд литератора, его продукция почти никогда не бывают анонимны. Имя автора, его индивидуальность, хотя бы самая ничтожная, служит официально предметом вопроса публики и входит неотъемлемым элементом суждения о качестве книги. Когда рабочий производит, например, спички, или крестьянин зерно, то он может вложить в свою работу всю свою индивидуальность, все свое личное умение, всю душу, и все-таки плод его творчества будет анонимен, это будет просто спички или зерно. Если писатель произвел хотя бы десять, хотя бы бесцветных, хотя бы бессодержательных и небрежных строк, — он подписывает их своим именем, и это считается нормальным, это почти обязательно, и чем меньше строк написано, чем меньше они могут сказать, тем более необходимой становится под ними подпись автора.

— Отчасти это и создало у писателей разных эпох и разных народов ложную теорию «выражения», каковая теория, меняя свой облик и терминологию, всегда сводилась примерно к тому, что писатель имеет внутри себя, может быть, где-нибудь между печенью и почками, какую-то таинственную железу, которая, словно «философский камень» старых алхимиков, сама по себе произво-

дит драгоценное вещество — литературу. Согласно теории «выражения», вся задача писателя в том, чтоб найти наибольшую силу в расшифровке себя самого, для чего поглубже уйти в себя же, отгородиться от посторонних влияний, дать чудодейственной железе выработать свой сироп искусства.

— Я склонен думать, что в этом зале, на этом конгрессе нет людей, с которыми нужно спорить по поводу теории «выражения». Творческий и общественный путь каждого из здесь присутствующих, прежде чем он привел его сюда, в героический антифашистский Мадрид 1937 года, давно избавил его от таких иллюзий. Мы с вами давно убедились и проверили тысячу раз, что наши писательские чувства и настроения рождаются не изнутри, а выражают состояние умов народов и классов, их устремлений и надежд, их разочарований и гнева.

Наш прекрасный друг Ромэн Роллан выразил это окрепшее чувство связи писателя с обществом в следующих словах:

«Новое здесь не то, что великие художники — предвестники — воспевают солнце до его восхода, а то, что день, наконец, занимается, что переброшен мост между мечтой искусства и социальным действием. Сейчас мечта искусства не соткана больше из одного только предвидения: она создается из материальной жизни. Она осуществляется в реальности. У нас появилось новое, никогда не изведенное чувство безопасности. Мы больше не люди, идущие по воде. Когда Вагнер создавал своего «Тристана», он не надеялся когда-либо найти в Европе публику, которая могла бы его слушать и понимать, и писал, говорят, для воображаемой публики Рио-де-Жанейро... Гении искусства были вынуждены создавать себе одновременно с передовыми произведениями иллюзию — предвидение будущего народа, который узнает в этих произведениях свою песню. Теперь этот народ есть. Мы больше не одни. Мы творим сообща. Даже если роль большого художника всегда будет заключаться в том, чтобы опережать су-

ществующую стадию, видеть полноту того, что в данное время только намечается, он все же принадлежит к тому же веку, что и другие бригады работников. И все они вместе строят по одному плану, как некогда народы строили соборы».

— Какова в нашу эпоху норма поведения честного писателя, сознающего свою связь с обществом и своим классом? Как он лучше может служить трудящимся?

— Нужно ли давать советы машинисту поезда или развлекать пассажиров, чтобы заставить их терпеть длительность путешествия? Или же выскочить из вагона и толкать поезд на крутом подъеме?

— Вы знаете, что темперамент и искренность целого ряда писателей-антифашистов привела их к прямому участию в этой гражданской войне в роли добровольцев. Одни еще у себя дома заперли в шкаф свои рукописи и отправились сразу бойцами интернациональных бригад испанской народной армии. Другие приехали сюда с благими намерениями смотреть и писать, но, увидя войну, увидя опасность для испанского народа, прервали литературную работу и взялись за оружие.

— Об этом идут споры: как должен проявить себя писатель в соприкосновении с гражданской войной в Испании? Конечно, правы те, кто доказывает, что писатель должен драться против фашизма оружием, которым он лучше всего владеет, т.е. своим словом. Байрон больше сделал своей жизнью для освобождения всего человечества, чем своей смертью для освобождения одной Греции. Но есть моменты, когда писатель — я говорю о некоторых — вынужден сам стать действующим лицом своего произведения, когда он не может довериться вымышленным, хотя бы даже им самим, героям. Без этого прерывается нить его творчества, он чувствует, что герои его ушли вперед, а сам он остался позади. Но, конечно, писатели должны участвовать в борьбе прежде всего как писатели.

— Наш друг Людвиг Ренн на Гва-

далахаре шел под огнем итальянских пулеметов впереди первого ряда германских антифашистов, командовал с карандашом в руке. Но пленные германские летчики-фашисты признавались, что по всей немецкой эскадрилье в Севилье, как запретный плод, ходит по рукам книга Людвиг Ренна «После войны». Многие из нас должны последовать примеру Андрэ Мальро, который дал испанскому народу антифашистскую эскадрилью, а теперь дает антифашистский роман.

— Но, чтобы помочь этому народу, вовсе не обязательно драться на фронте или даже приезжать в Испанию. Можно участвовать в борьбе, находясь в любом уголке земного шара. Фронт растянулся очень далеко. Он выходит из окопов Мадрида, он проходит через всю Европу, через весь мир. Он пересекает страны, деревни и города, он проходит через шумные митинговые залы, он тихо извивается по полкам книжных магазинов. Главная особенность этого невиданного бэвого фронта в борьбе человечества за мир и культуру — в том, что нигде вы не найдете теперь зоны, в которой мог бы укрыться кто-нибудь, жаждущий тишины, спокойствия и нейтральности.

— В течение одного последнего месяца я видел в Европе людей, именовавших себя материалистами и ультра-левыми революционерами, которые доказывали необходимость компромисса с Гитлером, я видел католических священников-басков, которые вместе с войсками своего народа, рядом с коммунистами, шли в атаку на итальянские фашистские легионы, получившие благословение Ватикана.

— Республиканцы, анархисты, марксисты, католики, просто беспартийные люди — всем есть место в рядах борцов против общего врага — фашизма. Нет места только тем, кто хочет или верит в какую-нибудь возможность компромисса с этим врагом. И здесь, как бы глубоко ни была запрятана мысль о капитуляции или сговоре, какими сложными политическими, философскими или художественными построениями она ни была бы прикрыта, — все равно она

выйдет наружу, все равно она разоблачит себя.

— Скажите сто тысяч слов о чем угодно, хвалите, критикуйте, восторгайтесь, плачьте, анализируйте, обобщайте, приводите гениальные сравнения и потрясающие характеристики, — все равно — такова логика нашего времени — вы должны сказать фашизму «да» или «нет»!

— Мир между народами стал неделим, и неделима стала борьба за мир народов. Для нас, людей, принявших Сталинскую Конституцию, достаточно далеки и американский, и французский, и даже испанский парламентаризм. Но мы считаем, что все это стоит по одну сторону черты. По другую сторону стоят гитлеровская тирания, бездушное властолюбие итальянского диктатора, троцкистский терроризм, неутолимая хищность японских милитаристов, геббельсовская ненависть к науке и культуре, расовое исступление Штрейхера.

— От этой черты негде спрятаться, негде укрыться, ни в первой линии огня, ни в самом глубоком тылу. Нельзя сказать: «я не хочу ни того, ни другого», как и нельзя сказать: «я хочу и того, и другого», «я вообще против насилия и вообще против политики». Менее всего это может сказать писатель. Какую книгу он ни написал бы, о чем бы она ни была написана, — читатель в нее проникает до самых потаенных строк и найдет ответ: «за» или «против».

— Лучше всего эта истина подтвердилась на примере Андрэ Жида. Выпущая свою книжку, полную грязной клеветы на Советский Союз, этот автор пытался сохранить видимость нейтральности и надеялся остаться в кругу «левых» читателей. Напрасно! Его книга сразу попала к французским фашистам и стала, вместе с автором, их фашистским знаменем. И, что особенно поучительно для Испании, — отдавая себе отчет в симпатиях масс к Испанской республике, опасаясь навлечь на себя гнев читателей, Андрэ Жид поместил в глухом уголке своей книги несколько невнятных слов, одобряющих Советский

Союз за его отношение к антифашистской Испании. Но эта маскировка не обманула никого. Книга была перепечатана целиком в ряде номеров главного органа Франко «Диарио де Бургос». Свои узнали своего!

— Потому мы требуем от писателя честного ответа: с кем он, по какую сторону фронта борьбы он находится! Никто не вправе диктовать линию поведения художнику и творцу. Но всякий, желающий слыть честным человеком, не позволил себе гулять то по ту, то по другую сторону баррикады. Это стало опасным для жизни и смертельным для репутации.

— Вы знаете, что для нас — писателей Советской страны — проблема роли писателя в обществе уже давно решена совсем иначе, чем в странах капитализма. С того момента, как писатель сказал «да» своему народу, строящему социализм, он становится полноправным передовым создателем нового общества. Своими произведениями он непосредственно влияет на жизнь, толкает ее вперед и меняет ее. Это делает наше положение высоким, почетным, но трудным и ответственным. Наш писатель Соболев сказал, — и в этом есть доля правды, — что Советская страна дает писателю все, кроме одного: права плохо писать. Рост нашего читателя обгоняет иногда рост писателя. Автору нужно напрягать все умственные, творческие силы, чтобы не оказаться позади своих читателей, не потерять их доверия и просто внимания.

— Мы не променяем наше положение ни на какое другое более легкое место. Мы горды своей ответственностью и трудностями, которые испытываем, потому что еще никогда в истории писателю не была доверена народом более высокая честь — при помощи и содействии государства воспитывать искусством десятки миллионов людей, формировать душу человека свободного, социалистического общества.

— Сталинская Конституция — этот величайший документ в истории освобождения человеческой личности — открывает новые огромные творческие возможности для писателя. Нам надо бу-

дет сделать все, чтобы оказаться на высоте этих возможностей.

— Здесь, на конгрессе, есть люди, которые удивляются решимости, с которой мы, советские писатели, поддерживаем твердые и беспощадные меры нашего правительства в отношении изменников, шпионов и врагов народа. Они полагают — не следовало ли бы нам, хотя и хорошим советским патриотам, но мирным и безобидным деятелям пера, — предоставить это дело суровым органам власти, а самим отойти в сторону, не путаться в это дело или хотя бы помолчать о нем, а не говорить во весь голос на страницах нашей печати. Нет, коллеги и товарищи, это дело нашей чести!

— Дело чести советских писателей быть в первых рядах борьбы против изменников и шпионов, против всяких покушений на свободу и независимость нашего народа. Мы поддерживаем и ценим наше правительство не только за то, что оно справедливо и ведет страну к изобилию и счастью. Мы ценим его и за то, что оно сильно, за то, что рука его не дрожит, расправляясь с врагом.

— Максим Горький сказал: «Если враг не сдается, — его уничтожают». Почему можно драться с Франко, когда он вступил на испанскую землю с иностранным легионом, с марокканской пехотой, с германской авиацией, и почему нельзя было этого сделать раньше, когда тот же Франко только еще готовил свое нападение? Сколько сотен тысяч человеческих жизней было бы сохранено в Испании, сколько сотен миллионов патронов, сколько тысяч снарядов и авиационных бомб не совершили бы своего смертоносного дела, если бы в надлежащий момент военный суд и взвод солдат уничтожили бы заговор генералов-предателей!

— Наша страна полностью застрахована от авантюры больших и маленьких Франко. Она застрахована своей бдительностью и решимостью, застрахована тем, что при первом же шаге троцкистских Франко им преграждают путь органы советской безопасности, их карает военный суд при поддержке всего наро-

да. Ради мирного социалистического труда наших городов и деревень, ради спокойствия наших жен и матерей, ради беззаботного смеха наших детей, чтобы им никогда не угрожали бомбы иностранных воздушных бандитов, ради расцвета культуры и творчества нашего и братских нам народов мы, советские писатели, всегда готовы сами, выполняя приговор суда, поднять винтовку и уничтожить троцкистский авангард фашизма и капиталистической реставрации.

— Нужно ли раз'яснить позицию советских писателей, как и всего нашего народа, по отношению к борьбе с Испанией? С гордостью за нашу страну мы, советские писатели, повторяем слова Сталина: «Освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего передового и прогрессивного человечества».

— Мы горды этими словами не только потому, что они сами явились авторитетнейшим призывом ко всему честному, что есть в мире, поддержать испанский народ, но еще потому, что когда наш Сталин говорит, то это не только слова, но и дела. Это знает наша страна, это знает Испания.

— Антифашистский характер и состав участников нашего конгресса освобождает от надобности говорить его делегатам о необходимости борьбы с фашизмом. Но сама эта борьба, сама защита культуры от его злейшего врага не ведется еще достаточно энергично. Наша Ассоциация еще не убедила достаточно широкие круги писателей в широте своей базы и программы, в своей решимости и энергии в борьбе за оборону культуры. Нападение было всегда лучшей формой обороны. Гражданская война и победа народов России, диктатура фашизма в Германии и Италии, гражданская война в Испании сделали писателей этих стран борцами и соратниками своих народов в борьбе за их свободу и культуру. Писатели Франции, Англии, Северной и Южной Америки, Скандинавии, Чехословакии, члены нашего конгресса, спросите своих коллег и собратьев по ремеслу: чего они ждут?

Того, чтобы враг взял их за горло, чтобы у них было так, как здесь, когда германские бомбовозы и итальянская артиллерия громят красивый, чистый, веселый Мадрид? Ждут ли они, чтобы враг, вот так же подступил к Лондону, Стокгольму, к Праге?

— Я никогда не забуду страшных ноябрьских дней здесь, в Мадриде, когда писатели, художники, ученые, и среди них старые и больные, с детьми на грузовиках, покидали свои дома, свои студии и лаборатории, лишь бы не попасть в руки врага, лишь бы не сдать на расправу Гитлера—Муссолини—Франко. Тогда милиционеры Пятого полка, бойцы народной армии, некоторые из них малограмотные крестьяне, с заботой и любовью увозили их от опасности, как самое драгоценное, как золотой фонд страны.

— Мадрид обороняется от фашистского зверя. Он окровавлен, измучен, этот чудесный город, но он свободен и даже оказывает нам, писателям всего мира, свое благородное и скромное гостеприимство.

— Но опасность для Мадрида еще не миновала. Половина Испании вытоптана сапогами фашистских завоевателей. Они пробуют идти дальше, они пойдут, если их не остановят. Преступное бездействие и так называемое невмешательство будут и дальше поощрять их озверелую наглость. В Эндеей, у испанской границы, я видел пограничные знаки Французской республики, исцарапанные пулями германских пулеметов. Фашизм хватается мир за горло. Наступают решающие исторические часы.

— Писатели и все честные интеллигенты мира! Займите свои места, подымите забрала, не прячьте своих лиц, скажите «да» или «нет», «за» или «против»! Вы не укроетесь от ответа. Отвечайте же скорее!

— А тебе, благородный и трогательный испанский народ, тебе, окровавленный рыцарь печального образа, тебе — наше восхищение и любовь, тебе — наши мысли и силы. Мы будем с тобой, и так же, как и ты, мы верим, что твоя однажды разогнувшаяся спина никогда больше не склонится перед угнетателем.

что ты никогда больше не дашь погасить светильник твоей свободы. На гербе Дон-Кихота Сервантес написал: «Post tenebras spero lucem» — «После тьмы надеюсь на свет».

... Бледного, исхудалого Густава Реглера вывели под руки и усадили в кресло. В мертвой тишине, тихим, но твердым голосом он прочел, на испанском языке, три листка:

— Удар — и сердце мое замерло. Исчезла куда-то Испания, все погрузилось в мрак безымянной ночи. Но скоро ко мне вернулось сознание, и я вновь увидел перед собой настоящую Испанию. Шесть бойцов в голубых рубашках хлопотали вокруг меня в лесу. Один держал мою руку, другой поддерживал мою голову так, чтобы солнце освещало мое лицо. Третий ласково гладил мои ноги, другой пытался дрожащей рукой найти под разорванной одеждой место, откуда течет кровь, чтобы ее остановить. Они все напереерыв старались меня успокоить:

«Ничего, товарищ, ничего».

— Издали доносится свист нового снаряда. Бойцы наклоняют головы и под шум пронесшегося мимо снаряда продолжают повторять свое: «Ничего, товарищ, ничего».

— Они стараются успокоить раненного, залитого кровью товарища. Они заклинаят смерть, которая хочет проникнуть в мое тело. Они образуют вокруг меня стену, над которой пролетает ревуший снаряд. Вот та Испания, которая может побеждать смерть, ибо ее вера сильна. Эта Испания должна явиться образцом для всего мира.

— Вот боец из Университетского городка, который после ожесточенного боя отказывается от отдыха, пока он не уберет в безопасное место своего раненого товарища. Вот жители Куатро Каминос, они не побоялись бомбардировки, они бросились подбирать жертвы, находившиеся под развалинами домов.

— Этому народу мы обязаны укреплением нашей веры в пролетариат.

— Сейчас, в присутствии лучших испанских и международных писателей, я хотел бы обратиться к отсут-

ствующим, к колеблющимся, к тем, которые полагают, что возможна политика нейтралитета и невмешательства в настоящий момент, когда испанский народ вступил в решающую фазу борьбы за свободу мира.

— Мы должны сказать этим отсутствующим или колеблющимся писателям, что нельзя говорить с врагами народа, с людьми, которые этой ночью бомбардировали гражданское население Мадрида. Колеблющимся я должен сказать, что испанский пролетариат — уже не тот слабый мальчик, каким он был раньше, что он уже научился собственными силами защищать свои права, обеспечивать свое будущее. Вы должны встать рядом с ним. Поэтому мы все теперь испанцы. Нет другой борьбы, нет другого решения... Все для Испании, товарищи!

Андрэ Мальро выступал последним. Жаркие овации сопровождали его речь. Он говорил о международной солидарности рабочих.

8 ИЮЛЯ

Утром выступали Эгон Эрвин Киш, Мария Остен, Зигвард Лунд, Агния Барто, Дени Марион.

Бергамин все последние дни носил в руках и тербил новую книжку Андрэ Жиды. Затем он совещался с испанцами и южноамериканцами. В конце утреннего заседания он потребовал слова. Он сказал:

— Я говорю от имени всей испанской делегации. Я говорю также от имени делегации Южной Америки, писателей, которые пишут на испанском языке. Я надеюсь, что я говорю также от всех писателей Испании. Здесь, в Мадриде, я прочитал новую книгу Андрэ Жиды об СССР. Эта книга сама по себе незначительна. Но то, что она появилась в дни, когда фашисты обстреливают Мадрид, придает ей для нас трагическую значимость. Мы стоим все за свободу мысли и критики. За это мы боремся. Но книга Андрэ Жиды не может быть названа свободной, честной критикой. Это — несправедливое и недостой-

ное нападение на Советский Союз и на советских писателей. Это — не критика, это — клевета. Наши дни показали высокую ценность: солидарность людей, солидарность народа. Два народа спаяны солидарностью в дни тяжелых испытаний: русский народ и испанский.

Пройдем молча мимо недостойного поведения автора этой книги. Пусть глубокое презрительное молчание Мадрида пойдет за Андрэ Жидом и будет для него живым укором!

На этом закончились мадридские заседания конгресса писателей.

(Продолжение следует)

Леся Украинка

★

СЛОВО

Слово, зачем ты не сталь боевая,
Та, что разит, и свистя, и сверкая?
Было бы ты беспощадно, как меч,
Головы вражки снимающий с плеч!
Гордость моя, закаленное слово,
Я тебя вырвать из ножен готова!
Только ты ранишь меня. не его, —
Темного, злого врага моего.
Все ж я готовлю оружие к бою:
Чищу, вострю его твердой рукою,
Чтобы повесить потом на стене —
Всем на утеху, на горе лишь мне.
Слово, пускай мы бедны и тонимы,
Вместе погибнуть с тобой не должны
мы.

Станешь ты лучшим из лучших
мечей —

Страхом и гибелью для палачей.
Звякнет клинок по кандалным
затворам,

Смерть принесет коронованным ворам,
Встретится с блеском свободных
мечей,

С гулом других, не тюремных речей.
И земляки в ожидании боя,
Примут оружие мое дорогое.
Слово мое! послужи землякам
Лучше, чем служишь ты слабым
рукам!

*Перевела с украинского
Е. БЛАГИНИНА.*

★

★ ★ ★

Когда бы кровь моя отхлынуть так
могла,
как те слова.

Когда бы жизнь моя
могла бы так таинственно погаснуть,
как свет вечерний.

Кто мне дал наказ
стоять на-страже средь руин печаль-
ных?

Кто возложил мне долг святой на
плечи

будить усопших, потешать живых
калейдоскопом радостей и горя?

Кто подарил мне гордости огонь
и обоюдоострый меч отваги?

Кто звал поднять воинственное знамя
стремлений, песен, непокорных дум?

Кто приказал мне:

Не бросай оружия!

Не отступай, не падай, не сдавайся.

И почему я слушаюсь приказа

и не решаюсь бросить поле чести?

И почему я не решаюсь грудью

На свой же меч упасть в минуту
муки?

И что мешает мне промолвить

просто:

— Да, ты, судьба, сильнее. Поко-
ряюсь.

И почему, едва лишь вспомню эти

покорные слова, как чую силы,

и крепко, крепко стискивают руки

невидимое никогда оружие?

Перевела с украинского

МАРГАРИТА АЛИГЕР.

★

★ ★ ★

Зачем я не могу подняться в небо,
на самые высокие вершины,
где розовое лунное сияние
просвечивает маленькую тучку?
Я видела, как тучка та родилась;
как поднялась из горного потока
туманом белым, облаком бесцветным,
и тихо поплыла по-над водою,
обрывами, ущельями, к вершинам
так медленно, как будто через силу.
Она плыла, неловко задевая
за гребешки и за вершины сосен,
за голые суровые уступы,
за курени карпатских лесорубов
и чабанов, дымящие в долинах.
Так шла она с упорством человека,
с усилием всходящего на гору.
И поднялась. И стала на вершине.
И глянула на месяц восходящий,
как девушка, лукаво. И внезапно
чудесным, ясным светом озарилась
и сразу стала легкой и прозрачной,
мечтою чистой. Кто узнает в ней
тяжелую, бесцветную, сырую,
с усилием ползущую по склонам,
промозглую, бесформенную тучу?

О горы, горы, золотые пики!
Что к вам меня неудержимо тянет?
Зачем я так мучительно люблю вас?
Неужто мне не суждено добраться
на ваши заповедные высоты?
Но, если в жизни лишена я

крыльев.

чтобы парить орлицей над горами,
то мне последний остается путь.
Пускай из сердца моего рванутся
горячие несдержанные слезы,
источниками животворной влаги
сбегутся в ослепительный поток.
Пусть из него душа моя возникнет
туманом белым, облачком бесцветным,
с трудом великим, с тягостною мукой
упорно поддаваясь в вышину,
на самую высокую вершину,
манящую глаза мои и мысли,
куда мечтами можно лишь добраться.
И кто там знает, может, дух мой
бедный,
как жалкая и маленькая тучка,
на высоте бы сразу стал прекрасен,
просвеченный нагорным, чистым светом.

*Перевела с украинского
МАРГАРИТА АЛИГЕР.*

★

Апрель

РАССКАЗ

ВЛ. ЛИДИН

★

Ночь была полна шорохов, звуков, тревоги весны. Деревья, разбуженные первым движением соков, стонали в темноте. Ветер раскачивал их над знакомой охотничьей тишиной чернотропья. А весна дышала, трясла стекла в доме, с гулом перекатывалась по вершинам деревьев, строгала воду в реке.

Товаровед книжной базы Иван Поздняков, заночевавший у лесника, выходил, слушал ночь. Его длинное, жилистое тело было напряжено, ветер прохватывал плечи под накинутой меховой курткой. Товаровед выбрался сюда, как обычно, на выходной день, чтобы растянуть его, налить до краев весной, радостями охоты, блаженной усталостью. Он был книголюб, любил по прочитанным книгам охоту, его длинное тело томилось весной в пыльной тишине склада с его книжными полками. И он не столько убивал, сколько бродил, нюхал воздух, слушал тревожные звуки весны. Лесник Егор Егорович считал его несостоящим охотником, городским человеком. Он шел на охоту, как на промысел, круто и по-медвежьему ставя сильные ноги, не любил эту излишнюю горячность, болтливость жадного до событий, приключений и охотничьих необычных дел спутника. Но был тот предан страсти, помнил сроки охоты, неукоснительно выкраивал для нее свободные дни, привозил хороших папирос, будоражил его сведениями из прочитанных книг, — из года в год по-приятельски начинали они вместе весеннюю охоту, окунались в весну, будили тишину леса первыми выстрелами.

Постояв, послушав ночь, товаровед

возвращался в жаркую тишину лесного дома. Лесник спал, задрав бороду, сразу с вечера уснув, как свалился. Старый, закапанный черными пятнами пойнтер дремал, лясал во сне зубами, хватая приснившихся мух, — мухи первыми начинали весну в жарком доме. И товаровед опять на часок погружался в сон — сторожкий и полный предвкушения охоты. Его высокие болотные сапоги стояли, свесив набок голенища, как бы тоже отдыхая и готовясь к предстоящему дню.

Лесник проснулся первым и разбудил гостя. Тот лежал, откинув маленькую, с зачесанными височками голову, выставив жесткое адамово яблоко, казалось, застрявшее в жилистом его горле. За окном было еще сине — едва наливался рассвет, самый таинственный и полный первых лесных голосов час охоты.

— Ну, Иван Ипполитович, кончай трубить, — сказал он густым со сна голосом. — Время, брат, не ждет.

Товаровед прервал на самой высокой ноте сон, перекинул с постели свои длинные ноги, еще с минуту подремал и вернул себя к жизни. Они выпили приготовленное с вечера молоко, опоясались патронташами, перекинули через плечо все охотничьи доспехи — ружья, сумки и флаги — и уже четверть часа спустя зашагали в синеву едва пробужденного утра.

— Тебе, Егор Егорович, этого дела не понять, — говорил товаровед одушевленно. — Ты — лесной человек, в лесу живешь... тебе все это в привычку, обычное дело. А наш брат от одного воздуха пьяным становится... чорт-е-что:

идешь, земля под тобой жвакает, давится... соки в деревьях бродят, — кажется, услышать можно... всякая птица, зверюга — все это копошится, доказывает, беспокоится, как бы чего не пропустить... красота! Мы там за нашими книгами ничего этого не слышим, живем отвлеченно... а ты — счастливый, брат, тебе это изобилие само в окно лезет!

Он шагал, длинный, жилистый и восторженный. Какой-то лисий трух торчал на самой макушке его маленькой головы, ноги в болотных сапогах со вкусом чавкали по грязи, ружье за плечом казалось приданным для украшения книжного этого и не способного к настоящей охоте человека. Лесник шел по медвежьему, равнодушный к восторженным речам, ко всей этой городской бывальщине, изблещавшей нестоящего охотника. Утки прилетели дня четыре назад, и на реке в бочажках должно быть невиданное оживление, гогот селезней, всплески нырков, весь этот первый беспокойный азарт прилета.

— Мне вот, брат, сорок шестой пошел, — продолжал товаровед, — и я эти годы на своем деле очень даже чувствую. За день налазаешься по книжным полкам, понюхаешь пыли — к вечеру и ноги, случалось, опухнут, и голова совсем кругом идет. А на охоте двадцать верст могу отмахать, и никакой у меня усталости нет, и все это мне нипочем... Воздух, брат, простор, весна, чорт-е-что в природе делается!

— Ты, Иван Ипполитович, того... потише, — сказал лесник с неудовольствием, — птица, знаешь, человеческого шума не терпит.

Он любил тишину, твердый шаг, направление к цели, — говорливость спутника, как обычно, мешала. Товаровед замолчал, и они пошли молча, уже перешагнув за рубеж человеческого жилья, — там, где начинался лес, сторожкий, полный звуков, напряжения, первых трепетных сил, побежавших от корней по стволам, в ветви... Апрель, ломкий, неверный, то гнавший крупу, мокрый снег, то вдруг по-летнему наполнявший белизной ленивые крутые облака, дышал на прогалинах, облысевших на солн-

це. Весна была ранней, полной первого могучего движения сил.

— Опять же, Егор Егорович, добыча... для тебя это дело привычное, набил, принес к дому — и ладно. А ты вот почувствуй, как наш брат с ней в Москву возвращается. Идешь утром по улицам, весь ты в грязи, пропах лесом. А из сумки птицы, разные там утки, чирки головы свешивают... и сам ты какой-то нездешний, с тайной. А ведь охотничья тайна — особая, брат... тут не в одной сноровке дело, а в том, что у тебя с природой свой разговор. — Товаровед опять воодушевился, сдвинул трух, позабыл об охоте. — И весь день с этой самой тайной ходишь... и по лесенкам лазаешь, и книжки листаешь, а все это у тебя перед глазами стоит.

Лесник шагал впереди, не отвечал, ждал, когда слетит с человека эта не ко времени и не к месту болтливость.

— А главное, — продолжал товаровед, поспевая за ним, — всего этого нанюхаться, надышаться, устать... это, брат, крепче всякого вина, хочешь знать!..

Лесная река залила луговины, бочажки с камышами были уже густо полны птиц.

— Ну, Иван Ипполитович, давай разойдемся, — сказал лесник, довольный, что теперь тот не будет возле него суесловить. — Ты иди левой стороной, а я правой в обход. Там сойдемся.

Он подтянул сапоги, поправил ремень ружья и зашагал в сторону. Товаровед постоял, посмотрел вслед его медвежьей развалке. Тусклая вода поблескивала между камышей. Далеко в стороне поднялись и потянули над разливом три утки. И товаровед двинулся в сторону этого весеннего, гогочущего, плескающегося, ныряющего в камышах птичьего изобилия. Его востренький носик жадно нюхал запахи оттаявшей земли, болотной сырости, пробужденных деревьев. Небо за лесом линяло, утрачивало ночную синеву, первые коронки облаков, похожие на петушиные гребни, обозначали наступление утра. Сейчас должны ожить эти полные птицей бочажки, утки и нырки начнут короткие перелеты над ними, селезни, красусья, будут обхаживать самок, — все это са-

мо просится в руки, живет, славословит весну. День лежал впереди, полный радостей предстоящей охоты.

Товаровед обогнул бочажок и пошел вдоль берега реки. Река текла, богатая водой половодья. Небо светлело, наливалось весной. А в бочажке что-то сыто булькало, шуршало, перебегало, — может быть, утки чувствовали человека, или водяные крысы охотились за рыбой. Товаровед вытер слезу, набегавшую от сырости утра, и стал всматриваться в камыши. Внезапно он услышал, как кто-то грубо ломает прибрежные заросли. Лохматая непокрытая голова человека показалась над ними, он шел напролом, отчаянно раздвигая руками кусты, ломая камыши. Товаровед взял было за ружье и вдруг узнал в человеке лесного сторожа Климова.

— Ты, Григорий Петрович, меня напугал, — сказал он, — куда это тебя валом валит?

Климов, маленький рябой человек, с нечесаной головой, по колени облепленный болотной травой, поглядел на охотника. Казалось, он сам не знал, куда его несет в этот предутренний час сквозь камыши.

— Товарищ Поздняков... — сказал затем он отчаянным голосом. — Баба моя раньше срока рождает! Мне бы лодку достать, на тот берег за фельдшером переправиться... Помоги, сделай милость... беги к моему дому, а я пока за лодкой смотаюсь. А то ведь баба одна, как есть.

— Что же, хорошо... я пойду, — сказал товаровед, подтягивая сапоги. — Отчаиваться тут нечего, доставляй скорей фельдшера.

Он поправил свой трех и заспешил к дому сторожа. А Климов, ломая камыши, чтобы сократить путь, побежал к переправе вызывать лодку.

Товаровед добрался вскоре до дома, пот тек по его лицу, ремень ружья резал плечо. Он отставил ружье в сторону, покашлял и взялся за ручку двери. Никогда он не видел, как рождает женщина, жил холостяком, знал одни свои книги. Что-то смутное и большое стояло в полутьме, тяжело ворочалось на скрипевшей кровати.

— Это я, Поздняков, — сказал он торопливо. — Григорий Петрович за лодкой побежал, просил меня около вас побывать... опасаться тут нечего, сейчас будет фельдшер.

Он взгляделся в темный угол и вдруг отчаянно покраснел, пот сильнее потек с его лба. Широкое белое лицо женщины было откинута в сторону, сплывшие пряди волос лежали на ее щеках. Глаза женщины вдруг остановились, как-то страшно округлились, несколько волнообразных движений, похожих на предсмертную судорогу, прошли по вздувшемуся ее животу. Товароведу показалось, что она умирает.

— Только не отчаиваться... только не отчаиваться, — забормотал он, стаскивая свой намокший трех, не зная, чем и как помочь женщине. — Отчаиваться тут нечего... сейчас будет фельдшер!

Он суетился, бормотал, старался отвлечь женщину от ее страданий. Необыкновенно далеко было до реки и до убежавшего Климова, и до колхозной лодки, в которой должны привезти теперь фельдшера, — и он затосковал в этом жарком доме, вдвоем с рожаящей женщиной, грузное тело которой ворочалось и передергивалось судорогами на постели. Вдруг долгий, похожий на волчий, вой потряс его ужасом, он даже прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть этого зрелища смерти. Потом все смолкло, слышно было только короткое, воспаленное дыхание женщины, какие-то новые и непонятные шорохи, таинственно родившиеся в тишине, и сейчас же тоненький и необычный звук раздался в тишине лесного дома... Звук был столь необычен, что товаровед даже приподнялся на цыпочки, вглядываясь в то, что произошло сейчас в этой утренней полутьме.

— Нет... это не может быть, — пробормотал он, пряча за спину руки. — Потерпите, пожалуйста... сейчас будет фельдшер!

Ему не ответили. Он пересилил себя и подошел ближе, попрежнему держа обе руки за спиной. Лицо женщины было мокро от пота, пот лежал в глазницах, крупными каплями стоял на лбу. А там, в ногах, белеющих в синеве утра,

что-то возилось, хмыкало, настаивало на своем, жило... И сейчас же вторично тоненький, необычный человеческий голос вдруг залился, захлебнулся, потребовал.

— Ребенок... — сказал товаровед вдруг и улыбнулся — так необыкновенно было появление третьего, живого, требовательного, уже жадно захлебывающегося жизнью, движением существа, — ей-богу, ребенок!

Надо было куда-то бежать, что-то доставать, действовать. Но он стоял у постели со своими взмокшими височками, растерянный и пораженный всем этим случившимся на его глазах чудом. Потом, так же недоумевая, он достал из кармана нож и сделал то, про что читал только в книгах... Утро поднялось и осветило окно. Был тот ранний час, когда началась уже, наверное, на всех этих болотах и бочажках, и на разливе реки — жизнь. Стремительно и с писком носились первые кроншнепы, селезни с шумом слетали на приваду, и кувыркались и охорашивались все эти бесчисленные утки, нырки, чирки, кулички, готовясь к поре любви, к жизни. Но было для товароведа все это далеко теперь, отодвинутое необычным и таинственным делом, которому стал он свидетелем в это утро. И, так же дивясь и недоумевая, сделал он неумелыми руками все то, что полагалось сделать в эти первые и самые ответственные минуты.

Потом он вышел на крыльцо и закурил папиросу. Он жадно глотал дым, руки его со следами крови на ногтях дрожали. За рекой, по которой шла уже лодка с фельдшером, выпуклое, как человеческое сердце, поднималось солнце. Казалось, оно было полно теплой крови, живоносно обегая медным гляncем бочажки, стлыду воду между камышей, все это весеннее, обильное полноводье. И все загоралось, вспыхивало, теплело, отзывалось навстречу птичьими голосами, тревогой весны.

— Ну, Григорий Петрович, — сказал он затем подбежавшему Климову, — поздравляю тебя с сыном... пускай растет, утешает. Я этого чуда, брат, вовек не забуду.

Апрель, 1938.

Два часа спустя он уже шагал вдоль реки, высокий, жилистый и узнавший величайшую тайну. Это была тайна глубже всех охотничьих тайн, с которыми любил он обычно возвращаться в деловое, шумное утро в город. Лисий трех его был сдвинут на затылок, высохшие височки курчавились из-под него. Давно уже кончилась утренняя тяга, час охоты был потерян. Там, где сходились бочажки, и берег в гнездах стрижей круто обрывался над яром, он встретил, как условились они, лесника. Обвешанный дичью, убитыми птицами, в мокрых сапогах, перехлестнутых болотной травой, неспешно шагал тот в развалку.

— Ты что же это налегке, ничего не убил?... — спросил лесник удивленно.

— Я, брат, может, целую тысячу птиц убил... только не донесешь, — сказал товаровед счастливо.

Он пошел рядом с ним, жадно нюхая вздернутым носом весну, взбудораженный этим утром, пышностью величественного восхода солнца, походившего на человеческое сердце, рождением сына Климова, которого первым принял он и обмыл непривычными к обращению с младенцем руками... Ноги его шлепали, как попало, по размытой земле, дуло ружья торчало в сторону, улыбочка кривила бритые губы. А там, в камышах, опять сыто булькало, возилось, шуршало, — шло свое потаенное действие, совершались свадьбы, птицы и звери готовились к великому делу продолжения жизни. И оттого, что он шел налегке и ничего в это утро не убил, счастливое чувство переполняло его и так же булькало в нем, как те таинственные пузыри на болоте, и жадно давилось весенней, ни с чем не сравнимой сытостью.

— Ну, селезней я тебе пару дам, не скучай, — решил подбодрить лесник незадачливого этого и болтливового обычно охотника. Но тот шел в стороне, чему-то улыбался и прищелкивал пальцами, синие губы его кривились, походка была танцующей. И лесник решил в душе, что это вовсе нестоящий и полный городской блажи и пустогу суесловия человек и никудышный охотник.

Сонет

ШЕКСПИР

★

То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой,
Дрожа, желтеет в веток голизне,
А птичий свист везде сменил покой.
Во мне ты видишь бледный край небес,
Где от заката памятка одна,
И, постепенно взявши перевес,
Их опечатывает темнота.
Во мне ты видишь то сгоранье пня,
Когда зола, что пламенем была,
Становится могилою огня,
А то, что грело, изошло дотла.
И, это видя, помни: нет цены
Свиданьям, дни которых сочтены.

Перевел с английского
Б. ПАСТЕРНАК

★

★ ★ ★

ВЕРЛЕН

★

Dans l'intermirable
Ennui de la plaine...

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

То выглядит бледно,
То медной латунию
Исчезнет бесследно
Во мгле новолуны.

Обрывками дыма
Со стертою гданию
Деревья в тумане
Пронесются мимо.

То выглядит бледно,
То медной латунию
Исчезнет бесследно
Во мгле новолуны.

Худые вороны
И злые волчицы,
На что вам и льститься
Зимой раз'яренной?

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

*Перевел с французского
Б. ПАСТЕРНАК*

★

Дело об игумене Парфении

А. ДЕРМАН

РОМАН-ХРОНИКА

(Продолжение ¹)

★

ГЛАВА X

МУЛЛА АБДУЛ ВААП ЧЕЛЕБИ

Кондараки не с пустыми руками являлся к губернатору. По прежним делам у него повсюду были «люди»; был «человек» и по соседству с Кизильташским монастырем, — деревни Камышлы мулла Абдул Ваап Челеби. С ним Кондараки поспешил повидаться, как только заметил, что помещики заинтересовались пропажей игумена. Оказалось, мулла уже слышал о пропаже, но на предложение Кондараки помогать в этом деле ответил загадочно: «Ты — хороший человек. Губернатор — большой человек». И Кондараки понял, что, если губернатор даст ему поручение формальным порядком — мулла поможет, не даст — не поможет. С этим он и предстал перед генералом. Генерал почти прогнал его, — это правда, но генерал все-таки велел изложить письменно. Он это и сделал тотчас, как вернулся от него домой. И вот в руках Кондараки предписание губернатора отправиться в Судак для участия в розысках.

Не медля ни минуты, Кондараки выехал, но не прямо на место, а дав крюку, через Камышлы.

Мулле Абдул Ваапа и русские, и татары заочно называли мулла-бублик: при глубоко запавшем сухом рте громадный висячий нос крючком и загибав-

шийся вверх узкий подбородок с острым шильцем седины почти сходились. Такой же бублик, только очень большой, представляли собой его ноги, далеко расходящиеся в коленях при составленных вместе ступнях.

Мулле Кондараки всегда завидовал: в то время, как у него самого и хорошее дело срывалось, мулла и худое дело доводил до конца, получая пользу, а то и две, и три пользы.

Он никогда не суетился. В случае удачи не показывал радости, в случае неудачи — не печалился, мало говорил и вид всегда имел равнодушный и даже скучающий. И точно без его усилий, выходило само собой, что нужные ему люди возвышались, получали большую силу, а вредные — падали, исчезали. А ведь были у него враги, и какие! Камышловский хатип Суин Эфенди, мурзак Мусса Ширинский, сам кадий феодосийский Сеит Смаил, все их родственники. Хотели они посадить муллою в Камышлах своего человека, а Абдулу Ваапу уходить не хотелось. Победить таких врагов в открытой борьбе мог мечтать только бессмысленный ребенок. А мулла Абдул Ваап, ни с кем не советуясь, никому не угрожая, не похваляясь, с'ездил в Симферополь, повидался с губернатором и на вопрос, ручается ли мулла за татарское население его села, останется ли оно верным царю в случае, если поблизости появится неприятель, ответил, что ручается. Почти за всех ручается. И замолчал, глядя себе под ноги, как всегда глядел, с кем

¹ См. «Новый мир», кн. 7 с. г.

бы ни разговаривал. За слово «почти» губернатор уцепился, но ему стоило большого труда вытянуть из муллы имена тех, за которых он тоже ручался, но не совсем. Это и оказались камышовский хатип, феодосийский кадий, мурзак Ширинский и кое-кто из их родственников. Губернатор обрадовался, поблагодарил муллу, подарил ему тут же 50 рублей и отпустил с миром, сказав, что все останется в тайне. А вскоре враги муллы очутились в Курске, имущество же их, переходя из рук в руки, дошло до муллы-бублика и здесь застряло.

Когда татарская волна двинулась от крымских берегов в Турцию, в Феодосийском уезде долгое время оставалось все неподвижно. В Камышлах у муллы врагов тогда уже не было, — одни друзья. И самые большие друзья были те, у кого сады и табачные плантации находились по соседству с муллою. Им-то, по особой дружбе, мулла тайком давал советы, давал письма к верным людям в Стамбул, давал благословение, даже денег немножко дал, — и они первые поднялись и уехали навсегда из Крыма, а сады их и плантажи, которых в Крыму и по низкой цене тогда никто не покупал, перешли к мулле. И теперь владение муллы в Камышлах были тоже круглы, как бублик, только большо-ой, большой бублик. Однако мулла нисколько не бахвалился, понимая, что он тут не при чем, что все от бога, сохранил скучающий вид и ни в чем ни на вершок не менял своей жизни: по восемь лет носил одну и ту же шапку, кафтан шил из того же сукна, детей одевал скромно, старую жену тоже, молодую, новую, — делать нечего, — побогаче, ел и пил из старой посуды, гостей принимал, как и десять лет назад.

Отворив калитку, сколоченную из жердей, Кондараки взошел во двор. На лево тянулся забор из булыжника, направо высились две полукруглые башенки, от которых потянуло отхожим местом, прямо впереди, на пригорочке, стоял крытый черепицей длинный дом с верандой и с деревянными решетками в окнах. Справа к дому примыкал са-

рай для скотины, загороженный спереди жердями. Мулла, когда вошел Кондараки, сидел на веранде с длинной трубкой в плоских губах и, казалось, дремал, свесив голову. Но, когда заседатель приблизился, старик поднял голову и, обменявшись с гостем приветствиями, указал место рядом с собою и снова погрузился в дремоту. Нетерпеливый Кондараки, оглянувшись по сторонам, сразу заговорил о деле, но мулла тронул его за коленку:

— Ты — не заяц, я — не гончая. Не спеши.

Неделю назад, когда Кондараки посетил муллу, беседа между ними началась точно так же, как сейчас. Гость покорился и вздохнул. Легко сказать — не спеши.

Помолчав, мулла произнес точно про себя:

— Тензиле.

И тотчас на веранду вышла из дому старуха с закрытым наполовину лицом, с громадными черными глазами, в штанах, в грязном цветастом платье, и поклонилась гостю.

— Свари кофе, — приказал мулла.

Мелькая стоптанными папучами, при каждом шаге отстававшими от пятки, старуха прошла к концу веранды, огибавшей дом по двум стенам, и резким голосом, напомнившим крик ночной птицы, передала приказание мужа какой-то невидимой Шерфе. Потом ворочнулась и, прислонясь к столбу, уставилась на мужчин своими жуткими глазами. Минуту погода показалась игрушечная Шерфе, молодая жена муллы, маленькая татарка в зеленом с букетами фистане, с выступающим из-под него красным туманом, в новеньких зеленых папучах без задков на детских ножках. Если бы не мелкие кудерьки на висках — зулуф, которые бывают только у замужних, ее можно было принять за девочку. На голове у нее был щегольской фес с серебряным тепеликом на макушке, весь кругом в золотой бахроме, шевелившейся при малейшем движении. Видимо, ее это забавляло, — она как-то особенно вертела головой.

Шерфе тоже поклонилась гостю и спросила у старухи, куда подавать ко-

фе. И старуха, и мулла — оба враз грубо и сердито произнесли:

— Соба.

Шерфе исчезла, мелькнув бесчисленными ручейками крашенных косичек, игравших у нее по спине и по плечам.

— Не ссорятся жены? — поинтересовался Кондараки.

Старуха презрительно фыркнула, а мулла медленно произнес:

— Если курица клюнет глупого цыпленка, а цыпленок запищит, кто скажет: курица ссорится с цыпленком?

Потом, помолчав, добавил таким тоном, точно говорил о давно умершей женщине:

— Умная была Тензиле. Хозяйка была Тензиле.

Тензиле и выслушала похвалу не как живая, а как давно умершая: безучастно.

— Пойдем в комнату, — сказал мулла, подымаясь с войлока, на котором от долгого употребления отпечатался след его зада.

У порога двери, которая вела в собу — парадную комнату, — мулла оставил башмаки. Кондараки последовал его примеру с некоторым смущением по поводу несчастного свойства своих ног. Соба, довольно просторная, но с низким потолком, слабо освещалась двумя крошечными оконцами, завешанными кисейными занавесками. Весь пол застлан был домотканными коврами. На секе — небольших возвышениях, тянувшихся вдоль стен, — разложены были узкие матрасики в пестрых ситцевых чехлах со множеством миндер — подушек, а самые стены и весь низкий потолок сплошь были увешаны хыбрыс — узорчатыми полотенцами. По углам стояли сундуки, стопками возвышались сложенные наряды, на полочках поблескивала в полутьме начищенная медная посуда.

Хозяин с гостем уселись на подушках. Немного погодя бесшумно появилась Шерфе с подносом в руках. Быстрыми, скользящими движениями она сняла с гвоздя и поставила перед мужчинами круглую низенькую софру — столик, на софру — принесенный поднос с кофею и быстро, бесшумно исчез-

ла. Мулла тотчас поднялся, подошел к двери и, хотя Шерфе аккуратно ее за собой затворила, укоризненно покачал головой, притворил и притворил снова.

— Ну, что слышно? — спросил Кондараки по-татарски, как и все время до сих пор.

Абдул Ваап придвинул гостю чашку с крепчайшим душистым кофею, поднял глаза, старые, слезящиеся, как у больной собаки.

— В русской деревне у нас с тобой будет татарский разговор, — сказал он. — В татарской деревне — русский разговор. Что ты желаешь от меня слышать?

— Я желаю найти виновных людей.

— Человек — не птица. Человека всегда можно найти.

Когда мулла говорил, то казалось, что он играет бубликом: то сломает пополам, то из половинок сделает целый бублик.

— Ты туда ездил?

— Ездил. Там у меня родственники. В гости ездил.

— Что говорят про это дело?

— Про это дело так говорят: плюнь вверх — упадет в глаза; плюнь вниз — упадет на бороду.

— Почему так? Яснее говори.

— Я тебе скажу яснее: лошади подерутся — а захромает осел.

— Ага! — заволновался Кондараки. — Понял, понял... Но ты не беспокойся: от самого губернатора приказ: немедленно ехать в Судак искать.

— Бумага при тебе?

Кондараки вместо ответа с торжеством похлопал себя по карману.

Мулла с вежливой завистью языком поцокал:

— Сам губернатор? Это тебе большое счастье.

— Ну, так как же?

— От большого начальника бумага веселит глаза. Позволь и мне на нее полюбоваться.

Кондараки достал из кармана губернаторский приказ. Мулла отнес бумагу от глаз, сколько руки хватило, и, шевеля сухой ямкой запавшего рта, долго читал.

— Хорошая бумага. Твои дети, твои внуки будут радоваться.

— Значит, теперь можно искать...

— Твоя правда. Ну, хорошо, придется тебе помочь. Ты в Судак едешь? Поезжай с богом. Там все готово.

— Кто?

— Сеид Мамут.

— Байрахтар?

Мулла кивнул утвердительно. Гость с сомнением покачал головой.

— Байрахтара я знаю хорошо. Трудно с ним дело иметь. Ненадежный человек.

— Соловья в погребке не ищи. Мышку ищи. Крысу ищи. Байрахтара я тоже знаю. Пусть он начнет — потом дело само пойдет.

— Ненадежный человек, — продолжал упорствовать Кондараки.

— Ты меня послушай. Паси его на веревке: ходи, кушай, а далеко не заходи; далеко ушел — потяни за веревку. Глаза его деньгами корми. Понимаешь? — глаза. В руки не давай. В руки много дашь — глаза его ослепнут, видеть тебя перестанут.

— Пьяница он. Болтун. Из татар пьяница — последний человек, — не сдавался Кондараки.

— Последний — это от конца первый. Тебе такой нужен.

— Напьется — болтать начнет, хватать.

— Верно. А тебе какой вред? Если собака замычит, как теленок, — человек остановится, начнет слушать, а к лаю собаки все привыкли. Байрахтар — это мусор, пыль. Но умному и мусор гонится: собери в руку и засыпь глаза своему врагу.

— Боюсь, чтоб самому не засыпали.

— Твое дело. Боишься — поезжай домой, а бумагу верни губернатору.

— Нет, мулла, нет! — встрепенулся гость. — Но ты сам понимаешь: губернатор — это не шутка.

— Понимаю. Но если губернатор и большой поп перестали спорить, — я так слышал, — ты Байрахтара не бойся. Куда он пойдет? В один кабак, в другой кабак. Больше никуда не пойдет.

Кондараки задумался. Потом поднял голову:

— Чего я спорю? Ты умный человек. Раз ты советуешь...

— Будь покоен; и шашлык не подгорит, и вертел цел будет.

— Ты ему всё сказал?

— Я ему ничего не сказал. Я ему сказал: придут люди, будут искать. Что они будут искать? Ты не знаешь, я не знаю. Может быть, живого попа. Может быть, мертвого попа. Может быть, лошадь попа. Может быть, врагов попа. Ты не знаешь, я не знаю. Ты им будешь помогать? Он сказал — даром не буду. Это весь разговор.

— Ты ему меня не назвал?

— Ты сам ему себя назовешь.

— Хорошо. Правильно. Я ему скажу, что ты меня к нему послал.

— Скажи просто: по дороге я в Камышлы заехал. Больше ничего. Главное — не спеши.

— Ах, мулла, мулла! — горестно воскликнул Кондараки. — Хорошо тебе говорить «не спеши», а попробуй на моем месте... Я — маленький человек. Если губернатор посылает меня на это дело, так он ждет, что я вернусь, прямо из кармана достану преступников и положу перед ним. А если с самого начала окажется, что я не больше полиции знаю, то мне в шею дадут. Ты пойми! Мне уже туда надо приехать с козырем, а я с чего начну? С Байрахтаром торговаться?.. Ты туда ездил, ты с народом говорил, — дай мне в руки хоть что-нибудь!

— Постой, не горячись. Ты сказал — козырь. Извини — ты неправильно сказал. Я карты не знаю. Я знаю кости, я знаю шашки. Как начинают игру? Игру начинают наугад. Сделай ход. Сделай еще ход. Третий ход сама игра покажет. Приедешь ты в Судак. Тебя спросят — кто? Что ты скажешь? «Не знаю» тебе нельзя сказать...

— Вот про то я и говорю! — воскликнул Кондараки.

— Я тоже, — невозмутимо продолжал мулла. — Скажи: те люди, что с попом последнее дело имели, — кто эти люди? Это приказчик господина Стевена — Сейдамет его имя. Это приказчик сестры господина Стевена — Сеид Ибрам его имя. Это человек, которого тот

день в лесу видели, — Якуб Сале его имя. Их будут спрашивать, ты будешь слушать, ты будешь думать, ты будешь с Байрахтаром говорить. У тебя время будет. Пока начальство скажет: эти три человека не годятся, — у тебя уже будет новых шесть. Или бог тебе поможет, начальство скажет: эти люди годятся...

— Не скажет, — с неудовольствием прервал Кондараки. — Про стевенских приказчиков я узнавал после нашего разговора...

— Что же ты узнал?

— Говорят — люди солидные, всем известные.

— Я тоже узнавал.

— А ты что узнал?

— То самое, что и ты.

Гость всполошился, рукою задержал:

— Зачем же ты опять про них говоришь? Ведь я осрамлюсь!.. Ведь...

— Извини, если я медом перебережу твои слова. Я тебе сейчас сказал. Я тебе повторю, только немножко иначе. Когда начинаешь игру в шашки, то двенадцать шашек — двенадцать капель воды. Можешь надвинуть шапку на глаза и сделать первый ход. В середине игры ты смотришь на доску и говоришь: эта шашка хорошая, она в дамки идет. А эта шашка идет в нужник, она — худая шашка. В конце игры ты видишь: худая шашка прошла в дамки. Значит, какая она была? Она была хорошая. А где хорошая шашка? Она села в нужник. Значит, какая она была? Она была худая.

— Хуже нету наугад начинать, — в раздумье молвил Кондараки.

— Если бы все было, как тут, — раскрыл мулла желтую ладонь, — ты бы сидел дома, я бы не имел радости с тобой беседовать.

Они помолчали. Кондараки поднялся, вслед за ним поднялся, кряхтя, и мулла.

— О, аллах ик бар... Верно, дождь будет, поясница болит. Счастливого тебе пути... Извини, но позволь мне первому выйти, а ты немножко здесь посиди, пока я дойду до мечети, а тогда яди себе с богом. Компанией хорошо на свадьбе гулять. Ну, прощай.

ГЛАВА XI

КАПИТАН ОХОЧИНСКИЙ

В больших городах, в столицах, известность доставляют человеку его достоинство и таланты. В провинции человека прославляют его слабости. В Москве иль в Петербурге какой-нибудь Иванов может прожить долгую жизнь, умереть — и никто, даже соседи его по квартире, не будет знать, что за завтраком Иванов мог с'есть два десятка крутых яиц, между тем как в Чухломе или в Калязине он был бы известен решительно всем — от исправника до последней побирушки.

Свои достоинства и свои слабости отличали и корпуса жандармов капитана Охочинского. Живи он в Петербурге, он, вероятно, был бы у многих на виду, как искусный мастер розыскного дела, и в этом качестве — кто знает! — мог бы прославиться на всю империю. В Симферополе же он был известен всем, исключая небольшой круг должностных лиц, лишь слабостью своею к голубям. В этом было что-то трогательное, но для красавца-мужчины, да еще жандармского капитана, и нечто смешное. Присяжные остряки из общества упражнялись на его счет, придумывая прозвища вроде: «голубчик», «голубятник», «голубиный батька» и даже «голубок в голубом», что уже заключало нарек на цвет присвоенного Охочинскому мундира.

Все это было вполне невинно, однако же отдавало едва заметным душком неприличия. По этому поводу капитану пришлось даже иметь полуприватную-полуслужебную беседу со своим начальником, полковником Калимахи, которому, однако же, он напрямки заявил, что его силы и время принадлежат службе, но отречься от голубей ему душа не позволяет. Калимахи махнул рукой. И попрежнему город оставался свидетелем соблазнительных сцен, когда на парадном Охочинского смело звонился какой-нибудь оборванный цыганенок, прижимая к жалким своим отрепьям на груди трепещущего голубя. Или когда капитан, в ночной рубашке, заправлен-

ной в голубые рейтузы, стоя у себя посреди двора, длинной жердью и странными возгласами заставлял взлетать и кружиться стаи своих любимцев.

Первые шаги капитана Охочинского по части розысков в Судаке начались с того, что, усевшись за круглый стол с исправником Лагорио и становым Орловским, он безжизненным голосом прочел кое-что из дознаний своих предшественников.

«... Для какой надобности и когда была сделана «засада», — читал он из акта осмотра местности, составленного ассессором Безобразовым, — определить невозможно, но скорее можно назвать эту засаду охотничьей, так как вся местность дороги от Кизильташа до большей дороги к Таракташу представляет собою, судя по обрывам над дорогой и густоте леса и горам, большую опасность для проезжающих, в особенности ночью...».

— Вздор! Никогда ничего не случилось, — презрительно вставил Лагорио.

— «... Но Парфений выехал из Судака в 3-м часу пополудни, следовательно, встреченный на площадке злоумышленниками, легко мог повернуть лошадь назад и возвратиться в Таракташ или же пронестись по дороге дальше на своем ретивом коне...».

— Сопляк! — опять не выдержал исправник. — Книжонок начитался. Пишет, словно даме в альбом. Продолжайте, капитан, извините.

— «... Наконец, по всей дороге не нашлось никакого признака, дававшего повод думать об убийстве Парфения, несмотря на розыски нескольких сот человек несколько дней».

— Разрешите, господа, — перелистывая дело, предложил Охочинский, — огласить для порядку имеющиеся показания, вам, бесспорно, хорошо известные. Ограничусь краткими выдержками. В отзыве капитан-лейтенанта Стевена указано, что Парфений «был по замечанию всех видевших его несколько скупчен и задумчив». Касаясь причин исчезновения игумена, господин Стевен замечает: «Он был слишком религиозен в истинном смысле слова, чтобы лишить себя жизни самому. По моему крайнему

убеждению, он погиб насильственной смертью от руки убийцы...».

— Всеконечно! — громко перебил Лагорио.

Капитан поднял глаза на исправника и без особого, впрочем, выражения, но внимательно на него поглядел. Затем продолжал:

— «Вероятно, расчет найти при нем большие деньги был побудительной причиной злодейства».

— Вашему высокоородию, как лицу здесь новому, осмелюсь доложить, — сказал Лагорио, гулко прокашлявшись, — что для изложенных соображений господина Стевена ближайшим поводом, надобно полагать, послужили злонамеренные слухи о якобы самовольной отлучке игумена вследствие каких-то преследований его со стороны епархиального начальства.

Охочинский выслушал, вежливо склонив голову, и молвил тихо:

— Благодарствуйте. Я впрочем об этом наслышан. Перейдемте к другим показаниям. Авдотья Козинцова, служанка госпожи Рудневой, у коей отец игумен имел обыкновение останавливаться, показала так: «Во все время пребывания Парфения...». Какая небрежность, — вдруг прервал чтение капитан. — Заметьте, господа, в официальных бумагах повсюду «Парфений», «Парфений», словно речь идет о плотнике или сапожнике... «... во все время пребывания Парфения у нас я заметила его очень расстроенным, он все шутил, мало пил и ел, отзываясь, что ему что-то тяжело на сердце. Игумен был неустрашимого характера и смелся всегда нашему предупреждению быть осторожней ночью и вечером по дороге из Кизильташа в Судак, так как дорога эта представляет собою чрезвычайно угрюмую и страшную местность с оврагами, канавами, горами и чащею леса».

— Видно, самого ассессора лихорадка била, когда на место выезжал, — смеясь, сказал Лагорио. — Все ужасы расписывает, штафирка сопливая...

— «... По случаю раннего выезда Парфения из Судака (2 часа пополудни) я не могу предположить убийства и никого в этом не подразумеваю».

Молчавший все время становой заметил с усмешкой:

— Это, надо полагать, она барыне своей в отместку: та погэловню всех татар в убийстве подозревает.

— Вот, кстати, татары, — продолжал капитан. — Мустафа Смаил из Отуз вместе с матерью шел лесом в Таракташ и повстречал игумена, когда он «только-что поворотил на Кизильташскую дорогу из большой почтовой», а больше ничего не видел и не знает. Мать его, Фатьме Умерова, с своей стороны, показала, что встретила отца Парфения верхом на разветвлении дорог. Слышала стук топора: кто-то рубил лес. Больше никого не встретила. Наконец, Сеит Ибрам, приказчик в саду девицы Стевен, где о. Парфений производил постройку дома, показал, что утром 22 августа виделся с игуменом, потом отправился к себе домой в Таракташ, откуда часа в 2 или 3 воротился к себе в сад, где застал караульщиков Бекира и Абдурамана, с ними полуд сад до вечера, а вечером отправился домой в Таракташ, где и переночевал. Вот-с, господа, и все, что мы имеем.

— Не больно много, — отозвался Лагорио.

— Ровным счетом ничего, — отрубил становой.

— Извините, кое-что все-таки есть, — раздумчиво глядя в потолок, заметил после паузы Охочинский. — Обратите внимание: мать слышала, как кто-то рубил лес, то-есть где-то поблизости находился человек с топором. А сын ничего не видел и не знает, — стало быть, утаил или упустил весьма существенное обстоятельство. Следственно, два факта мы можем проверить, а из них, кто знает, не возникнет ли и третий. Я бы покорнейше просил доставить сюда к завтраму хотя бы этого Мустафу.

— Да он здесь, — сообщил становой. — Я распорядился, чтобы депрошенные люди, исключая, конечно, господина Стевена, были налицо.

— Весьма благодарен. Да, кстати, заодно распорядитесь и насчет переводчика. На-днях приедет заседатель Кондараки, а пока...

— Слушаю. А пока писарь переждет.

Не прошло и пяти минут, как становой вернулся в сопровождении молодого тщедушного татарина, споткнувшегося при входе о порог (он не смел смотреть себе под ноги), и писаря Иванова, шельмоватого вида франта, с серебряными кольцами на руках и кокетливыми бачками, который низко поклонился начальству и стал сбоку татарина.

Каждый, из всех присутствующих по-своему приготовился к допросу. Мустафа усиленно глотал набегавшую слюну и перебегал глазами с одного начальника на другого, не зная, который — главный. Писарь, стараясь не уронить себя, искал позу, достаточно внушительную для Мустафы и достаточно почтительную для капитана и для исправника (к становому он привык). Становой басисто и сурово прокашлялся, — обычный его прием — раскат дальней грозы — перед допросом простых людей. Лагорио устремил внимание не на татарина, а на капитана, о допросах которого ходили легенды. И лишь один Охочинский никак не приготовился: кз татарина он и не взглянул, бумаги оставил перелистывать, — сидел, положив на стол руки, и ничего не делал.

Первый не выдержал становой. Он вторично и еще более сурово прокашлялся, — гроза приближается! — и начал:

— Вот что, любезный...

Но капитан, не повернув головы, положил ему на локоть свою руку в розовой манжетке и тихо молвил:

— Куда нам торопиться? Пусть он соберется с мыслями.

После этого прошло пять минут. Потом прошло десять минут. Под низким потолком нависла свинцовая туча неволокости. Глаза Мустафы наполнились слезами, и пальцы на руках зашевелились в судороге. Писарь все глубже залезал платком под воротник, чувствуя себя мокрым. Становой, забыв всякое приличие, испуганно взирал на капитана, и даже Лагорио чувствовал, что и под коленками, и в локтях, и в плечах его точно щетками шкочут, — вот-вот сами задержаются. А капитан

Охочинский сидел, не шевелясь, ни на кого не глядел, как будто и не размышлял, — просто ничего не делал, но и не скучал...

Когда Мустафа завыл, все облегченно вздохнули. Охочинский на него посмотрел и обратился к писарю:

— О чем он, спроси. Отца игумена жалко?

— Точно так, — доложил писарь, добившись с трудом, чтоб рыдавший татарин хоть головой кивнул в ответ. — Жалко, говорит.

— Теперь ты ему объясни так: начальникам надо сказывать все, что ему известно. Вот мать его сообщила, что в лесу кто-то рубил дерево, а он про это не сказал. Нехорошо. Пусть сию минуту объяснит нам, кого он видел в лесу, когда повстречал игумена, кто рубил деревья. Как только скажет — сейчас же отпустим его домой.

Писарь долго толковал с татаринном, после чего перевел: при первом допросе Мустафа упустил сказать, что когда игумен сворачивал на дорогу в Аджибей и Кизильташ, то он увидел бежавшего вслед за ним таракташского татарина Якуба Сале, который, наверно, тоже видел игумена. Мустафа спросил у Якуба огня, но тот ответил, что не курит, и бежал поспешно дальше, куда и зачем, он не знает.

Охочинский записал, ласково потрепал по плечу сконфуженного татарина и отпустил домой. Затем обратился к писарю:

— Скажи, любезный, этот Якуб Сале тебе известен?

— Точно так, ваше высокоблагородие. Касаясь Якубки разговор короткий: дай за него медный грош — кругом в бытках останешься.

— Беден?

— Не в том речь, ваше высокоблагородие, а неподобный. Его здешние татары, осмелюсь доложить, на свадьбы берут для ради смеху. Шалтай-болтай одно слово. Лопочет непутем да хвастает. Как расхвастается, так все, извините, за животы держатся. А он сердается, что не верят ему, и пуще того. От Якубки, ваше высокоблагородие, толку не добьетесь.

Охочинский с приятной улыбкой выслушал писаря и тотчас же попросил станowego немедленно лично съездить за Якубом.

— Он по-русски понимает? — спросил писаря капитан.

— Маленько, ваше высокоблагородие.

— Так вы с ним лучше ни о чем не говорите, — попросил Охочинский станowego.

И часу не прошло, как Якуб предстал перед начальством. Это оказался маленький татарин с согнутыми в коленях ногами и с громадной бородой, которою он явно гордился, то-и-дело пятернею расчесывая ее из-под горла. На начальников он глядел не только безо всякой робости, но даже грозно, сдвинув лохматые брови над обезьяньими глазами, что, видимо, корбило писаря, но чрезвычайно забавляло капитана. Совершенно обескуражив Иванова, капитан приказал дать татарину стул и, когда Якуб с достоинством на него уселся, сложив на животе руки, капитан вежливо осведомился, почему он никому не объявил, что 22 августа видел в лесу игумена, которого ищет начальство.

Якуб рассердился, даже покраснел и крикнул гневно:

— Я твой поп не видал!

— Ну, ну, не больно кричи! Понимай, с кем говоришь, — не утерпел писарь.

Охочинский взглянул на Иванова, и тому показалось — кто-то перед самыми его глазами выхватил из ножен блеснувшую шашку! И тут же, как ни в чем не бывало, капитан с прежней вежливостью обратился к татарину:

— Значит, ты в тот день и в лесу не был?

— Почему не был? Лес я ходил, а поп не видал, — проворчал Якуб.

— Ага. Значит, Мустафа правду сказал, — небрежно заметил капитан, обратясь к Лагорию.

— Какой Мустафа? — насторожился татарин.

— Тот, что с тобой в лесу встретился. Мустафа Умеров из Огуз.

Якуб испытующе на него поглядел.

Охочинский между тем вынул из кармана щегольской серебряный портсигар, крышка которого эффектно отскочила при нажиме, достал папиросу, затем протянул исправнику, становому и Якубу.

— Покури, Якуб-эфенди.

Татарин распустил улыбку не только по лицу, но даже по всей бороде и погрузил в портсигар корявые пальцы. Не сразу удалось поймать гладкую трубочку мундштука, — даже чуть-чуть вспотел. Прищурясь, он полюбовался на папироску, осторожно положил ее перед собою на стол и сказал.

— Не курю. Буду сундук класть.

— Смотрите, господа, — живо повернулся капитан к исправнику и становому, — выходит, опять Мустафа правду сказал.

— Какой правда? Мустафа, Мустафа... Что он тебе сказал? — забеспокоился Якуб.

— Ничего, ничего, пустяки.

Якуб обиженно отодвинулся от стола.

— Твой язык в карман — мой язык в карман. Десять рублей давай — одно слово не скажу. Папироса тоже не хочу. Прощай.

И он поднялся. Писарь дернулся на месте, ловя глазами приказание капитана.

— Ну, ну, не сердись, Якуб-эфенди, — примирительно заговорил Охочинский. — Садись, садись, ничего с тобой не поделаешь, скажу. А ты вот что, лжбезный, — обратился он к писарю, — принеси-ка нам чаю, — он показал на пальцах «четыре».

— Что тебе Мустафа сказал?

— Он сказал, что в лесу он попросил у тебя огня, но ты ответил — не курю. А вот сейчас я тебе дал папиросу, а ты взял. Ну, думаю, значит, врал Мустафа. Оказывается, действительно ты не куришь. Значит, Мустафа про тебя всю правду начальству сказал, ничего не наврал.

Якуб слушал капитана с необыкновенным вниманием, и лицо его принимало все более и более веселое выражение. Вдруг, не отрывая взгляда от начальника, он залился таким смехом, что даже закашлялся, заперхал, расчихался.

— Уй, хитрый!.. — через силу восклицал он, давась смехом. — Уй, какой ты хитрый человек! Одна рука взял, другая рука взял — вместе положил, — он сложил руки ладонь к ладони, — какой хитрый человек. Прямо цыган.

— Что ж с тобой делать, когда ты ничего говорить не хочешь? — с улыбкой смущения оправдывался капитан.

— Все чисто буду говорить, тебе не надо Мустафа, — самодовольно произнес Якуб, беря с блюда стакан. — Во-лы у меня есть. Четыре штук — две пары. Хорошие во-лы. У-у-у! Таракташ, Судак, Отуз — нигде такой нет. Роги у его — во-о, — он поставил стакан на стол и раскинул руки, сколько мог. — Сто пуд клади. Двести пуд клади, — по-ошел. Одна пара продай — хату покупай. Хочу третий пара купить.

Он принял важный вид. Охочинский слушал его почтительно. Глотая кипяток, Якуб далее объяснил, что в лесу он знает место, где особенная трава, от которой во-лы набираются большой силы. В тот день он утром отправился в лес за хворостом, на одной арбе, но с обеими парами волов, чтобы попасть их в заветном этом месте, на полудороге между Таракташем и Кизильташем. Занявшись работой, он не заметил, как вторая пара волов куда-то зашла. Он не стал ее искать, отвез хворост домой и пообедал, воротился в лес за оставленной парой волов и встретил Мустафу с матерью, который спросил у него огня.

Тут вспомнил Якуб про уловку капитана и снова сказал, погрозив пальцем: «Ты хитрый человек». Продолжая, никем не прерываемый, свой рассказ, Якуб решительно повторил, что Мустафу он встретил, это правда, но игумена не видал. Он пошел дальше и за горою, недалеко от Аджибея, нашел своих волов. Незнакомые люди сбились толпой, головами качали — дивились. Один, верно, князь какой-то, тут же пожелал купить у него волов, предлагал пятьсот рублей, тысячу рублей, просил, молил, но Якуб разговаривать не стал, погнав волов домой. а князь заплакал и тоже пошел домой. Вот что он

может рассказать, а Мустафа — глупый шенок и больше ничего.

— Значит, игумена ты никогда не видел?

— Зачем не видал? — обиделся Якуб. — Прошлый год осеннее время видал, а после не видал. Крепкий поп. Все одно — дуб.

Капитан кивал, сочувственно поддакивал, пододвигал к Якубу то сахар, то белый хлеб. Якуб хлебал стакан за стаканом и болтал без-умолку. Было необыкновенно приятно, что большой начальник записывает всякое его слово, когда же капитан прочел записанное, то Якуб окончательно загордился. Он уж и сам многое позабыл из рассказанного, и теперь оно чудом перед ним оживало. Чтоб напомнить замешкавшемуся писарю сменить допитый стакан, а заодно показать, что угощением он доволен, Якуб отрыгнул внушительно, ожидая обычного: «Дай бог желудку сварить». Но начальники, видно, не знали обычая, и Якуб сам себе это произнес. Помогло: главный взглянул на писаря, и тот мигом поднес.

Когда Якуб взял стакан, капитан спросил ласково:

— Так, значит, насчет игумена ты больше ничего нам не скажешь?

Уходить Якубу не хотелось: он соображал, как его будут расспрашивать в деревне, как он будет величаться. Кроме того, он в себе чувствовал силы по крайней мере еще стакана на четыре чаю с сахаром. И он ответил, громко отхлебнув:

— Не. Насчет поп ничего. Я тебе лучше другое дело скажу... — и осекся: начальник, всем корпусом склонясь над столом и уперши в него ладони, медленно поднимался с места, сверля Якуба глазами. Якуб тоже поднялся, не сводя глаз с начальника, но не выпуская из рук стакан. Исправник и становой, глядя на медленно распрямляющуюся фигуру капитана, перестали улыбаться и машинально тоже встали. Вместо приятных собеседников, перед Якубом, как во сне, выросли внезапно три грозных фигуры в мундирах.

— Вон!

Якуб упал на стул. Ног у него боль-

ше не было, рук не было. Звон разбитого стакана, кипятка на животе и на коленях, — все это было где-то, а прямо перед ним было побелевшее лицо начальника — страшнее смерти.

— Вон, собака паршивая! Врать мне смеешь!?

Становой пристав Орловский был великий мастер при случае гаркнуть и загнать душу в пятки. Но никому, даже становихе своей, он так никогда и не признался, что в первый же свободный день он верхом уехал в горы и здесь, на просторе, попытался воспроизвести капитанское «вон». Он даже делал предварительную подготовку: сажился на камень, улыбался воображаемому татарину, потом медленно распрямлялся — корпусом вперед. Однако финальное «вон», от которого лошадь прыдала ушами, столь же походило на капитанское, как производимый листом кровельного железа бугафорский гром на величественную грозу в небесах.

Когда обращенный в дрожащий студень Якуб исчез, наконец, за дверью, капитан сел, смахнул со стола оставленную татаринцом папиросу и спокойно углубился в папку с бумагами, играя карандашиком.

Лагорио и становой переглянулись. Они не знали главного свойства капитанского организма. Он ничего не переживал на допросах, но и не актерничал. Просто он выдвигал или обратно задвигал в своем организме те регистры, какие требовались по ходу дела, на что затрачивал не более секунды времени. И как орган под искусной рукою внезапно переходит от мелодического журчания к рокоту разгневанных стихий, так переходил капитан Охочинский от ярости к спокойствию и обратно, ничего при этом не испытывая.

— Для начала, я полагаю, достаточно, господа. Я вас больше не задерживаю, — оторвавшись от бумаг, любезно молвил капитан.

— Ну, и ловок, шельма! — воскликнул Орловский, спускаясь с исправником с крыльца. — Одного не пойму: почему он его отпустил? Вот тут бы за полудохлого взяться, да и потрошить.

— А потрошить-то что? — расхохотался Лагорио. — Он пустой в середке. Дай срок, наберется мечтаний, тогда — пожалуйте. Нет, батенька, этого не нам с вами учить.

Он уверовал отныне в капитана Охочинского, как в бога, и всем в Судаке советовал спокойно ждать его дальнейших действий. Но сомнение все же посещало кое-кого из наиболее ретивых, потому что действий-то никаких и не последовало со стороны капитана в течение довольно продолжительного времени после этого дня, — словно Охочинский сразу устал и предался отдохновению. Он никого почти не вызывал к себе, и если вел беседы об исчезнувшем игумене, то они мало отличались от подобных же бесед прочих судакцев, которые, вообще, ни о чем больше в то время не говорили. Впрочем, всех удивил его живой интерес к рассказу мадам Ларгье относительно глупых слов степенского приказчика Сейдамета, что, верно, игумен улетел на небо. Охочинский даже счел нужным запротоколировать болтовню старой француженки. Целыми часами разгуливал капитан по пляжу, собирал красивые камушки, раковинки, в погожие дни купался, в ненастные — клеил коробки из собранных ракушек. А под-конец не утерпел: у сынишки грека Алифери купил пару самых вульгарных голубей, найдя в них что-то особенное.

Заседателя Кондараки, когда тот явился к нему, охваченный пылом и рвением, капитан принял не то что сухо, а равнодушно. Чтоб кем-либо не быть предупрежденным, Кондараки при первом же свидании поспешил сообщить капитану, что тайная молва называет убийцами игумена степенских приказчиков. Но Охочинский даже не поинтересовался, откуда молва исходит, а только заметил лаконично:

— Конечно, они. Кому же еще?

И, словно лишь для того, чтоб отвязаться поскорей от заседателя, явно ошарашенного, добавил:

— Вот вы и потолкуйте об этом с уже допрошенным мною татаринном Якубом. Познакомьтесь с его показанием и — с богом.

Наконец, вечером 27 сентября, после партии в преферанс с исправником, становым и о. Василием Косовским, капитан Охочинский, прощаясь с гостями, неожиданно сказал:

— Вам, господа, не надоело еще здесь болтаться? Мне, признаться, наскучило. Давайте-ка завтра передопроем Якуба.

ГЛАВА XII

УБИЙЦЫ СХВАЧЕНЫ

Удивительный выдался день 28 сентября! «Лето прощается» — говорят в Крыму о таких днях. Из растворенных окон уютной комнаты капитана Охочинского море открывалось обращенным вниз углом, между двух горных скалов, — на него, как на солнце, глазам было больно смотреть: точно гигантское треугольное золотое зеркало, оно все сплошь сияло от берега до самого горизонта. Тишина стояла такая, что каждый звук казался случайным и недолговечным. Все на земле было чисто, просто, ласково, даже не верилось в горечь человеческих слез. И когда мимо окна, у которого, наслаждаясь утром, сидел капитан, медленно прошел, спотыкаясь запеченными ножонками, крошечный татарчонок, надрываясь от плача и растирая глаза игрушечными кулачками, Охочинский засмеялся, окликнул мальчишку и ловко кинул ему крупное желтое яблоко — маленькое солнце.

Покормив с ладони конопляным семенем голубей, капитан оделся и отправился на станковую квартиру. Не успели однако приступить к делу, как в величайшем возбуждении влетел Кондараки и, дергаясь, заявил с торжеством, что у него «все готово».

— Что у вас готово, господин Кондараки? — сухо спросил капитан.

— Положительно все, ваше высокородие! Преступники открыты... Господин Стевена приказчик Сейдамет, девицы Стевен приказчик Сеид Ибрам и родственник ихний Эмир Усеин... Тут у меня татарин есть знакомый, Байрахтар...

— Сеид Мамут? Пьянчужка? — перебил Орловский.

— Это не мешает... Я поручил ему разведать секретным образом, так он, понимаете, как взялся за Якуба... А Якуб очевидец был, очевидец! Убили и сожгли. Ваше высокородие, умоляю, составьте для видимости акт о моем открытии, дабы потом...

— Па-азвольте, — высокомерно оборвал его Охочинский. — Вы являетесь свидетелем или переводчиком, командированным в мое распоряжение?

— Конечно, конечно... Но, ваше высокородие...

— В таком случае потрудитесь занять место вон за тем столом и личными вашими делами не мешайте производить дознание.

— Слушаю и повинуюсь, ваше высокородие, — залепетал Кондараки, перед мысленным взором которого мелькнул знакомый призрак злой судьбы, — я вас только об одном умоляю: пускай Якуб дает показания по-своему, то-есть по-татарски, а я переведе.

— А это мы его самого спросим, — чуть усмехнувшись, сказал Охочинский.

Якуб вошел с видом провинившейся собаки, а капитан, словно по нотам, в точности повторил процедуру первого допроса, с папироской, чаем и прочим. И опять не утерпел Якуб, взял папиросу, уселся, принялся за чай. Но удовольствия уже не было. Он исподлобья поглядывал на капитана и всякий раз вздрагивал, когда капитан раскрывал рот: сию минуту грянет гром. Грома не было, но все происходило точь в точь, как тогда, — значит, и гром будет! Начальник, наконец, спросил:

— Тебе, верно, по-татарски легче будет рассказать нам про игумена?

Якуб кивнул утвердительно.

— Ну, так пусть он вам расскажет, господин Кондараки, а вы нам переведете.

Капитан закурил, пуская в потолок кольца и следя за их медленным таянием, а Кондараки откашлялся и заговорил с Якубом. Изредка и Якуб вставляя слово, но больше только головой кивал и не глядел ни на заседателя, ни

на других. Потом поставил недопитый стакан на блюде, сложил руки на животе и закрыл глаза — слушал. Наконец, наступила пауза. Якуб открыл глаза и протянул руку к стакану. Кондараки торжественным голосом заговорил:

— Вот что показывает Якуб-Сале Акай оглу. 22 августа, не найдя в лесу своих волов, он пошел по направлению к Кизильташу и услышал сначала один, а вслед за тем еще два выстрела. Думая, что охотники убили дикую козу, он побежал на выстрелы и на дороге заметил пятна крови и след, как будто что-то волокли с дороги влево в лес. Он пошел по следу и увидел татарина Эмир Усеина и Сейдамета, стоявших возле трупа убитого игумена Парфения. Сейдамет держал оседланную лошадь, а Эмир Усеин обыскивал карманы убитого, третий же, Сеид Ибрам, бежал с ружьем навстречу Якубу. Привязав лошадь к дереву, подошел к Якубу с ружьем и Сейдамет. Оба, взведя курки, приложились стрелять в Якуба, но он, пав на колени, просил пощады, клянясь никому не говорить. Они привели Якуба к трупу, который затем втроем взвалили на лошадь и повезли по дороге вверх. Пройдя версты две, труп сбросили. Сейдамет повел лошадь дальше в лес и там выстрелом из ружья убил ее. Два другие татарина стали собирать костер, Сейдамет, воротясь, к ним присоединился. На костер взвалили труп, одежду и саквы и стали жечь, подкладывая дрова, пока труп совершенно не сгорел. Запалили костер при заходе солнца, а горел он за полночь. Потом, не потушив огня, воротились в Таракташ: Якуб — в Малый Таракташ, прочие — в Большой. Что сделали с лошадью, Якуб не знает, но Сейдамет сказал, что он убрал ее. К этому Якуб добавил, что неделю тому назад он заходил в сад девицы Стевен, где Сеид Ибрам ему сказал, что они лошадь и пепел — все убрали и бояться нечего. Сеид Ибрам при этом грозился его убить, если он откроет дело начальству. При прежнем допросе он обо всем умолчал по той причине, что боялся, чтоб его не убили.

Один только Орловский выказал большое оживление; исправник слушал внимательно, но чувств никаких не обнаружил; поведение же Охочинского огорчило и взволновало заседателя до тика: капитан не только пребывал в полнейшем равнодушии, но и слушал как будто невнимательно. Лениво потянув к себе лист бумаги, он неторопливо записал показание и, не задав ни единого дополнительного вопроса, велел Якубу приложить руку; за его неграмотностью расписался Кондараки.

— Можешь итти, — сказал он татарину.

Якуб встал. Глядя робко на капитана и все еще ожидая, что напоследок грянет гром, он забрал со стола папиросу и направился к выходу. У самого порога оглянулся — начальник и не глядел ему вслед. Кондараки, спасибо ему, ободрял его взглядом. Якуб вышел, немного погодя разжал ладонь, увидел, что папиросу он всю помял. Он уронил ее и пошел домой.

— Ну-с, господа, — по уходе его сказал Охочинский, — молодцов этих надобно немедля арестовать и по возможности в одно время. Себе я беру Сейдамета, — я уж к нему присмотрелся. — Сеид Ибрама препоручим Матвею Лукичу, а господин Кондараки не откажется заняться Эмир Усеином, привлечение коего к настоящему делу, повидимости, должно быть приписано его усердию. Вас, Януарий Филиппыч, я попрошу поехать со мной, потому что...

— Ваше высокородие! — испуганно прервал его Кондараки, точно очнувшись от столбняка, — почему же так? А разве стевенских приказчиков не я открыл?

— Как-с? Да вы, оказывается, забавник. Кто же в Судак не заявлял на них подозрения?

— Ваше...

— Право, забавник. Уж если заводить здесь эти неуместные, скажу более — неприличные, разговоры, то пальму первенства справедливо отдать этой взбалмошной лгунье Ларгье, которая, как мне известно, первая высказала предположение касательно татарина Сейдамета. Оставим, однако, эти смешные

домогательства. Вы лучше скажите, кто он таков, этот Эмир Усеин, вами открытый?

— Это, ваше высокородие, — вмешался становой, — так сказать, привычный вор в здешних местах.

— То-есть как же? Рецидивист?

— Да чорт его знает, пардон. Возможно, и рецидивист. Главное, как у кого случилась покража, — тащи сюда Усеина: у него, извольте видеть, судимость в прошлом за кражу. Не обвинен, но оставлен в сильном подозрении. Ну и...

— А-а, понимаю. Выходит, стало быть, господин Кондараки, пошли вы битой тропею. Что ж. В конце-концов — беда невелика. Так вот, возьмите с собой кого-нибудь из сельского начальства и отправляйтесь с богом за своим крестничком.

— Ваше высокоблагородие, — взмолился убитый Кондараки, — ведь я действую секретным путем, я частное и тихое лицо... Я переводчик... Мне это не подходит! Через это я могу всю свою силу потерять...

— Ах, господин Кондараки, толкуйте кому-нибудь другому о своей силе! Вам угодно подчиниться моему приказанию?

— Сю минуту, ваше высокородие...

— И кончено. Едемте, Януарий Филиппыч.

Эмир Усеин, низкорослый, широкий молодой татарин с рябым от оспы лицом и бельмом на левом глазу, придававшим ему хитрое выражение, жил в хате с женой, старухой матерью и годовалым сыном Апазом. Но в тот день у него были еще гости: отец и мать жены. Гости были хорошие, приятные, но главное внимание в хате уделяли жирному, громадноглазому, серьезному Апазу. Как почетный кубок за пиршественным столом, Апаз переходил из рук в руки, Апаза давали подержать, на Апаза была нетерпеливая очередь. Это и понятно: держать на руках этот громадный живой кусок сливочного масла — блаженство, выше которого ничего нет на свете!

В хате, во дворе, на терраске у Эмир Усеина, мало сказать, что было чисто.

Чисто — это когда нет грязи, и только. Новая вещь, не бывшая в употреблении, тоже чиста. Но здесь на всем, на каждом предмете, не то что соринки и пылинки не было, здесь на каждой вещи лежала чистота, здесь каждая вещь была несравненно чище новой. Медные кувшины были золотые зеркала; старый, почерневший сосновый стол был глянцеvit до такой степени, что хотелось приложиться к нему щекой. Даже предметы, предназначенные для грязи, по положению грязные, — старый веник в углу на разостланной тряпочке, самая эта тряпочка, стоптанные башмаки, тоже на тряпочке, кусочки древесного угля у очага на бумаге, — и они были чище чистоты, потому что на каждом предмете лежал отпечаток такого порядка, такой обдуманной заботы, какие и не снились драгоценной музейной редкости, заключенной в витрине. Это была чистота, созданная неусыпным многолетним человеческим трудом, радости которого навеки заключены в четырех стенах дома.

Апаз сидел на коврике на полу и ел свою ногу. Вид апазово́й ноги мог у кого угодно возбудить аппетит. И дед, и обе бабки, и Эмир Усеин с женой, окружив Апаза кольцом, с удивленным умилением переглядывались, и каждый из них не раз уже делал движение подхватить Апаза и немедленно с'есть у него руку, ногу или хоть по крайней мере ухо, но всякий раз кто-нибудь, не отрывая взгляда от Апаза, рукою останавливал своего соседа. Деду первому стало невольно: отведя руку дочери, попытавшуюся его удержать, он ринулся к Апазу. Но тут произошло событие: Апаз выпустил изо рта мокрую ногу и, обведя всех глазами, похожими на две самых крупных и черных черешни, с испугом тяжело и грозно крикнул на самой низкой ноте. И вмиг, как стая кур, над которою пронеслась злове́щая тень коршуна, все закудахтали и кинулись выполнять свои обязанности. Апазом завладела бабка-гостья. Усеин снял с полки широкий таз из красной меди, заблеставший, как солнце, и впереди всех двинулся на терраску. Бабка с Апазом следовала за ним. Далее шли:

Айше, жена Усеина, с наполненным водою куманом, вторая бабка, Ханат, с двумя тряпочками; замыкал шествие дед, на вытянутых руках неся простирание до паутинной нежности полотенце, совершенно так, как держат полотенце, когда подносят царю хлеб-соль.

На терраске Усеин поставил таз; Айше налила в него воды; бабка-гостья склонилась над тазом, заголив Апазу зад, сделанный, как и все прочее у Апаза, из сливочного масла, но самого высшего сорта, какого и царю не подают на стол; бабка Ханат с тряпочками и дед с воздушным полотенцем стояли и словно ждали знака дирижера, чтобы в нужный момент сделать вступление. Апаз, с покрасневшими от старания глазами, подал знак. Дед не выдержал и, раскрыв беззубый рот, беззвучно затрясся в счастливом смехе. Еще минута — Апаз дрыгнул ногой, и старуха Ханат быстрым движением провела тряпкой по трепетному апазову заду, бросила ее, провела, уже покрепче, другой, свежей тряпкой, бросила и ее и, кончив свою партию, отступила. Айше пустила на зад струю воды из кумана, дед одним краем полотенца повозил-повозил, кивнул головой, — Айше убрала куман, и дед другим, свежим концом досуха вытер апазов зад, ставший после этого матово-розовым. Бабка-гостья высоко подкинула, подшлепнула внука — дело было конечно, симфония быстро и стройно сыграна, все вернулись в хату, а Усеин, забрав таз, сошел по ступенькам с терраски и направился к круглой, обмазанной свежей глиной башенке в углу дворика.

Когда он с опорожненным тазом возвращался, скрипнула калитка, и во двор вошел сельский исполнитель Смаил в сопровождении незнакомого человека. Смаил поздоровался, как и незнакомец, державшийся в стороне, и сказал, что Усеина требует к себе начальство. Усеин не очень огорчился, но было немного досадно и неловко, — как-раз гости. Он помрачнел слегка и сказал, что сначала позавтракает. Смаил пошептался с незнакомцем и согласился. Все зашли в хату, где тоже стало неловко, и стару-

ха Ханат дала сыну поестъ, вполголоса кого-то поругивая. Апазом перестали заниматься, сидели и смотрели на новых людей, и бабка уложила его спать. Кончив завтракать, Усеин встал. Взгляд его упал на посапывающего Апаза. Он постоял над ним, улыбнулся, сделал какое-то движение, но потом повернулся и, полагая, что незнакомец по-татарски не понимает, объяснил:

— Я его хотел немножко любить, а у — она спит.

И все трое вышли.

ГЛАВА XIII

ДОПРОСЫ

И Кондараки, и Орловский, и Лаго-~~рия~~ с нетерпением ожидали от Охочинского чудес при допросе арестованных татар, но их постигло разочарование: капитан был рассеян, вял, словно заботился только как-нибудь покончить со скучной формальностью. Каждому из трех он задавал почти одни и те же вопросы и ответы их записывал скупо, кратко.

Сейдамет показал: «В день пропажи игумена я до обеда был во дворе г. Стевена и никуда не отлучался, в обед ходил навестить г. Шампи, где пробыл около часу. Там видели меня: немец Редерер, немка из колонии и Ларгье. От Шампи я пошел в двор Стевена и находился там до вечера, в чем ссылаюсь на А. Х. Стевена и всю его прислугу. Вечером я пошел к г. Шампи около захода солнца, и меня видели там поименованные выше лица. Спал я в зале. На другой день, во вторник, я о пропаже игумена слышал от г. Стевена».

При обыске у Сейдамета оказались: а) бумажник, в котором денег 15 р. (кредитными билетами); б) в кармане, в особо завернутой бумажке, мелкого серебра 4 р. 65 к.; в) серебряные турецкие часы в футляре; г) малый перочинный ножик; д) янтарная папиросница и е) кресало с губкой. Потом еще пальто и чумарка и двуствольное ружье; все остальное имущество, как указал

Сейдамет, находится у него дома в Таракташе.

Сеид Ибрам показал, что в понедельник 22 августа он прибыл в дом Рудневой для свидания с игуменом Парфением и получил от него приказание доставить на постройку в сад Екатерины Стевен кирпича и воды. Около полудня он пошел в Таракташ. Проходя мимо усадьбы Рудневой, он опять говорил с игуменом. Дома он пробыл с полчаса, взял хлеба и пошел в сад Екатерины Стевен и там застал караульщиков Абдурамана и Бешира, а также полольщика Амета. С ними он пробыл до вечера, а на закате солнца отправился ночевать домой в Таракташ.

Наконец Эмир Усеин показал, что 22 августа он никуда из деревни не отлучался и ночью находился дома. На вопрос капитана, кто может это подтвердить, Эмир Усеин, ни на минуту не задумавшись, пошел сыпать именами и назвал десятка два татар. Охочинский сразу оживился, пригляделся повнимательней к Усеину и предложил указать из названных свидетелей только ближайших соседей. Эмир Усеин ответил, что соседи у него Асан Ибрам, мизин Аджи Сеид и Курт Асан. Только их и записал капитан. На вопрос, знает ли он Сейдамета и Сеид Ибрама, Усеин ответил, что знает их хорошо, и добавил с гордостью, что с Сейдаметом даже в родстве.

Эмир Усеин по привычке ожидал, что речь пойдет о пропаже вещей у кого-нибудь в Таракташе или в Судаке, но об этом не заговаривали. И тогда, сделав обиженное лицо, он спросил, по какому случаю его сюда привели, оторвав от гостей. Узнав, что он подозревается в убийстве игумена, Усеин быстро обезьял своим единственным глазом начальником. На лице его появилось выражение: «Вы хитры, а я хитрей вас».

— Лучше сразу признавайся, — предложил ему Кондараки.

Эмир Усеин взглянул на него почти с сожалением и пренебрежительно назвал подозрение ложным и несправедливым.

Капитан на этом кончил допрос, после чего комиссия отправилась в двух

тарантасах к капитан-лейтенанту Стевену.

Антон Христианович показал, что за давностью времени он всех подробностей не припомнит, но по соображению обстоятельств выходит, что 22 августа он приказчика Сейдамета у себя во дворе нигде не видел. Так как допрос был не формальный, а самый непринужденный, то капитан Охочинский счел удобным упростить процедуру и не вызывать порознь всех названных Сейдаметом лиц, а собрал их вместе и, после показания самого капитан-лейтенанта, поочередно обратился и к прочим с одним и тем же вопросом: «ну что, любезный (или слышала), ты слышал (или слышала), что показал твой барин? С своей стороны, что можешь ты нам сказать?». На что и старуха-нянька Руденкова, и кухарка Пелагея Севастьянова, и мамка Ульяна Кожлюкова, конфузливо косясь и улыбаясь, отвечивали, что, как барин, так и они. Бондарь Зекирья призадумался было, но затем тоже кивнул головой. Показания получились вследствие того краткие и совершенно одинаковые. Но работник Стевена Умер, который подошел попозже, объяснил, что в тот день, как игумен последний раз приезжал к ним в усадьбу, Сейдамет давал ему работу и до обеда и после обеда. Вечером, когда уже смеркалось, он опять видел Сейдамета, возле бондарни.

Охочинский выслушал, задумался на минуту и через переводчика спросил:

— Ты это твердо помнишь?

Умер ответил, что помнит твердо. Тогда Охочинский погружился в более продолжительное раздумье, и когда присутствующим начало становиться не по себе, снова задал тот же вопрос, на который Умер ответил опять утвердительно, хотя и упавшим голосом. Лагорио и Орловский ожидали, что Охочинский что-нибудь «выкинет», но Охочинский ничего не выкинул, махнул рукой — ступай. Умер понуро ушел.

После завтрака, предложенного хозяином, допросили явившегося Германа Шампи, который показал, что знает твердо: в доме его матери в ночь с понедельника 22 августа на вторник

Сейдамет не ночевал. Мать была в ту ночь больна, и спать почти никто не ложился. До этого Сейдамет, во время болезни матери, проводил у них каждую ночь, но, почему в эту ночь отсутствовал, — он не знает.

Становой, в тот день званый вместе со становойхой на обед к госпоже Натара, с беспокойством поглядывал на часы, но Охочинский немедленно отправился со своими сотрудниками к сестре капитан-лейтенанта, для проверки показаний приказчика ее Сеид Ибрама.

Молодой татарин Бешир, караульщик и рабочий на винограднике, показал, что последний раз, когда был у них игумен, Сеид Ибрам приходил после обеда и оставался до вечера, а перед заходом солнца уехал. Это самое показал и второй работник, Абдураман. Третьего, полотьщика Амета, капитан не пожелал в тот день допрашивать, отложил на утро, а Беширу и Абдураману приказал выйти и дожидаться в сенцах. По истечении целого часа полного бездействия велел их кликнуть и, раздельно отчеканивая слова, заявил, что если к завтраму они не одумаются и станут покрывать убийцу игумена, то...

На этом он оборвался, задохнулся и далее продолжать свое внушение оказался уже не в состоянии. Капитан Охочинский был мужчина высокого роста, однако же человек, как человек. Когда же он, медленно подымаясь, стал на месте вытгиваться из-за стола, ввинчивая глаза в татар, то Беширу с Абдураманом он уже перестал казаться человеком, а каким-то бесконечно растущим, загадочным существом. Лицо загадочного существа стало бледнеть, бледнеть... Уже не лицо это, а белая маска. И вдруг маска дрогнула, — едва заметно сначала, потом резче, крупнее, потом она запрыгала в судороге и на ней, на белой, оскалились еще более белые, нестерпимо белые зубы! Существо медленно двинулось на татар. Бешир и Абдураман тихо попятнулись, не отрывая от него взгляда, оно надвигалось...

Татар в комнате уже не было. Становой дрожащими руками вертел папиро-

су, Лагорио вытирал платком голову. Капитан Охочинский сидел за столом, прежний и на прежнем месте, перебирал бумаги и карандашом делал на них пометки.

— Ну-с, господа, — приветливо молвил он, щелкнув портфелем и подымаясь, — сегодня на этом, пожалуй, и покончим. Разве вот еще — обыски на дому в деревне у злодеев. Признаться, я несколько устал. Не будете ли вы добры, господа, распределить их между собою?

Как только дверь за ним затворилась, исправник и Орловский враз переглянулись. Лагорио шумно вздохнул, хватил, как молотом, кулаком по столу.

— Ну, батенька!.. Довелось мне самого Щепкина смотреть, Михайлу Семеныча. В Петербурге господина Каратыгина видел. Знаете? Грудь сосать они достойны у этого голубенка, — больше ничего. Петр Великий!

Попутру капитан прежде всего ознакомился с актами своих сотрудников о произведенных обысках, но, не найдя в них ничего интересного, приступил к допросам.

Когда вошла Мария Шампи, Охочинский поднялся, поклонился почтительно и подал стул. Девушка сильно волновалась, на ее смуглых, матовых щеках пятнами выступил румянец. Однако голос ее звучал решительно и уверенно. Она показала, что твердо помнит: в понедельник 22 августа Сейдамет был у них и до обеда, и после обеда. Точно определить время его приходов она не может, но утверждает, что с понедельника на вторник Сейдамет ночевал у них в доме.

— Ваш брат, — после паузы сказал Охочинский, — утверждает здесь перед нами обратное. По его словам, именно эту ночь в отличие от ряда предшествующих Сейдамет провел вне вашего дома.

Мария вспыхнула, шевельнула губами и потупилась. Капитан выжидательно молчал.

— Вы уверены, что не ошибаетесь?..

— Совершенно уверена! — вскинув голову, воскликнула она.

— Не смею вас больше задерживать,

— серьезно произнес капитан и поклонился.

— Всю музыку девка портит, — с сожалением покрутил головою Орловский. И, золотя упрек лестью, добавил, обратясь к Охочинскому: — Что бы вашему высородию этак ее... в вашем духе маненько на леске поводить?

— Нет, — в грустной задумчивости возразил капитан, — тут быком нельзя. Тут дальнюю придется траншею подводить... Ну, кого теперь? Давайте сюда немку. Да и немца, пожалуй.

Фройлейн Бриттер совершенно растаяла от необыкновенно любезного приема. Но когда после непринужденной беседы Охочинский сделал попытку приступить к делу, Бриттер сконфузилась, заволновалась и, умоляюще сложив руки, стала просить, чтобы наперед выслушали господина Редерера. Капитан не стал спорить и пригласил учителя подсесть поближе.

Франц-Гуго Редерер был столь же лаконичен, как и решителен. У больной Шампи он находился двенадцать дней. В течение этого времени Сейдамет неизменно там ночевал, но как-раз в ночь с понедельника 22 августа на вторник, когда больной старухе было всего хуже, он отсутствовал. После обеда в понедельник он его не видел, утром же во вторник Сейдамет явился. Подписав свое показание, Редерер поклонился таким удивительным образом, что одним поклоном охватил всех присутствующих, после чего торжественно удалился. Когда затем Охочинский вновь пригласил фройлейн Бриттер, то она находилась в таком блаженном изнеможении, что не тотчас его поняла. Показание же ее было более, чем кратко: все происходило точь-в-точь, как объяснил господин Редерер, и ни одного слова она прибавить не может.

— Распорядитесь доставить вчерашних татар, — отпустив немку, сказал капитан. — И недопрошенного Амета. Вместе всех троих.

За татарами послали и стали ждать. Охочинский углубился в дело. Лагорио написал на клочке бумаги: «Вы ждете грозы? Я тоже. Значит, не будет грозы» — и подвинул записочку станово-

му, который прочел и пожал плечами. В щелчках слышалась возня, дверь приотворилась и, выталкивая друг друга вперед, появились татары. В ту же минуту Охочинский поднялся, выпрямился и, обратясь к исправнику, отчеканил грозно:

— Скажите им, что я не желаю их допрашивать и не желаю их видеть. Делайте с ними, что хотите!

И широкими шагами вышел из комнаты.

Татары испуганно переглянулись. Когда после этого Лагорно¹ обратился к допросу, дело пошло чрезвычайно гладко, и десять минут спустя все было окончено. В акте значилось, что «Абдураман Давлет оглу по собственному желанию разъяснил первое свое показание, в котором вкралась неверность под влиянием страха, и объявил чистосердечно, что приказчик девицы Стевен Сеид Ибрам 22 августа ни днем, ни вечером в сад вовсе не приходил, и, где обретался, ему совершенно не известно. Пришел он только утром 23-го». Дословно то же самое показал и Башир. Давеча не допрошенный полотьщик Амант показал то же самое и в тех самых выражениях и словах, как и первые два, исключая упоминание о вкравшейся неверности.

Покончив с ними, стали поджидать капитана, но он не шел. Тогда Кондараки предложили заняться проверкой показаний Эмир Усеина. Кликнули его жену и старуху мать, и они, порознь спрошенные, показали, что 22 августа Эмир Усеин ни днем, ни ночью никуда не отлучался. Старуха припомнила, что к ним приходил тогда в гости сосед Асан и сидел долго. Это был один из трех татар, которых Усеин назвал своими ближайшими соседями. Женщин отпустили, а соседей татар, сразу всех трех, привели. Высокий худой муэдзин Аджи Сеид, с белым лицом, с толстыми черными бровями и черной бородой, еще раньше, чем его начали спрашивать, громко, злобно, взволнованно заявил, что он ничего не знает. Ничего не знает, ничего не видел, ничего не слышал.

И, как ни билась с ним, он, свер-

кая глазами, злобно твердил одно—ничего не знаю, ничего не видел.

— Ты все-таки припомни, — настаивал Лагорно, — был ты в тот день у Эмира Усеина в гостях?

— Какой гости? Ничего не помню! Гости. Вот моя хата, вот его хата—всегда гости.

— Но видел ты его в тот день или не видел?

— Ничего не видел! Не знаю... Один сосед видел, другой сосед не видел, полтора месяца прошел — как я помнить буду?

— Что ж, — сказал Кондараки, — так мы и запишем: Эмира Усеина я в тот день не видал.

— Пиши, как хочешь... Ничего не знаю.

— А ты? — обратился Кондараки к Курт Асану.

— Как ты на Аджи написал, так ты и на меня напиши,—присоединился тот.

— И тебе так написать? — спросил он третьего, Асана.

— Пиши.

Кондараки записал три одинаковых показания, что я, такой-то, 22 августа весь день Эмир Усеина не видел, и татары ушли.

Потом спрашивали жену Сеид Ибрама, Эмне. Она показала, что муж ее в тот день пришел в полдень, схватил кусок хлеба и опять ушел и вернулся ночевать. Больше ничего она не знает.

Наконец вошел капитан. Он равнодушно пробежал записанные без него показания и предложил сделать постановление о немедленном переводе арестованных в Салы, так как в Таракташе «проживают родственники их и, при сочувствии местного татарского населения, из которого должен назначаться караул, они легко могут иметь сообщения». Затем, назначив на утро поездку на место преступления, сделал общий поклон и уехал домой.

ГЛАВА XIV

ПЕПЕЛИЦЕ

В приглашениях, которые с вечера разослал Охочинский кой-кому из су-

дакского общества, сбор был указан в полдень, в таракташском волостном правлении. Сам он однако выехал значительно раньше и уже в 10 часов постучался в двери дома капитанши Рудневой. Отворившая ему Фимка сообщила, что барыня еще не подымалась — только откушала в постели кофий. Охочинский просил передать, что у него неотложное дело, а сам прошел в гостиную и от нечего делать принялся рассматривать картины. Полюбовался на полнотелую даму в дезабилье, надевающую чулок, с надписью внизу «Le matin» (утро), потом на другую, тоже полнотелую, в расстроенном костюме, под деревом, рядом с молодцеватым господином в соломенной шляпе и с хлыстом в руке. И только обратил взор к третьей картинке, как позади скрипнула дверь и появилась хозяйка. Впрочем, она совершенно могла сойти за третью картинку, будучи и полнотелой, и в дезабилье, и на лице имея то самое выражение, какое отличало дам на картинках.

За первыми приветствиями последовали взаимные извинения. Капитан извинился за столь ранний визит и был немедленно прощен с самой благосклонной улыбкой; капитанша — за утренний свой костюм, объяснив его небрежность желанием не заставить долго ждать гостя, — и также была немедленно прощена, с присовокуплением очень ловких слов, насчет предпочтения в их случаях именно утреннего наряда. Дарья Ивановна поиграла ноздрями, прищурилась так, как если бы была близорука, и пролепетала какие-то слова совершенно так, как если бы отроду имела четыре года и вдобавок была бы донельзя избалована.

Капитан приступил к делу.

— Вам, сударыня, неизвестно, конечно, что третьего дня арестованы по моему распоряжению три татарина, на которых падает сильнейшее подозрение в убийстве отца игумена?

— Они, они! — закричала Дарья Ивановна. — Я всем говорила, что они. Изверги! Убить такого ангела... Вы не поверите, как я обожала его.

— Душевно сочувствую, сударыня! —

проговорил капитан, прижимая ладонь к груди. — Потому-то я именно к вам и решил обратиться по чрезвычайно важному обстоятельству. Я хотел бы вас осведомить, что на пути к изобличению убийц возникло весьма и весьма серьезное препятствие. Я не в праве разглашать данные предварительного дознания, но для вас я сделаю исключение. Из трех арестованных татар главным зачинщиком, как по всему видно, был степенский приказчик Сейдамет. Ссылки его на свидетелей, якобы видевших его в Судаче в то самое время, когда совершалось преступление, всеми лицами, коих он назвал, опровергнуты и, следственно, обратились в улики против него. Но нашлась особа, которая подтвердила правильность ссылки на нее Сейдамета...

— Мерзавка! Да она, верно, сама была в их шайке! Татарка, конечно?

— Увы! Ваша, вероятно, добрая знакомая, мадмазель Шампи.

— Ах, змея! — взвизгнула капитанша. — Вы не знаете, это она любовника своего выгораживает! Нет, вы подумайте, — я тихоня, я недотрога, я повинность в коробочке... погоди же, любезная, я с тобой расправлюсь. Братца нынче же вон...

— О, нет, сударыня! Герман Шампи дал показание, уличающее преступника. Я бы полагал полезным повлиять на девицу Шампи иным путем. Надо бы постараться ей внушить, что обвинение против арестованных татар покоится на зыбком основании. Во-первых, никто из них не сознался и едва ли сознается. А в таких случаях закон требует уличения обвиняемых по крайней мере двумя очевидцами преступления, между тем как есть всего один. Таким образом, суд, вероятно, ограничится тем, что оставит этих трех татар в сильном подозрении — и только.

— Покорно вас благодарю! Значит, и вперед пусть нас убивают татары, только чтоб без свидетелей? Знать я не желаю такого суда!

— Постарайтесь меня понять, сударыня. Если бы девица Шампи поверила, что обвинить арестованных невозможно, хотя бы ее показание не отлича-

лось существенно от показаний прочих свидетелей, тогда, вероятно, она стала бы сговорчивей...

— Ага...

— Ежели при этом указать на неудобство, когда вооружаешь против себя все общество, и к слову слегка намекнуть и на судьбу брата, тогда, возможно, она бы и призадумалась. Тем более, что никто не заставляет ее лгать и обманывать. Вполне достаточно, ежели в согласии с самой натурой человека она скажет, что за давностью времени не может с уверенностью утверждать, что именно ночь с 22-го на 23 августа Сейдамет провел у них в доме.

— Какой вы однако обольститель!

— И уж разрешите сказать совершенно *entre vous* (между нами), что ежели не только девица Шампи, но и здешнее общество вообще, и даже все местное население, особенно же татарское, составит себе мнение, что арестованные будут по суду оправданы, то это послужит на пользу делу.

— Это как же так? Виновата, я женщина, для моего ума это как-то недоступно...

— Полноте скромничать. Вы отлично понимаете, что у арестованных есть друзья, есть и враги. Ежели разнесется, что дело клонится к оправданию, то надо полагать, друзей это несколько усыпит, а врагов, наоборот, заставит быть поусерднее. И тогда — кто знает...

— *Charmant!* (Прелестно!) Я поняла. Все, все поняла!.. И после этого вы не обольститель? Обольститель! Слышать не хочу — обольститель!

Дарья Ивановна закрыла глаза, замотала головой, приложила к ушам руки. Непридерживаемый пенюар, разойдясь, открыл капитану кое-что из её прелестей. Вдруг она встрепенулась, отняла руки от ушей и уставилась на капитана подозрительным взглядом.

— По-о-озвольте, сударь, да вы и со мной хитрите... Сию секунду отвечайте — их оправдают?

— Да с чего вы взяли? Стал бы я востыться. Засудят за мое почтение.

— Правда? Скажите, что им будет? Не мучьте меня...

— Что им будет? — спросил капитан, вдруг поднявшись и шагнув к хозяйке.

Высокий, статный, плотно обтянутый голубым мундиром, он стоял прямо над нею и сверху вниз близко глядел на белый наплыв капитаншиной шеи.

— Пустячок им будет, совершенный пустячок. Чик-чик — и готово, — прибавил он, быстро чиркнув пальцем по шее.

— Ай, стекотно...

— Какая вкусная шейка, — и еще раз чиркнул.

— Плотивный!.. Я боюсь стекотки...

Дарья Ивановна вскочила и попятилась к двери, не спуская глаз с шалуна и весело ему улыбаясь. Капитан сделал зверское лицо и протянул палец:

— У-у-у, защекочу до смерти. Вот вам — ага! И еще разик — ага!

— Ай-ай!

Капитан не унимался. Сделав козу, он заверещал, грозно наступая: «Я коза, дереза...», — и вдруг выпрямился, прокашлялся, мигом и насквозь просерезнел.

Дарья Ивановна быстро оборотилась — в дверях стояла Фимка в переднике с кармашками, с кружевным листиком на макушке.

— Кликали, барыня?

— Никто тебя, дуру, не кликал!.. Не лезь на глаза, пока не позову... Знаете, пройдемте ко мне в будуар. Вы должны мне объяснить, почему вы так уверены, что им будет чик-чик.

Будуар Дарьи Ивановны окнами выходил на дорогу. Когда капитан завидел направляющуюся к месту преступления компанию, он неспеша простился с гостеприимной хозяйкой, еще раз наказав ей быть поласковой с девицей Шампи, и отправился в догонку. В Таракташе не стали задерживаться, захватили дождавшихся писаря Иванова и Якуба, взяли несколько татар-понятых и двинулись далее. Из посторонних поехали Стевен, Качиони и Зотов, а в общем составила целая кавалькада. День пришелся на пятницу, приодетые по-праздничному татары и татарки попадались по дороге то-и-дело, — в одиночку, семьями, ребятишки суетливыми стайками.

Но обгоняемые ими встречные татары и даже дети, еще издали завидя кавалькаду, поспешно сходили с дороги как можно дальше в сторону и оттуда провожали ее взглядом, кто испуганным, кто сумрачным и злым.

Когда спустились к руслу высохшей речки, оттуда поднялся громадный татарин в лохматой овчинной шапке и, широко раскрыв рот, захохотал, всем своим видом говоря: «Что, не ждали?». Он крикнул что-то по-татарски, обратясь к Кондараки-эфенди, но тот сердито на него взглянул, заерзал растерянно. Татары-понятые сделали каменные лица, у всех брови сдвинулись.

— Кто таков? — заинтересовался Охочинский.

— А-а, — нехотя ответил заседатель, — татарин тут один... Байрахтар. Я докладывал вашему высокородию.

Охочинский усмехнулся и, придержав лошадь, спросил у поровнявшегося Зотова:

— Вы здешний житель, — это что за Амалат-бек?

— И вправду, ваше высокородие. Гроза татарского населения.

— Вот как?

— Богатырь и конокрад. Прежнее время били его не раз. Ох, били! Ну, сейчас боятся.

— Почему?

— Небезопасно. Хоть и скопом навалишь, — не одного изуечит. А главное — очухается и подпалит.

— Так почему же до смерти не забьют?

— Вот то-то Представьте — заговоренным считают. Раза два били так, что в лепешку. Не дышит. Глянь—мертвый исчез! То ли сам ночью уполз, то ли уволокли, которые в одной с ним шайке... А там месяц-другой прошла, смотришь — у того сакля сгорела, у того сено, а вскоре и сам об'явится.

— Скажите! А что он такое крикнул?

— Ерунда. Меня говорит, с собой возьми, Якуб, говорит, собьется. Пьян, верно.

— Пьян? Да ведь татарин.

— Ну вот выдался такой. Среди них это редко.

Проехали урочище Биюк-Дера, выехали к обрыву и взобрались на крутой холм.

— Где же ты свернул с дороги в лес, на Аджибей? — спросил Якуба Охочинский.

— А это немного подалее, — вырвалось у Кондараки.

Охочинский устремил на него тяжелый, ледяной взгляд. Заседатель прикусил губу, бровями задвигал, но уже было поздно. Татары переглянулись. Минут десять ехали молча. Наконец Якуб остановился и, ни к кому отдельно не обращаясь, тихо произнес:

— Это место Аджибей ходил.

Проехали и засаду, огороженную свежими колями, слева, почти у самой дороги.

— Ты, смотри, не прозевай места, где услышал первый выстрел, — строго напомнил капитан Якубу, когда тронулись дальше.

Якуб вопросительно на него взглянул.

— Ваше высокородие, он вас не понял, — кинулся Кондараки. — Разрешите ему перевести?

— Пере-ве-дите, — протянул сумрачно Охочинский.

Кондараки ожил, да и Якуб приободрился, когда заседатель приказал ему держаться у него возле седла.

— Он, ваше высокородие, говорит, что то место немного подалее. Вот криничка скоро будет, так там.

— Далеконько выходит засада от места убийства, — тихо заметил Лагорио, поровнявшись с капитаном и отделившись от прочих.

— Ах, не говорите, — с болезненной гримасой сказал Охочинский. — Руки мне связали этой засадой. Да скоро ль, наконец, эта криница?

Он толкнул лошадь, опередил татар-понятых и под'ехал к Якубу.

— Тут, что ли, услышал ты первый выстрел? Об'яви, чтоб все слышали.

Якуб быстро исподлобья взглянул на него, перебрал губами и вдруг крикнул:

— Тут!

— А криница где?

— Криница, чокрак по-ихнему, — за-

торопился Кондараки. — Это тут же, ваше высокородие, несколько шагов...

— Вас не спрашивают, милостивый государь, — тихо отчеканил капитан. — Извольте переводить, когда встретится надобность, и не вмешивайтесь.

Якуб перебежал глазами с одного на другого. Татары-понятые молчали, глядя в землю.

— Где чокрак? — спросил Охочинский.

— Право немножко...

— Ладно. Значит, ты пошел дальше и услышал еще два выстрела?

— Два.

— Покажи, где.

Проехали немного. Кондараки придержал лошадей, взглянул на Якуба. Якуб остановился, повернулся к капитану.

— Тут два.

— Ладно. Ступай теперь вперед и укажи место, где ты увидел разбойников. Поезжайте с ним, господин Кондараки, пусть он все вам объяснит, а вы нам переведете.

Якуб с заседателем отделились, а все остальные свернули к криничке, напились и напоили лошадей. Проехав после того с полверсты, увидели спешившего Кондараки, оживленного, поджидающего компанию с явным нетерпением. Якуб понуро стоял возле. Поминутно обращаясь к нему за подтверждением, на что тот отвечал «эбет» (да) или молча кивал головой, Кондараки рассказал все то, что уже было в показании. Затем указал место, где Якуб увидел кровь на дороге и след, будто тащили тяжелое. Охочинский сошел с лошади, стал внимательно приглядываться. Потом махнул рукой.

— Где там следу остаться. Почти полтора месяца, — молвил он с сожалением. — Может быть, господа, из вас кто-нибудь попытается найти след?

— Безнадежное дело, — заметил Лагорио. — Ведь и дожди были.

Кондараки по-татарски повторил рассказ понятым, которые все так же молча глядели в землю, и густым мелколесьем повел компанию дальше. Версты через полторы увидели следы огнища.

Все слезли с коней и сгрудились вокруг остатков костра. На небольшой

площадке — пепел, зола, обожженные камни, кусок дерева. Охочинский присел на корточки и, между тем как Кондараки рассказывал, перебирал пепел и золу, извлекая обгорелые кусочки костей и бережно складывая их на разостланный платочек.

— Человеческие? — спросил Антон Христианович.

— Вне всякого сомнения, — не оборачиваясь, сказал капитан.

Один из понятых, самый молодой, Ягья, вдруг, покраснев лицом и шеей, глухим голосом кинул что-то по-татарски. Три других татарина разом посуровели, и один, крупный седой татарин, предостерегающе кашлянул. Охочинский повернулся к Ягье, внимательно и ласково взглянул и, отряхивая испачканные в пепле пальцы, сказал:

— Ты что говоришь, любезный? Переведи, Иванов.

— Он, ваше высокородие, сказал — недавний пепел. Дождями не смыло.

— А-а.

Охочинский долго глядел на молодого татарина, который, играя скулами под тонкой загорелой кожей и сведя черные брови, упорно смотрел в землю.

— Спроси у него, — тихо молвил, наконец, капитан, — он ни с кем из убийц в родстве не состоит?

— Йок, — резко отозвался татарин, минуя переводчика.

— А, так ты по-русски понимаешь. В таком случае я тебе объясню. Ежели дерево сгорит, то пепел легкий. А ежели кость, то пепел от нее тяжелый. Вот спроси у своих стариков. Ну-ка, Иванов, спроси-ка у них, верно я говорю?

Писарь переговорил с татарами, пожал плечами.

— Они, ваше высокородие, касаясь пепла говорят — мы этого дела не знаем.

Охочинский медленно выпрямился.

— Так вы этого не знаете? Хорошо. А уж это вы наверно знаете: сколько дворов в Большом и Малом Таракташе? Роту солдат можно разместить? Переведи слово в слово!

Писарь потолковал с татарами. Потом с улыбкой обратился к капитану:

— Прощенья просят, ваше высококородие. Точно, говорят: костяной пепел не в пример тяжелее.

Охочинский презрительно усмехнулся.

По предложению Стевена прошли с версту по направлению, куда, по словам Якуба, Сейдамет увел лошадь игумена, но никаких следов лошади не обнаружили. Когда возвращались к пепелищу, старик татарин, наклонясь, поднял что-то и протянул капитану:

— На, барин, еще.

Осмотрели место вокруг пепелища, но ничего интересного не нашли. Кондараки, поговорив с Якубом, объяснил, что убийцы, после того, как со всем было покончено, наломали больших веток и волокли их по дороге с целью уничтожить следы, а где видны были капли крови, — затирали их ружейными прикладами. И опять Ягья, покраснев, буркнул, но уже по-русски:

— Ночь был. Когда ночь — человек кровь не видит. Собака кровь видит.

Слышал капитан эти слова или не слышал — неизвестно: не отозвался. Осмотр кончился, делать больше было нечего, но Охочинский не уходил. На полянке среди лесной чащобы воцарилось напряженное молчание. Желтые, багряные, золотые, лиловые листья устилали землю, неуловимо курившую сладким тленом, тяжелой грустью охвачен был лес, и дерево посередине полянки, близ самого пепелища, одинокое, с пошедшей расцвеченной листвой, было, как сирота-невеста, которую вырядили и пестро, и убого.

Лагорио гулко кашлянул. Капитан обвел всех взглядом.

— Ну что ж, господа, едем?

Вернулись в Таракташ, в волостное правление. Охочинский писал длинный акт. Старик татарин, понятой, подойдя к заседателю, что-то сказал.

— Якши, — ответил тот и, оборотясь к капитану: — Ваше высококородие, понятой Бекир просит упомянуть в акте о найденной им кости отца игумена.

— Непременно, — отозвался Охочинский, любезно кивнув Бекиру.

Наконец, капитан положил перо, посыпал песочком, помахал в воздухе и

громко стал читать акт осмотра. Кончил, оглядел всех.

— Не угодно ли кому внести поправки, дополнения? Нет, не угодно? В таком случае потрудитесь, господин Кондараки, перевести акт осмотра понятым.

Татары слушали, глядя заседателю в рот, а Якуб стоял понуро, сонно ждал, когда его отпустят. Кончив, Кондараки также спросил, нет ли поправок. Татары переглянулись, ничего не сказали. После паузы начали подписывать. За татар расписался Иванов. Ягья, на предложение расписаться за него, повел плечами и тихо сказал:

— Пиши-пиши.

— Ну-с, господа, — с улыбкой гостеприимного хозяина начал Охочинский — и осекся: флегматичный Антон Христианыч, обнаруживая признаки беспокойства, заявил, что он припомнил одно обстоятельство:

— Видите ли... Я позавчера утверждал, что в день, когда исчез игумен, приказчика моего Сейдамета у себя во дворе я не видел...

— Так-с, — не поднимая глаз, тихо молвил капитан, перебирая на столе бумаги.

— Это неверно.

Под исправником затрещал стул. Кондараки лякнул зубами. Охочинский, сохраняя на лице любезную улыбку, успешно убрал со стола руки: лист бумаги, который он держал перед собой, слегка затрепегал.

— Это неверно. Я припомнил один свой разговор с покойным игуменом как раз в то утро, и — помню — мы оба с ним видели тогда Сейдамета и беседовали на его счет...

— Стало быть, беседа ваша происходила утром? — непринужденно спросил Охочинский.

— Д-да...

— Часов в восемь, в девять?

— Попозже...

— В десять?

Пауза.

— В одиннадцать?

— Пожалуй...

— Так мы и запишем. Минуточку. Вот, не угодно ли? «За первым показанием моим считаю долгом прибавить,

что я бывшего приказчика моего Сейдамета Эмира Али оглу видел у себя во дворе 22-го августа утром, часов около десяти или одиннадцати». Вы удовлетворены, Антон Христианыч?

— Да-да...

— Превосходно. Будьте любезны подписать. Теперь, кажется, все. Господа понятые, не смею вас более задерживать, также и вас, господин Кондараки. Благодарю за понесенные труды.

Оставшись с Охочинским, Орловский и Лагорио поняли, чего стоил ему этот день. Больше не сдерживаясь, он жадно выпил стакан воды, потом еще стакан, закурил, швырнул папиросу, расстегнул мундир и в полном изнеможении откинулся в кресле.

— Умаялись, ваше высококородие? — участливо спросил становой.

Охочинский уставился на него помутневшим взглядом и тихо сказал:

— Вся наша работа — к...

— Да, подгадил Стевен...

— А, что там ваш Стевен! Ну, видел он татарина. Эка беда. В десять видел, а после десяти тот и ушел в лес. Эта атака отбита. А вот акт осмотра... Да ведь в умелых руках — могила для обвинения! — взвизгнул вдруг Охочинский.

— Кость? — сказал Лагорио.

— Во-от! — живо обернулся к нему капитан.

— Какая кость, господа? — недоумевал становой.

— Ну, Бекирка же поднял, старая собака, — пояснил Лагорио.

— Чорт знает, где поднял, прибавьте! Как она туда попала?

— Может, она вовсе и не человеческая, — попытался его успокоить Орловский.

— Покорно благодарю! Еще лучше.

— А я, когда Бекирка ее поднял, признаться, подумал: ага, проныря вы их намеком на постой, старается.

— Ну еще бы. Он мне ее и подал, как дорогой подарок. Придраться не к чему. У-у, азиаты!

— А кстати, ваше высококородие, о костях. С утра еще хотел сказать, все забываю. Голова таракташский вечер мне по секрету сообщил, что у стариков та-

мошних совещание состоялось по поводу конокрада этого, Байрахтара. Вздумал, понимаете, промышлять этими костями, мерзавец. Достал баранью тушу и приказал сварить и при этом открыто похвалялся: я, говорит, возьму бараньи кости да и выдам помещикам за игуменовы, скажу — в лесу нашел близ пепелища, они мне большие деньги заплатят. А кто-то ему скажи, что таким путем и малого ребенка не проведешь, всякий сразу увидит, что бараньи. Тогда, можете себе представить, отправляется, негодяй, ночью на кладбище и там раздобывает человечески кости. Вот, говорит, кости игуменовы, теперь полгода буду пьяный. Где взял? С Якубом, говорит, ходил в лес, там и собрал, где попа убили. А сам смеется. Хотели татары вашему высококородию заявление сделать, но старики побоялись. Только сообщили тайком голове, а голова — мне.

Глаза Охочинского горели на побелевшем лице. Вдруг хватил кулаком по столу:

— Пресежь малейшую огласку, — слышите! Чтоб ни одна душа... Ну, и вы хороши! О таком обстоятельстве докладываете мне через сутки.

— Простите, ваше высококородие, затормошился...

— А-а! — махнул рукой капитан. — Ладно, я нынче поговорю с господином Кондараки... Что делают, мерзавцы, что делают... Засада эта. Лютый враг не придумает! Пешие убивают конного, а засаду делают на открытой дороге и вдобавок позади места убийства, версты за две. Стало быть, подкараулили, пропустили вперед, потом, шагом марш, бегом опередили и ухлопали. Веселый сюжетец?

— Ваше высококородие, — робко заметил Орловский, — не смел спросить у вас, к чему нам эта засада? Не проще ли было опустить в акте все обстоятельства, до засады касающиеся?

— Вот! Неужто сам я настолько глуп... Всем уши прокричали, а мы опустим. То Костюков, то Бескровный, то Безобразов... А сегодня этот вонючий пиндос... Кажется, задушил бы своими руками! Сначала сюрприз с конокрадом,

который каким-то родом узнает о нашем выезде на место убийства, потом это забегание вперед. Я спрашиваю Якуба, а этот прохвост вместо него отвечает! Да откуда тебе это знать, ежели мы с понятными едем первый раз на дознание?!

— Уж он всегда перестарается, — вставил исправник. — На первое место хочет выйти.

— А вот я его выведу на место... Ну, теперь насчет останков игуменовых. Я уже заготовил: «Не сомневаясь, что найденные сего числа в лесу пепел и кости представляют останки сожженного трупа игумена Парфения, постановили: пепел, собрав, передать для хранения впредь до особого распоряжения в Судакскую церковь, а кости, тщательно уложив в коробку с ватой, хранить при деле». Подпишите, господа.

— Капитанша Руднева пожелает к косточкам приложиться, — с усмешкой молвил Лагорио, подмахивая фамилию.

— А-а, стерва эта? — весело отозвался Охочинский. — Что ей косточки. Ей подавай живую плоть... Завтра, господа, с утра ко мне на квартиру пожалуйте. Надеюсь, что одно обстоятельство выяснится, — добавил он несколько загадочно и отчасти мечтательно, но в то же мгновение встрепенулся и жестко напомнил: — Так смотрите же, господин Орловский. Да и вы, Матвей Лукич. Чтоб про эти махинации Байрахтара с костями — пикнуть никто не смел. Прощайте.

ГЛАВА XV

ДАЛЬНЯЯ ТРАНШЕЯ

Утром привели арестованных татар, и каждому, спрошенному порознь, капитан предлагал признать свою вину ввиду собранных улик. Ни один, однако, не сознался, и татар увели. Не успели увести последнего, Эмир Усеина, как явился встревоженный Якуб с жалобой, что родственники убийц ему угрожают. Вчера близ мечети он встретил брата Сейдамета, и тот посмотрел на него, как волк на овечку. Как бы не погибнуть со

всем семейством. Защиты ему не будет, все от него сторонятся.

— Ничего не бойся, Якуб-эфенди, — потрепал его по плечу капитан. — Первый человек будешь у себя в деревне. Ступай себе.

И тотчас же написал постановление: «Якуба Сале, обвиняющего в убийстве игумена Парфения своих односельцев таких-то и не наводящего на себя подозрения в участии с ними, отдать под полицейский надзор местному волостному правлению. Собрать в волостное правление общество таракташских татар и объявить им, что Якуб отдается им под покровительство и защиту от тайных врагов его».

Только с этим покончили, как вошла горничная и подала капитану от барыни Рудневой палевый атласный конверт.

Охочинский быстро пробежал письмо, едва заметно усмехнулся и приказал передать, что-де хорошо, велели благодарить.

После этого пронизательный Лагорио подметил в поступках капитана странную рассеянность. Он брал в руки и снова клал на место ненужные предметы, улыбался, раза два или три прошелся по комнате и все поглядывал в окно. Прошло уже с час времени, а только и всего, что написали постановление относительно денег, обнаруженных у Сейдамета при обыске. Охочинский предложил: 15 рублей стевенских вернуть по принадлежности, «деньги же в мелкой серебряной монете оставить при дознании, так как, по заявлению служанки помещицы Рудневой, Авдотьи, в кошельке игумена Парфения, перед выездом его, она видела мелкие серебряные деньги, но, сколько именно, — не знает».

Впервые за все время дознания исправник Лагорио дал свою подпись безо всякой охоты, хотя спорить не стал. Мысленно он приписал поступок капитана его необычному состоянию. Если бы обыск был произведен в день исчезновения игумена или даже на другой день, — куда ни шло. Но предположить, что Сейдамет более месяца станет отдельно хранить взятые у игу-

мена ничтожные деньги, — это была форменная дичь. А заносить это в протокол, по мнению исправника, было равносильно признанию, что против арестованных не добыто приличных улик.

Делать было решительно нечего, но Охочинский все медлил отпустить своих сотрудников. Он вышел в смежную комнату, — исправник с Орловским переглянулись и недоуменно пожали плечами — и вскоре вернулся, а вслед за тем горничная принесла на подносе чай, ром и фрукты. Не успели выпить по чашке, как она снова вошла и доложила, что барина желает видеть барышня Шампи.

— Проси, проси, — поспешно сказал капитан. И вдруг очень громко произнес: — А знаете, господа, меня все больше и больше занимает мысль, не улизнул ли, в самом деле, о Парфений за границу. Что-то на то похоже. — Затем, не дав опомниться присутствующим, шагнул к двери и с галантной готовностью распахнул ее навстречу.

Доброе сердце Зотова сжалось, когда он увидел Шампи: все силы ее, повидимости, ушли на то, чтоб как-нибудь унять бившую ее дрожь и скрыть свое волнение. Она кивнула, не глядя, низко склонившемуся перед ней капитану, подала холодную, как ледяшка, руку остальным и опустилась в пододвинутое кресло.

— Разрешите вам предложить чашку чая, — с покорной учтивостью сказал капитан.

— О нет, мерси, — торопливо отвергла она и хотела что-то добавить, но рот у нее задрожал, и, чтобы скрыть, она еще ниже опустила голову.

— Кушайте, господа, прошу вас, — пришел к ней на помощь Охочинский, отвлекая внимание и давая ей возможность оправиться.

— Я бы вас просила поскорей меня отпустить, — тихо сказала девушка.

— Вам угодно чем-нибудь дополнить первое свое показание?

— Да... Брат... и другие меня уверяют, что я ошиблась и перепутала дни...

— И что же?

— Я, право, не знаю! — воскликнула она с отчаянием. — Я столько пережила...

— Еще бы! Жизнь вашей матушки находилась в большой опасности... А как она сейчас?

— Благодарю вас. Она поправилась.

— Весьма счастлив.

Наступила пауза, тяжелая для всех, но особенно, повидимому, мучительная для капитана Охочинского: он встал и, ероша волосы, быстро заходил по комнате. И вдруг решительно подошел к столу.

— Ровно через пять минут я предложу вашему вниманию несколько строк, которые, надеюсь, вас удивят. Мы просто укажем, что человеческая память несовершенна, как и все в этом мире.

Он взял лист бумаги и быстро стал писать. Затем непринужденным тоном прочел:

— «Явившаяся добровольно дочь иностранки Шампи, девица Мария, показала: Хотя 28 числа сентября месяца я и дала показание, что прикащик г. Стевена татарин Сейдамет в день пропажи игумена Парфения находился после обеда и ночью в нашем доме, но это утвердительное показание я дала потому, собственно, что Сейдамет почти каждую ночь ночевал в нашем доме. Ныне же, раздумав и припомнив все прошедшие дни, я прихожу к заключению, что Сейдамет именно в день исчезновения игумена мог и не быть в нашем доме, чего впрочем не могу припомнить, — тем более, что в то время мать моя была больна, и я находилась в сильном расстройстве, в чем и подписуюсь». Вот и все. Надеюсь, мадамзель Шампи, что это как-раз то самое, что вы сейчас изволили нам сказать. Вам остается подписать...

— Разрешите мне прочесть, — перебила девушка.

Она взяла лист и читала долго, сосредоточенно; мучительное напряжение исказило ее лицо. Потом положила бумагу, медленно протянула руку к перу, обмакнула. И вдруг уронила перо на скатерть и подняла глаза на капитана. Он быстро, с готовностью к ней повернулся, Она смотрела на него прямо и

дачала тихо дрожать, потом сильнее, сильнее. Зубы у нее стучали.

— Успокойтесь, ради бога...

— Нет, — произнесла она высоким, чужим голосом, страшным усилием борясь с одолевшей ее дрожью, — нет, подождите... Я к вашей чести обращаюсь. Правда, что им не грозит опасность?

— Арестованным?

— Да. Я к чести вашей обращаюсь!..

— Сударыня, — торжественно проговорил Охочинский, выпрямившись во весь рост. — Я совершаю служебное преступление, но не ответить вам я не в силах. Сударыня! К сожалению, с великим трудом добытые нами против этих татар улики... — он прикрыл на мгновение глаза и развел руками. — Ежели в темном этом деле имело место преступление, оно, боюсь, не получит должного возмездия.

Они глядели друг другу прямо в глаза, и Шампи, не отрывая от него взгляда, снова медленно потянулась за пером. И, быстро подписав бумагу, прошептав общее «прощайте», кинулась из комнаты.

Какие-то необычные звуки тотчас донеслись с улицы — и все бросились к окнам: не глядя себе под ноги, спотыкаясь, шла Мария Шампи и плакала. Это был странный какой-то плач, — ни громкий, ни тихий, открытый плач глубочайшего изнеможения и бессилия души. Она тихо бормотала что-то и даже слез не вытирала.

— Бедняжка! — вырвалось у Зотова, также, казалось, готового заплакать.

Охочинский на него и не взглянул. Становой покровительственно потрепал акцизного по плечу:

— Эх, Лев Николаич... В нашем деле: ты его не слопаешь — тебя начальство слопает. Это не табак бандеролью оклеивать. Да-с, попалась птичка — стой! Не уйдешь из сети...

— Господа, — прервал Охочинский разглагольствования становой. — Предварительное дознание я почитаю законченным. С божьей помощью кое-что сделано. Разные мелочи отложим до зав-

трева, а сейчас — извините — хочу успеть два-три визита сделать.

На другой день постановили, во-первых, до производства формального следствия отправить арестованных в феодосийскую тюрьму. Далее — о розысках лошади игумена: они поручены были Орловскому.

— Вы с пиндосом на этот счет поговорите, — сказал капитан. — Он меня уверял, что местонахождение лошади обнаружит, но просил для пользы дела с розысками обождать. Признаться, его соображения показались мне не лишены основания. Но я задерживаться далее не намерен, да и надоел он мне донельзя. Вы ему воли не давайте, Януарий Филиппыч. Впрочем, я с ним имел приватную беседу и надеюсь... Во всяком случае — избегайте в этом деле излишнего шума и многолюдства. Чем скромнее — тем лучше.

Завершил капитан Охочинский свое дознание весьма торжественно обставленным действием: приказал собрать перед волостным правлением всех татар обоих Таракташей и, выйдя на крыльцо, при всех знаках отличия, грозно и внушительно об'явил, что доказавшего свою честность и верность царю и закону тарина Якуба Сале (стоявшего рядом с опущенной головой) он отдает под охрану всего общества, и что ежели волос один упадет с его головы, то беспощадная кара обрушится на все население поголовно. Когда же после этого, выдержав томительную паузу, капитан приказал выступить наиболее зажиточным и старикам и обратился к ним через переводчика с вопросом, что могут они сказать про Якуба-эфенди и заслуживает ли доверия этот человек, то старики отозвались о последнем с большой похвалой и заверили начальника, что никто в их селениях не причинит ни малейшего ущерба ни Якубу-эфенди, ни семье его.

Опять последовала тяжелая пауза. Затем Охочинский сказал, что преступлением трех татар он считает запятанным все татарское население, и удался среди мертвой тишины.

Того же дня вечером в честь капитана состоялась многолюдный ужин у Дарьи

говор суда увенчает его усилия, то и относительно мелких серебряных денег скажут: вот молодец — из пальца высосал улики и мотивы. Если же дело кончится оправданием, то скажут: еще бы, когда и мотивы, и улики Охочинский из пальца высосал. Значит, и тут вопрос упирался в то, каков будет суд.

С этой стороны положение внушало тревогу. В Таврической губернии новые судебные уставы, — с присяжными, с адвокатишками, — еще, правда, не были введены, но введения их ждали со дня на день, а между тем дело было сложное и не могло не затянуться... Стало быть, все усилия надлежало направить, во-первых, к тому, чтобы суд, который займется этим делом, был не обычный, а особенный и специальный и, во-вторых, чтобы преемник его, которому будет поручено производство формального следствия, не испортил того, что он успел сделать.

Относительно своего преемника капитан не сомневался, что, ввиду достигнутых им успехов, губернатор назначит того чиновника, на которого Охочинский ему укажет. Но вот — на кого указать? На умного или глупого? На способного или на тупицу? Умный и способный опасен тем, что обычно питает склонность к интриге: чтоб выставить на вид себя, компрометирует работу предшественника. Глупый и тупица также таит в себе опасность: питает склонность поступать по закону.

Уже обозначились маковки симферопольских колоколен, уже слева от дороги замелькали среди садов дома подгородних экономий, а кандидата не находилось. И, как всегда в труднейших обстоятельствах, капитан решил призвать на помощь судьбу: первое знакомое лицо послужит ему указанием на преемника. Охочинский стал внимательно вглядываться в редкие фигуры, попадавшиеся ему навстречу. Цыганка в цветной и грязной пестроте тащила за рукав мужа, совершенно пьяного, валившегося с ног. Толстая баба — верно, из Бахчи-Эли — гнала рыжую корову. Татарин проехал с гулким возом порожних винных бочек... Наконец, и знакомые лица

попались, но капитан лишь поморщился: это уж походило на насмешку...

Слева от дороги тянулся каменный забор с воротами, на которых красовалась вывеска: девица держит поднос с бутылками — и надпись: «С а д п р и я т н о е с в и д а н и е. С в е ж а я р ы б а н а в с е г д а». Армянин Поповьян держал здесь веселый кабачок, в котором уже более года давала представления девица-атлет Бедросова.

Когда капитан поровнялся с воротами, оттуда выходила компания, и всех троих он узнал, хотя уж начинало смеркаться: все трое ни к чорту не годились. Янус Феоктистов из губернаторской канцелярии, затем исполняющий должность судебного следователя Крым-Гирей, большой, вялый татарин, богатый мурзак, и, наконец, молодой купчик Жамгоцев, из греков, веселый кутила. Последний шумно приветствовал капитана, Янус и Крым-Гирей также приподняли фуражки. Охочинский суровато раскланялся и проехал, не оставившись.

Что преемника среди них не было, — капитан не сомневался: купчик не в счет, Крым-Гирей, как татарин, не годился для такого дела. Янус — ловкая bestия, но предатель, арестант, тот же Кондараки. Однако Охочинский и помыслить не мог, чтоб пренебречь указаниями судьбы. Пусть не они, но в них — намек на кого-то. Но на кого же, на кого? Господи...

И вдруг, словно кто ему дал кулаком в грудь, капитан откинулся в экипаже и громко воскликнул:

— Дурррак!..

— Ась? — испуганно обернулся ямщик.

Охочинский побагровел: ведь дураком-то он себя самого обозвал.

— Заснул, чучело воронье! Вези, коли везешь, а то, гляди, подбодрю!

Экипаж быстро покотился, подымая тучи пыли, но капитан ее не замечал.

Уже не обращая внимания на встречных, — вопрос о кандидате был решен бесповоротно, — Охочинский подкатил к своему дому, когда свечерело. Капитан привел себя в порядок, выпил две чаш-

Ивановны Рудневой, — ужин благодарственный и прощальный. Тостам в честь его не было конца, и все поголовно, не исключая дам, были пьяны — от вин, от восторгов, от умиления перед волшебником-капитаном. Его качали, именovali Наполеоном. Но сам капитан, хоть и пил не меньше других, не опьянел ни от вина, ни от почестей. Голова, голос, глаза — все было у него ясно.

Уже под утро придя к себе на квартиру, капитан положил перед собою папку с делом, над которым столько потрудился, и на обложке, рядом со словами: «начато 16 сентября 1866 года» к напечатанному слову «окончено» добавил:

«2-го октября 1866-го года».

И только после этого разделся и лег в постель.

А в полдень 3 октября, тостами, кликами, шампанским провожаемый с почтовой станции всем избранным судакским обществом, как некий триумфатор, капитан Охочинский отбыл из Судака в Симферополь.

Таракташ был пуст, когда проезжал капитан, — пуст для невнимательного глаза. Для кошки, когда она заходит в комнату, где по углам и в подполье притаились мыши, — комната не пуста. О, нет! Она полна напряженной, увлекательной жизни. В просветах плетней, за углышками едва приподнятых занавесок, из-за обреза плоской крыши ловил капитан молнии пугливых взглядов — и радость разливалась у него по телу.

ГЛАВА XVI

ТРИУМФ

На длинном пути, по выжженным солнцем степям между Судаком и Симферополем, капитан Охочинский в десятый раз и уже безо всяких помех подвел итоги.

Четыре обстоятельства были необходимы для благополучного завершения дела. Во-первых, твердо установленное преступление. Во-вторых, должны быть обнаружены преступники. В-третьих и в-четвертых, надлежало установить мо-

тивы преступления, подкрепленные вескими уликами против преступников.

Наиболее простым и ясным было первое. Обстоятельства исчезновения игумена, как и связанные с этим слухи и подозрения, были известны Охочинскому во всей полноте. Но с того момента, как он получил от губернатора предписание искать убийц игумена, факт преступления был для него столь же непреложен, как если бы игумена убили у него на глазах.

Никаких колебаний не вызывало у него и второе обстоятельство: раз совершилось убийство — должны быть и убийцы. По всей обстановке ни в Судаке, ни в обоих Таракташах не могло быть более подходящих убийц, как Сейдамет, Сеид Ибрам и Эмир Усеин, — они, стало быть, и убийцы.

Таким образом, вопрос сводился к мотивам и уликам. Но вот тут-то и начинались затруднения. Мотивы были, но... шаткие. Первый состоял в исконной вражде магометанского населения к христианству. Он был хорош тем, что почитался непререкаемым в обществе, к которому принадлежал Охочинский, и не нуждался в доказательствах. Но плох он был тем, что был чересчур общ: для донесения в Петербург он чрезвычайно годился, но на суде, чего доброго, потребуют точных и положительных указаний на особливую вражду именно этих трех татар к именно этому убитому иерею, а никакого намека на такую капитану обнаружить не удалось. Правда, если суд удовлетворится общими соображениями, то... А если... Вопрос в том, как поведет себя суд.

Второй мотив — ограбление. По этой части имелось показание Якуба, что убийцы обшарили карманы игумена, затем 4 р. 65 к. серебра, найденные у Сейдамета в бумажке. Но Якуб был единственный свидетель и притом соучастник, хотя и невольный, а этого по закону недостаточно. Оставались мелкие серебряные деньги. Цену этой улики капитан знал не хуже исправника, и если занес ее в акт, то не вследствие потери душевного равновесия, как полагал Лагорио, а в силу необходимости и скрепя сердце. Он ясно сознавал, что если при-

ки крепчайшего кофию и сел писать донесение его превосходительству.

Изобразив кратко, без прямых намеков, но весьма искусно, жалкую картину розысков, которую он застал на месте, капитан скромно и в то же время внушительно изложил свои собственные действия. Хорош, прямо живописен получился у него игумен: «человек очень неглупый, с научным образованием и весьма практическими сведениями в жизни, он был для знакомых всё — приятный собеседник, столяр, плотник, сапожник, винодел, был полезен и словом, и делом. Вмешиваясь в хозяйство своих знакомых, не мог нравиться ни их прислуге, ни их приказчикам», — вскользь отмечал капитан. Не забыты были и 4 р. 65 к.: «... деньги эти дают право подозревать, что это собственность игумена, потому что служанка госпожи Рудневой заявила, что перед отъездом игумена из Судака она видела у него 3 рубля, а может быть, и более мелкою серебряною монетою». Коснувшись факта сожжения трупa, капитан высказал существенное предположение, «что злодеи имели много времени для сокрытия следов своего преступления, — все большие оставшиеся кости куда-нибудь вывезены».

Ему покоя не давала кость, поднятая Бекиркой, а при высказанном предположении получалось, что увозили и оброрнили. В конце-концов и в этом вопросе дело сводилось к тому, каков будет суд.

В десять часов утра капитан Охочинский, свежий, отдохнувший, румяный, выбритый, с золотыми усами, пущенными в ниточку и кольцами, явился к его превосходительству, который тотчас его принял. Из кратких депеш капитана генерал уже знал об успехе в розысках и с нетерпением ждал подробностей.

— Поздравляю, голубчик, поздравляю, — встретил генерал почтительно, но с достоинством склонившегося капитана, крепко пожимая ему руки. — Видок. Совершенный Видок. Молодец! От души благодарю.

— Рад стараться, ваше превосходительство! Без излишней скромности осмелюсь доложить: не пожалел трудов,

чтоб оправдать драгоценное доверие вашего превосходительства.

— Вижу. Вижу, цену и все сделаю, чтоб оценили и там... Можете не сомневаться... Итак, полный успех? Ну-ка, ну-ка, все по порядку.

— Ваше превосходительство, — твердо проговорил капитан, — успех бесомнennyй, но не могу скрыть от вашего превосходительства, что, невзирая на достигнутые успехи, исход дела внушает мне весьма большие сомнения.

— Как так? — сразу покраснев, кинул генерал, и жировой ме́пок, начинавший обозначаться у него под подбородком, дрогнул. — Да я направо и налево всем говорю, что злодеи схвачены, а вы мне заявляете бог знает что!

Капитан стал выкладывать. Злодеи схвачены, но признания от них не удалось добиться, едва ли и удастся. Очевидец преступления всего один, притом же соучастник, правда, невольный. Для суда этого недостаточно. Татарское население держит себя вызывающе, пришлось принять специальные меры для ограждения Якуба от враждебных посягательств. Часть свидетелей из боязни обнаруживает колебания, возможен впрочем и прямой подкуп. Формальное следствие, ежели не попадет в верные руки, может излишним педантизмом опорочить уже достигнутые успехи. Дело засорено хламом, вроде пресловутой засады, умелый противник получит на суде довольно материала для придирок и крючкотворства.

Генерал Жуковский, решив направить дело по пути открытия преступления, в тот самый день и час твердо уверовал в наличие его, после чего не только в себе самом не допускал сомнений в убийстве игумена таракташскими татарами, но, если чьи-либо сомнения в виде отголоска его собственных давешних доходили до генерала, они уже представлялись ему нахальством. Получив донесение об аресте трех татар, он без малейших колебаний счел их убийцами игумена. Когда же он выслушал рассказ капитана, они обрисовались перед ним не простыми, а особенно отвратительными убийцами, потому что все то, что клонилось в их пользу, лишь свидетельствовало,

что это преступники необыкновенно изворотливые и хитрые. Генерал раскалился гневом.

И тогда капитан Охочинский, усевшись верхом на генерала, погнал его, куда хотел. Вставшие перед губернатором вопросы как бы сами в себе заключали и самоочевидные ответы. Ежели все сводилось к тому, каков будет суд, то загодя надобно позаботиться, чтобы суд был серьезный, для которого важно существо дела, а не юридические фигли-мигли. Ежели татарва нахальничает, ее надобно осадить и привести к раскаянью. Расквартировать роту — и крышка! Колебания свидетелей, шероховатости в дознаниях? Все это должна устранить следственная комиссия; которую генерал предложит уголовной палате назначить в ближайшие дни. Состав комиссии? Подбавить к Лагорию и Орловскому кого-нибудь для проформы, это пустое, — был бы хорош председатель, прочее роли не играет. Ну, а председателем вот кого бы?

— А в самом деле, кого?

Шагавший из угла в угол широкими шагами генерал, круто повернувшись, остановился перед Охочинским и, вопросительно взглянув, назвал имя чиновника из Уголовной палаты:

— Селяванова?

Капитан промолчал: это был один из дюжины кандидатов, мысленно им отвергнутых. Генерал подождал и, не получив ответа, снова пустился шагать.

— Нет, слабоват...

Остывший было генерал опять начал волноваться. Одно за другим называл он имена чиновников, но Охочинский либо молчал, либо отзывался уклончиво. И после этого предложенный генералом кандидат им же самим отвергался.

— Чорт знает что! — наконец, рассердился он. — Полон город шпакон с кокардами, а коснись до дела — и... и послать некого. Вот в дивертисментах стишки читать, так отбою нет... Кисель... Да что ж вы молчите, словно воды в рот набрали? Не мне ж самому туда ехать?

— Крым-Гирея, — спокойно произнес Охочинский.

— Ка... Как вы сказали?

— Крым-Гирея, ваше превосходительство, — бесстрастно повторил капитан.

Генерал внимательно на него поглядел, вдруг поднял над головой руки и, кинув их — ах, пропади! — закатился, зафыркал, закашлялся, из глаз, из носу у него потекло. А как стоял он в аршин от капитана, то на мундир последнего попал подозрительный комочек, кажется, из носу его превосходительства. И капитан Охочинский находился в замешательстве: вынуть платок и вытереть — подчеркнешь оплошность генерала; так оставить — неловко торчать с эдаким трофеем, да и противно. Сам генерал пришел ему на помощь.

— Того... — плача, выдавил он из себя, — того... сотрите... Сам виноват... Уморил. Совершенно уморил!

— А ведь я серьезно, ваше превосходительство.

Генерал уставился, выпуча глаза: он был уже стар, эти вольтижировки его вдруг умаяли. Генерал не на шутку разгневался:

— Дозвольно, капитан. Ценю ваше остроумие, но все хорошо в меру.

— Ваше превосходительство, помилуйте! Мог ли бы я себе позволить? Поверьте...

— Да нет, он и впрямь...

Генерал постоял перед Охочинским, устремив на него бессмысленный взгляд, хлопнулся в кресло и отчеканил, указав место напротив:

— Я солдат, а не дипломат. Извольте сесть и изяснить вашу мысль.

— Слушаю, ваше превосходительство. Я полагаю, что принадлежность Крым-Гирея к татарской нации послужит делу на пользу. Прежде всего — никто не посмеет сказать, что следствие велось пристрастно...

— А наплевать мне, хоть бы и посмели. Вас что смущает? Татарва галдеж подымет? Ну, а все равно на всех не угодишь. Попробуй-ка, в самом деле, назначить председателем этого барана с курдюком, — воображаю, помещики в Судаке завоят. Житья не дадут.

— Справедливо, ваше превосходительство, и мысль моя в том и состоит, что ежели у них возникнет сомнение в

твердости следственных органов, то не послужит ли это обстоятельство некоторым образом в помощь вашему превосходительству, чтоб добиться настоящего суда над злодеями. А помещики впоследствии первые же будут благодарить ваше превосходительство.

— Погодите, погодите, я улавливаю вашу мысль.

— Ничего особенного, ваше превосходительство. Русское население охвачено тревогой за исход дела и обращается к вам с ходатайствами, а ваше превосходительство, опираясь на таковые и идя навстречу, в свою очередь, ходатайствует... и так далее.

— Это мысль! Клянусь! Вот Пальмерстон!.. Но вы, голубчик, одно упускаете: татарин-то и вправду ведь своим помирволит. Так изгадит следствие, что потом и Соломон Мудрый ничего не поделает.

— Простите, ваше превосходительство, но этого опасений я не разделяю. Скорее, полагаю, напротив. И признаться — именно это соображение и навело меня на мысль о Крым-Гирее. Потому что...

— Стоп! Вы правы, капитан. Bravo!

— Ведь как он ни прост, а сообразит, что, как татарина, его подозревают...

— Понял, молчите, понял, — с воодушевлением замахал на него руками генерал.

— Ведь ему придется доказывать, — торопился Охочинский, не в силах будучи отказаться от наслаждения изложить свои мысли, — что с его стороны не делается татарам ни малейшего послабления. Вот ты и ходи под дамкловым мечом подозрения.

— Гордиев, гордиев меч, капитан. Дамклов — это другое. Узел такой, знаете ли...

— Точно так, обмолвился, ваше превосходительство.

— Нет, вы правы. Именно — меч-то Дамклов... Чорт их впрочем разберет, этих греков... Так на татарине, стало быть, и остановимся?

— Как будет угодно вашему превосходительству.

— Нет, нет, Крым-Гирея. Решено и подписано. Воображаю, рожи у всех, ко-

гда узнают. Спятил, скажут, губернатор. А эти-то, эти, аввы благочестивые!.. Вы, капитан, вообразите лик его преосвященства! Право, я опасуюсь, как бы кондрашка его нехватила. Ха-ха-ха! А Черепаша!.. А сам-то, сам-то... Баран курдючный, а? Его гла... гла...

Губернатор махнул рукой, горько заплакал и, только выплакавшись, в изнеможении dokonчил:

— Как представляю себе его глаза, — не могу...

Он вытер слезы, высморкался, успокоился, но явно обессилел.

— Я полагаю, капитан, что предварительно не мешает принять некоторые меры. Эдак, знаете, под рукою, шепните тому-другому, оно и пойдет. Пусть попривыкнут. Так, знаете... Ну, да вас мне не учить.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ну, еще раз, голубчик, благодарю, — подымаясь, сказал генерал. — Молодец. Молодец. Будьте уверены. За богом молитва, за царем служба... Все, что смогу...

— Покорно благодарю, ваше превосходительство.

За триумфом у губернатора таковой же последовал у непосредственного начальника Охочинского, полковника Калимахи, у преосвященного, у губернского прокурора, у высших представителей дамского общества, у чиновного мира, и так далее, и так далее.

Полковник Калимахи проявил, правда, некоторую осторожность. Вскоре по отезде Охочинского в Судак он получил от управляющего III отделением генерала Мезенцева запрос относительно игумена: «Какие были результаты произведенных местными властями розысканий». В ответе своем полковник, изложив обстоятельства дела, не скрыл и щекотливой стороны события: «Возникали также некоторые подозрения о бегстве игумена, основанные на том, что он был вызван консисториею на 30 августа в Симферополь, для объяснения по разным неприятным для него делам, но он уклонялся от этой поездки, был скучен и задумчив». Однако ни краткая депеша Охочинского из Судака об успеш-

ных результатах розысков, ни даже подробное личное донесение не побудили полковника поспешить с новым рапортом. Он все выжидал. Но вот случилось донесение от Орловского, что и лошадь игумена обнаружена...

Оказалось, что тотчас по отбытии Охочинского из Судака таракташский волостной голова, богатый татарин, которому капитан перед отъездом выразил порицание и недоверие за недостаточное содействие при розысках, сообщил становому, что вместе с другими татарами он нашел в лесу следы лошади убитого игумена. Орловский отправился с понятиями и головой в лес и там, в полуверсте от пепелища, они увидели «следы большой лужи крови, всосавшейся в землю». Поблизости от лужи «приступлено было к разрытию найденного места, где и оказался труп лошади, закопанной не более, как на $\frac{1}{2}$ аршина глубины в землю. Найденный труп почти разложился, но по масти сохранившихся кусков кожи (темнорыжей) нельзя сомневаться, что убитая лошадь принадлежала игумену Парфению».

Актом станового остался доволен Охочинский, понравился он и губернатору, но щепетильному полковнику Калимахи он сначала не понравился. Полковник заметил Охочинскому, что следы лужи крови, сохранившейся полтора месяца под открытым небом, да еще в осеннее время, — это весьма и весьма...

Что именно «весьма и весьма» — полковник не досказал. Но капитан Охочинский не стал и добиваться разъяснений, а только равнодушно, хотя и вполне почтительно, возразил, что это — не такое вещественное доказательство, которое можно положить на стол перед судьями, актец же составлен по форме, с понятиями, притом татарами. На что в свою очередь полковник, поглядев внимательно на Охочинского, заметил:

— Быть вам в больших чинах, капитан.

И 9 октября отправил, наконец, Калимахи новое донесение в Петербург, уже без упоминания о каких-либо слухах относительно побега игумена, но с приложением копии рапорта капитана

Охочинского губернатору о раскрытии убийства и обнаружении преступников.

Кто бы мог поверить, что при всех этих успехах и триумфах капитан снедаем был неутоленным честолюбием! Что ему до похвал и фимиамов, когда то, что сам он почитал поступком гениальным, что должно было всех поразить, как громом, что удалось ему лишь при незримом покровительстве высшего промысла, — именно это никого не удивило, не было оценено и прошло почти незамеченным. Все в городе отнеслось к слухам о назначении Крым-Гирея не то, что равнодушно, а как к чему-то хотя и пикантному, но само собой разумеющемуся. Владыка не скрыл даже огорчения, что не ему первому пришла в голову эта мысль, и самые немудрящие чиновники вполне безошибочно поняли глубокий смысл этого назначения.

Капитан Охочинский был неглупый человек, но он не догадывался, что его постигла судьба всех знаменитых изобретателей: великое открытие, на которое способен лишь один из миллионов, всем кажется простым, ясным и легким после того, как оно сделано.

В утешение капитану осталось то, что другая сторона назначения Крым-Гирея — создание помещичьей тревоги за исход дела — едва ли кем была расшифрована. В этом направлении капитан кое-что дополнительно предпринял. Он отправил письмо Дарье Ивановне, в котором извещал ее, что дело о достойном возмездии злодеев получило оборот неблагоприятный, что формальное следствие будет поручено, по слухам, татарину и что Дарье Ивановне надлежит, не теряя ни минуты, пробудить общество от спячки и вызвать со стороны судакских владельцев внушительное и единодушное обращение к его превосходительству, а также и к его высокопревосходительству в Одессу, о назначении над преступниками военного суда. Засим в письме следовала и часть лирическая, но весьма интимного свойства.

Получив вскоре от госпожи Рудневой вполне удовлетворивший его ответ, капитан Охочинский доложил его превосходительству, что общество, повиновости, вполне подготовлено к назначению

Крым-Гирея. Губернатор немедленно вызвал к себе татарина и объявил ему свое намерение, выразив при этом твердую уверенность, что тот постарается оправдать оказываемое ему особое доверие.

Очень трудно сказать, как отнесся к своему назначению этот массивный, широкозадый человек с сонными глазами. Впрочем, он, возможно, уже был о том предуведомлен. Но только губернатор, рассказывая кой-кому об этой аудиенции, заметил по адресу Крым-Гирея, что «на челе его высоком не отразилось ничего». И долго после того чиновники и чиновницы, когда упоминалось имя Крым-Гирея, с веселой улыбкой спешили продекламировать: «И на челе его высоком не отразилось ничего».

18 октября, когда Крым-Гирей уже находился в Судаке, таврическая палата уголовного суда, согласно предложению губернатора, составила журнал о назначении следственной комиссии для производства «строжайшего формального следствия» по делу убийства игумена и определила состав комиссии: старшим членом — и. д. судебного следователя Крым-Гирея и членами — чиновника особых поручений Врони, станового Орловского и, ввиду заинтересованности в деле таврического духовенства, депутата от последнего. Владыка поблагодарил генерала, не забывшего о своем обещании, и депутатом назначил салынского священника Иакова Черняева.

Ко всем этим подробностям капитан Охочинский отнесся, однако, с явным равнодушием. Добившись назначения Крым-Гирея, он на прочее словно рукой махнул, что несколько даже раздражило генерала Жуковского, который время от времени вызывал его к себе для совещаний, но затем, видя его безучастие, оставил в покое, решив, что у этого способного человека в характере недостает выдержки, а энергии хватило только на короткий удар. Прав ли был генерал, или ошибался, — только капитан Охочинский после свершения подвига всецело предался страсти своей к голубям.

А между тем дело об игумене положительно забурило. И таврический губернатор, и новороссийский генерал-гу-

бернатор стали получать от судакских владельцев исполненные тревоги ходатайства об ограждении их жизни от дерзкого татарского населения, которое дошло в своей наглости до того, что убило всеми уважаемого игумена среди бела дня и чуть не у всех на глазах. В ходатайствах указывалось, что если убийцы останутся безнаказанными, то жизнь христианского населения в Крыму сделается невозможна. Одновременно в газетах, как одесских, так и столичных, начали появляться корреспонденции из Судака и Феодосии, заключающие в себе прямые обвинения местной власти в том, что она увлеклась слухами о побеге игумена, отпускает время и не проявляет достаточно старания к раскрытию преступления и поимке убийц. Преосвященный получил из Петербурга запрос, основательны ли таковые упреки по адресу местной власти. Генерал Жуковский получил почти одновременно две неприятные бумаги: от директора департамента полиции и от министра внутренних дел. Первый настойчиво требовал подробностей о деле, министр же, ссылаясь на корреспонденцию в «Голосе», прямо обращал внимание губернатора «на допущенную местным начальством в важном деле медленность». В свою очередь на то же указывал министру и обер-прокурор синода граф Толстой, также ссылаясь на корреспонденции в газетах.

На этот раз, однако, генерал Жуковский не растерялся. Обращение от владельцев он встретил даже шуткой: «Ага, пошла рыбка», запросы же из Петербурга теперь, когда убийцы сидели в остроге, были, разумеется, не вполне приятны, но отнюдь не опасны. Не успел еще Крым-Гирей выехать на место, как генерал отправил министру обширное донесение, которое закончил так:

«По всей вероятности совершения убийства настоятеля Кизильташского монастыря тремя арестованными татарами, я прошу, вместе с сим, ходатайства г. новороссийского и бессарабского генерал-губернатора об учреждении над ними военного полевого суда, по исклю-

чительной важности настоящего дела и по той зверской жестокости, с которой совершено злодеяние, полагая также в имени Таракташ Феодосийского уезда, из которого преступники, расквартировать на время часть роты, чтобы успокоить жителей Судакской долины, встревоженных до крайности настоящим случаем».

Весьма искусно ответил на запрос синода преосвященный, славировав между великим искушением покогтить его превосходительство и торжественным своим обещанием действовать с последним в единении сердец. Стяжав безгневие в долгой молитве, владыка по поводу медлительности розысков указал, что сие «в отношении к первому месяцу после пропажи игумена — справедливо. Но деятельность гражданского начальства удвоилась после того, как открылась мне возможность лично быть в Кизильташской кичовии, осмотреть все местности, вникнуть во все обстоятельства дела и по возвращении 13 сентября лично же выяснить господину начальнику Таврической губернии все сведения и подозрения на татар, живущих в предместье Судака — Таракташ, очерпнутых мною на месте. Не прошло и недели, как Охочинский открыл убийц игумена».

ГЛАВА XVII

КРЫМ-ГИРЕЙ

Среди множества занятых делом об игумене людей был только один, который решительно ни в какой мере не волновался, не тревожился за его исход, не хитрил, не лукавил. Это был судебный следователь Крым-Гирей. В своей практике он вообще не знал, что такое беспокойство, потому что для него не было дел трудных и дел легких. Он знал дела длинные, из которых в конце образуются толстые папки, и дела короткие, из которых образуется всего одна папка в палец толщины, а то и тоньше. В остальном — все дела одинаковы и ведутся совершенно одинаковым образом: допрос подозреваемых, указанных предварительным дознанием, — протокол,

Опрос обвиняемых об отводе от присяги свидетелей — постановление, которое обычно готовится еще до опроса. Потом присяга свидетелей, допрос их и — протокол. Потом, в случае разногласия свидетеля с подозреваемым, очная ставка — протокол. Если встречается в том надобность — экспертиза и постановление. И в конце всего заключение, указываемое самим делом: либо его прекращение, либо передача в уголовную палату. И все перечисленные действия совершаются не произволом человеческим, а по форме, для соблюдения которой существует опытный письмоводитель.

Дело об игумене было, несомненно, из разряда длинных, т.-е. толстых, пальцев в шесть, а может, и в десять, но оно было не только не труднее законченного им перед тем дела о покраже шестнадцати папуш табаку у поселянина Джебпар Мамут оглу, оно было легче всякого другого дела. Какая же трудность в деле, конец которого известен раньше, чем оно началось, за которое взялся сам губернатор и которое поручено ему по личному указанию самого губернатора? Почему губернатор остановил свой выбор именно на нем, Крым-Гирей очень хорошо понимал, но лично для него вытекало из этого только одно: никаких церемоний не допускать. А это лишь упрощало дело.

Получив из уголовной палаты ордер, а от капитана Охочинского лакированную коробку из-под флакона с духами, в которой хранились в вате собранные на пепелище кости, и завернутую отдельно в парафинную бумагу кость, подобранную понятым Бекиром, — Крым-Гирей передал их письмоводителю и сказал:

— Сделайте там, что нужно.

Письмоводитель, — очень опытный письмоводитель, лысый, грузный человек, зиму и лето не снимавший валенок по причине ревматизма, — прежде всего завел дело, т.-е. взял папку и на обложке после крупно напечатанного слова «Дело» вывел:

«Произведенное следственною комиссией по обвинению поселян деревни Таракташ Сейдамет Эмир Али оглу, Сеид

Ибрама Сейд Амет оглу и Эмир Усенна Абдраман оглу в убийстве игумена Парфения и сожжении трупа его. Начато 18-го октября 1866-го года».

Затем, не торопясь, но и не задумываясь на мгновение, словно он списывал уже с готового, опытный письмоводитель написал постановление о приглашении в следственную комиссию городского врача и двух других в качестве экспертов «для исследования костей и определения: а) действительно ли найденные кости суть человеческие; б) насколько свойство этих костей допускает заключение относительно пола и возраста лица, которому они принадлежат, и в) есть ли на тех костях какие-нибудь признаки, указывающие на то, что над человеком, которому они принадлежали, совершено было преступление, и на то, каким влияниям подвергались кости по смерти того лица».

Два дня спустя Крым-Гирей у себя в камере, в Феодосии, открыл заседание следственной комиссии. В большой, унылой комнате с круглой черной печью в углу, с портретом царя на стене — за большим столом разместились: в центре сам Крым-Гирей, по правую руку от него — губернаторский чиновник особых поручений Вриони, нервный человек с желтым лицом и черной бородой, далее — Кондараки. Слева от Крым-Гирея — помощник исправника Костюков, старый полицейский с красным крупноморщинистым лицом и громадными красными дрожащими руками, затем в качестве переводчика, в котором не было, впрочем, ни малейшей надобности, родной дядя игривой блондинки, дворянин Федор Юрьев. Письмоводитель, в валенках поместился за столиком отдельно. Понятными были двое рядовых местной стрелковой роты, которые и конвоировали арестованных. Они вытянулись по бокам у входа.

Первым ввели Сейдамета, за время ареста сильно похудевшего. Увидя на председательском месте Крым-Гирея, которого он знал в лицо, Сейдамет вздрогнул, побледнел, глаза у него загорелись удивлением. И вдруг из них брызнула такая острая, презрительная ненависть, что все переглянулись, и только сам

Крым-Гирей остался совершенно невозмутим.

Начались обычные вопросы. Сейдамет отвечал отрывисто. Бледность не сходила с его лица. В скупых словах он повторил свое прежнее показание. Письмоводитель, не торопясь, записал. Сейдамету прочли, предложили подписаться. Он исполнил, но не трогался с места, глядел на Крым-Гирея.

— Уведите его, — приказал тот.

— Ну, шевелись, — вполголоса сказал конвойный.

Сейдамет медлил, не отрывая взгляда от Крым-Гирея, шевеля губами.

— Живей, ворона, — поторопил конвойный.

Арестованный точно не слышал. Наконец, Крым-Гирей поднял на него глаза.

— Заявление хочешь сделать? Ну, говори.

— Татар, — хрипло произнес арестант, с ужасом глядя на председателя.

— Ну, ну? Говори скорей.

— Татар... — повторил Сейдамет, судорожно тыча пальцем по направлению Крым-Гирея. И вдруг коротко горько засмеялся, махнул рукой и круто повернулся к двери.

— Глупый человек, — молвил Кондараки, чтоб вывести из неловкого положения председателя, который впрочем никаких признаков неловкости не обнаруживал. — Ну татарин. Вы — татарин, я — грек, они, — указал он на дядю блондинки, — русский. Какое это имеет значение?

— Гэ, — отмахнулся пренебрежительно Крым-Гирей.

Чрезвычайно слезливый по природе Сеид Ибрам, представ перед начальством, с первых же слов заплакал, всхлипывая и вытираясь рукавом. Вриони морщился болезненно, — его тошнило, когда мужчина плакал. Один из конвойных, молодой парень с рыжими усами, считая, что ему, как конвойному, не подобает обнаруживать какие бы то ни было чувства, усиленной строгостью на лице пытался одолеть приступы смеха, который все-таки прорывался, и беспрепятственно менял внезапно выражение — беспощадно-строгое на неудержимо-ве-

селое. И эти перемены на его лице смешили и Крым-Гирея, и Костюкова, и дворянина Федора Юрьева, которые то и дело переглядывались и ухмылялись. А Сеид Ибрам, полагая, что начальники смеются над его горем, пуще плакал. Кой-как отвечая на вопросы, он все же дал свои показания, в которых ничего к прежнему не добавил.

Эмир Усеина Кондараки считал уже нераздельно своим: он его открыл, он его обыскал и арестовал, даже Охочинский называл его крестником заседателевым. Но при этом, словно назло, капитан не придавал ему значения, допрашивал небрежно и явно ставил из троих на последнее место. Теперь Кондараки решил дело исправить. После того, как Эмир Усеин ответил на обычные вопросы, заседатель заерзал, взглядом испрашивая у Крым-Гирея позволения допросить татарина. Председатель в знак согласия лениво мигнул толстыми веками и откинулся на спинку кресла.

— Скажи, любезный, где ты находился с утра в понедельник двадцать второго августа?

— Дома.

Хотя ответ татарина не заключал в себе ничего неожиданного, Кондараки с удивлением на него взглянул и затем удивленный свой взгляд перевел на Крым-Гирея, на Вриони, на Костюкова. И каждый, совершенно инстинктивно, в свою очередь ответил ему тем же — удивленным взглядом. Эмир Усеин, перехватывая их взгляды, насторожился, соображая, в чем он попался.

— А в обед где ты был?

— Дома, — уже подумав, ответил татарин.

— А-а, и в обед дома?

— А то где?

Кондараки оглядел всех с еще более веселым удивлением, и точно так же ответили ему взглядами члены комиссии.

— Ин-те-ре-сно. Ну, и обедал дома? — насмешливо спросил заседатель.

— А где обедал? Конечно, дома обедал.

Кондараки расхохотался. Усмехались и прочие члены комиссии, даже на желчном лице Вриони пробилось подобие улыбки.

Эмир Усеин почувствовал, что на него накинули петлю. И он решил их всех перехитрить: он говорит правду, а попадает в ловушку. Значит, надо, как и прежде ему доводилось, сбить начальников, запугать. Правды он им больше не скажет, пусть хоть до вечера спрашивают. И Эмир Усеин пустился врать. На дальнейшие вопросы он отвечал, забываясь только об одном: чтоб не сказать так, как было. И с радостью он видел, что помогло: перехитрил начальство! Перестали переглядываться, насмехаться, слушали очень внимательно и записывали, дураки, все, что он им врал. Он был страшно доволен собой и, когда его уводили, не мог сдержаться — с необычайным лукавством улыбнулся единственным своим глазом.

— Готов, — сказал Костюков. — Ешь его хоть с хреном, хоть с горчицей.

Кондараки, весь мокрый и смрадный, шумно дышал. Вриони накинул шинель, пересел к окну, с ненавистью глядя на заседателя.

После небольшого перерыва занялись с экспертами. Это были: городской врач Розенблюм, короткий человечек с отвислым животом, по которому тянулась толстая золотая цепь; карантинный лекарь Косых и щеголеватый батальонный лекарь Горожанкин, которого за удивительную томность глаз и белизну лба называли в городе Нардиссом. Он и огласил заключение экспертов.

Последнее сводилось к тому, что собранные «кости состояли из многих обломков разных величин и форм, из коих: а) верхний конец малой берцовой кости (Сарut Fibulae) и б) один второй и два третьей фаланги пальца ручной кисти можно с большой вероятностью считать человеческими; все прочие мелкие обломки определить невозможно, принадлежат ли они человеческому остову; пола и возраста определить нельзя, равно нет признаков к заключению, что над лицом тем совершено было преступление, но (Горожанкин всем телом сделал изящнейший пируэт в сторону председателя и с необыкновенной томностью улыбнулся) можно утвердительно сказать, что кости раздроблены насиль-

ственно, а не распались сами от каких либо влияний. Все кости подвержены были действию сильного и продолжительного огня. В числе костей найдена часть в 1 вершок длиною обугленных стенок кровеносного сосуда, доказывающая (повторение пируэта и улыбки по тому же адресу), что вместе со скелетом подвержены были горению и мягкие части тела».

— Ну как, господа, — обвел всех сонными глазами Крым-Гирей, — для следственных целей, я думаю, достаточно?

— Чего ж больше? — усмехнувшись мрачным своим лицом, сказал карантинный доктор Косых, «оптовик», как его называли. Он не скрывал, что получает взятки, но указывал, что, посади на его место господ бога, — тоже будет брат. Попробуй не брат, — говорил он, — когда тысяча татар из Мекки воротилась. По гривеннику с рыла — им не обидно и мне катерина. Чего ж больше? — сказал он цинично. — И мягкая часть, и косточка. Кому что надо. Завтракайте, господа.

Но неожиданно дворянин Федор Юрьев, который и голоса в комиссии не имел, но о родстве которого с блондинкой все знали, с недовольством развел руками:

— Помилуйте, господа: ни пола, ни возраста определить невозможно, и даже, человеческие ли кости, — одно лишь вероятно. Да после этого — прощ им цена! На кой они вам прах?

— Ну, а, по-вашему, как же? — изогнулся доктор Горожанкин.

— А по-моему — без фиглей-миглей: игуменовы кости — и крышка. Подика докажи, что не его.

И члены, и эксперты рассмеялись, но Юрьева это не смутило нисколько, и он победоносно смотрел на докторов. Городовой врач Розенблюм мягко попытался ему объяснить:

— Ведь кости, — взять мой, ваши, вот ихние, — кивнул он на Кондаракки, — все одинаковые. Как же мы можем написать, что они игуменские?

— А уж это ваша забота. На то вас и учили. «Определить невозможно», «определить нельзя»... Сделайте одолже-

ние, это всякий из нас напишет. Тут большого ума не требуется. А вы, как доктора, обязаны определить.

— Ничего, — успокоил его Крым-Гирей, — экспертиза удовлетворительная. А то напишешь лишнее, защитник и уцепится.

— Как знаете, — недовольно пожал плечами дядя блондинки. — Вам видней.

Крым-Гирей, поблагодарив экспертов, отпустил их и сказал членам комиссии:

— Чего тянуть? Люди сделали, что могли. Вообще, господа, задача у нас простая и отвлекаться разными тонкостями незачем. Преступление, слава богу, раскрыто, виновники обнаружены. Нам остается оформить дело для передачи в суд — и по домам.

— Совершенно справедливо, — сказал Костюков.

— Ну вот. Злодеев мы передопросили, свидетелей передопросим, экспертиза есть, значит — что еще нам требуется?

— Весьма и весьма существенное, — заметил Вриони.

— А именно?

— Сознание преступников и хотя бы еще один очевидец преступления.

— Ну, уж это роскошь, — отозвался Костюков.

— То-есть как же? — резко оборотился к нему Вриони. — Без признания подсудимых и при единственном очевидце, который вдобавок выходит как бы и соучастником, суд по закону не будет иметь возможности вынести обвинительный приговор.

— Нет, позвольте, ваше высококородие, — возразил Костюков. — Закон мне известен, но с какой стати товарец с походом отпускать?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — презрительно дернул плечами Вриони. — Торговлей я не занимаюсь и товара не отпускаю.

Помощник исправника рассмеялся:

— Это я фигурально. В том смысле, что вы изволили сказать: сознание подсудимых и еще один очевидец. Ежели что-нибудь одно, то для суда вполне достаточно.

— Положим. Но пока ведь ни того, ни другого.

— Прошу прощения, но можно и еще убавить. К чему же сознание всех преступников? Достаточно и одного.

— Допустим, — а где оно у вас?

— Прошу прощения, но еще есть убавочка и весьма существенная. Имею в виду справедливые ваши слова насчет очевидца Якуба. Действительно, как бы и соучастник. А ежели соучастник, — то вот вам и сознание преступника налицо.

— Ну, знаете, — сказал Вриони, не вполне впрочем уверенным тоном, — это еще бабушка надвое сказала. Еще как отнесется суд к Якубу. Пустит по линии свидетелей — вот и носитесь с этим сознанием.

— Надобно, чтоб суд проникся...

— А вот не проникнется? Не у себя в кармане...

— Извините, господа, — вмешался Крым-Гирей, — но я не пойму, к чему ваш спор. Для дела требуется еще один очевидец? Кто же может поручиться, что такого не было? Преступление учинено среди бела дня, следствие еще в самом начале. Чего вперед загадывать? Вот попросим господина Кондараки продолжать поиски...

— С моею готовностью, ваше благородие.

— Будет удача — прекрасно. Не будет — тоже беда не большая. Суд обязан считаться с единодушными показаниями свидетелей, хотя бы злодеи и не сознались...

— Какое ж единодушие? — недоуменно поднял на него Вриони свои кофейные глаза с желтыми белками. — Ведь имеются свидетели, которые устанавливают алиби преступников.

Крым-Гирей повернул к нему свою большую, тяжелую голову и с удивлением сказал после длинной паузы:

— Откровенно говоря, я вас не понимаю. Виновность злодеев ни в ком сомнений не вызывает. Какие же свидетели осмелятся устанавливать их алиби?

— Ах, позвольте, в производстве капитана Охочинского я своими глазами читал показания...

— Нет, уж вы позвольте, — раздраженно прервал Крым-Гирей. — Это, может быть, для вас свидетели, а для меня это — лжесвидетели, и я вперед заявляю, что без дальнейших разговоров буду подвергать их аресту с преданием суду именно за лжесвидетельство.

Изо всех членов комиссии один только письмоводитель в валенках, для которого, видимо, уже ничего на свете не существовало, достойного удивления, с полным равнодушием отнесся к словам Крым-Гирея, точно их и не слышал. Все же прочие, не исключая дворянина Федора Юрьева, как бы сговорясь, обратили на него удивленные глаза, в которых легко можно было прочесть: «Да ты, брат, не так глуп, как я полагал!».

Однако не только простоватый дядюшка блондинки, но и хитрый Кондараки, и сам Костюков, для которого чужая душа вообще не составляла тайны, — все они ввали в заблуждение, переоценив в этот момент умственные способности Крым-Гирея. Никому из них и в голову не пришло, что сейчас они были свидетелями чрезвычайно интересного случая, когда человек делает открытие не благодаря уму, а благодаря его отсутствию.

ГЛАВА XVIII

СВИДЕТЕЛИ

С переездом комиссии в Судак дело пошло быстро, но без шероховатостей все-таки не обошлось. Первые неприятности доставил Крым-Гирею Кондараки: он затопил производство своими рапортами, докладными записками, отзывами, требованием протоколирования всех его действий.. Поручил Крым-Гирей заседателю осмотреть передачу для Сейдамета, доставленную братом последнего, — длиннейший отчет о том, как Кондараки распарывал подушки, перебирал шерсть, исследовал провизию. «Во всех этих вещах, — с унынием читал ленивый Крым-Гирей, — также и в мясе не нашли никаких передаточных записок или иных подозрительных вещей; но чтобы вывести с сомнения о не-

напитанности продуктов какой-либо отравой, сам представитель вещей Эмир Сале кушал хлеб, мясо и виноград, но и при нем также ничего подозрительного не оказалось...».

Крым-Гирей прервал чтение, поднял чугунные веки:

— Не оказалось, так зачем писать?

— Для видимости, ваше благородие. А как же?

Уездный стряпчий Волков отказал Кондараки в свидании с глазу на глаз с арестованными, — тотчас жалоба губернскому прокурору: «Так как личность моя более других заинтересована в этом варварском преступлении, которое усердием моим и трудами открыто, и желая более прежнего содействовать к доведению хоть одного или двух преступников до самосознания по известной мне методу...» и т. д. Прокурор отнесся к Крым-Гирею, началась возня. Потом пошли и более существенные домогательства: открытого листа на раз'езды без прогнов, «из экстра-ординарной суммы, про всякой случай, для фискальных людей, хотя 50 рублей, так как при подобных весьма трудных открытиях играют самую значительную роль деньги...».

Крым-Гирею не жалко было казенных денег, ничего не имел он и против тайного свидания Кондараки с арестованными, но все это отнимало много времени, губернатор торопил, а письмоводитель должен был отвлекаться для кляуз заседателя. Начались интриги, контр-жалобы уездного стряпчего, а в искусстве лавировать Крым-Гирей не был силен... Каплей, переполнившей чашу его терпения, была обширная бумага Кондараки, обвинявшая Охочинского и Лагорию в сокрытии роли заседателя при обнаружении преступников с целью приписать эту заслугу себе. Крым-Гирей рассвирепел. Все это требовало нового громадного делопроизводства.

— Не извольте, ваше благородие, тревожиться, — мягко молвил опытный письмоводитель, глядя Крым-Гирею в налитые кровью глаза. — Оставьте безо внимания — и вся недолга.

— Да ведь приставать будет. Что я ему скажу?

— А ни словечка. Эдак, знаете, руч-

кой махните: охота, мол, тебе чепухой заниматься.

— А он опять бумагу.

— Верно. Он бумагу. А вы тем же манером. Легонько эдак. Вроде шутки, а между прочим — пренебрежительно. Нельзя иначе, ваше благородие. Начни все в видимость приводить — жизни нехватит.

И Кондараки ничего не добился по своей претензии. Он кипятился, настаивал, — не помогало. И тогда Кондараки позволил себе осторожно намекнуть, что при подобном пренебрежении к его усердию он может лишиться бодрости, столь необходимой при розысках второго очевидца...

Крым-Гирей поднял тяжелые веки, улыбка развела его каменные челюсти:

— Тем хуже для вас. Обойдемся.

Кондараки на время унялся, но другие шероховатости пришли на смену, — со свидетелями.

С татарами-свидетелями дело шло гладко. Крым-Гирей строго по форме запрашивал преступников, допускают ли они к присяге Мустафу, Апаза или Бекира, а если не допускают, то по какой причине. Сейдамет или другой арестованный отвечал, что Мустафу и Бекира допускает, Апаза же отводит потому-то и потому-то. Но в то время, как он делал это заявление, у опытного письмоводителя уже готово было постановление о даче присяги и Мустафе, и Бекиру, и Апазу, — и ему лишь оставалось приписать: ввиду того, что отвод Апаза признан неосновательным по такой-то причине. Причину, не беспокоя комиссию, указывал письмоводитель вполне самостоятельно. После чего он же писал на память, — потому что это был очень опытный письмоводитель:

«Я, нижеподписавшийся, пред Алкораном Всемогущего, не имеющего себе равного Великого Бога, клянусь и обещаюсь, что все, о чем у меня спросят, не смотря ни на дружбу, родство, вражду, корысть и страх, без потворства какой-либо стороне, без участия, прибавления и без утайки, а точностью покажу и скажу самую сущую правду; дабы на страшном суде всеобщего воскресения перед самим всемогущим Богом с

чистым лицом возмог дать ответ в оной; Биллаги, Выллаги, Тыллаги, буду отвечать по справедливости и покажу сущую истину; после каковой моей присяги целую слова Алкорана. Аминь, о Господи Миров!..».

Приходил длиннолицый желтый мулла и слово за словом, ровным, мертвым голосом, читал это самое по-татарски, а свидетель с выражением конфуза, какое бывает у взрослого человека, когда его ставят в положение школьника, спотыкаясь и все более понижая голос, повторял. Потом касался вытянутыми губами старой книги, пахнувшей сальной свечой, и, удалив конфуз прокашливаньем, отвечал на задаваемые вопросы.

Если ответы клонились не в пользу трех арестованных татар, то свидетель подписывался, — в редких случаях сам, обычно — через кого-нибудь, — и его тотчас отпускали. Если он отвечал: «не знаю», «не помню» (таково было большинство ответов), то и это было хорошо, потому что вопросы составлялись умело. Например, Эмир Усеин указывал, что 22 августа, уже вечером, его видели: в резнице — Эмир Али, в мечети — Сеит Умер. Вызывали в комиссию Эмира Али и Сеита Умера, которые, после Биллаги-Выллаги, отвечали, что дело было давно, по числам они не помнят, когда кого видели. Значит, если не помнят, то ссылку на них Эмир Усеина они не могут подтвердить? Да, выходит так, что не могут. И в протокол записывалось, что «против показания Эмир Усеина» ссылка его на Эмира Али и Сеита Умера, как не подтвержденная ими, оказалась ложной.

Но если кто из свидетелей-татар показывал твердо в пользу злодеев, то тут же, не сходя с места, Крым-Гирей делал постановление: «Как при имеющихся в деле данных о виновности Сейдамета (или Сеид Ибрама, Эмир Усеина), нельзя допустить, чтобы вечером в понедельник он мог быть в Судаке (или в Таракташе, если дело касалось Эмир Усеина), предположение о сознательном лжесвидетельстве такого-то получает вероятие», а посему такого-то арестовать и заключить в тюрьму на время суда и следствия.

Когда Лятиф, работник в доме Шампи, без запинки заявил, что в ночь с 22-го на 23 августа он видел Сейдамета у них в доме несколько раз, — Крым-Гирей посмотрел на него тяжело и безразлично и сказал по-татарски:

— Ты врешь, бездельник. Тебя научили так говорить.

— Кто меня научил? — удивился Лятиф, с недоумением переводя взгляд с одного члена комиссии на другого, как бы ища сочувствия. Но все они глядели на него одинаково сурово.

— Родичи Сейдамета научили! Тебе дали денег, чтоб ты его выгородил. Сколько ты с них получил?

Лятиф покраснел, как уличенный, молчал.

— Вечером, в понедельник, 22 августа, где ты был?

— Дома был, — тряхнул головой Лятиф, словно проснувшись, — У Шампи.

— Когда вечером? Рано или поздно? — Только свечи зажгли... Я в комнату пришел. Тут пили все чай...

— Кто пил?

— Герман, барышня, доктор, Сейдамет...

— Сейдамет со всеми сидел за столом и чай пил? — насмешливо переспросил следователь.

Лятиф лукаво улыбнулся:

— Я тоже пил. За столом, как все. Может, десять стаканов выпил.

— И долго вы сидели?

— Долго. Часа два. Потом доктор ушел спать, а Герман лег на диван.

— А ты?

— А я в кухню ушел спать.

— На диван тебя не положили?

— Нет, — сказал Лятиф, не понимая, почему все начальники усмеваются.

— И, значит, больше ты Сейдамета не видел.

— Нет, видел. Ночью, темно еще было. Я проснулся, а они кофе пьют.

— Кто они?

— Сейдамет и барышня. Мне тоже дали. И смеялись, что я сонный...

Лятиф глядел в потолок, чтоб лучше вспомнить, и улыбался все более и более весело. Но вдруг его точно за борду дернули:

— У нее мать помирает, а она пришла с тобой посмеяться и кофею тебя угощать?

Да, на правду это не походило, начальник верно сказал. Лятиф медленно стал краснеть.

— Врешь ты все. Что два дня назад было, и то человек не сразу вспомнит, а ты читаешь, как мулла молитву, что два месяца назад было. Больше двух месяцев. Как ты мог все запомнить? Разве ты знал, что тебя будут спрашивать?

Лятиф был очень простой человек. Он не только не мог объяснить этому грузному челреку в мундире, что такой странной ночи у него в жизни не было никогда, что никогда его не сажали за стол рядом с господами, не поили чаем и кофею, что все это стоит у него перед глазами, как живое, и не забудется до самой смерти, — он себе самому не мог бы этого растолковать. И ему вдруг показалось, что действительно не могло этого быть. Он перестал себе верить и замолчал.

— В последний раз я тебя спрашиваю: видел ты в ту ночь Сейдамета или не видел?

Лятиф задумчиво уставился на следователя. Насчет кофею, может, спросонок тогда показалось... Но Сейдамет — ну вот же он перед глазами, в белой рубашке под черной курткой...

— Сейдамета я видел, — произнесли его губы.

— Пишите постановление об аресте за ложное показание под присягой, — уже не глядя на Лятифа, приказал Крым-Гирей. — Есть у вас в запасе татарская присяга?

— Через минуту-с. До «лицем возмог» написал, а тут помешали.

— Ерунда осталась. Кончайте, да к другим приступим.

Стевенский работник Умер показал, что вечером 22-го видел, как Сейдамет зашел к себе в комнату. Как был он одет? В белой рубашке и черной куртке.

— Отойти в сторону, — приказал Крым-Гирей, не пускаясь в дальнейшие расспросы, — Ибрама давайте сюда.

Ибрам, тоже работник у Стевена, показал, что в тот день видел вечером,

как Сейдамет, выйдя из своей комнаты, ушел со двора. Как был он одет? В белой рубашке и черной куртке.

Крым-Гирей тяжело повернулся в кресле:

— Об аресте Лятифа вы уже написали?

— Простите, не успел...

— Пишите общее постановление об аресте всех трех мерзавцев.

Лжесвидетели не смущали Крым-Гирей несколько. Напротив, с известной стороны они были полезны: подтверждался слух, что родственники злодеев подкупают свидетелей. Первую неприятность при ведении допросов доставила Крым-Гирейю кухарка Стевена, Пелагея Севастьяновна, показавшая под присягой, что 22 августа она видела Сейдамета не только днем, но и вечером, после захождения солнца.

— Что ты городишь? — вскинулся следователь. — Вот тут с твоих слов капитан Охочинский записал, что ты Сейдамета видела днем.

— Ну-к что ж, — спокойно возразила Пелагея, — не отрекаюсь, видела. А вечером своим чередом видала.

— Где ж ты его видала?

— Да во дворе у нас. Я коров пошла доить, а он как-раз со двора в ворота прошел.

— Э-ге. Значит, ты его в спину видала? Так это был не он. Ты ошиблась.

— Ну как не он. Впервой, что ль, его видала.

— А как он был одет?

— Да как постоянно: рубашка белая, поверх куртка черная. Он самый.

Неприятное молчание стояло в комнате.

— Значит, уж темно было, ты его видала, да и то в спину. А больше не видала.

— В тот день больше не видала, врать не стану. Уж только во вторник видала.

— В какое время?

— Да утречком. Как-раз на завтрак прозвонили, стало быть, в восемь часов.

— Где ж он был?

— На кухню пришел. Я работала, а он и войди. Я работу оставила, ну, как,

спрашиваю, кончилась старуха? Нет, говорит, слава богу, получше ей стало.

— А кто еще в то время был на кухне?

— Да никого не было. У нас насчет этого строго. Без дела на кухню не шляется.

— Кончайте скорей, — прошипел на уху Вриони.

— Пишите постановление... — и вдруг Крым-Гирей загнулся: опытный писмоводитель за спиной у кухарки делал ему глаза и метал отрицательно головой. — Ступай, — тихо сказал он свидетельнице.

Отец Иаков Черняев, депутат от духовенства, лысый, тощий, астматический человек с выражением тоски в запавших глазах, вдруг поднял руку по старой бурсацкой привычке — прошу, дескать, слова. — В комиссию он приехал недавно и на заседаниях обычно хранил молчание, — записывал постоянно в толстую тетрадь не только все, что говорили обвиняемые и свидетели, но и разговоры промеж себя членов комиссии.

— Вразумите меня, милостивцы, не пойму: почему же и с этой лжесвидетельницей не поступили по примеру предшествующих?

— Невозможно, батюшка, — отозвался тотчас Кондараки. — Те, извольте видеть, одной веры, одной нации с преступниками, там лжесвидетельство, так сказать, в натуре вещей, а кухарка, она — православная.

— Справедливо. Обаче же не мимо сказано: несть эллин ни иудей.

— Но вы, батюшка, упускаете, что Пелагея служит у капитан-лейтенанта Стевена восемь лет и находится на хорошем счету. Как бы он взглянул на ее арест — сказать трудно, а сориться с ним... Впрочем, если высокоуважаемый председатель...

— Нет, ну ее к чорту. В конце-концов — что может значить одно показание против всех прочих. Давайте дальше, господа. У нас на сегодня еще целая куча иностранцев.

Мадам Ларгье, Редерер и Бриттер лишь повторили свои первоначальные показания. Наконец, и мадмазель Шам-

пи заявила, что показание, данное капитану Охочинскому, полностью подтверждает. Крым-Гирей, с сожалением оторвав взор от свидетельницы, стал ей читать это показание.

— Ах, нет, нет! — с болезненной grimасой воскликнула она. — Я не то имела в виду... Я первое, самое первое показание подтверждаю...

Крым-Гирей испуганно оглянулся на Вриони, который кинулся ему на помощь:

— Но ведь вы же, сударыня, впоследствии его изменили! До каких же пор вы будете менять свои показания? Знаете ли вы, чем это пахнет?..

— Ради бога не угрожайте мне! Все угрожают, все убеждают... Я не маленький ребенок. Я все очень хорошо помню.

— Ну расскажите, что вы знаете про этот день. Но помните: вы дали присягу. Это очень-очень серьезно.

Она собралась с силами, — все усилия ее сосредоточились не на том, чтобы припомнить (даже самые незначительные подробности того дня были для нее полны значения и с поразительной свежестью стояли перед глазами), а на том только, чтоб не выдать своего волнения, и заговорила — сперва с паузами, потом все быстрее:

— Сейдамет в тот день приходил в наш дом и утром, и после обеда... Вечером больной матери стало хуже. Я вышла на террасу. Я не выдержала, заплакала. Я перед тем очень устала... В это время с дороги вошел во двор Сейдамет...

— В какое время это происходило? До обеда, после обеда?

— Нет, ведь я же сказала — вечером. Уже солнце зашло...

— Хорошо, хорошо, продолжайте.

— Он тоже прошел на террасу... Потом мы с ним вошли в комнату...

— Кто там был еще? — спросил Крым-Гирей.

— Были знакомые дамы, доктор Редерер. Мы все сели за стол и пили чай...

— А вот Редерер и опровергает ваши слова. Он утверждает, что Сейдамет вечером не было у вас в доме.

— Вздор, вздор! — вспыхнула Шам-

пи. — Я давно поняла, почему он путает...

— Он путает? Это интересно.

— Да, да! Он запомнил, что Сейдамета у нас не было в самую трудную для матери ночь. Но самой трудной была предыдущая ночь, когда действительно Сейдамет у нас не ночевал, а с понедельника на вторник был кризис и началось улучшение после самого опасного момента...

— Что ж, по-вашему, он врет?

— Не врет, а путает... Он не верил в кризис и... проглядел его. Потом и напутал.

— Ну, оставим, — прервал насмешливо Вриони. — Вы лучше нам скажите, кто же в конце-то концов пил у вас чай?

— Брат, доктор, Сейдамет с Лятифом и я.

— Хорошо. Дальше?

— Что же... Ночь наступила. Доктор ушел в спальню, брат лег тут же на диване, работник Лятиф ушел на кухню... Я и Сейдамет не спали. Мы сидели в зале...

Она замолчала и, глядя на Крым-Гирея, вдруг залилась краской.

— Ну-ну, — подхватил Вриони, — не спали, сидели в зале. Что ж вы остановились? Так это гладко у вас шло...

— Если вы будете... — закричала Шампи в негодовании, и оборвала, взглядываясь в желчное, точно измученное злобой, лицо Вриони, которое, как она видела, осветилось радостью оттого, что ей страшно и унижительно. Она глядела на него с удивлением, с жалостью, с презрением. И вдруг гнев ее упал, спокойствие глубокого и печального одиночества охватило душу.

— Нет, ничего... — ни к кому не обращаясь, произнесла она тихо. — Сидели в зале. Потом, это уж под утро, пошли на кухню, я сварила кофе, и мы напились втроем: Сейдамет, Лятиф и я. А когда выяснилось, что маме лучше, Сейдамет ушел к себе в экономию.

— Скажите, — сделав свое лицо сладким, спросил Кондараки, — вы с Сейдаметом давно знакомы?

— Четыре года. С тех пор, как наша семья поселилась в Судаке.

— И близко знакомы?

— Да, хорошо знакомы.

— Настолько, что даже сувенирами обмениваетесь? — хитро промолвил Кондараки и победоносно оглядел комиссию.

— Сувенирами? Ах, да, я понимаю, на что вы намекаете, — грустно улыбнулась она. — Незадолго до ареста Сейдамета мама подарила ему кiset для табака моей работы в благодарность, что он помогал нам во время ее болезни. Вы об этом?

— Да-с, именно об этом, — многозначительно подтвердил заседатель.

— Больше вы ничего нам не скажете? — спросил Крым-Гирей.

— Я все сказала.

— Ваше присяжное показание противоречит всем фактам, показаниям решительно всех свидетелей, наконец, вашему собственному и добровольному показанию, которое вы дали капитану Охочинскому. Вы понимаете, какую ответственность вы за это несете?

— Я вам сказала всю правду. За правду не может быть ответственности.

— Надо б хуже, да некуда, — заметил дворянин Федор Юрьев по удалении Шампи. — Чего ж теперь делать будем?

— От сюрпризов вы и впредь не гарантированы, на то следствие, — заявил Кондараки. — Хуже то, что замечается в населении дерзость. Разве мыслимо, чтоб в таком деле был всего один очевидец? Очевидцы есть, но население их скрывает. Населению нужен страх. Надо, ваше благородие, одно: военный постой.

— Благая мысль, — бессильным тенорком прошелестел печально о. Иаков, оторвавшись от своей тетради. — Ибо начало премудрости — страх господень. Обаче страх божий начало имеет в страхе человеческом. Поставить роту наших солдатиков — сразу и уважение к начальству появится, и страх божий, и ужас перед учиненным злодеянием, и стремление искупить вину путем спешествования законной власти. Вот он клубочек-то по ниточке и разматается.

— Ну, что ж, — отозвался Вриони, — я хоть и нынче могу в этом

смысле сделать представление его превосходительству.

— А я, господа, — в волнении привстав со стула, сказал Кондараки, — боюсь преждевременно заверять, но только надежда на открытие второго очевидца весьма и весьма у меня сурьезная... Только ради бога — никакой огласки!.. Опять же по части вещественных улик надеюсь... Словом, не падайте духом, господа!

— Ну ладно, валяйте, только скорей, — сказал Крым-Гирей, — а то его превосходительство торопит.

— Равномерно и его преосвященство, — добавил о. Иаков.

ГЛАВА XIX

ОБЩЕСТВО ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ

В просторную саклю Эмира Али, семидесятилетнего отца Сейдамета, давно уже не заглядывал никто, кроме родственников. Сам старик был слаб, в мечеть ходил только по пятницам, да и то пропускал иногда, — все сидит, бывало, на балконе, на тюфячке, что-то бормочет и чистенькой тряпочкой снимает слезы с больных, красных глаз. Арестовали Сейдамета, арестовали за лжесвидетельство другого сына, Эмира Сале, арестовали зятя Сеид Ибрама. Третий сын, софта Сеид Мемет, с той почтительной и суровой нежностью, с какою в крепких татарских семьях обращаются взрослые дети к старикам, время от времени справлялся, есть ли у отца табак, или, сдвинув брови, молча накидывал ему на плечи платок, когда солнце уходило за горы и в воздухе свежело. О брате Сейдамете никогда первый не заговаривал, если же отец спрашивал, как идет дело, отвечал сурово, односложно. Он не мог говорить о брате, потому что, как только заговаривал о нем, по сердцу холодным ножом проходила такая ненависть и злоба к его гонителям, что захватывало дыхание. Он тоже редко покидал дом, — все сидел над своими книгами, когда же проходил по улицам, то смотрел в землю, ни с кем не здороваясь. Но он все замечал: что у детей, при встрече с ним,

лица делаются жадными, любопытными, у женщин — испуганными, у мужчин — каменными, что люди стараются не встречаться с ним глазами, переходят на другую сторону, видел — и его мрачное горбоносое лицо с черной, как заостренный уголь, бородой искажалось злобой.

И вдруг — старик Бекир, тот самый, что поднял кость в лесу, пришел навестить Эмира Али. И в тот же день заглянул другой сосед, тоже старик, Али Пирамет. А вечером, когда Сеид Мемет пошел в мечеть, с ним на улице поздоровались два-три человека. Воротясь из мечети, он застал дома сестру, жену арестованного Сеид Ибрама, и двух таракташских татар, чужих, родственников Лятифа. И они по секрету ему сообщили, что случилась большая перемена: прошел слух, что свидетели, которые показывали против арестованных, теперь отрекаются. Если бог поможет, Сейдамет вместе с другими скоро будут дома. Сеид Мемет выслушал, повернулся лицом в угол и стоял так долго. Гости-тагары смотрели на него, но могли заметить только одно: пальцы у Сеид Мемета в медленной судороге то сжимались, точно он хотел вонзить ногти в ладони, то медленно распрямлялись. Когда же он повернулся, то лицо его было сухо, жестко и словно сразу похудело. Сестра заплакала горько, а он поблагодарил за сообщение и заговорил о посторонних делах.

А на другой день в обоих Таракташах было как в байрам, — только барашков не резали и одежда на людях была не праздничная. Повсюду, уже не таясь, говорили, что обвинению пришел конец, в сакли к Эмиру Али, к женам Сеид Ибрама и Эмир Усеина шныряли с утра не только соседи, но и дальние. Якуба и Байрахтара за целый день никто не видел, — верно, сбежали, сабаки!

Та осень в Крыму стояла жаркая, как лето, — только ночи были холодные. Давно уже не было дождей. Под навесами балконов и сараев висели сушки — жерди с высохшим золотым табаком, на плоских кровлях сладко вяли нарезанные яблоки, мушмала покрасне-

ла на целый месяц раньше срока, инжир был совсем уже готов. В тот самый день, как разнесся слух о повороте дела, перед заходом солнца из-за гор поднялась и сразу выросла серая туча — и вдруг свет погас, точно кто свечу задул. И не успели люди загнать скотину, убрать табак, как по улицам закрутилась пыль, понесся сорванный с деревьев лист, небеса вспыхнули, треснули — и тяжкий ливень обрушился на селения. В Большом Таракташе загорелась сакля старого Бекира рядом с мечетью, — насили люди выскочили, а скотина в пристройке вся погибла. И, словно мертвые кости в огромном мешке, стучали камни в потоках, несшихся с гор.

Только утром узнали люди, каких бед наделала гроза. Погибло много табаку, сена, фруктов, а в горах смыло шалаш, в котором укрылся лучший на селе чабан Джепар, — погиб он и все овцы, штук двести, — уцелела только лохматая чабанья еббака Кнут, — в недоумении бродила по пустому месту, где стоял шалаш, нюхала землю и по временам отрывисто выла, подняв голову.

Не успел народ опомниться, женщины только еще разахались, как из Судака, гремя колокольцем, подкатил к волостному правлению тарантас, и статная фигура Орловского поднялась по ступенькам. Все думали — приехал разузнать про ночную беду. А потом узнали: становой, волостной голова и писарь ходят из дому в дом, записывают, сколько куда поставить солдат. Раньше всех пришли к старику Бекиру, погорельцу, который в отупении сидел на бревне, не знал, с чего начинать. Становой, взглянув на него, усмехнулся в усы:

— А-а, старый знакомый. Помню, помню, как же. Следствию помогал... Ну так вот, слушай: к вам на село назначен постой, солдатский постой, понял? К тебе я поставлю двух солдат — понял?

— Моя хата сгорела, — как от сна прсыпаясь, произнес Бекир, показав на груду камней и обгорелые бревна, в черном блеске которых было тоже

что-то злое, похожее на усмешку этого человека в мундире.

— Это до меня не касается, — сказал становой. — Можешь их поместить на свой счет у соседа. И чтоб постель им была и полное довольствие — понял?

— Моя хата сгорела, скотина сгорела, — машинально повторил Бекир, переведя взгляд на толпу, сбившуюся позади станового, подобно отаре овец.

— Сгорела? — грозно вдруг выпрямился Орловский. — Все ваше село надобно спалить. Чтоб и праху не осталось от разбойничьего гнезда. Укрыватели злодеев! Потатчики убийцам! — гаркнул он, круто поворачась к толпе. — Камня на камне не оставлю! Камня на камне!

Становой выдержал паузу и вытащил из кармана бумажку. Поглядел в нее.

— Тут, помнится, поблизости Ибрам живет, арестованный за лжесвидетельство. Есть у него родственники?

— Отец есть, ваше высокородие, вот он и сам налицо, — сказал писарь, ткнув в какого-то старичка впереди толпы, который на всякий случай заулыбался начальству и произнес единственное русское слово, которое он знал:

— Спасибо.

— А-а, мое почтение, — саркастически приветствовал его становой. — От сыночка любезного поклон тебе. Велел передать — трое солдат к тебе назначено на постой. Понял?

— Спасибо.

Становой и писарь рассмеялись. Новый голова, толстый татарин Асан, поставленный начальством на место Мейнозова, арестованного за то, что плохо искал лошадь попа, подумал и тоже изобразил усмешку.

Таким манером и к другим арестованным за лжесвидетельство назначил Орловский, — кому двух, кому трех солдат. Татары думали — на том дело и кончится, но становой начал обходить и тех свидетелей, которых комиссия еще не успела допросить. За этими последовали дома муллы, муэдзина, учителя и наиболее зажиточных татар. К ним Орловский назначил по четыре, по пять человек. Татары молча выслушивали

приказание начальника, и только один, полотьщик в саду госпожи Стевен, Амет, услышав, что и к нему поставят солдата, выпучил глаза и оторопело воскликнул:

— За какое дело? Господин начальник, я за Сеид Ибрама не заступался!

— Помню, — отозвался становой. — Ничего, не горюй. У вас, у татар, память коротка, так вот, чтоб не забывал.

До этой минуты татарам все было ясно. Но когда, выйдя от Амета, Орловский направился к кузнецу Ибраму, то все удивились. По делу о пропавшем попе кузнеца к начальству не тягали, хата же его была — овечья заутка, где бедняк-кузнец жил вдвоем с братом своим Сеид Меметом, двенадцатилетним мальчиком.

Кузнец, как и брат его, находились в толпе, сопровождавшей станового. Услышав свое имя, Ибрам побежал домой и, сам не понимая, для чего, — спрятал подалше новый кузнечный мех, купленный перед тем в Карасубазаре.

Орловский взошел в конуру, покрутил носом: воняло кислятиной, грязью. Ибрам заметил, обрадовался:

— Худая хата, — сказал он. — Овца жить не хочет.

— А вот ты с братом живешь, — возразил становой и внимательно поглядел на мальчишку, у которого из дырчатой шапки вылез и торчал, наподобие петушиного гребня, рыжий клок.

— Привычка, ваше благородие.

— Гм... Так вот знай: четырех солдат я к тебе ставлю. Понял? Четырех.

— Ваше благородие! — задохнулся кузнец. — Ваше благородие... Я — бедный человек... Брат больной...

— Чем он у тебя болен?

— Напуганный он... Всю деревню спроси... Лес ходил, лошадь искал, его, говорит, дикий кабан шибко пугал. Со всем больной...

— Полечим, — усмехнулся становой.

Он показал для ясности четыре пальца, круто повернулся и вышел, согнувшись в дверях. У ворот гудела толпа, мгновенно смолкшая при его появлении. Орловский остановился и обвел ее взглядом. Вдруг чей-то голос, смелый и

даже нахальный, произнес по-татарски какую-то фразу. Становой побагровел.

— Это кто гавкает? Ну-ка выходи.

И он бурно шагнул к шаракнувшемуся стаду людей. А ему навстречу, нагло улыбаясь беззубым ртом, выступила громадная фигура Байрахтара.

— Моя, — гордо произнес он, ткнув себя в грудь.

— А-а... — замялся становой и в пол-оборота к писарю спросил: — Чего он сказал?

— Глупости, ваше благородие, — не решительно ответил Иванов, косясь недовольно на татарина. — Я, говорит, сказывал: по-моему делайте, не хотели — теперь рота солдат блудничать будет с вашими бабами, а дальше не станете слушать — еще роту поставят.

— Верно сказал, — подтвердил Байрахтар точность перевода и победоносно поглядел на толпу.

— Ну, лишнего не болтай, — безразлично молвил Орловский. — Так вот вам, любезные, урок от меня на первое время. Вели, Иванов, подать тарантас.

Толпа, как стояла, повалила в волостное правление. Асан Мустафа оглу, толстый голова, всем приказал дожидаться на дворе, а в правление отобрал самых богатых и почетных. Немного погодя вышел сторож, вызвал из толпы Байрахтара и увел к почетным. С высокого крыльца правления Байрахтар оборотился, весело и динично подмигнул и исчез за порогом.

Часа два прождали татары. Наконец показался голова в сопровождении муллы, муэдзина, учителя, Байрахтара и почетных. Асан прокашлялся и объявил, что, по объяснению муллы, и ночное бедствие, и солдатский постой посланы населению богом в наказание за то, что начальству не помогли искать преступников. Завтра утром почетные и старики отправятся в Судак и будут от всего общества просить знатных помещиков, графа Капниста и Паскевича, заступиться. Поведет стариков Байрахтар. Татары выслушали и разошлись.

Того же дня вечером уездный кадий, гостивший в Таракташе у муллы, поехал в Судак к Крым-Гирею и заявил, что часа два назад его позвали к силь-

но больному Умеру, которого комиссия постановила арестовать за лжесвидетельство, но по причине болезни оставила на поруках. Умер раскаялся. Он объясняет, что при допросе он уже был болен, находился не в полном сознании. Теперь, готовясь к смерти и придя несколько в себя, он долго думал о своем показании и просит, чтоб оно не было принято за присяжное, и что он не может утверждать, что видел Сейдамета вечером 22 августа. Заочное заявление Умера кадий и подписал.

А утром следующего дня, — это было 7 ноября, — к дому Ильи Уваровича подехала запряженная парой лошадей арба с пятью татарами: Байрахтар и четверо древних стариков. Самым старым и почетным был Хаджи Сале — щепочка, утонувшая в широком, расшитом позументами кафтане с медалью. Этот кафтан был пожалован Хаджи Сале лет восемьдесят назад, когда он был писанный красавец, не имевший соперников силач, и его посадили на козлы кареты царицы Екатерины, об'езжавшей тогда Крым. Трое стариков, кряхтя, сползли с арбы на землю, а Хаджи Сале сидел. Сидел и что-то пищал, как цыпленок. Байрахтар подошел, взял его подмышки, но не сразу опустил на землю, а с веселой улыбкой покачал на руках, забавляясь его невесомостью. Потом все пятеро прошли во двор. Хаджи Сале семенил еще довольно бодро.

Илья Уварович сидел в теплом халате на террасе, грелся на солнце и ел громадную грушу, запивая глоточками вина из высокого хрустального стаканчика. Сияло горячее солнце, сиял стаканчик, чистой кровью горело вино, и сам Илья Уварыч, выбритый, крепкий, ладный, сиял, хоть пиши с него славянского бога.

— А-а-а, — протянул он неопределенно при виде татар. — Зачем пожаловали?

Старик Осман, работавший еще у отца Ильи Уварыча и свободно говоривший по-русски, низко поклонился и оглянулся на прочих стариков. Те тоже низко поклонились. Паскевич в ответ чуть дернул головой, но вверх.

— Ну, ну.

— Заступись, барин, — указал Осман. — Становой конец делать хочет. Худой татар — два солдат на шею. Богатый татар — пять солдат на шею. Кушать что будем? Татар — свой закон. Солдат — свой закон. Как жить одно место? Прямо вся деревня — ходи в лес, там помирай.

— Не нравится? То-то. Вам еще не так бы всыпать.

— За что, барин?

— За то самое. У вас на все село один честный — Якуб, а вы от него морду воротите, за спиной на след его плюете. Вы бы и задушить его рады, да хвост прищемили.

— Я тоже хорош человек, — напомнил Байрахтар.

— Ну и ты. А прочие — либо сами убийцы, либо укрыватели. Среди бела дня убили игумена, да чтоб никто из вас не видал злодеев, как они в лес шли? Или чтоб очевидцев не было, кроме Якуба? Быть того не может!

— Какое дело надо, скажи, барин? — смиренно спросил Осман.

— Помогать надо начальству, вот какое дело. Ступайте в комиссию, да там и заявите, что вся тройка злодеев — настоящие убийцы, что всем обществом вы от них отрекаетесь, что Якуба считаете честным человеком. Ну, а потом... что ж, просите освободить деревню от постоя. Может, начальство и смилуется, не знаю.

— Ходи с нами, — попросил Осман.

— С какой стати, — возразил Илья Уварыч, но не очень решительно. — Вот тоже выдумал.

— Ради бога ходи, — повторил с мольбою Осман и, подумав, опустился на колени. Двое стариков последовали его примеру, но древний Хаджи Сале попытался — и безуспешно. Байрахтар приподнял его — Хаджи Сале поджал ноги — и поставил рядом с другими.

Паскевич пыхнул из толстого, аршинного бисерного чубука, глотнул из стаканчика. Потом поглядел на живую древность внизу и, видимо, заинтересовался.

— Сколько лет? — мотнул он головой на Хаджи Сале.

— Стъ год. Больше, — пояснил Осман и туже уставился на старца, словно впервые его увидел. — Царица Катерина возил.

— Старый человек, медаль имеешь, а туда же с прочими, — проворчал Паскевич. — Тебе надобно другим пример подавать, а не покрывать злодеев.

Хаджи Сале не понял ни слова, но видел, что речь шла о нем. Он склонил голову набок, сложил на груди руки и пропищал:

— Алла...

Паскевич смягчился, но для проформы продолжал ворчливо:

— То-то, алла. Вы бы раньше аллу в сердце имели, так и не дошли б до этого. А то вот теперь — почтенные люди, старики, на коленках стоите, как воры последние. Срам! — закончил он энергично. Встал, сглотнул остаток вина. — Ладно, пойдете. — Гей, кто там? — крикнул он в комнаты и два раза хлопнул в ладоши. Он знал хорошо, что, кроме горничной, «там» не было никого, но крикнул он так по той же причине, по какой не пользовался колокольчиком, а хлопал в ладоши: выходило, вроде как у боярина в древней Руси. — Одеться дай, — приказал он появившейся девушке в сарафане.

Минуту спустя с чубуком, но уже в подевке, Паскевич во главе стариков-татар направился в комиссию. Байрактар почти нес Хаджи Сале, дышавшего коротко и часто, как птица. Когда поровнялись с усадьбой графа Капниста, оттуда вывалилась из ворот целая толпа татар. С ними был и граф Ростислав. Илья Уварыч не удивился: о депутациях он был предуведомлен.

— А-а, ваше сиятельство! Заарканили и вас в заступники.

Граф Капнист, с легкой гримасой, пожал плечами:

— Да. Не знаю, впрочем, для чего я им понадобился. Постой, видите ли, к ним назначили. Ну понятно — разорение, но я-то тут при чем? Ступайте, говорю, в комиссию, расскажите все, что вам известно по делу, а меня оставьте в покое. Нет, пристали с ножом к горлу — веди их. Ну и веду. Чувствую, что это смешно, и — веду.

— А их к вам чуть не полдеревни привалило, — ревниво молвил Паскевич.

— К вам зато наиболее почтенные, — с коварным великодушием не упустил утешить севастопольца граф. Заметив, что тот спохватился, он не дал ему поправиться и добавил: — Эдакую древность музейную, и ту извлекли. Уж его бы не трогали.

— Ничего, пусть проветрится, — уронил небрежно Илья Уварыч. — Однако, вот мы и пришли. В чем же теперь должна состоять наша роль?

Граф снова пожал плечами:

— Пойдемте, расскажем. А там пусть делают, что знают.

К дому отовсюду сбегался народ. Татары топтались под балконом, тихо переговаривались, ждали. Хаджи Сале озяб, посинел, ноги уже не держали его, и татары советовались, как с ним быть. Сын его (он был в графской депутации), тоже глубокий старик, заикнулся было — увести отца домой, но Байрактар запретил. Посадить его тоже долго не отваживались, наконец решились, — разостлали на земле чью-то куртку, усадили царицыного ямщика и закутали совсем с головой.

На балконе показался Кондараки, — возбужденный, веселый, даже гордый, — приказал татарам приготовиться. Хаджи Сале поспешно раскутали, поставили впереди всех на виду. Еще прошло с полчаса, — дверь на балкон распахнулась, четыре солдата караульной команды вышли с саблями наголо, вытянулись попарно, оставив посредине свободное место. Вслед за ними, звеня кандалами на руках и ногах, вышли Сейдамет, Сеид Ибрам и Эмир Усеин. Позади них стали жандармы. Но вот вышла на балкон в полном составе вся комиссия и еще Паскевич и граф Капнист.

Татары упали на колени, низко склонили головы. Стало тихо, так тихо, что слышно было позвякиванье кандалов на Сейдамете, которого била дрожь. Лицо его заросло черной щетиной, глаза горели ненавистью, и зубы, оскаленные в гримасе, сверкали, как у волка, окруженного собаками. Сеид Ибрам беззвучно и обильно плакал. Один Эмир Усеин чувствовал себя, повидимому,

уверенно, — лукаво поглядывал своим глазом то на татар, то на начальников.

На совещании в комиссии решено было главным выставить Лагорию: за внушительную наружность, за то, что здесь он был старший представитель государственной власти в уезде. Он выступил первым.

— Ну-с, сказывайте—зачем пришли?

Мулла и волостной голова Асан, вырядившийся в золотой кафтан с медалью, переглянулись — кому начинать. Потом голова, вздохнув, заявил, что общество просит отменить военный постой...

— Военный постой? — прервал его исправник. — Ваши односельчане, — вот они, перед вами, — убили игумена. Убили середь бела дня. Село ваше многолюдное. Народ ходит в лес за дровами, за кизилом, на охоту, пасти скотину. Никто в свете не поверит, чтоб ни один человек не видал, как злодеи шли в лес на убийство. Где ж они, ваши свидетели? Где очевидцы? Вы укрываете их! Стало быть, все вы заодно с этими молодцами. Так все и отвечайте за них! А будете и дальше упорствовать — еще роту солдат получите. Все до единого с голоду околеете — вот к чему приведет ваше упорство!

— Скажи, что делать будем? — спросил Асан.

— А вот хоть бы то: уговорить злодеев, чтоб признались.

Снова Асан переглянулся с муллой. Желтолицый мулла вздохнул покорно; задрал белую бороду, поглядел снизу вверх на закованных татар. Эмир Усеин был пустой человек, по-настоящему надо было обратиться к Сейдамету, но на муллу из глаз Сейдамета ударило такой ненавистью, презрением и таким страшным страданием, что он поспешно перевел взгляд на третьего.

Сеид Ибрам к тому времени уже был болен. С первого дня ареста не было часу, когда бы он не томился от жалости к себе, к своей участи, к оставленной семье, к хозяйству — от жалости, несправедливости и недоумения перед тем, что с ним происходит. Всякий предмет, решительно все, что до него касалось, с утра до ночи вызывало у него

неудержимые слезы: грязь, вѣт, клопы, кандалы, вонючая похлебка, г, убые слова и окрики, — все это было для него особенно мучительно именно тем, что вызывало мысли о недавней чистой, аккуратной, полной порядка трудовой жизни, от которой его унесло, непонятно, как, будто во сне. Когда его ругали, толкали или подвергали насмешкам, — он плакал. Но когда, случилось, кто-нибудь в остроге выражал ему сочувствие, он плакал еще горше и не только не испытывал облегчения, но, напротив, нестерпимая мука, от которой сердце дрожало, затопляла его. И от этих непрекращающихся слез он упал духом, потерял себя совершенно, все время находился в каком-то расслабленном беспомоществе.

Когда мулла начал его увещевать, стал говорить, что бог за их упрямство накажет всех, стал просить, чтоб он пожалел свое семейство, родичей, таракташское общество, которому грозит разорение, сказал, что бог в гневе уже спалил старика Бекира, убил чабана Джебара и двести штук овец, но это — только начало; когда мулла, с которым он любил беседовать за кофею, стал молить его покаяться и признать свою вину, — Сеид Ибрам плохо его понимал, а только жалость к себе, к обществу и Таракташу поднялась в душе такая, что он стоять не мог, — в голове мутилось, валило с ног, тошнило.

— Я не виноват, мулла... — выдавил он сквозь всхлипывания.

— Вот видишь, упорствует, — сурово сказал Лагорию.

В эту минуту среди татар, стоявших впереди, произошло замешательство. Катеринин кучер Хаджи Сале тихо осел, как кучка пепла, на которую сверху капнуло. К нему наклонились, окликнули, но он не отзывался. Хаджи Сале умер. Сеид Ибрам видел, как его подняли и унесли, и с отчаяньем завопил:

— Я не виноват, мулла!..

Он хотел сказать, что ему необыкновенно жалко Хаджи Сале, на которого, как на диковину, он глядел с тех пор, как стал себя помнить, что в его смерти он не виноват, а вот он умер из-за него... А кругом все подумали, что он это

не про Хаджи Сале, а про убийство игумена, что он упорствует.

— Брось! — крикнул внезапно Сейдамет, стуча зубами, и вдруг злобно усмехнулся, поворотясь к исправнику: — Хаджи Сале зарезал твой поп. Я держал, Хаджи Сале резал. Теперь иди его спроси. Иди его суди. Иди ему солдат станови...

— Молчать! — рявкнул исправник. — Увести его.

Сейдамета увели; наступила тишина.

— Ты — умный человек, — льстиво обратился мулла к Эмир Усеину, — ты себя не захочешь губить. Покайся, признайся — тебя начальство простит.

Эмир Усеин помотал головою, зацокал языком, подмигнул лукаво и с величайшим самодовольством произнес:

— Я знаю, как с начальством говорить.

Увещевание кончилось. Исправник распорядился увести арестованных. Потом подошел к перилам балкона и сказал:

— Вот что, сударики. Разговор короткий: очевидцы убийства помимо Якуба — раз (он, размахнувшись, загнул рукою палец на другой руке); свидетели, видевшие разбойников, когда они шли в лес, — два; общество ваше подает в комиссию приговор, что оно признает убийцами этих молодчиков и от них отрекается — три. Исполните в точности и безотлагательно — будет у вас рота солдат. Не исполните — будет две роты. На размышление дается вам десять минут. Разговор окончен.

Сбившись в кучу, татары шопотом, но бурно совещались.

— Десять минут прошло. Согласны, что ль?

— Согласны... согласны... Али скажет... — друг друга перебивая, отозвалось несколько голосов.

Кожевник Али, сильный, рослый, красивый старик, которого в Таракташе почитали за самого умного человека, подошел вплотную к балкону:

— Ваше благородие. Мы — темный народ. Мы — глупый народ. Пиши приговор — мы все руку кладем. Пожалуй-

ста, господин начальник, ваше благородие!

Голова высокого Али приходилась вровень с тяжкими гутаперчевыми исправническими руками, свесившимися через чугунные перила балкона. Али поглядел на них, подумал, вытянул губы, поцеловал руку и оглянулся повелительно на татар. И тотчас зазмеялась живая цепочка. Для удобства прикладывающихся Лагорио спустил руки пониже. В толпе был и Бекир — погорелец. Исправник давно на него поглядывал. Он стоял, не двигался с места. Жесткая усмешка скользнула по губам Лагорио, он упорно и грозно на него посмотрел. Старик втянул голову в плечи, тихо подошел и поцеловал руку.

— Ну, уж это — бог знает что! — с гримасой вскинул плечами граф Капнист, только сейчас, оторвавшись от разговора с Вриони, заметивший обряд целованья исправнической руки. — Нет, слуга покорный...

— И тут либеральные бомбошки, — буркнул недовольно Илья Уварыч, обратясь к отцу Иакову.

Граф Ростислав, кивнув неопределенно головой, ушел. Лагорио прервал процедуру, выпрямился, поправил портупею.

— Ладно, — проговорил он. — Ступайте в волостное правление, я приеду.

ГЛАВА XX

СИРОТА СЕИД-МАМЕТ

На другой день, уже с утра, вокруг дома, где заседала комиссия, точно ярмарка кипела. Прежде всего явилось человек тридцать татар с сообщением, что «по розысканию найден поселянин Аледжан, видевший в день убийства игумена одного из обвиняемых, Сеид Ибрама, по дороге из Судака в лес, где совершено преступление». Аледжан был тут же, бумажка с «Биллаги, Выллаги, Тыллаги» также оказалась наготове, и показание Аледжана быстро было закончено.

Не успели эти татары уйти, как привалила новая громадная толпа, больше

двухсот человек. Они принесли собственноручно исправником написанный приговор общества, где насчет арестованных было сказано: «Мы действительно признаем их в преступлении виновными».

Почти за всех расписался на этом приговоре Байрахтар.

Потом с новым приговором пришло еще человек двадцать: «В случае, — было там сказано, — по каким-либо обстоятельствам или по милости государя императора пойманные в убийстве игумена Парфения будут освобождены, то и в таком разе на принятие их в среду нашего общества как мы, так и все общество наше согласия не изъявляем и впредь не из'явим».

И в том и в другом приговоре общество указывало на полное свое доверие к Якубу, честному и справедливому человеку.

И допрос Аледжана, и вся эта нескончаемая вереница татар с приговорами — никого в комиссии по-настоящему не заинтересовали: члены отнеслись формально, письмоводитель записал, — тем дело и кончилось. Между тем, когда подкатил тарантас, в котором находились пристав Орловский и мадам Ларгье, сама правившая лошадию, то не только порывистый Кондараки, но и сам ленивый Крым-Гирей, и даже страдавший от приступа астмы о. Иаков Черный, вместе с прочими членами комиссии, высыпали им на встречу и, окружив тарантас, с живейшим любопытством о чем-то с ними беседовали.

Немного погодя мадам Ларгье хлестнула по лошади, тарантас рванулся, едва не задев колесом о. Иакова, Кондараки, что-то вспомнив, кинулся было вдогонку, но тарантас укатил, и члены комиссии воротились в дом.

И часу не прошло, как из Таракташа подкатило уже два экипажа: знакомый тарантас и тележка. В последней, занимая ее всю в ширину, сидел волостной голова Асан в золотом кафтане с медалью, а у него меж колен брат кузнеца Ибрама, мальчишка Сеид Мемет, дико, как внезапно схваченный мышонок, поглядывавший по сторонам.

Ловко соскочив с тарантаса, становой хотел помочь сойти своей спутнице, но мадам Ларгье пренебрежительно хлопнула его по протянутой руке и соскочила не хуже его самого. Голова Асан, громко пыхтя, собственноручно снял с тележки на землю Сеид Мемета, — и все четверо двинулись навстречу выспавшей на балкон комиссии, вместе с которой и прошли внутрь дома. Часа два никто оттуда не появлялся и никого в комнату не допускали. Наконец дверь отворилась, и оттуда показалась круглая фигура Асана, который вел за руку юного Сеид Мемета. Вид у Асана был решительный, лицо злое, усталое, а мальчишка напоминал попрежнему мышонка, но не сию минуту схваченного, а уже затрепанного: не зверек, — серенькая тряпочка. Асан взгромоздился на тележку, Сеид Мемета пихнул туда же и укатил обратно в Таракташ.

В волостном правлении, куда голова доставил пленника, как и вокруг, толпил народ, хотя день был будний. Асан всех выслал вон, приказал муллу позвать. И целый день никого в правление не допускали. Если же кто из татар невзначай туда проникал, то вылетал в ту же минуту, провожаемый бранью обычно добродушного сторожа Мустафы. От этих случайно проникших в правление добились одного ответа: понять ничего нельзя, а слышно только, что мулла шибко уговаривает, голова шибко ругается, а мальчишка плачет, тоже шибко. Уже вечер наступил, муэдзин с минарета как-то горько и жутко заиграл голосом. Засветились звезды, — одна ярче всех: душа Хаджи Сале, которого незаметно, второях, схоронили утром. Такого человека! Потом звезды закрылись, поднялся ветер, тяжело зашумели деревья. Только деревья и шумели, а народ, темным станом облежавший правление, был тих. Ай, как страшно было в саклях! Одни женщины там оставались, жались по углам, даже огня не зажигали.

И весь Таракташ был — как груда камней.

Но вот распахнулась дверь, появился мулла, прошел, ни слова не сказав, сре-

ди расступившегося народа. Вскочил Мустафа, динулся к дому головы, и оттуда подкатила знакомая тележка. Вышел на крыльцо Асан и приказал всем немедленно разойтись. Народ растаял в потемках. Но пять-шесть отчаянных смельчаков притаились поблизости и потом с опаской передавали, что, когда очистилась площадь перед правлением, голова вывел мальчишку и увез в Судак.

И тут же, ночью, прошелестел по деревне слух, точно ветер его пронес по унылым кривым улицам, что открылся второй очевидец убийства большого попа.

И верно. Ночью, в Судак, в следственной комиссии, которая была в полном сборе, мальчишка Сеид Мемет, сирота, — как звали его в Таракташе, — признался, что видел убийцу на месте преступления, в понедельник, месяца два назад, а может, и больше, когда он искал в лесу лошадь брата. Под наказанием негдатотного мальчика расписался Байрахтар, писать же «Биллаги, Выллаги, Тыллаги» и вовсе не понадобилось: как малолетний, Сеид Мемет не мог присягать.

Уже далеко за полночь прогремели по каменистой дороге колеса, а раным-рано разнеслось, что сирота уже дома, и туда потянулись люди. Толпясь у порога, глядели в угол, где на дырявом тюфяке сидел сирота, прислонясь к стенке. Руки, ноги, голова, — все было на месте у мальчика, все цело, но глядели на него, как на покойника или как на диковину, а когда кто-нибудь пытался с ним заговорить, кузнец, сидевший тут же, рядом, подымал руку и, строго взглянув, произносил коротко: не трогай.

Двоюродный брат кузнеца, придурковатый Ангыр-шорник, не послушался. Подойдя к мальчику, спросил грубо:

— Били тебя?

Кузнец вскочил, сжал кулаки. Глаза его налились кровью.

— Не трогай! — закричал он дико. Сел бессильно и негромко добавил, глядя в сторону:

— Он напуганный. Мочи не держит.

Из женщин кое-кто приносил мальчику то лепешку, то яблоко. Семилетний Халиль, сын кузнецова соседа, прошел вслед за другими, уставился на Сеид Мемета. Все глядели, и он глядел. Немного погодя несмело подошел к нему, протянул руку — осторожно, как к огню, — потрогал за вихор, торчавший из шапки.

Потом сирота вышел на улицу — и потекло все своим чередом. Только все по-особенному обращались с кузнецовым братом, — с осторожностью, любопытством и страхом. Сироте было немножко стыдно, что все на него смотрят, но он видел, что мальчишки ему завидуют, а это было приятно.

Вскоре из Судака за кузнецом пришел Байрахтар. Держали Ибрама недолго. Байрахтар объяснил начальникам, что по дороге они обо всем переговорили, — только записать. По одной бумажке прочитал ему мулла «Биллаги, Выллаги», — Ибрам приложил руку, Байрахтар подписал. Потом человек в валенках взял другую бумагу, а Байрахтар стал ему говорить, время от времени оборачиваясь к Ибраму и объясняя, что он сказал начальникам. Ибрам молча кивал головой. Человек в валенках, спасибо ему, писал шибко. Эту бумагу подписал тоже Байрахтар — и кузнецу объявили, что он может идти. В бумажке, которую ему забыли верно прочитать, было написано, что 22 августа брат его Сеид Мемет ходил в лес за лошадью, но воротился домой без нее. «На другой день я заметил перемену в лице брата и спросил его, что с ним. Он сначала не отвечал, потом сказал, что испугался в лесу. Раза три еще я спрашивал его, не случилось ли с ним что-нибудь, или не болен ли он. Наконец, он сказал, что его хотели зарезать в лесу и что он со страху ничего не помнит. Хотя тогда разыскивали уже игумена, но на слова брата я не обратил внимания, думая, что он чего-нибудь испугался в лесу и что со страху показалось ему, что его хотят зарезать. Я его больше не расспрашивал и только вчера узнал, что Сеид Мемет видел в лесу убийцу игумена».

ГЛАВА XXI

ШЕРОХОВАТОСТИ СГЛАЖЕНЫ

Благодаря искусству письмоводителя очные ставки прошли с непостижимой быстротой: к началу их оказались готовы не только формы, но и самые акты, которые оставалось лишь скрепить подписями.

Раскрыв перед собою показание того или другого свидетеля, письмоводитель на чистом листе писал в заголовке: очная ставка свидетеля такого-то с обвиняемым таким-то и под заголовком, аккуратно по линейке, делил вертикальной чертой лист пополам. Слева он ставил имя свидетеля, справа — имя уличаемого преступника. Затем под именем свидетеля писал: такой-то с полным убеждением и смело, глядя прямо в глаза обвиняемому, уличал его... Далее письмоводитель приводил из показания свидетеля то именно, в чем он уличал злодея. Под именем же последнего, справа, писал, что обвиняемый, не глядя в глаза свидетелю, отрицал возводимое на него обвинение. И прежде, чем процедура очной ставки заканчивалась, акт об ней был уже в руках у Крым-Гирея. Если же изредка случалось, что свидетель менял или дополнял показание, или если обвиняемый, возражая, указывал на тот или другой новый факт, то письмоводитель в две минуты делал нужную добавочку, акт подписывался — и крышка. Неоценимый человек!

В середине ноября следственная комиссия собралась в полном составе на заключительное заседание. Шло подписывание разных бумажек.

— Кажется, все, господа? Кто что припомнит, говорите, — сказал председатель, очень благодушно настроенный.

Замечание нашлось только у одного Вриони.

Оно относилось к невыясненной доселе судьбе одного вещественного доказательства. В акте осмотра трупа лошади было указано, что найденная лошадь, несомненно, игуменова. У трупа отрезали копыто и хвост, но их не предъявили бывшему владельцу лошади, татарину Билягу, жившему в соседней

деревне Туклук, а только заочно запросили, подтверждает ли он, что копыто на правой ноге было у лошади белое, а масть ее — темнокрасная. Биляг подтвердил — и на том Орловский успокоился. Вриони считал это большим упущением, о чем не раз подымал разговор в комиссии. Но Крым-Гирей неизменно в таких случаях отшучивался. «Успеем, — говорил он, — они (т.-е. копыто и хвост) хлеба не просят». На этот раз, когда Вриони снова напомнил о необходимости вызвать Биляга, Крым-Гирей вышел вдруг из себя и с раздражением воскликнул:

— Ну что вам даст это копыто?

— Как что даст? — удивился Вриони. — Улику!

— А если дулю с маслом? — грубо возразил председатель, весь побагровев.

— То-есть как!?. Я вам прежде всего не позволяю...

— Можете не позволять, сколько вам угодно. Кто отвечает за следствие? Я отвечаю за следствие! — тупо ударил он кулаком в жирную свою грудь. — На чорта нам этот Биляг? Что мы от него получим? Есть формальный акт, что лошадь та самая? Чего вам еще? Ну, вызовем Биляга. Покажем ему копыто и хвост. Ну, допустим, он их признает. Что вам от этого прибавится? А теперь — если не признает? Тогда кладите себе в борщ этот хвост! Или прикажете и в Туклук роту ставить из-за одного паршивого свидетеля?

— А если его суд вызовет, — не сдавался Вриони, — да он там не признает? Хороши мы тогда будем с нашим вещественным доказательством, — добавил он саркастически.

— Так и надо его к... к чортовой матери! — крикнул Крым-Гирей, покаясь на страждущего астмой о. Иакова. — Вот об этом и давайте говорить. А разговор короткий: взять и уничтожить.

— Браво, ваше благородие! — рявкнул Лагорио с восхищением.

— Как так уничтожить? — оторопел Вриони. — За... затерять?..

— Ничего не затерять! Завонялись, мы делаем постановление: уничтожить.

— Bravo, bravo! — повторил Лагорио, символически изображая ладонями, что он аплодирует.

— Мудро, — просипел о. Иаков, не подымая головы от своей тетради.

— Пишите постановление! — коротко приказал следовать письмоводителю. — Только, знаете, пофигуристей.

— Не извольте беспокоиться, — склонив голову, отозвался письмоводитель.

И минут через десять уже готово было постановление о вещественных доказательствах; о хвосте и копыте указано было: «как преданные порче» — уничтожить.

Крым-Гирей медленно прочел. На словах «преданные порче» остановился, весело подмигнул письмоводителю, — золото, не человек! — даже языком поцокал. Подписал и с нескрываемой иронией пододвинул бумажку Вриони, который пробежал ее с искусственным равнодушием, искусственно зевнул и искусственно-небрежно подмахнул.

И два, и три года спустя после того, как дело об убийстве игумена было закончено и многие стали о нем забывать, скромный Охочинский в строго-приватных беседах с гордостью напоминал, что выбор Крым-Гирея в председатели следственной комиссии подсказал губернатору именно он, и неизменно рассказывал при этом, как повел себя его избранник в обстоятельстве касательно хвоста и копыта.

Вечером, уже по окончании заседания комиссии, приехал в Судак чиновник из Симферополя и немедленно явился к Крым-Гирею с устным и весьма секретным сообщением от его превосходительства. Выслушав его, Крым-Гирей тотчас вызвал к себе Орловского, с которым они недолго, впрочем, совещались, после чего становой оповестил через толстого Асана население обоих Таракташей, чтоб на завтра все собралось на сход в волостное правление. О том же извещены были и члены комиссии, которые допытывались у

Крым-Гирея, для какой это надобности, но он только ухмылялся ина-тригующе и всем одинаково отвечал: сурприз.

Когда на высокое крыльцо правления, к громадной толпе татар вышла в полном составе следственная комиссия в мундирах, орденах и медалях, то картина получилась внушительная, торжественная. Ладный, стройный Орловский обратился к сходу с краткой речью, которую не многие поняли. Он сказал, что начальство умеет карать, если кто того заслуживает, но умеет и прощать раскаявшихся, после чего театральным жестом уступил место следователю.

Массивный Крым-Гирей выступил вперед и по-татарски объявил сходу, что его превосходительство господин губернатор, узнав из его донесений, что население Таракташей отреклось от убийц игумена и содействует комиссии в раскрытии преступления, согласился временно приостановить расквартирование военного поста, если он, Крым-Гирей, поручится, что татары и впредь будут вести себя законопослушно, как верноподданные государя императора. Может ли он за них поручиться? — вот о чем спрашивает он сход.

Татары молчали. Оживление заметно было лишь на самом крыльце, в комиссии. Толстый Асан, упершись круглым животом в перила, свесил голову вниз и, спокойно вращая круглыми глазами, кинул в толпу два-три слова. И тотчас же оттуда потянулась к крыльцу цепочка: впереди всех мулла, за ним Байрахтар, потом несколько стариков и богатых татар. Они взошли, поклонились, глазами поговорили с Асаном, и последний от имени всего населения объявил, что оно благодарит высшее начальство за милость, Крым-Гирея и всю комиссию — за поддержку и обещает впредь полное послушание. Крым-Гирей кивнул головой и ушел с крыльца. За ним вслед ушли и все прочие, унося смущенное чувство какой-то неудачи.

В тот же день, подписав инструкцию о порядке доставления преступников в феодосийский тюремный замок, Крым-Гирей покинул Судак.

ГЛАВА XXII

ПТИЦА!

Осенью в Таракташе и Судакe темнеет рано. Здешние жители в шутку говорят, что дня в эту пору не бывает: не успел с утра прочухаться, как тебе при встрече говорят «добрый вечер». В девять часов, когда три телеги с арестованными и конвойными тронулись в путь, было совсем темно. Ехали так: на каждой телеге арестант в ручных и ножных кандалах и при нем двое конвойных, а позади солдат с ружьем, верхом на лошади. Потом интервал в полверсты и следующая телега. Позади последней телеги — двое солдат верхом. Путь лежал на Изюмовку, на Салы.

Когда проезжали через Таракташ, Сейдамет — он находился в передней телеге — жадно вглядывался в потемки, не мелькнет ли знакомая фигура. Но было темно, как в погребe, дождь лил, не переставая, ветер тяжело шумел в оголенных деревьях, люди от непогоды попрятались, видно, в домах, — дорога была пустынна, ни души не попалось навстречу! Дом Сейдамета лежал далеко в стороне от дороги, если Беяз и залает, ветром подхватит — сюда все равно не донесет, да и колеса стучат. Но все-таки Сейдамет, отвернув с головы намокший армяк, весь натянулся, как струна, ловил звуки. Почудилось раз, что Беяз завыл, но, кто его знает, уверенности не было, так сердце и осталось голодным. Уже последние на выезде сакли утонули позади в потемках — все прислушивался. Потом вдруг изнемог, прислонился головой к задку и замер. За шею вода заливалась — не вытирал, не менял положения. Лежал, болтался покорно, как покойник в гробу.

О том, что его ждет, Сейдамет не думал. И в Судакe, и перед тем в тюрьме в Феодосии ему о будущем не давала размышлять страшная ненависть и презрение. Ненависть к начальникам, презрение к тем односельчанам, которые показывали против него и с которыми ему давали очные ставки. Сейчас, на выезде из родного села, пер-

вый раз за все время клещи мстительной ненависти разжались на его сердце. Но легче от этого не стало, стало еще тяжелее, потому что жалость вдруг охватила его: к отцу, к брату Сеид Мемету — как он теперь, с его горячим характером! — к себе... И к Марии Шампи.

Всякий раз, как его требовали на очную ставку, он тяжело дышал от нетерпения, дрожал, — какая еще трусливая собака станет сейчас перед ним и начнет прятать воровские глаза? Один раз конвойный, который уже по привычке к нему, сказал, как всегда говорил в таких случаях:

— Ну-ка, собирайся на уличение.

— Кто, не знаешь?

— Бес ее знает.

— Баба? Наша? Татарка? — нетерпеливо кидал Сейдамет.

— Не-е,—зевнул конвойный. — Не ваша и не наша. Сказывали, французинка, либо что... Погоди, не спеши,— схватил он за рукав кинувшегося вперед арестанта. И вдруг остановился перед Сейдаметом, повернувшись к нему лицом: — Ух, зверь, ух, зверь как торжный, — пробормотал он оторопело. — Чего ты, ну?

Арестант дрожал, стучал оскаленными зубами.

— Ладно, пойдем. Да гляди ты... Я с тобой говорю, снисхождение делаю, так уж ты... Тоже и нашего брата сгубить недолго...

Сейдамет не слушал. Он мгновенно решил, как только его введут, сразу кинуться на Марию и убить ее кандалами. Увидев перед собой мадам Ларгье, он, словно проснувшись, обвел всех глазами и нервно расхохотался.

Очные ставки были у него почти со всеми, кто в памятный тот вечер находился в доме Шампи. С Ляtifом и Марией очных ставок не давали, — значит, они показали в его пользу. С Ляtifом дело было просто, но мысль о Марии так его точила, что, случалось, среди ночи он вскакивал на нарах и скулил, качаясь из стороны в сторону. Хотя бы один раз, одно мгновение посмотреть ей прямо в глаза и увидеть, верит ли она на волосочек, что

он причастен к убийству попа. И во все время, что комиссия находилась в Судаке, не было дня, когда бы он не боролся с искушением кой в чем напутать в своих показаниях про тот вечер в доме Шампи, чтоб таким путем добиться очной ставки с Марией.

Сейчас, лежа в телеге, он мучился жалостью к тому дорожному, что осталось в Судаке и Таракташе, но особенно к Марии: белые руки, тонкие длинные пальцы, мягкие волосы, большие, кроткие, доверчивые глаза, — все, чем он любовался, чего назвать не умел, — все это сливалось в чувстве нежного и горького бессилия...

— Птица, — произнес он по-русски, но едва слышно то слово, которым назвал ее в ту памятную ночь.

— Чего? — спросил конвойный, старый солдат с усами, отворотив с уха шинель. — Чего сказал? — повторил он, не получив ответа. — На двор, что ль, занадобилось?

— Ничего, — хрипло ответил Сейдамет.

— А ничего, так людей не тревожь, — сердито заметил солдат и стал набивать трубку под полою шинели.

Теперь, когда с каждой минутой Таракташ и Судак уходили все дальше и дальше, у Сейдамета росло раскаянье, что он упустил случай видеть Марию. Он уже не думал о том, чтоб рассеять свои сомнения, он был уверен, что она любит его попрежнему, жалеет его. Но вот, если бы хоть на мгновение он ее увидел, он бы придумал что-нибудь, тут же придумал бы, подал бы ей знак, она бы помогла ему, и они бы бежали оба! В эту самую минуту не было б на нем подлого мокрого бушлата, руки, на которых звенит сейчас ледяное железо, были б свободны, они сидели бы где-нибудь в горах в пещере, он бы слышал ее голос... Увез бы ее, спрятал, а сам... Как Алим, которого он раз видел на белом коне, он и два-три друга, тоже невинно страдавших, подкараулили б поодиночке и жабу-Якуба, и этого злодея жандарма, — ух, дернул бы его за рыжие усы, а потом — ножом! А вонючего не стал бы руками, а за-

топтал бы... А татарина, Крым-Гирея, предателя...

Сейдамет задохнулся от злобы, застонал.

— Опять, — сурово сказал тот же конвойный. — Корчит тебя нечистая сила.

Сейдамет опомнился, замолчал.

— Сомлел, — заметил второй конвойный, молодой солдат, водивший арестанта на допросы и очные ставки. Потом, как об отсутствующем, добавил: — Злющий — страсть. Уже я в конвойных не первый год. Который злющий, ему, примечая, тяжельше.

Старик ничего не ответил, жадно затягивался махоркой, хрипя догорающей трубкой. Молодому было скучно, хотелось калякать.

— Сказывали мне про него — девку себе облюбовал. И не простую, знаешь, из благородных, французских кровей. Вот оно какое дело.

— Глупости, — отозвался старший.

— Заправду. Верные люди говорили. И она будто до него снисхождение имела.

— Навряд.

— Верное слово. Сказывали, до того дело дошло — своими руками кисет ему вышила. На кисете будто и поймайся.

— Как так на кисете?

— Кто его знает.

— То-то, кто его знает. Нагородил такого — на ногу не наденешь. Брехня все это. Татарскую лопатку да чтоб благородная девица полюбила. Промеж православных бывает, это точно. Недалече ходить: сам четыре года с капитаншей жил.

— Ну-у?

— Вот тебе и ну. Четыре года, как один денечек.

— У-у, старая собака! — закричал, завизжал вдруг Сейдамет и резким движением сел в телеге, звякнув кандалами. — Тебя надо убить, старая собака! Надо вас всех убить...

— Никак сбесился, Махамет? Ну-ка, замолчи.

— Молчи? Я тебе дам молчи, собака!.. Всех зарезу...

Солдат, не меня положения, рванул руку локтем назад — хряс! — Сейдамет опрокинулся, стукнувшись головой о телегу.

— О-о-о... — простонал он бессильно.

Солдат тихо рассмеялся.

— Вот так-то лучше, — сказал он и опять принялся набивать трубку.

— Сомлел, — проговорил снова молодой конвойный. — Уж это который раз замечаю: пыхнет, а после сомлеет. Ты, слышь, не обижайся, — добавил он, поворачиваясь впотьмах к Сейдамету. — Уж такая доля твоя арестантская.

Татарин молчал. Слышать было, как на колдобинах голова его стучалась ту-по о задок телеги. Конвойный выждал, потом тоже достал трубку, набил махоркой, запалил серничок, раскурил.

— Накось, вот, — протянул он ее Сейдамету.

— Балуеть их, махаметов окаянных, — проворчал старик.

— Ничего, дядя Игнат.

— То-то ничего. Ты вон инструкцию для его нарушил, а он же тебя первого, доведись ночным делом, ножом пырнет. Дурак!

(Окончание следует)

Баллада о земляке

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

★

Шел грудью в битву весь народ
Моей родной страны, —
Нам не забыть двадцатый год,
Суровый год войны.

Обозов скрип, тачанок стук,
Тяжелый дым костров...
Был у меня в ту пору друг,
Земляк, Иван Петров.

Навстречу бешеным ветрам,
Под орудийный гул,
Мы с ним от Волги до Дняпра
Прошли в одном полку.

Война течет, как та река,
Кровавая вода.
И в одночасье земляка
Подстерегла беда.

Погиб он в этот черный год
От вражеской руки...
Похоронили мы его
На берегу реки.

Где звонки птичьи голоса,
Где гладь Дняпра чиста,
Где явор, словно на часах,
Над кручей молча встал.

Я помню вечер у костра, —
Черемуха цвела.
Весна, как нежная сестра,
Над ним звезду зажгла.

И наш суровый комиссар
На камне написал:

«Иван Петров погиб в бою
За родину свою...».

С тех пор прошло не мало лет.
Горит Кремля маяк,
Страны на свете крепче нет,
Чем Родина моя.

И жизни краше и полней
Нигде на свете нет,
Чем в нашей молодой стране;
Несущей миру свет.

В краю, где битвы черный дым
Окутывал поля,
Цветет под небом молодым
Счастливая земля.

Запевку девушки ведут
Про дальний гром боев...
Но спит под явором в саду
Боец Иван Петров.

Он в грозной схватке пролил кровь
За трудовой народ.
И вечная к нему любовь
В делах живых живет.

Коль мимо тихого двора,
Где он нашел покой,
Проходит в школу детвора
Веселою толпой,

То самый старший говорит:
— Вот здесь буденновец лежит,
Он смертью храбрых пал в бою
За родину свою...

И парень с девушкой придут
 Вечернею порой.
 Легко, задумчиво в саду
 Под темною листвою.

Рука в руке, они стоят
 Над камнем гробовым,
 Лишь звезды тихие струят
 Печальный свет над ним.

Роса ложится на него,
 Как девичья слеза.
 И вспомнит парень — трудный год,
 Военная гроза...

Он руку девичью сожмет
 И наизусть прочтет:
 Иван Петров
 погиб в бою
 за Родину свою.

Старушка часом забредет
 Под явор отдохнуть,
 Припомнит горький хлеб невзгод,
 Бездоля тяжкий путь.

И как ей, старой, рассказать
 Про ширь иных дорог?
 Зажжется теплый свет в глазах:
 — Спокойно спи, сынок...

Трава под явором густа,
 Чиста, прохладна тень.
 Поет малиновка в кустах,
 Обласкан солнцем день.

Но если враг коварный, злой
 Пойдет на нас войной,
 Мы выйдем в бой,
 В последний бой
 Железною волной.

★

Братья

РАССКАЗ

ДМИТРИЙ СТОНОВ

★

1

Дела как будто пошли на лад; Михеев повеселел. Жуков оказался верным другом; он сдержал свое слово, перетащил Михеева к себе — снабженцем. Надежда поверила, что с Зоей покончено, а может быть, — кто знает? — она примирилась с судьбой. Как бы то ни было, семейные раздоры прекратились, и уж не за чем ссылаться на нескончаемые заседания, выдумывать вопросы, которые не сходят с повестки дня. А самое главное, Зоя тоже притихла, успокоилась, умерила свои требования. До поры, до времени она пожелала остаться на старой службе и, склонная ко лжи, посоветовала Михееву воспользоваться этим.

— Можешь сказать своей старушке, что у меня роман с Абрамовым, она, небось, обрадуется. — Как всегда, когда она говорила о его жене, лицо Зои поблекло, она равнодушно повела плечом; впрочем, недобрая улыбка тотчас же тронула ее губы. — Мужчина он интересный...

— С ума сошла, — разозлился вдруг Михеев. — Еще что выдумашь!

Все же, мирясь с Надеждой, он воспользовался зоиным советом, намекнул на ее связь с новым начальством...

В Авторемонте служила своя братия — Вершков, Конягин, Архипов. Были и новые — очень толстый и строгий на вид Сакович, коммерческий директор Гольдштейн, заведующий производством Ющенко. С ними не мешало

сблизиться, и Михеев, как только кончились домашние распри, решил устроить вечеринку.

— За качество не ручаюсь, но горячо будет, — сразу впадая в игривый тон, сказал он сослуживцам. — Прошу, товарищи, к моему шалашу! — И, обращаясь к Гольдштейну: — Жинка моя с запада, она приготовит фаршированную рыбу — пальчики оближете!

— Выпьем, евреи, рюмку водки, — шуточно ответил Гольдштейн.

Гости обещали собраться к девяти вечера. Времени оставалось достаточно. Из Авторемонта Михеев зашел в парикмахерскую, из парикмахерской в Гастроном. Возбужденный предстоящей встречей и выпивкой, полнокровный, розовый от холода, он долго, советуясь и пошучивая с продавцами, выбирал вина и закуски и, только покинув магазин, вспомнил о патефоне: патефон и пластинки следовало захватить у Зои.

— Круглый дурак, — выругал он себя. — Вместо того, чтобы взять патефон, а потом заскочить в магазин, ты... идиот!

Еще накануне, намечая план вечеринки, он сказал жене, что патефон одолжит у заведующего клубом. Зоя ничего не должна была знать о выпивке.

Махнув рукой, еще раз обозвав себя дураком, Михеев медленно побрел к Зое. Вздрагивающий лифт поднял его на пятый этаж. Беседуя, по лестнице спускались женщины. В доме, как на грех, жили знакомые. Не оглядываясь, подняв воротник, Михеев на-

справился к парадному, и тут осенила его счастливая мысль — позвонить не четыре раза, как полагалось, а пять.

Дверь открыла Замотина — бедствие всей квартиры. Как часто Михеев слышал за перегородкой ее визгливый голос; ни с того, ни с сего, наедине с самой собой, она начинала кричать о том, что «чужой мужчина ночует без прописки, рыжая фря до рассвета жжет электричество и у ей, будьте уверены, есть чайник и утюжок, а нам плати с лампочки...». Зоя шумно глотала слюну, шея ее удлинялась, лицо темнело — и прерывистым шопотом Михеев просил: «Ради бога, не связывайся с нею, стоит ли обращать внимание?... Ты ведь интеллигентный человек, пойми... Ну, сделай что-нибудь, пусть она у тебя убирает, что ли, плати ей лишнюю десятку...».

Сейчас, удивленно щурясь, рукой придерживая дверь, Замотина разглядывала Михеева. Было ясно, что без бурного объяснения она его не выпустит.

Михеев приложил палец к губам.

— Я слышал, вы хотите менять свою площадь? — таинственно начал он. — Мой приятель, член коллегии защитников, хочет перебраться в ваш район, и — представьте — он отдает две комнаты за одну... Но об этом никому пока не говорите, я вижу — соседи к вам придираются...

— Я через них кровью харкаю! — Женщина воскликнула с таким неподдельным отчаянием, что добрый по натуре Михеев готов был ей поверить.

— Уверю вас, все наладится, не стоит обращать внимания... Но мы поговорим в другой раз, когда никого в квартире не будет...

И почему-то добавил:

— Я ведь тоже из крестьян...

Легонько отстранив ее, он прошел по темному суставчатому коридору, положил в угол пачку, снял пальто и, довольный, самому себе подмигнув, открыл дверь в зоиную комнату.

— Милый... ты! — восторженно сказала Зоя, вскочила, доверчиво, снизу вверх, посмотрела на него и мягкой рукой притронулась к его подбородку. —

Прямо с работы? Воображаю, как ты голоден!

Михееву хорошо были знакомы эти ее порывы. Зою одинаково возбуждали его успехи и крушения. Ей нравилось получать дорогие подарки, долгими часами сидеть в интуристских кафе, не считаясь, распорядиться его бумажником. Но — холостячка — она также любила проявлять свою самостоятельность и в крутые для Михеева времена трогательно о нем заботилась, жила его интересами. Кто еще подумает о нем? Уж не жене ли он нужен такой, без денег?

Она зажгла электрический чайник, достала белую, в тугих складках, скатерть, — и на круглом столе одно за другим стали появляться любимые Михеевым закуски — глыба ноздреватой брынзы, охотничьи сосиски. Из платяного шкафа она извлекла неполную бутылку портвейна. Ловкая, шурша шелком и все время обтягивая платье, она легко кружилась по комнате.

— Я ведь на минуту, — напомнил он.

Но за окном яростно завыл ветер, на вокзале протяжно и зло гудели паровозы. Кряхтя, Михеев опустился на диван, развязал галстук и, помешкав, снял пиджак. Зоя спросила о работе, дала несколько дельных советов, мгновенно преобразившись, показала, как Жуков ведет заседание. Тряхнув головой (золотые волосы рассыпались у нее по плечам) и рассмеявшись, села рядом с ним, в синие бокалы налила вино.

В эти трудные дни она была прелестна; в ее комнате Михеев забывал о всех невзгодах. Пока не поздно, махнуть бы рукой на все, уехать куда-нибудь на север или на новостройку, зажечь без волнений и страха, и по вечерам, вот так, рядом с Зоей, сидеть у раскаленного самовара, слушать, как бушует вьюга и в далекой темноте тяжело хлопчут экскаваторы... Он знал, что Зоя — заговори он об этом вслух — высмеяла бы его, ни за что бы не согласилась оставить Москву. Да и сам он завтра будет издеваться над своей причудой. Сейчас, однако, он был уверен.

что осуществить все это необходимо — и, чем скорее, тем лучше. К чорту всех пошляков и комбинаторов, с которыми ему приходится дружить и ладить, — он готовился совсем к другой жизни!

Зоя скрестила ноги, едва коснувшись бокала, и ее оттененные маленькими усиками губы стали еще ярче. Охваченный нежностью, Михеев хотел было притянуть ее к себе, но во-время одумался и, вздохнув, стал жаловаться на жизнь. Взять хотя бы его стычки с Абрамовым... Разумеется, Абрамову успели шепнуть, что он, Михеев, дружен с Жуковым. Кто, однако, разрешил новому директору наемать на семейственность, рыться в прошлогодних бумагах, проверять старые отчеты? «Невыполнение плана»... Посмотрим, как Абрамов выполнит план! А тут еще эта история с машиной... Михеев и сам знает, что уступить машину горьковской артели он не имел права. Но, с другой стороны, не получи машины, артель ни за что бы не отгрузила пятьдесят тонн проволоки, план сорвали бы окончательно, и все правление пошло бы под суд... Только безнадежный идиот может ссориться с поставщиками. Попробуй-ка, докажи это Абрамову! Михеев не удивится, если Абрамов пришьет ему дело...

— Ты во-время унес ноги, — заметила Зоя.

Михеев рассердился.

— Вот и ты заговорила его тоном — «унес ноги»! Преступник я, что ли? Стараешься, не спишь по ночам, голова пухнет от забот, а твоему Абрамову и горя мало! — Злась, он крутыми шагами прошелся по комнате, завязал галстук. — Что подлец Шульц? Старается?

— Шульц ждет, что Жуков пригласит его на оклад в семьсот пятьдесят рублей.

— Я никогда ему не верил!

Беседа уклонилась в сторону. Кусая ноздри, Михеев вновь стал жаловаться. Теперь он говорил о семье. Что бы там ни твердили, семейный вопрос у нас не решен. Закон всецело на стороне женщины, и, если ты имеешь не-

счастье быть отцом, она всю жизнь может спекулировать на твоём чувстве.

— Я говорю о воспитании ребенка. Лишить отца права влиять на развитие детей только потому, что он не хочет жить с женой, — это, по-моему, несправедливо.

— Что бы ты сделал, если б у меня родился ребенок? Ты думал когда-нибудь об этом?

В пестром платье, подняв колени к подбородку, Зоя сидела на диване. Лицо ее было в тени, и Михеев не мог понять — серьезно говорит она или шутит?

Глаза его остановились на будильнике. Без четверти девять! И, надев пиджак, он продолжал:

— Кстати, о ребенке... Будь добра, одолжи на денек патефон с пластинками: я хочу доставить Петруше удовольствие.

Она сделала движение — встать. Михеев остановил ее.

— Пожалуйста, сиди, я сам достану... И провожать меня не надо — я тихонечко выберусь. Так даже лучше, ведь ма Замотина не услышит.

Он притронулся губами к ее голове и поспешно закрыл за собой дверь.

2

Из коридора слышно было, как строгим голосом Сакович учинял Надежде допрос:

— А это что? Красное дерево? Где купили? В каком году? Сколько дали?

Когда Михеев вошел в столовую, Сакович стоял у рояля и, важно раскачиваясь, допытывался, играет ли Надежда «So schön, wie du» из «Петера»?

Бритый, в черном костюме и роговых очках, он был похож на разжиревшего прелата. Он провел по лакированному верху рояля, понюхал пыльный палец и, не довольствуясь беглым осмотром, попробовал нагнуться. В концевонцов ему это удалось, мясистая шея налилась кровью. Под роялем штабелями лежали книги.

— А это что? — спросил он.

— Грехи моей молодости, — ответил Михеев. — Я ведь лет десять тому назад окончил рабфак.

Понемногу собирались гости. Гольдштейн, как только познакомился с Надеждой, сообщил, что в какой-то книге фокстрот назван «притиркой», и первый рассмеялся. Скучный Архипов возился с бутылками. Ему запретили пить, и он довольствовался тем, что раскупоривал вино. Вершков и Ющенко о чем-то перешептывались. Жуков сидел во главе стола, похоже было, что он и здесь собирается председательствовать. Сакович продолжал осмотр квартиры. Вместе с Надеждой он прошел в детскую. Здесь, с матрешкой в руках, сидел запуганный Петруша. Сакович допросил и его и, узнав, что мальчик хочет быть дворником, неодобрительно покачал головой.

Общий разговор не клеился. Михеев завел патефон. Пластинки были дорогие, заграничные. Томной, самодовольной скороговоркой Вертинский оплакивал свою судьбу. Ющенко поинтересовался, где Михеев достал заграничные пластинки.

— По литеру «З», — ответил за Михеева Гольдштейн.

Михеев обещал Ющенко «устроить» несколько модных пластинок — по дешевке.

— На то я и снабженец, — сказал он, хлопая Ющенко по плечу и переходя на «ты». — Можешь считать, что пластинки у тебя. А хороший патефон не потребуются?

— Пейте, что ли, — скучно протянула Архипов. — Веселитесь, черти!

Выпивка в самом деле внесла оживление. Все сразу заговорили. Тамадой был Жуков. Квадратный, в гимнастерке защитного цвета, он, размахивая вилкой, следил за тем, чтобы Архипов наполнял бокалы, и без конца произносил застольные пожелания... Видно было, что этим искусством он владеет в совершенстве. Промысловую кооперацию он назвал живым источником, вокруг которого собирались хорошие, своиские ребята. Он перечислил всех по имени и за каждого предложил многословный тост.

— Нельзя не отметить, — выкрикивал он, — что и на нашем участке за последнее время стали появляться никудышные формалисты и бодельщики, типы вроде Абрамова. Но — будем надеяться — кооперативный бог не выдаст, чужая свинья не с'ест.

Его никто не слушал. Сразу опьяневший Гольдштейн рассказывал Надежде анекдоты «из еврейского быта», она зажимала уши и хлопала его по рукам. В комнате было тускло от дыма. Пахло едой, разогретыми телами. Михеев пил на брудершафт с Ющенко. Недовольно поджав губы, древняя старуха — домашняя работница — собирала осколки разбитых тарелок, выметала из-под стола. Михеев велел ей убраться. Она ушла и через минуту вновь вернулась.

— Там вас какой-то мужчина спрашивает, — сказала она, дернув Михеева за рукав.

Вслед за Михеевым, шатаясь, поднялся Гольдштейн. Он вспомнил удачную цитату и, стоя в дверях, глядя на незнакомца, лепетал:

— Ваше благородие, плюньте на них, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте мне в морду, позвольте я вам ручку поцелую, ваше благородие.

Михеев закрыл за ним дверь.

В коридоре стоял высокий человек с курчавой сидящей бородкой. Одет он был по-охотничьи — болотные сапоги, полушубок с мерлушковым воротником, баранья шапка. В руках он держал плетушку.

— Вам кого? — прислушиваясь к тому, что происходит в комнате, спросил Михеев и шагнул вперед.

Незнакомец усмехнулся и поставил корзинку на пол. На мерлушковом воротнике дрожала соломинка. Медленно, как бы наслаждаясь недоумением Михеева, он снял полушубок, повесил шапку, пальцами расчесал бородку и только после этого, отдавая Михеева немосковской свежестью, обнял его за плечи.

— Здравствуй, Коля, — произнес он глуховатым голосом. — Не узнал? Это я — Семен!

— Сема, брат, — весело воскликнул Михеев. — Откуда? Постой, как ты узнал мой адрес?

Суетясь, не ожидая ответа, он задавал вопросы, внимательно разглядывал старшего брата. Сейчас он узнавал все забытые черты, каждое движение лица брата. В его костистой спине, в глухом, неторопливом голосе и в том, как он снял полшубок и, потрещав пальцами, стал расчесывать бородку, Михеев узнал и вспомнил весь свой род — давно умершего деда Силантия, слепую тетю-побирушку, отца, какого-то дальнего родственника, погибшего на Карпатах во время мировой войны... Ему беспричинно хотелось смеяться, пребывая себя, сыпать вопросами. Правая бровь Семена была рассечена коричневым шрамом. Не вытерпев, Михеев пальцами осторожно потрогал шрам.

— А ведь это я тебя — рогаткой... помнишь?

Раскрасневшаяся, обеими руками поправляя прическу, в коридор вышла Надежда.

— Это Семен, брат, — смеясь, крикнул Михеев. — Я тебе не раз говорил о нем!

Щурясь, Надежда холодно взглянула на Семена, и Михеев почувствовал себя неловко. Он все еще, суетясь, продолжал волноваться, но уж потухшие его глаза заметили выцветшую толстовку, дешевый, из искусственного шелка, самовяз, приколотый английской булавкой, бумажные, в полоску, брюки, кое-как запавленные в болотные сапоги, плетушку, от которой тянуло кислым деревенским хлебом.

— Прости, у меня там небольшое совещание, — неуверенно сказал он.

Семен, казалось, понял его мысль.

— Я не помешал тебе, Коля? Ты не стесняйся!

— Вот еще, — протянул Михеев.

Вопрос брата оскорбил его. Какие глупости! Он покровительственно хлопнул его по плечу и вновь рассмеялся. Сколько лет они не видались? Семнадцать? Восемнадцать? Казалось, старший брат нисколько не изменился. Та же заросшая курчавыми волосами шея,

та же манера, говоря, пожимать плечами, выворачивать руки — мозолистыми ладонями наружу — и сердиться. Когда на вопрос о том, по какому делу пожаловал в Москву, Семен поднял плечи и глуховатым голосом стал жаловаться на каких-то столичных бюрократов, готовых месяцами мариновать самые неотложные дела, — Михеев, похотывая, толкнул его в бок.

— Узнаю, узнаю, ты попрежнему воюешь с ветряными мельницами, ищешь правду-истину...

— Нет, ты только подумай...

Обнявшись, они пошли в детскую. На диване, склонив набок большую голову, сидя спал Петруша, — его забыли раздеть. За дверью гремел патефон. Семен пощупал стены, с любопытством посмотрел на люстру, выключил и, точно испугавшись, тотчас же включил свет.

— Это кто — племянничек? — обрадованно спросил он и на цыпочках побегал в коридор за плетушкой. — Так я ж ему привез гостинец!

— Жамки?

— С маком...

В четком сиянии электричества одежда брата показалась нестерпимо провинциальной. Да и сам Семен... Эти жалобы на «столичных бюрократов» (в поисках «правды» он, лет двадцать тому назад, так же жаловался на старосту и урядника), эти жамки с маком, завернутые в тряпочку, грошечные интересы, грошечные заботы и дела! Досаду на себя, Михеев вдруг почувствовал, что — нет, не семнадцать лет отделяют его от брата, а века и века: говорить с Семеном не о чем, слушать его — скучно. Надо будет ему подарить старый костюм, дать сотенку на обратный проезд... Интересно, долго ли он собирается здесь прожить?..

Михеев тотчас же осудил себя за эту мысль, однако она сразу определила его отношение к Семену. Приезжий стал допытываться, где работает Михеев, каковы его успехи.

— Живем, хлеб жуем, — отмахнулся от братниных вопросов Михеев. В соседней комнате его ждали товарищи. Пожалуй, он слишком долго задержал-

ся... Боясь обидеть Семена, он произнес первый вопрос, который навернулся на язык.

— Ну, как там у вас в Гнилом Броду? Попрежнему — падем до глины, а едим мякину?

— Зачем? У нас — колхоз.

— Значит, ваша милость в колхозе? А каталоги удобрений ты еще выписываешь?

В молодости у Семена была неистребимая потребность выписывать каталоги сельскохозяйственных орудий, породистого скота, фруктовых деревьев, искусственных удобрений. Он боялся, что сельскохозяйственные синдикаты и торговые дома могут узнать о его бедности и отказать в присылке каталога, и потому во всех открытках писал почти одно и то же: «Желая повысить урожай в моей усадьбе, прошу выслать ваш уважаемый каталог...», «Имея в виду завести в своем поместье голландский скот, покорнейше прошу...».

Воспоминания о чудачествах старшего брата рассмешили Михеева. «Поместье» михеевского рода занимало полдесятины, своего хлеба хватало до рождения.

Семен смутился.

— Это сейчас без надобности, — пробормотал он в ответ брату и вновь заговорил о «волокисточках и бюрократях».

Михеев слушал его рассеянно, он так и не мог понять, в чем они провинились перед Семеном.

— Ладно, — перебил он его. — Ты тут устраивайся, а я пойду — некогда... Спи, не сомневайся...

Когда, проводив гостей, Михеевы в четвертом часу ночи заглянули в детскую, они увидели, что Семен, обняв Петрушу, спит с ним на узкой кровати.

— Вот чудак! — пробормотал Михеев. — Из Гнилого Брода, заметь, — так наша деревня называется, — припер в Москву — и зачем? — тягаться с какими-то волокисточками... Хорошо еще, что не пешком явился и не в олуках... правдоискатель!

— А насекомых он с собой не привез? — опасливо спросила Надежда.

— Все может статься, все может быть... — усмехнулся Михеев. — В Гнилом Броду их, помнится, было немало.

3

Следующие дни прошли в хлопотах: Михеев уходил утром и, случалось, возвращался поздно вечером. Из архивов артели, в которой вместе с Жуковым Михеев прослужил больше года, Абрамов извлек липовых документов на семь тысяч рублей. Объяснение с Абрамовым было не из приятных. Михеев пробовал оправдаться; он ссылаясь на свою обширную практику, сыпал анекдотами и, наконец, не вытерпев, лукаво спросил:

— Скажите... вы давно работаете в промысловой кооперации?

— Не в этом дело.

— А в чем же?

— В том, что на государственные деньги нельзя смотреть, как на собственные.

С бесстрастным видом, заложив палец в гроссбух, рядом стоял Шульц. Услышав ответ Абрамова, он поправил стальные очки и хмыкнул носом.

Дело принимало плохой оборот. Несколько раз Михеев заходил к знакомому юристу, но юрист, хороший игрок в покер, выражался так неопределенно, с таким усердием ссылаясь на статьи, цитировал кодекс, что из его слов ничего нельзя было понять. Ющенко без конца напоминал о заграничных пластинках, кроме того, ему нужен был хороший радиоприемник. То-и-дело звонила Зоя, жаловалась на одиночество, намекала на пьянки, которые Михеев устраивает, — до нее, видно, дошли слухи о вечеринке. Опустошенный, усталый, Михеев возвращался домой. английским ключом отпирал дверь и тут только, увидав на вешалке полшубок, вспоминал о брате.

Из детской доносилась возня — это Семен играл с племянником. Слышно было, как, грохоча и задывая стулья, брат ползал на четвереньках, Петруша хлопал в ладоши и кричал: «Н-но-о!».

— Погуди, погуди, — советовал Семен. — Я ведь автомобиль.

— А я кто — извозчик?

— Нет, ты — шофер-стахановец.

Дядя и племянник вместе пили чай, закусывали. По-утиному переваливаясь, в валенках, Семен бегал на кухню, жарил привезенное с собой сало. Сидя на табурете, у плиты, он долго беседовал со старухой, домашней работницей. Михеев останавливался в коридоре, слушал, улыбался. Семена следовало бы побаловать, показать ему столицу, покатать в метро, свести в оперу, поговорить с ним... о чем? Мысли о брате были связаны с мыслями о детстве и юности, самой трудной, но и самой прекрасной поре. Михеев, однако, не сомневался: стоит, в присутствии Семена, порыться в своей памяти, вслух вспомнить о былом — и радужная, легкая теплота развеется, как дым... как горький дым. «Нет, не надо, не надо...». Иногда он входил в детскую. Семен на растопыренных пальцах держал блюдечко, старательно тянул чай, на жилистой шее шевелился острый кадык, розовая рубашка распоясана.

— Так-то, братец, — не находя слов, бормотал Михеев и неловко опускался на детский стул.

— Чайку выпьешь? — спрашивал Семен.

Михееву не хотелось пить, тем не менее он поспешно говорил:

— В приглядку... в прикуску то-есть? Давай, давай! Чай пить — не дрова рубить.

Встав, Семен бесшумно подходил к кровати, покрывал Петрушу, ополаскивал стакан. На подоконнике хранилось его скудное имущество — полотенце из домотканного полотна, мыло, кусок сала в промасленной и потемневшей бумаге, фарфоровая, ядовитой раскраски, чашка, развесной хлеб, щепоть соли, завернутая в исписанную страничку тетради и привезенная, должно быть, из деревни...

Они сидели за низким столиком, два брата. Боясь расспросов со стороны Семена, Михеев неустанно говорил. Как-то, помимо воли, оживившись, он спросил о Шуре Крекшиной. Спросил—

и забыл о чае, сидел, не шевелясь. Как бы из небытия Шура возникла перед его глазами. Михеев вспомнил знойный день, густой орешник, игру теней на грустном лице Шуры, ее ноги в полу-сапожках и белых чулках, — она любила наряжаться, — светлый голос, которым она напевала:

... Родной ба-атюшка, насиделась,
Много го-орюшка напрималась... —

и остановившиеся, большие глаза, испуганный шопот:

— Ой, не надо... миленькой, что ты!

— Это какая Шура? — спросил Семен. — Мамлеева, что ли?

И самому себе, чему-то обрадовавшись, ответил:

— Ну да, Мамлеева Александра, это она по отцу Крекшина... Как же! Она у меня на опытном поле работает, недавно от государства премировку получила.

— За что?

— А за детей! Весною, представь, седьмого родила, и все—живехоньки!

Разгоревшийся в душе огонь потух. Михеев вздохнул. «А хорошо все-таки, что я вырвался из Гнилого Брода и не женился на Шуре» — подумал он.

Продолжать беседу не хотелось, и, поднявшись, Михеев насмешливо спросил:

— Как твои успехи здесь, в Москве? С волокитчиками воюешь?

— А то как же! — воскликнул Семен. — Я их, брат, всех к ногтю возму!

— Это каким образом? — допытывался Михеев.

— Очень даже просто! — продолжал восклицать Семен. — В Москве управу найдешь, это тебе не район! Да и в районе... не те времена! Я так думаю: если ты государственное жалование получаешь, то и служи народу, не безобразничай!

«С чужого голоса поешь, дядя...». Худая фигура брата показалась Михееву, не только смешной, но и неприятной, и он поспешил уйти.

— Ты бы занялась им, — раздвываясь, сказал он жене. — Сведи его в цирк, в универмаг... он и уедет. Поговорила б с ним... по-родственному.

— С прислугой ему, видно, интереснее говорить, — ответила Надежда. — Ты думаешь — он дома сидит? Утром напьется чаю и уйдет. Вчера он меня спрашивает: «Где тут советский контроль находится?». — Она развела руками, помотала головой. — «Не знаю». — «Как так — в Москве живете, а советского контроля не знаете?..».

Все же, уступая мужу, она попыталась заговорить с Семеном, но из этого ничего не получилось.

— Как там у вас зябь? — спросила она его однажды утром.

А когда гость подробно и непонятно стал объяснять, оборвала его на полуслове:

— Интересно!

И замолчала.

Чужой человек стеснял ее, ей все казалось, что он нечистоплотен, домогательское полотенце, плетенка, болотные сапоги, которые он стягивал по вечерам и прислонял к батарее, внушали ей отвращение. Из города он приносил мешочки с семенами, кривые, никчемные ножницы — даже свои жалкие деньги он не умел тратить разумно! Один раз он притащил банку с какой-то лошадиной, дурно пахнущей мазью. Надежде стоило большого труда удержаться, не выбросить ее в помойную яму... На третий день она постелила ему на полу. Было бы, конечно, лучше, если б он спал на кухне. Но сказать об этом она не решалась.

Не решалась она также подарить Семену старые рубашки, — а вдруг чудак этот человек обидится? У него, должно быть, большая семья, множество детей, старое белье пригодится. На минуту она представила себя в окружении деревенских ребят — они тянутся к ней грязными ручонками: «Тетья...». Смешно! Она никогда не полагала, что у нее такие племянники. Хорошо еще, что он не захватил их с собой — в Москву! Долго ли он здесь пробудет?

Этот вопрос все больше ее интересовал. Приближался день ее именин. На именины приходило много знакомых. Из Воронежа, обычно, приезжала тетя Варя с детьми. Куда она их теперь положит?

Через домашнюю работницу она попыталась узнать, когда гость собирается уехать. Ответ не утешил ее. «Как дурачков проучит, так и уедет» — сказала старуха, морщинистое ее лицо стало злым и неприветливым.

Все реже Михеев заходил в детскую и, встречаясь с братом в коридоре, едва заметно, кивком головы, здоровался с ним, — недосуг. Уже два раза Михеев вызывал к себе прокурор. Прокурор, казалось, был невнимателен, рассеянно слушал, обрывал на полуслове. Михеев ощущал потребность говорить, изливать душу, жаловаться, но теперь этого нельзя было делать даже дома, — в детской сидел чужой человек. Пятый день Семен жил в Москве, об отъезде пока что не заговаривал... Ах, некстати, некстати брат пожаловал в гости! Михееву хотелось верить, что при других обстоятельствах он радушно принял бы Семена, разыскал бы земляков, и они попиروвали бы на славу. Ныне же... Надежда была недовольна, и, томясь, Михеев думал, что, в сущности, она права: старший брат, действительно, ее стесняет. Но поговорить с ним об его отъезде он все же не мог. За последние дни Михеев почему-то все старался понять, всему находил оправдание. Права Надежда, по-своему права Зоя, прав он, Михеев, — ему трудно, невозможно прожить на одном жалованьи, и он ловчится, комбинирует, занимается сомнительными делами; прав, если хорошенько подумать, и Семен — в кои веки раз человек выбрался из захолустья, приехал в столицу... Может, он и историю с бюрократами нарочно придумал — Семен хотел с ним повидаться, взглянуть на брата, который ушел из Гнилого Брода, стал настоящим человеком. И, размышляя обо всем этом, глаша сомнения, куря папиросу за папиросой и беспорядочно топчась по квартире, Михеев бормотал:

— Забот сколько... Господи!

4

Исчез Семен так же неожиданно, как и появился.

Однажды, придя домой, Михеев увидел, как, согнувшись, домашняя работ-

ница моет пол. Грязная вода струилась меж ее голых ног, она звучно подбирала ее тряпкой и, вздыхая, ворчала.

— Точно покойника, прости меня бог, вынесли, — брюзжала она себе под нос. — Нет того, чтоб натереть — ты еще и помой. Раз деревенский человек жил, — значит, шпарь кипятком. А он, может, тебя чище, барыня!

— Уехал, — радостно сообщила мужу Надежда. — Все, говорит, в порядке, теперь нескоро повидаемся...

— Вот видишь, — ответил Михеев. — Я так и знал, что он не захочет нас затруднять.

Он тоже был доволен. Широкими шагами прошелся по квартире, заглянул в ванную комнату, зажег свет, посвистел. Теперь он понимал, что Семен стеснял и его, связывал его движения.

— Он все жалел, что не мог с тобой проститься, — рассказывала жена. — Я не удержалась, говорю: «Останьтесь еще на денек!». — «Никак нельзя, дела, я и так засиделся». Мне даже не удалось купить ему что-нибудь на дорогу. «Не беспокойтесь, говорит, я доставлю».

— Эх, досада! — вздохнул Михеев. — Надо было с ним гостинцев послать в деревню: у него, вероятно, уйма детей... Ну, уж ладно, авось, не обидится!

Следующий день был выходной. Михеев встал поздно. Накануне звонила Зоя, Михеев условился поехать с нею за город. Перед тем, как лечь спать, Надежда сообщила, что у нее билеты в Большой театр — на дневной спектакль. Михеев лежал под теплым одеялом и никак не мог решить — поехать ему с Зоей или остаться с женой? Если пойти в театр, надо немедленно одеться и из автомата позвонить Зое — срочные, непредвиденные дела, ехать невозможно, тысячи извинений... Но вставать не хотелось, и, вздыхая, он поглядывал на часы. В детской ныл, капризничал Петруша: дядя уехал, мальчиком, по обыкновению, никто теперь не занимался. Неуверенным шагом он вошел к отцу в спальню. Глаза у Петруши заплаканы.

— Ты умеешь быть машиной? — без всякой надежды спросил он.

— Вот еще новости, — разозлился Михеев. — Тебя тут нехватало! Марш к себе!

Точно назло погода была великолепная, огромное солнце слепило глаза. Должно быть, Зоя уже поднялась; свежая, пахнущая мылом, в японском халате, она сейчас готовит бутерброды — на весь день. От тонких ломтей ветчины пальцы ее лоснятся, кажутся розовыми... А не поехать ли в самом деле с нею?

За стеной шумела вода — это Надежда, собираясь в театр, принимала ванну. Настойчиво трещал звонок: домашняя работница ушла за покупками, открыть некому.

Кряхтя, потягиваясь, Михеев надел пижаму и, шлепая босыми ногами, пошел открывать.

Письмоносец передал ему заказное письмо. Михеев растерянно покосился на деловой синий конверт. У него дрожали руки, когда он расписывался в разносной книге. С некоторых пор казенные пакеты волновали его. Они шли целым потоком, напоминая о невозвращенных авансах, предупреждали, категорически требовали погасить задолженность... Он еще раз взглянул на конверт: «Государственное сортоиспытание», — и, недоумевая (с подобным учреждением он, как будто, никогда не связывался), пройдя в столовую, распечатал его, стал читать.

«Колхознику-опытнику товарищу Михееву, — читал он. — «Государственное сортоиспытание» проверило выведенный вами ракоустойчивый сорт картофеля и настоящим сообщает, что он имеет огромное государственное значение. Установлено, что сотрудники института корнеплодов, которым вы неоднократно посылали образцы вашего картофеля, отказывались высаживать его на опытных делянках с явно вредительской целью. Дело о них передано в прокуратуру...».

Ошеломленный Михеев неподвижно сидел в кресле. Так вот он, чудак Семен, колхозник из Гнилого Брода, воюющий с бюрократами и вредителями! Старший брат жил здесь, в его квартире, а он, Михеев, относился к нему с

хамским высокомерием, не замечал его, за все время не успел даже с ним поговорить по душам. В газетах Михеев не раз читал о людях, рожденных революцией, и никак не мог себе представить, что один из этих людей — его брат. Какой же путь прошел Семен! Гнилой Брод, тысячи и тысячи медвежьих углов, забытых богом и людьми...

«Ну, а я? — продолжал думать Михеев. — Я вырвался из деревни, как вырываются из плена; вшивый, голодный, я приехал в Москву... Сколько было мыслей и радостных надежд! С какой жадностью я набросился на книги, целыми днями работал грузчиком, учился до поздней ночи и не уставал, нет, бодро мечтал о будущем, шел вперед, рос, все выше поднимался! А потом остановился на полпути — какое там! — свернул в сторону, успокоился, разжи-

рел — и вот лечу все ниже, ниже, головой в пропасть, обманываю государство, людей, себя... Какой я работник, гражданин, муж, отец, товарищ! Я служу в сомнительных артелях, перехожу с места на место, тянусь за Жуковым и со дня на день жду разоблачения, дрожу, нервничаю... Я похож на вора, которого вот-вот поймут за руку!».

Вошла Надежда, парумяненная, в коричневом, отороченном дорогим мехом, костюме, в маленькой фетровой шляпе. Она взглянула на мужа и всплеснула руками:

— Ты что — забыл, что мы сегодня в театре? Скорее одевайся!

Налитыми кровью глазами Михеев долго смотрел на нее, потом отвернулся и руками закрыл лицо.

— Оставьте меня в покое, — прохрипел он. — Все, все... оставьте меня!

Медный грошик

Из цикла «Дунайские песни»

Н. СИДОРЕНКО

★

Вдоль широкой реченьки — синего Дуная
Он, винтовку вскинув, медленно идет,
Вдоль широкой реченьки — синего Дуная
Паренька знакомого на расстрел ведет.

Родом, чернокудрые, оба из Галаца, —
Две землянки — рядом, не расстаться им.
Выросли ребята, — каждому по двадцать
Перегорклых вёсен, перепрелых зим.

Медный стёртый грошик жизнь перекусила,
Бросив половинки землякам в лицо.
И гонял товарищ поезда в Браилов,
А другой в казармах чистил ружьецо.

Бил начальник станции в зубы машиниста,
Обзывал собакой, каторгой грозил.
На плацу широком офицер плечистый
Бил солдата в зубы, не жалея сил.

И гонял товарищ поезда в Браилов
И листовки прятал под сырым углем.
А солдат в казармах, к ночи обессилев,
Спать не мог и думал думу о своем.

И сошлись дороги в поле поневоле!
Ты кого, пехота, на расстрел ведешь?
Половинки грошика повстречались в поле, —
Землякам достался медный стёртый грош.

Над волной дунайской пролетает птица,
Облака белеют и цветы цветут.
Не судьба товарищам навсегда проститься
По крутому берегу рядышком идут.

Поклялись два сердца над Дунаем синим
Вместе жить на свете, вместе умирать!

... Слух прошел в народе: в старой Буковине
Снова партизаны начали гулять.

★

Летчица

А. КОПШТЕЙН

★

Фадико Гигитидзе —
первой летчице-аджарке

В сияющем небе не жарко,
Поют на земле соловьи.
И вот одевает аджарка
Пилотку на косы свои.
Спокойно включает моторы,
Пути пролагает рулем.
Окутаны снежные горы
Аджарским тугим башлыком.
Взлетает над сказочным краем,
С ветрами вступает в игру
И тучи вверху разрывает,
Как будто срывает чадру.
Несется над сказочным краем,
Над гребнем орлиной скалы,
И в воздухе песню слагает,
Чего не умеют орлы.

★

Узкая колея

РАССКАЗ

С. ГЕХТ

★

I

Молодой человек Михаил Пенкин был художником без таланта. Он окончил Киевское художественное училище в 1922 г. В то время в городе было трудно найти работу. Никому не были нужны услуги молодого человека, который без-устану ругает Репина за то, что он ретроград, а сам пишет болезненно-яркие пейзажи. Неталантливый художник всегда стремится найти причину своего непризнания в отсталости и косности общества. И так как у Пенкина были друзья — тоже художники и тоже неталантливые, то он довольно быстро примирился со своим положением. Неудачи, ранее его огорчавшие, стали со временем приносить ему удовлетворение.

Михаил Пенкин был любящим сыном и искал службу, чтобы прокормить мать и себя. В Киеве службы не оказалось, и, когда на бирже труда ему предложили отправиться конторщиком в Хмельник, Пенкин охотно согласился.

Была осень, когда он сошел с поезда в Виннице и здесь узнал, что Хмельник находится на узкой колее. Шел по узким рельсам состав, и Пенкин сидел, опечаленный, в вагоне. Многие выражали его чуть скорбный и чуть презрительный взгляд: что не по нем был этот поезд, эта узкая колея с тихими станциями; желтые поля, горы свеклы у ворот сахарных заводов, огороды, где дозревали помидоры и тыквы, и кривые

проселочные дороги, по которым медленно тащились груженные соломой мажары. Взгляд его выражал, что совсем другой мир ждал его: мир широкой колеи, шумных вокзалов, асфальтированных дорог с мчащимися машинами, мир ярких красок. Серым и незначительным казался Пенкину заоконный пейзаж, — он даже перестал им интересоваться и принялся за чтение. В журнале была статья о жизни Амадео Модильяни. Михаил Пенкин отыскивал в газетах и журналах жизнеописания гениальных художников, не признанных в свое время. Его утешало в эту минуту, что Амадео Модильяни умер в бедности и что только после его смерти люди бросились покупать картины этого выдающегося художника.

Пенкин был уверен, что терпит неудачи потому, что он новатор и не желает быть подражателем. Если бы только он захотел угождать вкусам публики, то зарабатывал бы большие деньги и не было бы отбоя от заказов. Даже от самого себя Пенкин скрывал кое-какие постыдные случаи из своей жизни. Бывало, что он брался писать самые реалистические, то-есть ретроградные, портреты, и люди от них отказывались, так как Пенкину никак не удавалось сделать лица похожими, а тела пропорциональными. Он скрывал от самого себя, что только потому и сделался новатором, что никак у него не ладилось ни со сходством, ни с законами анатомии. И действительно, простые люди да длинные знатоки отворачивались от его

варварской природы и угловатых лиц, похожих на раскрытый пенал...

Он разыскал в Хмельнике заготовительную контору и после того, как его приняли на службу, отправился на поиски комнаты или какого-нибудь угла. На базарной площади он заметил, что его внимательно разглядывает какая-то пожилая женщина.

— Вам нужен угол! — крикнула она издали.

И, хотя ее обращение звучало утвердительно, он понял ее слова как вопрос и собирался ответить, но она уже стояла рядом с ним и бойко расхваливала свой дом.

— У меня чисто, у меня тепло, я с вас недорого возьму, вы будете довольны, я вас попрошу пройти со мной вот в тот переулочек.

Он прошел с ней не более ста шагов, но успел узнать, что она — вдова, у нее двое детей, дочери — восемнадцать лет, сыну — семь. Муж был продовольственным инспектором и его убили бандиты; она получает пенсию, кроме того, у нее есть небольшой огород и корова.

— Я с вас возьму шесть рублей... кпяток бесплатный. Дешевле вам не найти.

И она открыла ворота.

Его настолько удивила чистота ее дома, что он остановился на пороге. На крашеном полу лежал серо-голубой половичок, сияли белизной стены; на высокие, пышно взбитые постели были навалены горы подушек с кружевными наволочками. Хозяйка показала Пенкину его угол: кровать, стул и настольное зеркало.

— Я не прошу у вас задатка, — сказала она, — я вижу, вы хороший, образованный человек. Вот познакомьтесь с моими детьми. Маша, иди сюда! Павлик, перестань смеяться, тебе говорят...

В ту же минуту чья-то рука отдернула занавеску, и оттуда вышла высокая девушка. Похоже было, что она весь день провозилась у печи, так сильно пылало ее здоровое, круглое лицо, залитое румянцем от шеи до ушей. Она держала за руку смешливого мальчугана. Он надул щеки, видимо, для того, чтобы

как-нибудь удержаться от смеха. Пока Пенкин с ними здоровался, мать пожаловалась на мальчика. — Если так будет продолжаться, — сказала хозяйка, — она поедет с ним к доктору. Он смеется с утра и до вечера... Вы знаете, молодой человек, соседи стали обижаться... Ну, чего ты фыркаешь, дурак?

И тут мальчуган оглушительно прыснул; когда же смущенная сестра сердито ткнула его в бок, он захохотал еще громче и, продолжая фыркать, выскочил на улицу.

— Все наделали эти проклятые рисунки, — с горечью произнесла хозяйка.

— Какие рисунки? — удивился Пенкин.

— Я вас спрошу, для чего придумывают эти карикатуры? Ну, зачем строить насмешку над человеком?

Хозяйка рассказала Пенкину, что в Хмельник приезжала какая-то девица. Она собрала в школе всех детей города и выясняла, у кого какой талант имеется; девица нашла, что Павлик умеет рисовать. Покидая Хмельник, она подарила мальчику сборник карикатур. С тех пор Павлик «калечит соседей», малюет такие ужасные лица, с такими противными носами... Нарисует гадость и смеется, житья от него не стало...

— Ну, в карикатурах еще нет никакой беды, — сказал, улыбаясь, Пенкин, — я — тоже художник.

Женщина всплеснула руками:

— Боже мой, неужели вы художник? Ты слышала, Маша? Я сразу спознала, что вы человек образованный.

И она неожиданно спросила:

— Может, вы будете учить моего шалопая? Я с вас ничего не возьму за угол.

Первый урок состоялся на другой день. С десяти часов утра до пяти вечера Пенкин составлял ведомости: сколько, где и какого заготовлено овса, жита, картофеля. Выпросив вперед немного денег, он зашел на почту, чтобы отправить их матери, и встретил в дверях свою хозяйку.

— Письма пишете? — спросила она подобострастно, и Пенкин заметил в ее глазах тревогу.

— Может, оставили дома молодую жену? — Она глядела на него снизу вверх.

— Я — холостой, — ответил он и, к своему удивлению, увидел, как повесели ее глаза.

Вечером он учил Павлика рисованию. Вначале занятия были невыносимыми, так как мальчуган все время фыркал, но затем он умолк, — видимо, ему понравился урок, жилец не казался ему смешным. В углу сидела Маша. Взгляд ее был всегда потуплен. Пенкин еще ни разу не встретился с ней глазами. Она постоянно что-то вязала, шила, штопала, иногда легко вздыхала, и жаркий румянец никогда не покидал ее щек.

Через несколько дней Пенкин передал хозяйке свое белье для стирки.

Получив его обратно, он с удовольствием убедился, что белье прекрасно выглажено. Но удивился, заметив странную перемену. Вместо его грубой верхней рубашки была какая-то другая, из тонкого льняного полотна. Увидел робкий взгляд хозяйки и понял: подарок!

— Ну что ж, — решил он, — это очень любезно.

Утром он достал из-под кровати сапоги — и не узнал их. На них были новые подметки. Опять увидел робкий взгляд хозяйки, но на этот раз в нем было и лукавство. И Пенкин опять ничего не сказал.

Все чаще стал он замечать эти чудесные превращения. Придя на службу, он вдруг обнаруживал в кармане пальто пакетик с пирожками. Вдруг задержал свой взгляд на пальто и увидел: новая подкладка.

Как-то утром хозяйка сказала:

— Если позволите... вот я вам вязала галстук. Такой пустяк... мне прислали из Каменец-Подольска шерстяные нитки.

— Но как я смогу отблагодарить вас? — проговорил смущенный Пенкин.

— Мишенька, — вдруг возвысила голос хозяйка. — Вы же для нас, как родной...

В этот день он пришел домой позже обычного. Он отправился погулять в

старинный парк, окружающий замок Ксидо Владовского, — на окраине Хмельника. Наедине с собой он стал размышлять о своем положении. Было что-то тревожное в бесконечных заботах о нем хозяйки — почему она вдруг назвала его Мишенькой? Жизнь становилась тягостной, он стал бояться пробуждения, так как почти каждое утро обнаруживал перемену в своем туалете. Ему постоянно предлагали что-то попробовать — варенье или медовые пряники или пирог, и понемногу эти пробы превратились в столование. Слишком большая плата за скромный урок рисования! Пенкин топтал осенние листья, подбирал каштаны, продолжая убеждать себя в том, что пейзаж Хмельника неживописен, и поэтому не стоит огорчаться, что он не пишет картин.

— Вы ставите меня в неловкое положение... — с такими словами собирался он обратиться к хозяйке. Он хотел еще потребовать счет за все услуги, но едва переступил порог, как увидел встревоженное лицо хозяйки и услышал ее ласковый голос:

— Где вы пропадали, Миша? Мы так беспокоились...

— Я гулял около замка, — ответил он виновато и внутренне злясь, так как Павлик уже фыркал в своем углу.

— Правда, красивый замок? — обрадованно воскликнула хозяйка. — Почему бы вам как-нибудь не погулять вместе?

Хозяйка взглянула ему прямо в лицо.

«Э, тут пахнет женитьбой» — решил Пенкин.

Он был готов примириться с любым настоящим, потому что будущее рисовалось ему ослепительным. И вдруг — эта узкая колея, заштатный городок, провинциально-глупая девушка с вечно красными щеками и потупленным взором. И жених, приобретенный за пару подметок и пироги с кашей!

После работы в конторе он гулял с Машей по улицам Хмельника. Они шли, стараясь не отстать один от другого, но в то же время боясь и приближения друг к другу. Она жалась к стенам домов, а он шел обочиной. Оба молчали.

Безжизненно повисли ее руки, глаза смотрели вперед и по сторонам, но ни разу не встретились с его взглядом. Он ловил улыбки прохожих и думал с раздражением:

«Навязала мне, чертовка, свою дурочку».

Он ждал, что она, наконец, что-нибудь произнесет, но не только губы ее, а и вся она была как бы наглухо закрыта. Его все больше беспокоили улыбки прохожих, и он решил увести ее подальше от людей. Он свернул в переулок, она покорно пошла за ним, молчаливая и красная, с безжизненно повисшими руками.

Его рассмешила вывеска. На жести был нарисован гусь, а над гусем — фамилия владельца Ущер Окунь. Он показал ей вывеску.

— Да, — произнесла она испуганным голосом, — гусь...

Он понял из ее ответа, что она неграмотна.

«Чорта с два я на тебе женюсь» — думал он, раздраженно топчя каштаны.

Даже ее тугие черные косы казались ему глупыми. Они болтались у нее на спине и были похожи на калачи, нелепо-пышные, витые.

И походка ее была деревянной. Шагала широко, по-мужски, громко стуча каблучками.

Они пришли домой через час. Хозяйка встретила их на улице. Пенкин хмуро осмотрел уставленный закусками стол.

«Сбегу» — подумал он, взяв с тарелки румяный кныш.

Все было подозрительно в этом доме, даже то, что еда становилась с каждым днем вкусней. Он слышал, как шептались на дворе соседки; хозяйка была в их кругу. Неожиданно ему прибавили на службе жалованья и назначили старшим конторщиком. Заведующий сказал на ходу:

— Мы понимаем... Раз такие обстоятельства.

Пенкин смутился, и заведующий радостно воскликнул:

— Вот вы и покраснели!..

Как только Пенкин усаживался около

окошка почитать, в доме все умолкало. Смешливого Павлика выгоняли на улицу.

— Миша занимается, — шептала хозяйка.

Она совсем осмелела и по вечерам выпроваживала молодых на прогулку. В городе, как будто назло, часто появлялись новинки. Приехал из Жмеринки зверинец, на базаре открылся кинематограф.

Маша попрежнему молчала, когда же открывала рот, то приводила Пенкина в смущение.

— Медведь! — тонко взвизгивала она. — Волк!

Возвращаясь из конторы, он услышал, как мальчишки кричали за его спиной: «Жених! Жених!». Он с яростью повернул обратно и, дождавшись в конторе темноты, пробрался окольными путями на вокзал. Поезд должен был уйти только через четыре часа. Пенкин спрятался за водокачкой, он боялся, что откуда-нибудь внезапно вынырнет его хозяйка. К счастью, ночь была темная, шел дождь. Поезд уходил под удары громов, молнии освещали узкую колею. Но в вагоне была кромешная тьма и лежали вповалку тела. Пенкин успокоился. Никто, никто не найдет его здесь.

II

Когда Пенкин ходил по Крещатику, он то-и-дело встречал ядовитые улыбки. Уже много лет, как он отпустил квадратную ассирийскую бороду, подстриженную, как газон. Он так и не сделался великим художником. Когда же он стал с годами умнее и опытнее, когда понял, что его кисть уже никогда не поможет ему отличиться, — он отпустил себе ассирийскую бороду. Если не искусство, так борода выделит его из толпы, сделает его заметным на Крещатике. И он, в самом деле, выделялся, когда шел по улицам, направляясь в редакцию, где служил ретушером и зарабатывал весьма прилично. С тех пор, как умерла мать и кончился неудачный роман с певицей из городского театра, у него завелись лишние деньги, и он стал частым посетителем кафе. Здесь

он скучал за холодным мраморным столиком; хороших воспоминаний было мало, — все больше печальные, и самым досадным было воспоминание о его любви к Антонине Ивановне Хомяковой, которой он два года посылал цветы: в апреле — фиалки, в мае — гиацинты, в сентябре — хризантемы и зимой — сирень. Он провозжал ее домой на лихачах, нанимая для нее самого дорогого извозчика, наглеца и циника Алешу Жокея. Но, когда объяснился в любви, услышал в ответ, что она любит своего мужа.

Будто паутиной, оплетала его тоска. В последнее время его все чаще угнетало чувство, что когда-то он в жизни что-то упустил. За эти годы он научился рисовать, то-есть делать то, чего раньше не умел. Но, научившись, понял, что ни к чему были все его претензии. Сейчас он искал радости в своем ретушерском ремесле, и счастлив был, когда ее находил. Он даже стал посещать музеи, чего много лет не делал, так как прекрасные полотна прекрасных мастеров словно упрекали его, дразнили, стыдили. Теперь боязнь прошла, и он любовался музейными картинами без страха, успокоенно.

Как-то сидел он в кафе, и туда пришли знакомые ретушеры. Заказали много вина. Охмелев, один из ретушеров стал потешаться над любовью Пенкина к певице. За соседним столиком сидела чинная семья. Мальчик в бархатной курточке, похожий на скрипача-вундеркинда, прислушался к хохоту друзей, их смех его заразил, он вдруг прыснул и забрызгал чаем свою бархагную курточку. Родители прикрикнули на него, но мальчик снова захохотал. Вскоре огорченные родители его увели.

Смех мальчика как бы развязал узел с воспоминаниями. Образ другого смешливого мальчугана возник в памяти Пенкина, то был Павлик из Хмельника. Вспомнилось бегство, и Пенкин подумал о том, что это случайное воспоминание было воспоминанием о чем-то упущенном. Все, что когда-то раздражало его, предстало сейчас в воображении поэтичным, трогательным. Забытые картины подольской природы, когда-то казавшие-

ся серыми и незначительными, также возникали в воображении, как нечто прекрасное и даже величественное. О молчаливой девушке Маше с красными щеками он думал в этот вечер мало, но, закончив свой следующий рабочий день и опять очутившись наедине с собой, Пенкин убедился, что все его мысли заняты ею, Машей из Хмельника. Гордая красавица стояла перед глазами, целомудренная и сильная. Много женщин видел он с тех пор, но никогда не встречался ему такой прекрасно потупленный взор. Что с ней? Кто ее муж? Нелепо, что он ни разу не подумал о том, как переживала эта семья его побег. Он оставил у них свои вещи, не взял в конторе жалованья, — дурак, неужели он опасался, что они устроят за ним погоню?

— Прикажете еще один стакан кофе? — спросила официантка.

Пенкин смотрел на это кокетливое существо, думал: «Нет, та была лучше». Он сравнивал с той всех женщин на улице, всех девушек из кафе и театров и каждый раз говорил себе: «Та лучше». Но он даже не знал фамилии той. Ее фамилия потонула в памяти, и желание написать письмо осталось неосуществленным. Сидя за ретушерским столом, он рисовал в часы досуга черты ее лица: сотни потупленных взоров, заплетенных кос.

— Отпустите меня на три дня, — попросил он своего начальника.

— Куда-нибудь едете? — полюбопытствовал тот.

— Да, на узкую колею.

— О, я никогда не был на узкой колее, — сказал начальник, — воображаю, какая там глушь.

И опять была осень! Но каким благодатным и ярким казался ему мир за окном узкого вагона! Все говорило о значительности и богатстве природы — и могучие желтые тыквы, и горы свеклы у ворот белых и уютных сахарных заводов; и высокие, нагруженные соломой, мажары, — их тащили серо-мраморные красавцы-волы; на соломе полулежала молодухи-украинки, голубым и синим отливали их юбки из плахт, поблескивали мониста, развевались ленты —

алые, светложелтые и темносиние. Проселочными дорогами извивались реки, реками струились белые известковые дороги. Ветерок выгрел из оврагов опавшие листья кленов и лип, то прозрачно-желтые, то винно-красные. Над полями стлался легкий дым, — это тракторы заново перепахивали только-что родившую землю.

Поезд пришел в Хмельник на рассвете. Редкие прохожие внимательно оглядывали бородача и, уходя, оборачивались. Пенкин прошел мимо заготовительной конторы; здесь помещалась теперь артель инвалидов-картузников. Потом свернул в знакомый переулок, но не смог найти дом, где когда-то жил. Он бродил взад и вперед по переулку, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из обитателей дома Маши. Попутно читал таблички на воротах. Помнилось, что фамилия хозяйки начиналась с буквы «К». Вот, вот! Антон Коломийцев! Нет, ее фамилия была короче, да и дом был поближе к базарной площади. На него уже поглядывали из-за занавесок. С левой стороны кто-то открыл форточку, и на улицу высунулась сонная, лохматая голова.

— Комнату ищите, молодой человек? — спросил охрипший голос, в котором была тоска о похмелье.

— Нет, благодарю вас, — ответил Пенкин, — я, видите ли, проездом... интересно, как живут люди...

Пенкин оглянулся и, убедившись, что на улице никого нет, быстро произнес:

— Вы старожил?

— Сейчас я вам открою ворота, — сказала лохматая голова.

По его готовности к услугам Пенкин понял, что пьяница рассчитывает на какой-то случайный заработок. Он встретил гостя во дворе, в одном белье. Затем проводил в дом и заботливо усадил на стул. Пенкин увидел на стене плахту и сказал:

— Говорят, у вас в Хмельнике мастера есть по этим плахам. Мне какую-то вдову назвали, да я забыл фамилию.

— В Хмельнике-то? — удивился хозяин. — Да я эту плахту из Полтавы привез. Вдова? Какая вдова?

— Будто на вашей улице живет, — ответил Пенкин и, обрадованный, что в доме никого больше нет, выпалил: — Дочку ее Машей зовут... и сын есть. Павлик...

— Микалюк? — еще более удивился лохматый. — Да она отроду плахт не делала. Тут ошибка, ей-богу, ошибка.

— Да, я, должно быть, ошибся, — сказал Пенкин, уже довольный тем, что узнал фамилию хозяйки.

— Уже пятый год, как она свой дом продала, — продолжал все более удивленным голосом лохматый, — сын ее в Красной Армии служит, а дочка замуж вышла...

— Давно? — быстро спросил Пенкин.

— Уже десятый год... аккурат после того, как Скуделько ее из воды вытащил. Он тогда начальником милиции был, Скуделько-то. Она же топилась, дурья голова, со свету хотела себя изжить. А вы, часом, не сродственник ей, вдове-то? — вдруг лукаво спросил лохматый.

Он достал кринку с огуречным расолом, хлебнул и, блаженно отдышавшись, сказал:

— У ней жених в ту пору сбежал, у дочки-то. Ну, конечно, срам на все местечко. Где ж это видано, чтобы женихи бегали. Люди говорят, он жулик был, фармазон... с Одессы.

«Значит, не догадывается» — суровольствием подумал Пенкин, уже начинавший опасаться, что лохматый понял, кто перед ним сидит. И, чтобы замести следы, Пенкин сказал, между прочим, что никогда не был на Украине, а в Хмельнике он проездом, по пути в лесничество. К счастью, лохматый не спросил, зачем он едет в лес. Продолжая рассказывать о судьбе вдовы Микалюк и ее дома, лохматый достал из сундука старую плахту и предложил Пенкину купить ее у него. Цена была мошенническая.

— Ладно, — сказал Пенкин, — хоть и дороговато, зато настоящий украинский рисунок.

— А какой же еще? — воскликнул с божбой лохматый.

Их разговор длился больше часа. Опасаясь насмешливых взглядов, Пенкин шел по улицам Хмельника, прикрывая ладонью бороду. Он пересек базарную площадь, быстрым шагом направляясь к замку Ксидо Владовского. Парк был торжественно-пустынен, всюду — опавшие листья, каштаны. Невыразимо прекрасными показались ему желтые осенние дорожки парка, усыпанные каштанами, как гравием. Он шагал по диким плодам, чуть вылупившимся из терновой оболочки, шагал мягко, нежно, чтобы не растоптать их. То в одной аллее, то в другой показывалось солнце, облетели почти все деревья, и только дубы еще стояли зеленые. Тленье осени еле коснулось их листья. Когда-то он здесь говорил ей о Пювис-де Шаванне и Чурлянисе, и, когда он умолкал, Маша испуганно произносила:

— Да.

Они тогда прождали его всю ночь. Вдова и дочь решили, что их жильца убили разбойники. Они сообщили о его исчезновении начальнику милиции Скуделько. Тот три дня наводил справки и потом сказал бедным женщинам, что художник сбежал. Люди видели его на вокзале, когда он покупал билет.

Маша, оказывается, не знала, что его прочат ей в женихи. Она был влюблена в соседского парня, сына инвалида-картузника. Когда по Хмельнику пошел слух, что сбежал ее жених, соседский парень прислал ей оскорбительную записку. Он стал ухаживать за дочерью уборщицы из заготовительной конторы. Впрочем, парень был, пожалуй, не так уж неправ. Женщины говорили, что Маше художник нравился, она успела его полюбить.

Вскоре весь Хмельник узнал о бегстве жениха. Дочь перестала выходить из дому, а мать шла по базару, низко склонив голову. Ей задавали злорадные вопросы, торговки говорили, будто жених унес из дома много добра. Горе опозоренной девушки тревожило мать. Она поделилась своей догадкой с начальником милиции. Скуделько стал ходить к ним в дом. Как-то он уговорил Машу пойти с ним погулять. Когда они поднялись на мостик, девушка бросилась

в речку. Начальник милиции вытащил ее из воды...

Пенкин весь день бродил по парку. Он ждал наступления вечера. Ему не хотелось показываться в городке. Вероятно, хитрый пьяница все же разгадал, с кем он имел дело, и уж растрезвонил по всему Хмельнику. В том же переулке проживала мать Скуделько. У нее Пенкин собирался узнать адрес Маши, выведать о ее нынешней жизни.

Он пробыл у матери начальника милиции больше часа. Старуха показывала ему фотографию.

Они стояли рядом — Скуделько и его жена, высокая, несколько грузная женщина, красивая, широко улыбающаяся. В ту пору она никогда не улыбалась. Скуделько держал на руках кудрявого мальчугана в матросской бескозырке.

— У них еще есть дети? — спросил Пенкин.

— Трое, — радостно ответила мать.

Она приветливо встретила незнакомого гостя, так как он выдал себя за фронтового товарища ее сына...

— У него такая славная жена, такая образованная...

— Образованная? — спросил Пенкин, вспомнив, как Маша слепо оглядела вывеску.

— Мой сын определил ее в школу, как только они поженились. А потом она поехала аж в Винницу, в сельскохозяйственный техникум. Вот видите?

Старуха показала на оренбургский платок, укрывший ее плечи.

— Платок? — спросил Пенкин.

— Премия, — ответила старуха, поглаживая пушистую белую шерсть.

... И опять он бежал из Хмельника ночью. Но на этот раз он взял билет не до Киева, а до станции Гайворон на той же узкой колее. Поезд долго шел к Гайворону, и опять за окном лил дождь.

— Станция Березай, кому надо — вылезай, — крикнул, помахивая фонариком, проводник.

Это был Гайворон.

Ш

Едва он вступил на темное каменитое шоссе, как неясная его мечта обернулась блажью, постыдной выдумкой. Зачем он сюда приехал? Как произойдет встреча? Не пойдет же он к ней домой, где за столом сидит ее муж, директор сахарного завода Скуделько. Ну, хорошо, он отправится в ремонтные мастерские и спросит инженера Марию Микалюк. Микалюк или Скуделько? Вероятно, она носит сейчас фамилию мужа. Что он скажет ей? Глупая, бессмысленная поездка! Но поезд уже ушел, а следующий ожидается только через сутки.

Публика с поезда разошлась по домам, дорога опустела. Не переставая, лил дождь. Куда идти? Есть ли здесь гостиница? Далекоей и милой возникла в его воображении чистая, сухая и светлая киевская квартирка. Никогда не казался ему таким приятным его стол в редакции, где он с утра до вечера ретушировал фотографии. Он спал бы сейчас на мягкой постели, а утром пошел бы в кафе, потребовал бы чаю, рюмку коньяку, свежие газеты.

Единственная надежда — скоро расцветет. Он разглядел в темноте скамейку под навесом, сел. Вода проникла в башмаки, он продрог. Из одной трубы над крышей показался дым. Значит, народ уже собирается на работу. Да, запахло печеным хлебом. Вдруг раздался выстрел. Он вздрогнул, но затем понял и улыбнулся. Это щелкнул бичом пастух.

— Цыгарочки нема? — услышал он молодой, звонкий голос.

Пастушонок разглядел его в предутренней мгле. Пеякин раскрыл роскошную коробку, пастушонок с удовольствием закурил.

— Приезжий? — спросил он, оглядывая Пенкина. — С центру?

— Ага, приезжий.

— До Скуделько прибыли? — равнодушно продолжал свой вопрос пастушонок.

— А вы почему так думаете? — сказал удивленный и несколько напуганный Пенкин.

— Да тут все до него приезжают, — произнес пастушонок. — Да вин ухав, нема его в Гайворони...

— А куда уехал?

— В район... в Гайсин, толкуют. Обратно будет у пятницу.

— И жена его уехала? — спросил Пенкин.

— Ни... Марья Ивановна здесь. Она редко когда выезжает, все больше у Гайворони, около диточек своих...

И, не попрощавшись, пастушонок пошел прочь. Снова щелкнул его бич, стали открываться калитки, показались хозяйки. Ленивым мычаньем встречали наступающее утро коровы.

При свете дня городок оказался довольно милым. Весело голубели его дома, на крылечках сушились яблоки и грибы, вдоль улиц тянулись тополивые аллеи, вот — нарядная, омытая дождем белая площадь, а на ней — магазины, кино, клуб сахарников. И посреди площади — зеленая парашютная вышка.

— Еще подумает, что я нарочно приехал, когда мужа дома нет, — с досадой говорил себе Пенкин.

В девять часов он прошел в здание почты, уединился в телефонной будке и, сняв трубку, попросил дать ему ремонтные мастерские.

— Марию Ивановну, — сказал он, и щека его, прижатая к трубке, покраснела.

— Это я, — ответил высокий женский голос, — слушаю.

— Сдушаю! Алло! Алло! — повторил голос. — Да что же вы молчите, товарищ?

— Ну, слушаю! — еще громче закричал голос. — Отзовесь или нет? А то брошу трубку, ей-богу, брошу...

— Абонент, что же вы не говорите? Вы же у меня сами просили мастерские, — вдруг вмешалась телефонистка.

Пенкин осторожно положил трубку. Стараясь не оглядываться, он тихими шагами вышел на улицу.

«Почему я не решился заговорить?» — думал он, со стыдом вспоминая, как молчал у трубки, крепко задер-

жав дыхание, так что чуть не задохнулся.

Голос, долетевший к нему с другого конца провода, был совсем не похож на голос той Маши. Чужой, незнакомый голос! Правда, он был так же звонок, но было в нем что-то властное, самоуверенное: голос человека, привыкшего распоряжаться, приказывать. И, может быть, потому, что голос Маши был не похож на прежний, Пенкин почувствовал, что его все больше к ней влечет. Нет, он ни за что не уедет отсюда, не повидавшись с ней.

— Будь, что будет, — произнес он вслух фразу детских лет, когда возвращался из школы с девочками в ведомости. — Смелее, смелее!..

Ночью он проник в дом директора Скуделько. Маша спала, косы ее были распущены. Он не стал ее будить, поднял на руки и вынес из горящего дома на улицу. Машина привезла их в Киев. Дома он застал Антонину Ивановну. Певица стояла на пороге, глаза красные от слез: «Я пришла к вам, Пенкин». — «Поздно, Антонина Ивановна, вот моя возлюбленная...».

— Эй, ты, поп! — крикнул сзади извозчик. — Глаза, что ли, потерял, борода?.. Замечтался, дьявол!

Над ухом Пенкина свистнул кнут, он отскочил в сторону, мимо него лихо промчался пароконный шарабан. Рядом с кучером сидела высокая женщина в кожаной куртке. Пенкин увидел ее широкую спину и заплетенные косы, выбившиеся из-под косынки.

«Неужели она?».

Он посмотрел вслед шарabanу, потом спросил прохожего, где помещаются ремонтные мастерские. Тот показал на окраину города, в ту сторону, куда умчался шарабан. Он как будто слышал чей-то смех. Значит, она его видела, она засмеялась грубым словам кучера?

— Побрить? — спросил парикмахер, любясь хорошим костюмом незнакомца.

— Бороду снимите, — ответил Пенкин, — начисто!

— Ну! — воскликнул с удивлением парикмахер, так как борода у незнакомца была аккуратная, холеная.

М

В ремонтных мастерских с нетерпением ждали гостя из Севастополя. Два месяца тянулась переписка, и, наконец, инженер Мария Скуделько добилась покупки дизеля с затонувшей много лет назад подводной лодки, недавно извлеченной из воды. С дизелем должен был приехать механик. Мария Скуделько вернулась с вокзала без новостей. Дрезина еще не выходила из Винницы.

— Мария Ивановна, — сказал сторож, — вас человек дожидаются... у кабинета.

— Кто? — взволнованно спросила она, покидая цех.

— Да нежданный... вроде як с центру, такой соби задумчивый, важный...

Мария Скуделько быстро взбежала по лестнице в контору. Положив шляпу на колени, сидел у ее кабинета чуть лысоватый человек. Он поднялся ей навстречу.

— Вы из «Механомонтажа»? — спросила она, усаживаясь за свой стол.

— Нет, — ответил он растерянно.

— От кого же? — и она посмотрела на него более внимательно, чем раньше.

— Мария Ивановна, — произнес он тихо и умолк.

Дверь кабинета открылась. У стены остановился в ожидании какой-то рабочий.

— Видите ли, — неуверенно заговорил Пенкин, — я приехал сюда от союза художников... из Киева. Союз художников решил командировать некоторых своих, так сказать, представителей для запечатления картин жизни... в области индустрии и сельского хозяйства...

Рабочий не уходил. Наоборот, его, видимо, заинтересовал разговор, он подошел поближе, стал прислушиваться.

— У нас на это нет средств, — сердито проговорила Мария Ивановна. — Я уже несколько раз заявляла.

— Простите, я у вас в первый раз, — робко произнес Пенкин, искоса оглядывая рабочего, — наш союз не просит денег.

— Что же вам от меня нужно?

— Я в порядке консультации, — ответил Пенкин, продолжая поглядывать на рабочего. — Так сказать, идеологическая помощь... вам тут виднее.

— Никодим, — сказала Мария Ивановна, — придешь потом. Ты же видишь, я занята.

Когда дверь за рабочим захлопнулась, Пенкин таинственно заглянул в глаза Марии Ивановны и четко произнес.

— Я — Михаил Пенкин.

— Ну, и что вам от меня нужно? — спросила она, опустив глаза.

— Вы меня не узнали, — проговорил он тихо.

— Узнала, — сказала она, не поднимая глаз.

И на минуту наступило тревожное молчание. Он заметил, как покраснело ее лицо, ставшее за эти годы белым, дородным. Чуть короче стала шея, может быть, оттого, что обозначился второй подбородок. Она взяла в правую руку карандаш, а левую положила на телефонный аппарат. Он смотрел на нее снизу вверх, и в этой позе она показалась ему недоступно прекрасной, величественной.

— Я приехал извиниться, — произнес он тихо. — Я перед вами виноват...

— Зачем? — сказала она еще тише. — Вы мне ничего не сделали, я вам просто благодарна... моя жизнь так хорошо устроилась.

— Это была ужасная ошибка, — проговорил он, стараясь заглянуть ей в глаза. — Я вас люблю, Мария Ивановна.

Она вдруг посмотрела на него в упор. расхохоталась, но затем умолкла и опять потупила взор.

— Почему вы смеетесь? — спросил он, придвинув стул и склонившись над ее столом.

— Это я так, простите...

— Почему вы смеетесь? — повторил он. — Вы не верите в мое чувство? — И он еще ниже склонился над столом, так что его рука оказалась рядом с ее рукой.

Она незаметно отодвинулась, подняла на него глаза, и он увидел,

что они смотрят насмешливо, зло.

— А потому, что смешно, — ответила она и, встав из-за стола, деловито зашагала по кабинету. — Неужели вы только для того приехали сюда? У вас, должно быть, много свободного времени, если вы можете себе позволять такие бесполезные прогулки. На что вы, собственно, рассчитываете? — произнесла она громко, остановившись у стены, и Пенкин вздрогнул, пораженный грубостью ее тона. — У меня есть муж, дети... честное слово, все это похоже на насмешку. Я вас не знаю, вы — чужой человек.

— А тогда, — спросил он, — тогда вы меня любили?

— Зачем это вам? Не помню... мало ли что может притти в голову глупой девчонке.

— Значит, любили? — обрадовался он. — Да? Маша?

— Товарищ Скуделько, — поправила она его и, сняв с аппарата трубку, вызвала начальника станции. — Ну как, Павло? Когда, говоришь, выехала? Уже полчаса?

Она вдруг вытянулась и стала еще более высокой, чем была. Она стояла перед ним так, словно собиралась сейчас уходить и выгоняла его из кабинета.

— Я приехал сюда писать картины, — быстро проговорил он. — Я хочу вам рассказать сюжет. Можно?

— Ну вот это другое дело, — произнесла она примиренно и опять села.

Он сказал, что хочет написать картину, которая будет называться «Узкая колея». На переднем плане — сахарный завод, а за ним — поля, поля, поля и на полях женщины убирают свеклу. Всюду горы свеклы и по дорогам мчатся, нагруженные свеклой, грузовики. Женщины на полях в ярких юбках, на них мониста, ленты и всюду — довольство, труд, учение.

— Как вы находите, товарищ Скуделько?

— Очень хорошо, — ответила она, и лицо ее просияло. — Ей-богу, здорово.

— Можно вам иногда писать? — произнес он обрадованно и опять скло-

нился над ее столом.— До востребования, да?

— Нет, только не до востребования, — ответила она. — Вот что, товарищ Пенкин, я жду человека с дизелем. Мне надо на станцию. Если хотите, могу подвезти. Ваш поезд когда уходит?

— Ночью.

— Послушайте, я смогу устроить вас на дрезине! — воскликнула она обрадованно. — Все равно машина идет по рожняком.

Он мчался с ней на станцию на знакомом шарабане. Она правила лошадьми, а он сидел рядом с ней и чувствовал неожиданную и какую-то тревожную близость. И близка была она, и, как никогда, далека, и он с печалью думал об упущенном счастье. В роли кучера она была еще восхитительней, чем в кабинете. Голова ее подалась вперед, чуть расплелись косы, и на ее щеках он увидел прежний румянец. На повороте она качнулась вбок и как бы оказалась у него в объятьях, но он боялся ее тронуть.

— Я теперь понял, — сказал она, смеясь, — это вы звонили утром по телефону. Верно?

— Вы меня любили тогда?

— Ей-богу, у вас там много свободного времени, — сказала она. — Вы мало работаете. Тпру!.. — закричала она на разогнавшихся лошадей.

Через двадцать минут он уехал на дрезине в Винницу. Она стояла на узенькой платформе и смотрела, как он уезжает. На одну минуту показалось ему, что он увидел в ее глазах и печаль, и ласку, и чуть не соскочил с дрезины, но с трудом себя сдержал. Она, пожалуй, догадалась о его порыве, так как в это мгновение повернулась к нему спиной и о чем-то заговорила с начальником станции.

Дрезина мчалась под гору, ветер бил в лицо, заслезилась глаза. Он полез в карман за платком и нащупал письмо. На одну-две секунды он как-то счастливо заволновался, вздрогнул, — почему-то решил, что письмо незаметно подсунула Маша. Но сразу вспомнил, посерел и все же решил прочесть письмо.

Оно было полно любовных уверений; подталкивая одной фразой другую, он спрашивал в письме, может ли надеяться на взаимность. Это был черновик. Переписанное начисто, письмо было в свое время отправлено, вернее, передано из рук в руки певице Антонине Хомяковой, той самой, которая любила своего мужа, чекиста из экономотдела. И все это забыто...

И ему самому казалось удивительным, что его волнует тот незамысловатый, передвижнический, — подумал он, — сюжет, который он сочинил внезапно, только для того, чтобы угодить Марии Скуделько и не быть выгнанным из ее кабинета. Услышь он раньше из чьих-нибудь уст о подобном сюжете, он усмехнулся бы и сказал, что это дешевый плакат, бесхитростная пояснительная картинка. А сейчас, за случайно вырвавшимися простыми словами, он видел очень много — хотелось выжать из красок какой-то особый цвет, цвет украинского урожая. Он видел бело-желтые ряды хлебов, — так близко прижались друг к другу колосья, они растут так уверенно и ровно, что чьи-то легкие ноги могли бы по ним прошагать, как по шоссе. Они волнует, эти колосья, но не ветер колеблет их, наоборот, день тихий, безветренный. Их волнует тяжесть созревания, и видно, что они созрели вполне, до последней зрелости, и если их сейчас не уберут, то они сразу же начнут умирать.

Он думал о том, как выглядят лица втих веселых женщин в юбках из плахт, в монистах и лентах. Назойливо, неотступно мелькали перед глазами малявинские бабы, — нет, веселье его женщин тихое, затаенное, угадываемое, они ничуть не похожи на тех колхозниц, чьи фотографии он постоянно, изо дня в день ретуширует в Киеве. Они не должны улыбаться, но вот он говорил Марии о труде, учении, довольстве, — как это передать? И Пенкин с огорчением подумал о том, что уже давно не брал в руки кисти, и, кто знает, не разучился ли он писать, даже то плохое и развязное, что писал когда-то? Все ретушеры никогда не забывают своей привязанности к краскам. Каждую весну,

когда расцветала сирень, они отправлялись гурьбой за город или в Маринский парк, ставили мольберты, раскладывали палитры — и только он один всегда отказывался и даже раздражался, когда его звали «на сирень». И, представляя себе сейчас свою картину, он видел не краски, а положения, видел трех женщин с потупленными взорами, каждая из них была похожа на Машу из Хмельника, какой она была в те далекие годы, но в этой Маше он распознавал будущего инженера — властную, насмешливую женщину.

Дрезина мчалась вдаль, ее быстрое

движение радовало Пенкина. Он чувствовал себя так, словно мчится во весь дух наверстать упущенное, словно он устроил бешеную погоню за этим упущенным. По обе стороны узкой колеи лежал широкий, благословенный, осенний мир, восхищавший зрение и слух. Разогнавшаяся дрезина набирала скорость, мимо Пенкина проносились грузовики и мажары, поля и огороды, сахарные заводы, скирды хлеба, стога соломы, конусообразные горы свеклы, — и, чем быстрее мчалась дрезина, тем ближе Пенкин чувствовал себя к тому, что когда-то напрасно упустил.

Песня

СТ. КРЫЖАНИВСКИЙ

★

Однажды три парня служить уезжали,
Три девушки Гали парней провожали,
Парней провожали, подарки давали.

Одна загрустила, хоть слез не пролила,
Хорошую трубку дружку подарила,
Дружку подарила, «прощай» говорила...

Другая сказала: — Пиши, мой любимый,
Как ты охраняешь свой пост нерушимый,
Свой пост нерушимый, пиши, мой любимый.

А третья Галина — у белой березы
Платочки дарила дружку от колхоза,
Дружку от колхоза — шумела береза...

Поехали парни служить на кордоне,
Похожи их кони в одном эскадроне,
В одном эскадроне на дальнем кордоне.

И пишут любимым поклоны да вести,
Что если фашисты пойдут, то на месте
Полягут все вместе — будь сто их иль двести.

Еще пишут парни, что клятв не нарушат,
Еще пишут парни, что служат — не тужат,
Что служат — не тужат, с буланными дружат.

Парням отвечают три девушки Гали,
Чтоб не забывали, винтовки держали,
Винтовки держали, наш край охраняли.

Так пишут любимым три девушки Гали...

*Перевел с украинского
Б. Р. КЕЖУН.*

★

В о р

РАССКАЗ

О. РУНОВА

★

Галя Миронова, слушательница третьего курса станкостроительного института, сошла с широкой улицы с грохочущим трамваем, освещенными окнами, с магазинами, украшенными над входом гирляндами красных и зеленых огней, с музыкой, доносящейся из Дома крестьянина. И как только она вернула налево за угол, так будто попала в другой мир. Было очень темно. Где-то далеко тускло светил одинокий фонарь; ясно ощущались холод и сырость поздней осени; направо зиял черный глубокий овраг, вонючими канавками в него стекала жирная грязь с дворов. Спуск был немощный, глинистый, крутой, с ухабами и обрывами. Дома стояли вразброд, образуя тупики, закоулки, переходы. Было два-три больших двухэтажных дома, остальные — старые, кое-как сбитые, окруженные фантастическими заборами, где жерди и плетень чередовались с гнилыми шпалами и ящичными досками. Одно общее было у всех хибарок: ставни, плотно пригнанные и задвинутые на болты.

Галя не боялась. За годы ученья в школе и потом в институте Соляной овраг, где она жила, сделался ей родным. Закрыв глаза, она сошла бы со скользкого спуска и безошибочно перешла по всем узеньким мостикам, перекинутым через канавки. Она знала в лицо очень многих, если не всех, жителей приовражья, знала школьников, дома, закоулки, палисадники, выбоины на дорогах.

Когда она сходила со спуска, ей показалось, будто за ней кто-то идет, приостановилась.

Конечно, шел кто-нибудь знакомый. «Вот бы хорошо вместе». В половине одиннадцатого чужие редко заходили в Соляной овраг. Галя, прислушиваясь, обернулась. Шаги, четко отбивавшие за ней на улице Лепсе, — человек шел, видимо, в сапогах, без калош, — смолкли, тень, мелькнувшая в начале оврага и легшая на освещенный фонарями большого моста кусочек спуска, исчезла.

Галя шла быстро, поеживаясь, крепко прижимая к себе портфель, от которого давно оторвалась ручка. Она устала, и мысли шли у нее тягучие, ленивые. «Вот сейчас будет двухэтажный дом бывшего повара на «Самолете», Калягина. Дом крепкий, окруженный хорошим забором с новыми воротами, с палисадником. Внизу ставни рано запираются, сквозь узенькие щелочки тоненькие, как ниточки, полоски света; наверху всегда долго горит огонь: там живет учитель. И как только кто-нибудь поравняется с палисадником, на калягинском дворе начинает грозно и злобно лаять спущенная на ночь с цепи большая серая собака...

Вот пройден уже и калягинский двор, и собака пролаяла угрожающе, хрипло. Впереди самая длинная, самая темная часть пути. И опять девушке показалось, кто-то идет за ней, осторожно ступая по грязи.

Две сильные руки схватили Гаю за

локти, и металлический, жесткий голос произнес раздельно и внушительно:

— Снимайте пальто.

Галя вся вспотела горячим потом, сразу оледеневшим. Расслабляющий страх охватил ее с ног до головы. Она остановилась, не в силах ни закричать, ни ступить ни одного шага.

Человек опустил руки:

— Снимайте и не вздумайте кричать. Никто не услышит. И...

Холодные, каменные пальцы охватили поверх мягкого, теплого, кроличьего воротника тоненькую шейку Гали.

— Ну!

Галя пришла в себя, глубоко вздохнула.

— Да... только дайте мне дойти до дому. Я перенесла в августе воспаление легких, а мне и так холодно...

Последовало краткое, жуткое молчание.

— Ладно. Шагайте.

Теперь человек шел рядом с Галей. Она несколько раз боязливо взглянула на него сбоку. Высокий, плотный человек, кажется, хорошо одет, кажется, молод. Узкая дорога вела мимо наклепанных по взгорью немых и слепых домишек, темневших неопределенными кучами; мимо некоторых из них приходилось проходить вплотную. Радужным пыльным кругом мерцал далекий фонарик. Не было никакой надежды на то, что, если бы раздался на улице самый отчаянный крик, кто-нибудь вышел, помог... «Да если бы и вышли, — все равно, опоздали бы». Слышно было, как в овраге журчал ручеек. Высоко на той стороне сиял огнями сверху и донизу переделанный из церкви огромный дом общежития техникума нефтяников.

Галя знала, где легко перейти ручей. Где полог и не так крут с обеих сторон спуск... Но и это ни к чему.

Она посмотрела на общежитие, как на уходящую молодость, и тихо сказала самой себе:

— А как я радовалась новой шубке... По десяти рублей целых два года откладывала от стипендии, тетя драп свой старинный заложила.

Шли шибко, молчали. Вдруг тишину нарушили восклицания, смех, крик. На-

встречу шла целая компания. Вот она поровнялась. Галя скорее угадала, чем узнала людей. Ее подруга, Поля, карамельщица, Настя, мотористка на швейной фабрике, шофер Миша, друг его, слесарь Сережа.

Поля подбежала, схватила Галю за руку:

— Галька! А мы кутим, Мишка купил билеты на «Мы из Кронштадта» на последний сеанс. Эх, жаль, тебе нельзя... Теперь уж не достанешь билетов. Темнотища-то у нас! С высокой бы горы прекрасный наш горсовет! Я только по белому берету тебя и узнала.

— Поль... опоздаем.

Галя стояла, помертвев, не зная, что делать, на что решиться.

Поля с настойчивым любопытством рассматривала незнакомца.

— Ты с кем это, а?

— Да Поля же! Опоздаем.

— С кем, говори!

Галя выговорила невнятно:

— С знакомым...

Миша и Сережа подхватили Полю под руки, потащили бегом.

И уж далеко откуда-то донесся ее укоряющий, звонкий голос:

— А-а! Со знакомым. Знакомого завела, а мы и не знаем!

И опять тишина поглотила звуки, словно камень бездонное озеро, мрак заснувшие домишки. Сияющий дом общежития за поворотом сменился темной, неосвещенной стеной. Как хорошо было еще сегодня вечером...

— Где вы живете?

— Вот там. Видите. Совсем низко светят два окошечка.

— С кем живете?

— Только с тетей.

Подошли к дому, небольшой избушке над самым оврагом.

Галя по-детски доверчиво протянула человеку портфель:

— Подержите книги. Я сниму шубку.

Незнакомец приблизил свое лицо к галяному, заглянул ей в глаза.

— Можете не снимать...

И человек растаял в темноте, пропал, как незапомнившийся сон.

Галя медленно, с громадным напряжением, закрыла ставню, просунула в

круглые отверстия тяжелые болты. Так делала она всегда, возвращаясь поздно домой. Тетка уже скидывала, гремя, крючки и задвижки с дверей сенцов.

— Галя, ты? Поздно как нынче.

Тетка долго возилась с толстым за-совом, закрывавшим дверь на ночь, и, когда вошла в дом, Галя все еще стояла, не раздеваясь, в кухне.

— Ты что же? Садись скорей ужинать. Каша и чай в печке, да уж не остыли ли! Я уж поела. Довязать хочется. Завтра из Кротовки приедут.

Галя неживыми, непослушными пальцами расстегивала пуговицы. Тетка взглянула на нее, отложила вязанье, привычным движением сдвинула очки на лоб.

— Да что с тобой! Белая аж до зелени. И губы трясутся. Ишь, да ты вся трясешься. Оголодала, что ли, или уж так замучилась? Садись. Я сама в печь слажу, подам.

Галя налила дрожащей рукой кружку холодной воды из кувшина, выпила жадно, захлебываясь.

— Не надо ничего, тетя Катя... У меня голова кружится. Я лягу. Я есть не могу. Я устала... Ты... не тронь меня. Ничего не говори. Пожалуйста.

Тетка вынула кашу, вынесла в сенцы, передвинула очки с большого лысеющего лба и села за работу, тихонько ворча:

— Все ученье. Ох, уж это ученье. И когда это мы с ним распростаемся.

★

Прошел год с лишним. Стояло морозное, яркое, зимнее утро. Тетка Катя ушла на работу. Галя только-что оделась, когда в дверь сильно постучались. Так стучал обыкновенно почтальон. Галя ждала письма от Поли, уехавшей на Дальний Восток, и отперла сенцы, не окликнув. Перед ней стоял высокий, красивый незнакомый человек в меховом пиджаке, в мерлушчатой кубанке.

— Вы одни?

— Одна.

— Тогда я войду. Вы меня узнаете?

— Н-нет.

— А припомните — осень прошлого года. Вспомнили?

Этот жесткий голос, фигура... Галя вспыхнула, заикнулась:

— В-вспомнила. Кажется, вспомнила.

— Не бойтесь. Я не с дурным.

Галя овладела собой.

— Проходите, садитесь.

Незнакомец аккуратно вытер у порога ноги о коврик, опустился на стул, жестом приглашая Галю сесть напротив.

На столе стояла плетеная корзинка с крупными розовыми яблоками.

— Возьмите яблочко. Нам мама прислала из Кротовки. Она нам всего, всего прислала. Белой муки, пшена, помидор, три пуда яблок. Она колхозница. Возьмите.

Незнакомец усмехнулся:

— Нет, спасибо. Яблок я не хочу. Я пришел поговорить с вами. Вы никому не сказали о... о... том случае?

— Никому. Даже тете. Даже Поле. Я и маме не сказала.

— Я так и думал. И скажите откровенно, почему вы тогда не закричали, не обнаружили меня? Ведь вас было пятеро?

— Сама не знаю хорошенько... Не могла. Мне стыдно было.

— Стыдно за меня?

— Ах нет, нет! Просто стыдно. Не за вас. Почему?.. Я вам ведь обещала. И потом нет, нет! Не только стыдно. Я тогда, как во сне, была. И только некоторое время спустя поняла, что подсознательно боялась за Мишу и Сережу.

— А за себя?

— Как будто нет! Нет! не боялась...

Незнакомец испытующе глядел в лицо Гали пристальными, темносиними глазами. Лицо его светлело.

— А я? А ко мне вы что чувствовали?

— К вам? Конечно, я возмущалась. Но, в общем, мне было вас жалко...

— Меня?! Жалко!?

Человек порывисто вскочил, но тут же снова опустился на стул.

— Впрочем... Что же? Я ведь это и так знал. Но почему?

— Темно было. Вы мне показались гораздо моложе. И я так глубоко почувствовала. Вот мы все: Поля, Миша, Сережа и еще много, много других, мы, молодежь, счастливые, свободные, веселые, каждую минуту можем взяться за руки и итти, куда угодно, учиться, че-

му хочешь, работать над тем, что любишь, достигать того, что задумал, мечтать и осуществлять мечту. И впереди, и рядом, и за спиной у нас товарищи, друзья, братья и сестры, все близкие. А вы...

— Так... так! Ну, слушайте же! Мне тридцать четыре года. Я студент...

И на испуганно-удивленное восклицание «как» утвердительно кивнул:

— Да! студент пятого курса планового института. Пишу дипломную работу, но вряд ли бы написал, если бы не вы. Женат пять лет. Недавно у меня родился ребенок. С женой живем врозь. У нее — комната в семье родственников, у меня тоже своя маленькая, внизу, большое окно во двор. Очень удобно для всяких похуждений. Менять на одну большую я не соглашаюсь, ссылаясь на занятия. Да и удобно: хожу туда к ее родным обедать. Во время гражданской войны я потерял родных, крестьян с Украины. Не нашел их, сколько ни искал. Я вам рассказываю то, что никому никогда не говорил и не скажу. Страсть к воровству у меня была с детства. Но семья на это не обращала особого внимания, привыкли в то время, что хлопчики озоруют. Оставшись один, я пристал к партизанскому отряду против немцев. Не могу сказать, чтобы в смысле моей страсти партизанство на меня хорошо повлияло. Потом учился в фабзавуче, работал слесарем, меня выдвинули на учебу. В институте я давно. Делают снисхождение. Воровал я всегда один, обдуманно, быстро, ловко, можно сказать, вдохновенно.

Воровал на улицах, в магазинах, у женщин, с которыми сходилась или просто был знаком, в институте, у знакомых, а больше всего у случайных и постоянных собутыльников. И никогда у меня не было никаких там угрызений, или смущения, или жалости, или стыда, а так... вроде опьянения от удачи. Да, я не только вор, но и пьяница. Нет, не точно. Не пьяница, а люблю выпить, люблю хорошие рестораны, свет, толпу, музыку, новые знакомства, непринужденный разговор, шутки. Запах этот особенный кэпстэна, дорогих духов, дорогой пудры. Как услышишь только этот

запах, так и чувствуешь себя сильным, готовым на всякие штуки, мужчиной. Люблю, нет, вернее, любил я все это. И нарядных женщин. Ухаживание. То, что выйдет из ухаживания. Приключения...

Все это, конечно, стоит недешево. На мою стипендию, на те деньги, что у жены брал (она у меня врач), в дорогой ресторан не сходишь, да и не оденешься франтом. Приводов у меня не было, не попался я ни разу. Может быть, кто и подозревает кое-что, в особенности из постоянных собутыльников, но сказать или намекнуть не смеют. Я очень силен и ловок. Боксирую знаменито и без пощады. Человек с одного удара по виску валится на землю, не сгибаясь. Я и сбываю вещи очень ловко, не зря, обдумав, по случаю, знаю торговцев старьем. Вы этого чувства не поймете, когда молнией сообразишь, что вещь лежит без призора, что ее можно незаметно взять... Это — как приступ болезни, как тяжесть. Ее только тогда сбросишь с плеч, когда вещь у тебя в кармане, в комнате, в потайном месте. Вынешь ее, полюбуешься, опять спрячешь. Пальцам, и то приятно.

Он передохнул.

— Но грабить, даю вам слово, если только мое слово что-нибудь значит, я вышел в тот раз первый раз и последний. Дурачество, хулиганство. Пospорил с Тимошкой, — есть такой человек неопределенных занятий, — что угощу его в ресторане. Он знал, что у меня денег ни копыя, подзадорил. Нигде ничего не вышло, жена не дала... ну, и вообще. И вот я решился. Да ведь я же не профессионал... Воровал случайно. Нет, не совсем... Когда надо было купить, одеться...

Незнакомец краснел. На лице у него горело смущение. Он уже несколько не походил на того страшного, чьи каменные пальцы Галя долго слышала на своей шее, ни на того твердого, красивого человека, которому она открыла дверь, не опросив. Он сразу постарел на несколько лет, а выражение лица сделалось, как у растерявшегося ребенка.

— Вы не скоро забыли тот случай?

— Я никогда его не забуду. А сначала, месяца два, вы мне снились почти каждую ночь.

— Вы мне снились редко, но думал я о вас очень часто, верней, всегда. Как навождение. И с того дня не воровал. Скажу прямо, вы мне мешали. Я удивлялся на себя, злился. Но это было сильнее меня. Нарочито заходил в магазины, искал подходящий случай. В обувном толчая была страшная. Кресло для примерки выдвинули за прилавок. Гражданочка одна села мерять туфли, сумочку подложила под себя, нагнулась. Сумочка скользнула по клеенчатому сиденью на самый край кресла со сквозными ручками. Туфли стоили 275 рублей. Не менее этой суммы было в сумочке; взять ее, потянув осторожно, затеряться в толпе ничего не стоило. А я вместо того, сам не знаю, как, сказал этой особе: «Осторожно, сумочку у вас ничего не стоит взять»—и ушел... ни с чем...

Вот после этого случая я как-то иначе стал о вас думать. Шире. О вас и о всей нашей стране, где рождаются и живут такие, как вы. Пить я почти перестал, да и не на что было. Тянуть водку один я всегда терпеть не мог.

Месяца три тому назад я пошел в общежитие «Универсал» к одному инженеру. Мне сказали товарищи, у него есть срочная, очень выгодная чертежная работа. А я — мастер. Я пришел, дверь была полуоткрыта. Постучал, никто не ответил. Постучал погромче. Ответа нет. Я вошел. Комната была пуста. А на письменном столе лежали большие золотые мужские часы. Я сообразил все меньше чем в секунду. Подойти к двери, спустить выключатель, взять часы, выйти, захлопнуть дверь. Инженер, видимо, ушел неподалеку: верно, к соседям по номеру. Если бы даже он мог и встретиться, он никогда меня не видел; в нашем городе семьсот тысяч жителей. Выйти через черный ход — он рядом. С улицы внизу огромный магазин. Если вносят через заднюю дверь ящики, войти вместе с приказчиками в магазин, но лучше через другой, черный ход пройти на четвертый этаж и спокойно спуститься на соседнюю улицу Леп-

се, ту самую, по которой вы тогда шли, прежде чем повернуть к обрыву. Пока хозяин возился бы с дверью, я был бы за тридевять земель — скрылся. Вот тебе дневные и ночные дежурства дворников и швейцаров! Если бы даже инженер вошел в комнату раньше, чем я успел выйти, или застал меня в коридоре, у меня был превосходный выход. Я бы просто подал ему часы и сказал: «Вот, товарищ Наумов, насколько надо быть осторожным!». Или бы положил портфель на стол, незаметно выложил бы часы под него. Пальцы у меня рекордные. Секунды бежали, как огненный дождь. Я уже взял часы в руку... Холодные, тяжелые. Положил назад. Не мог решиться. Вы не можете себе представить, как сильно было искушение. Это что-то непереносимое. Вот когда долго не куришь, кто сильно привык, а нет папирос и достать нельзя. Тянет все тело к одному месту, к сердцу, к щекам и чуть ли не жизнь готов отдать за одну затяжку. Есть еще подобные чувства, но я вам про них говорить не стану. Тоска, трепет, щеки сводит. Нет, не выразишь.

Незнакомец порывисто встал, подошел к окну, постоял минуту. Промерил раза три комнату крупными, твердыми шагами, и, когда опять сел против Гали, лицо у него все еще было смущенное.

— Нет... тяжело все-таки. Может быть, мне просто надо было написать вам. Одно слово «спасибо». Да уж ладно. Начал, так кончу.

Наконец, меня отпустило. Я вышел из двери и стоял минут пять, больше. Когда инженер, наконец, вернулся, я двух слов толком связать не мог. В тот вечер я обещал сам себе не пить и не воровать. Очень я перемучился. Скажу одно про жену и ребенка. Не знаю, за что, но любит она меня сильно. А я давно надумал ее бросить. Кончить курс, уехать подальше, повыгедней, и бросить. Мне гораздо более заманчивые партии представлялись и в будущем, конечно, еще представились бы. Киноартистки, певицы. И моложе гораздо, и нравились мне. А теперь этот расчет поблек. Думаю, я ее не брошу. Ребенка я, правду сказать, совершенно

не хотел. А теперь мне его жалко. Может быть, первого в жизни. Недавно мне подвернулся такой знаменитый случай воровства, что куда тебе интереснее часов. И я только заметил его, только заметил, и так поверхностно, а искушения никакого. И тут я решил сходить к вам. Я вас много раз ловил на улице и, — странно, — сразу узнал с одного взгляда. К вашему дому подходил, издали вас провожал. Узнал тетю вашу, узнал время, когда она выходит на работу. Вы про меня худо вспоминали?

— Нисколько! Разве вы меня обидели?

— Спасибо! И верьте мне, верьте. Мне это надо.

— Я верю.

Незнакомец встал, невольно встала и Галя. Он положил ей обе руки на плечи, нагнулся, пристально всматриваясь в нежные черты девушки, как будто хотел запомнить их навсегда и унести с собой, как нечто вещественное.

Галя подняла лицо. Она почему-то ждала поцелуя и готова была принять его. Но незнакомец не поцеловал ее. Он только до боли пожал ей руку. С порога обернулся:

— На столе я оставил записочку. Там имя, отчество, фамилия, адрес. Если что понадобится, случай или что, — приходите, дайте знать.

Галя накинула платок, вышла провожать, не боясь простудиться, остановилась у раскрытых сенцов, на порожке.

Накануне прошел сильный снег. Ноч-

ной мороз прочно сковал его. Все кругом было бело. Дети уже накатали по дороге санками и лыжами гладкие, масляные полосы, и небо смотрелось в них голубым. Дым кудрявым серым деревом поднимался над яркой белизной пухлых крыш. Все кругом сверкало искрами, морозной пылью, ядреный, свежий морозец посыпал крупной солью инея пазы бревен в углах стен. Смех и крики ребят звучали музыкой. Даже овраг не успел еще запачкаться и лежал пышный, серебряный, а солнце было такое теплое, ласковое, что в потоке бодрящего воздуха хотелось подставить ему щеки и лоб. На дне оврага чуть слышно звенел с большого камня никогда не замерзающий ручеек. Где-то уже струнно скатывалась капель со стрехи.

Галя смотрела вслед незнакомцу: снег мерно и приятно поскрипывал под его ногами. Он остановился, закурил папиросу, стал уменьшаться, вот скрылся за поворотом. Не обернулся.

Галя почувствовала, что начинает зябнуть, еще секунду послушала разноголосую музыку детского гомона и пошла заворачивать сенцы.

Как будто что-то оторвалось у нее от сердца. Она глубоко вздохнула, раз, другой. Ей подумалось, что она всячески будет избегать встреч с незнакомцем и никогда, ни за что не обратится к нему, даже в самую тяжелую минуту. Пусть ничто не напоминает ему о прошлом. Ей было немного тяжело, немного грустно, даже как будто заплакать хотелось, а радость поднимала её от земли.

Ягоды

РАССКАЗ

А. Л. СНЕГОВ

★

Авдотья Пичугина, круглая, плотная, румяная вдова, уже три недели не целовалась с шофером Крышкиным. Все это время Авдотья работала в колхозном ягоднике и там ночевала, потому что ей достался наряд сторожить ягоды. Парень мог бы приходиться к Авдотье каждый вечер, но не приходит.

С ним случилась беда.

Дней пятнадцать тому назад он, будучи нетрезвым, задавил грузовиком трех овец, переходивших дорогу. Неделю спустя опрокинул в канаву новую машину. Директор МТС уволил его со станции.

Как-раз в это время в колхоз приехал на побывку Семен Голубкин. Этому широкоплечему, рослому, дюжему мужчине уже тридцать пять лет, но в деревне все зовут его Сеней, даже Сенькой. Колхозники не уважают его за болтливый язык, за непереносное хвастовство.

В Москве он служит швейцаром в ресторане, раздевает, одевает посетителей, но, когда земляки спрашивают его об этой работе, он говорит:

— Ответственность моя ежеминутная, каждый подходит к тебе со своим принципом, каждому надо дать понятие...

Он уговорил шофера Крышкина поехать в Москву, обещал ему достать место с хорошим жалованьем, с приятной работой:

— Одеколонное достану тебе место. В этом уж будь уверен.

Сегодня Авдотья повстречала обоим возле кооператива. Дюжий, широкоплечий Сеня, поглядывая на облака, пел тоненьким, совсем не мужским голосом:

Москва моя,

Ты — самая любимая!..

Шофер Крышкин был в новом сером костюме, из бокового кармана алел батистовый платочек, ветер шевелил мягкие светлые волосы, — лодырь был прельстительно красив.

— Петя! — окликнула его Авдотья.

Крышкин отозвался не сразу. Пройдя шагов пятнадцать, повернулся к Авдотье, махнул рукой:

— Подойди.

Авдотья прошептала:

— Петя, неужели я вправду уезжаешь?

Крышкин качнулся, — он пьян.

— Дунь, ты мое... ты мою силу признаешь?

Он не ждал ответа. Пошатываясь и грозя кому-то пальцем, обиженно кричал:

— Много званных, но мало избранных!..

Авдотья шептала:

— Петя, приходи нынче в ягодник. Придешь? А?

— Дунь, — уже тише сказал Крышкин. — Дунь, ты... ты меня не забыла. Ты меня, нет, не забыла. И я тебя, Дунь, не забуду. Никогда! Никогда!..

Сеня Голубкин, дойдя до угла улицы, тоненько закричал:

— Алло! Алло!..

Это он звал Крышкина.

★

Ночь была душистая, ласковая.

Авдотья ждала милого.

Пришел караульщик Егорыч в остроконечной, старинного покроя, шапке. Он сторожит бахчи и сад, но иногда заходит и в ягодник к Авдотье.

— Не шалят? — всякий раз спрашивает он.

За последние два года не было случая, чтобы в саду или на бахчах или на складах побывали воры. Ночи проходят тихо, без происшествий. Егорыч, который служит караульщиком уже тридцать лет, трудно свыкнуться с этой тишиной. Иногда она порождает в нем даже беспокойство. Старику кажется, что прежде, когда водились конокрады, и к амбарам подползали воришки, и на бахчах, на пасеке шалили ребята, общественный вес караульщика был куда больше, нежели теперь. Бывало, после крупных краж, мужики и бабы оставивали Егорыча на улицах, зазывали в избы, расспрашивали — как это было, откуда шел вор, во что он был одет, в какую сторону побежал... Видал Егорыч вора или не видел, он обстоятельно и картинно рассказывал о происшествии, о том, как он гнался за злоумышленником, свистел, кричал, но все спали, и никто не помог. Впрочем, случалось, что Егорыч задерживал вора или беспаспортного человека и приводил к начальству. На другой день он ходил по избам, пил чай и рассказывал страшное.

По ночам он свистел в оловянный свисток, бил в чугунную доску, и граждане были довольны этим. А теперь его просят не шуметь сильно. Завхоз Миронов как-то сказал ему: «Шум твой, Матвей Егорыч, совсем нереальный, а спать не даешь. Фельдшерница уже два раза жаловалась: в родильной избе наши женщины рожают, а ты под окнами колотушкой гремишь».

Егорыч не сказал ничего: он до того обиделся, что не нашел слов, чтобы ответить завхозу.

Сейчас, подойдя к шалашу, он, как и всегда, начинает разговор вопросом:

— Не шалят?

Задумчиво посмотрев на грядки, на кусты, потом — на Млечный Путь, тихо и проникновенно говорит:

— Ловкий вор, он всегда так: его не видно, не слышно, а он подле тебя стоит.

Авдотья молчит. Ей хочется, чтобы Егорыч ушел на бахчи: до рассвета еще далеко, и, может быть, Крышкин уже приближается к ягоднику.

— Подле тебя стоит, змея ему в рот, — продолжает Егорыч. — И только ты отошел или задремал или что, он свои шпиндели-виндели, отмычки-размычки, и — заработал дьявол, змея ему в рот. А что, думаешь, нет? Думаешь, уже злой человек перевелся начисто?

Авдотья смотрит на тропу, уходящую в вишневик: оттуда должен притти Крышкин.

— И конокрады еще есть, — проникновенным голосом говорит Егорыч. — Думаешь, нет?

Он садится на березовый обрубок:

— Эх-хе-хе, глупостей у нас еще, сколько хочешь. «Не шуми, говорит, женщины рожают». Да ведь, умная твоя голова, злой человек не глядит, рожаешь ты или не рожаешь. Для него все равно: хоть ты рожай, хоть квас пей, хоть что. У него свой устав есть, змея ему в рот. И хоть вот ягоду возьмем. Сколько вы тут, бабы, труда склали: и копали, и подрезали, и навозили, и ведрами поливали. А ведь злой человек придет, он не станет считать, сколько тут ведер полито, сколько трудов складено. И поломает, и потопчет, и изгадит. Вот тебе и не шуми.

Авдотья уходит в шалаш. Егорыч все еще сидит на обрубке. Длинная, согбенная его фигура выражает уныние и скуку. Но вот Авдотья слышит: зашелестели высокие травы, потрескивают прошлогодние сучья: это уходит к себе на пасеку караульщик.

А милого все нет.

★

Он пришел не один, а с Голубкиным.

— Не говорите мне «прощай», а говорите «до свиданья», — сказал Голубкин, пожимая Авдотье руку.

— Уезжаешь, что ли? — недружелюбно проговорила Авдотья.

— Безусловно и полностью, — ответил Голубкин. — Завтрашний день со скорым одиннадцатичасным. И не говорите мне «прощай», а говорите «до свиданья».

— А ты? — тихо спросила Авдотья Крышкина.

— Жду его под вечер в воскресенье, — ответил за парня Голубкин.

После дневной выпивки друзья долго спали, но все еще были хмельны.

Голубкину в шалаше не понравилось. Опустившись на траву, вынул из кармана бутылку, сказал:

— Вот противоложный подход к вопросу. Москва, культура, фокстрот, ноктюрны играем и чорт-те что, а будете сейчас смеяться. В последний раз пил я в компании вот посереде такой...

Он посмотрел на кусты:

— ... вот посереде такой перспективы природы, ну, чтобы вам не соврать, еще в тридцать пятом году в Измайловском Зверинце.

Стакана в шалаше не оказалось, там была только старая неказистая кружка.

Голубкин осмотрел ее, понюхал, сказал:

— Ввиду того, что мы покуда еще не теоретики, то можем пить из чего хочешь.

Пока он располагался, Крышкин прошел за шалаш и остановился у корзины с клубникой, с черешней. Колхозницы собрали эти ягоды сегодня вечером, чтобы завтра отправить в Васятино, в плодоовощный комбинат. Там варят варенья, делают пастилу, мармелад, компоты...

Когда Авдотья подошла к Крышкину, тот уже пробовал черешню.

— Первачок? — спросил он про ягоды.

Авдотья шептала:

— Петь, зачем ты его привел? Отошли его...

— Он есть мне первый и незабвенный друг, — горячо возразил Крышкин. — Поняла? Первый и незабвенный. И в чем вопрос? Мы тут посидим, выпьем, и он пойдет. Он завтра поедет

скорым одиннадцатичасным, а я — в субботу. Поняла?

Крышкин наклонился к корзине, откинул половичок, захватил полную пригоршню клубники, высыпал в фуражку, хотел захватить еще, но Авдотья зашептала:

— Будет, Петь! Ну ее...

Крышкин отрывисто спросил:

— Она вешена?

— Ну, хоть и не вешена, а ну ее, Петь. Чего не мое, то не мое.

Держа в руке фуражку с ягодами, Крышкин пошел к другу:

— Под первачок пить не пробовал?

Он смотрел на Голубкина, соображал что-то:

— Дунь, — сказал он. — Дунь, вот какое будет дело. Человек поедет завтра в Москву, и ты ему с пудик первачка насыпь, поняла? Не дорога ягода, а дорог первачок. Покуда ее в Москве нет; она там... по чем она у вас там?

— И за двадцать рублей за кило теперь ее не найдешь, — торопливо и обрадованно ответил Голубкин. — Буду вам за это очень любезен.

Авдотья тихо проговорила:

— Петь, да ведь сам знаешь: не могу я это.

Крышкин нетерпеливо махнул рукой, сказал повелительно:

— Что я, что он, это, имей в виду, все одно. Поняла? Все одно! И вопрос, считаю, урегулирован. Аз не вешена, то пуд-полтора, — какая кому разница.

Начало светать.

Они пили из кружки по очереди. Авдотья не отрывала глаз от Крышкина. У того на щеках лежал нежный, почти девичий румянец, с лица не сходило капризное выражение.

Голубкин рассказывал про Москву, про то, как там передвигают дома:

— Спор меж этими инженерами целый год шел. Один говорит: «Позвольте, вот мой метод. В нем все доказано. Могу передвинуть дом, куда укажут». Стали его метод рассчитывать, — нет, не годится; нельзя пускать этот метод. Другой говорит: «Позвольте, у меня есть метод — комар носу не подточит. Он у меня с алгеброй». Ну, раз он сказал такое слово — «с алгеброй», стали

рассчитывать его метод. Опять же не годится. Нельзя этот метод пускать. И так шел меж ними спор целый год. Тогда один встает и говорит: «Позвольте всю эту вашу лабуду кончить. Никакой ваш метод не может быть позволен, потому что все балки лопнут, стены повалятся, и будут всякие жертвы. Только, говорит, один я имею действительно что метод, и никуда вы от него не убежете». Ему вопрос: «А какой будет у вас метод?» — «Мой, говорит, метод теоретический». Ну, тут им спорить уж не приходится. Признали. И пошел дом, и пошел, и пошел...

Закусывая клубникой, вспомнил:

— Первачка-то мне не забудьте. Авдотья, все любуясь Крышкиным, покачала головой:

— А ну тебя. Чего нельзя, того нельзя. И не говори про это.

— Со мной говори, а не с ней, — отрывисто сказал Крышкин. — Я тебе солтера пуда определил и... и...

Он поднялся, ушел за шалаш.

Голубкин налил в кружку всю оставшуюся водку. Выпив, услышал:

— Петь, не надо. Петичка, не надо.

— Уйду, — раздраженно говорил Крышкин. — Уйду. И никогда... поняла?.. Нико-гда...

— Петичка, нельзя. Ведь не моя. Ведь бригада-то сколько трудов тут положила...

Голубкин, пошатываясь, пошел на шум. Он увидел, как Крышкин тянет в свою сторону небольшую плетенку, а Авдотья, перехватив плетенку рукой, умоляюще шепчет:

— Петичка, нельзя. Петичка, брось.

Она пересилила Крышкина, оттолкнула его, поставила плетенку на земь.

— Это что же? — забормотал Голубкин. — Запрещение мне ягоды?

Он хотел итти к плетенке, но спотыкнулся и упал на опытную грядку, засаженную миланской клубникой.

— Встань, чорт! — вспыхнула

Авдотья. — Встань, а то не обрадуешься.

Крышкин, хватая ее за плечо:

— Это ты кого оскорбляешь? Это ты моего друга оскорбляешь?

Авдотья не отвечала. Сердитым толчком она помогла Голубкину встать, потом, нагнувшись, выправляла смятые миланские стебельки. Подле нее стоял Крышкин, угрожающе спрашивал:

— Ты кого оскорбила? Такая твоя ко мне любовь, а?

Послышались булькающие и лающие звуки. Подняв голову, Авдотья увидела: Голубкин стоит подле корзины с клубникой, спина, плечи содрогаются: его тошнит. Край половника, которым прикрыты ягоды, уже вымок.

Авдотья крикнула, рванулась. Не пуская ее и как бы пытаясь обнять, перед ней стоял красавец Петя:

— Ну, и что ж такого! Ну, и выпил. Ну, и...

Бульканье усиливалось.

— И не позволю тебе делать никаких оскорблений, — раздраженно выговаривал Крышкин. — Если тебя просят по-человечески о самом пустяке, а ты...

Кажется, он не поверил ни в боль, ошущенную им, ни в звук удара. Взгляд его был вопрошающим. Когда Авдотья ударила его снова, он протянул к ее лицу руку, и так — с протянутой рукой, с неверящим, вопрошающим взором отступал перед Авдотьей.

У шалаша стоял изумленный Егорыч. Рот его был полуоткрыт.

— Чего стоишь? — крикнула Авдотья. — Свисти людей.

Глядя то на Авдотью, то на Крышкина, Егорыч поднес к губам оловянный свисток и засвистел. Он свистел все громче, все пронзительней, но лицо его попрежнему выражало изумление. За все тридцать лет своей службы он видел впервые, как «баба не за свою ягоду заарестовала своего дружка».

Этого раньше не было.

Подземная газификация

ОЧЕРК

И. ЖИГА

★

Зимой и летом, не переставая, земля горела. Невидимо, без огня. Лишь едва заметный синенький дымок, колеблясь, струился к небу.

Опасен был этот дымок. И человек, и зверь, и птица, нечаянно попав в него, без крика падали и умирали.

Земля горела годы, десятилетия. Бесильны были люди в борьбе с подземными пожарами.

Однажды внимательный и скромный путешественник, пересекая юг России, попал в район таких пожаров. Понаблюдая их и сказал:

«По поводу этих пожаров каменноугольных пластов мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя дело так, чтобы горение происходило, как в генераторе, т.-е. при малом доступе воздуха. Тогда должна происходить окись углерода, и в пласте должен получиться воздушный или генераторный газ».

Это было ровно полсотни лет назад, в 1888 году, и сказал это путешествовавший тогда по югу России гениальный русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев.

На протяжении всей своей последующей жизни не расставался он с этой мыслью. Настойчиво доказывая возможность превращения угля в газ непосредственно под землей, он снова и снова повторял:

«Каменный уголь можно извлекать из земли не в его физическом состоянии, в виде откалывания его глыбами механическими силами или силами человека

под землей, а использовать естественные пожары пластов угля под землей, управляя процессом горения так, чтобы получить неполные продукты горения в виде газов...—а затем использовать эти газы так, как мы используем добываемый руками человека уголь для энергетических, а также технологических целей».

Не скоро нашла себе отклик эта гениальная идея. Зачем было тогдашним хозяевам страны думать о сжигании угля под землей, если свободных рук было бесчисленное количество, если их можно было эксплуатировать, как угодно, если добываемый ручным способом уголь и без того приносил несметные богатства?

В 1912 году знаменитый английский ученый Вильям Рамсэй воспользовался мыслью Менделеева и предложил углепромышленникам способ сжигания угля под землей, минуя процесс его добычи.

Вначале английские капиталисты с радостью ухватились за это предложение. Они предоставили шахту, дали денег, и Рамсэй приступил к опытным работам. Буржуазная пресса раструбила об этом на весь мир. Газеты писали, что опыты вполне удались.

Но тут совершенно неожиданно не только перед углепромышленниками, но и перед всеми капиталистами открылась страшная перспектива. Если Рамсэй осуществит на деле свой опыт сжигания угля под землей, если он докажет возможность превращения его в тепловую

или электрическую энергию, тогда его открытие для дальнейшего своего развития потребует отмены частной собственности на землю и средства производства, национализации промышленности и государственного обеспечения миллионов людей, которые неизбежно станут безработными. Следовательно, этот промышленный переворот в самом себе несет отрицание капиталистической системы производства и замены ее социалистической. Перед взорами капиталистов во весь рост встал страшный призрак коммунизма.

И опыты Рамсэя были немедленно ликвидированы. У него отняли шахту, лишили материальной поддержки; вскоре он умер, не завершив своих научных трудов.

Испуг капиталистов был так велик, что они постарались уничтожить всякие следы предложенного Рамсэем способа сжигания угля непосредственно под землей.

Но не ускользнуло это открытие от зоркого глаза великого Ленина. Он, зодчий нового, социалистического общества, сразу оценил это открытие и разъяснил рабочим его социалистическое содержание.

В 1913 году он написал по этому поводу статью и напечатал ее в «Правде», от 4 мая, под заглавием: «Одна из великих побед техники». В этой статье Ленин писал:

«Всемирно-знаменитый английский химик Вильям Рамсэй (Ramsay) открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов...

Открытие Рамсэя означает гигантскую техническую революцию в этой, едва ли не самой важной, отрасли производства капиталистических стран...

Способ Рамсэя превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа. Газ приводит в движение газовые моторы, которые дают возможность использовать *вдвое большую* долю энергии, заключающейся в каменном угле, чем это было при паровых машинах. Газовые моторы, в свою очередь, служат для превращения энергии в электричество, которое техника

уже теперь умеет передавать на громадные расстояния.

Стоимость электрического тока понизилась бы, при таком техническом перевороте, до *одной пятой*, а может быть даже до *одной десятой* теперешней стоимости. Громадная масса человеческого труда, употребляемого теперь на добычу и развозку каменного угля, была бы сбережена. Использовать можно было бы даже наиболее бедные и неразрабатываемые ныне залежи каменного угля. Расходы на освещение и отопление домов понизились бы чрезвычайно.

Переворот в промышленности, вызванный этим открытием, будет огромен.

Но последствия этого переворота для всей общественной жизни в современном капиталистическом строе будут совсем не те, какие вызвало бы это открытие при социализме...

При социализме применение способа Рамсэя, «освобождая» труд миллионов горнорабочих и т. д., позволит сразу сократить *для всех* рабочий день с 8 часов, к примеру, до 7, а то и меньше. «Электрификация» всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне.

Техника капитализма с каждым днем все более и более *перерастает*¹ те общественные условия, которые осуждают трудящихся на наемное рабство»².

Так, Ленин, еще в условиях капитализма, конкретно видел завтрашний социалистический день.

★

10 августа 1930 года в 78 кавалерийском полку Северо-Кавказского военного округа, как обычно, в послеобеден-

¹ Подчеркнуто везде Лениным. —

² В. И. Ленин. «Одна из великих побед техники». Соч., т. XVI, стр. 368—369.

ное время проходил политчас. Красноармейцы, изучая решения XVI съезда партии, прорабатывали тему: «Как партия проводит в жизнь указания Ленина».

Политрук 2-го взвода Савченко, читая решения съезда, подкреплял их цифрами достижений второго года первой пятилетки.

Занятие подходило к концу, когда один красноармеец, бывший шахтер, задал политруку «каверзный» вопрос:

— А почему, — сказал он, — не проводится в жизнь указание Ленина о технической революции под землей?

Савченко смутился. Он и не предполагал, что под землей возможна какая бы то ни было революция.

Тогда красноармеец раскрыл XVI том сочинений Ленина и прочитал статью от 4 мая.

Все слушатели были поражены. Неожиданно перед ними раскрылось возможное будущее, обрисованное Лениным скупно, но поразительно ясно, конкретно.

Политрук растерянно молчал. Красноармейцы ждали. В Красной армии не бывает таких случаев, чтобы боец на всякий свой вопрос не получил ясного и точного ответа. Тогда Савченко прямо сказал, что он этого вопроса не знает, но что он завтра же даст ответ.

Вечером доложил о случившемся комиссару полка тов. Октябрьскому. Комиссар прочитал статью Ленина и тоже оказался в затруднительном положении.

— Знаешь что, — сказал он, — давай не будем мудрить. Не знаем, так прямо и скажем: не знаем. Но я вот что думаю: нам нужно от имени полка запросить центр, — пусть нам дадут исчерпывающий ответ. Тогда и мы с тобой, и красноармейцы, и все будут знать, как обстоят дела с этим великим открытием.

За ночь они составили проект открытого письма и на следующий день обсудили его во всех подразделениях полка. Красноармейцы внесли ряд добавлений, а самое главное, предложили добиваться немедленной реализации этого научного открытия.

В напечатанном в газете «Техника» открытом письме они говорили:

«Мы, бойцы и начсостав 78 кавалерийского полка, обращаемся ко всем ученым страны, ко всем научно-исследовательским институтам, ко всему пролетарскому студенчеству химических и горных вузов, правлению «Союзугля», к ВСНХ СССР и Украины, ко всем членам ВАРНИТСО и Комитету по химизации народного хозяйства с вопросом, который нас всех сильно, жгуче заинтересовал, за судьбу которого мы крайне обеспокоены, весь исторический смысл которого для нас исчерпывающим образом освещен великим Лениным в его статье «Одна из великих побед техники».

Мы срочно желаем получить от института Ленина, ВСНХ СССР, ВАРНИТСО и Комитета по химизации исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1) Почему написанная в мае 1913 года статья Ленина: «Одна из великих побед техники» до сих пор не размножена в миллионах экземпляров и не распространена среди горняков-рабочих, студентов химических и горных вузов, коммунистов Донбасса, Кузбасса, Черемховских и других копей и среди всего пролетариата и крестьянства СССР?..

2) Что мешает применить открытие Рамсэя на наших шахтах и рудниках?

3) Какова сегодняшняя судьба предложения Рамсэя о непосредственном добывании газа из каменноугольных пластов?

Со своей стороны предлагаем следующее:

Во что бы то ни стало найти открытие Рамсэя, как бы глубоко оно ни было захоронено капиталистами Англии, для чего опереться на помощь английских рабочих, и сделать открытие Рамсэя сильнейшим рычагом социалистического строительства и пролетарской революции.

Образовать особую группу ученых при Комитете по химизации, которой поручить дать научный анализ технико-экономических возможностей перехода к высшим способам добычи и эксплуатации энергии угольных пластов в условиях нашей страны, на основе способа Рамсэя.

Всех крупнейших ученых нашей страны просим высказаться в печати о возможности применить предложение Рамсэя в условиях нашего пролетарского угольного хозяйства.

Помимо ответов на поставленные вопросы, просим Комитет по химизации народного хозяйства при СНК СССР и центральное бюро ВАРНИТСО поставить на своих ближайших заседаниях вопрос о путях и сроках передачи открытия Рамсэя на службу строящегося социализма в нашей стране».

И первый, кто откликнулся на это письмо, был тот, кто внимательнее всех прислушивается к голосу масс, кто живет только для масс, кто крепче всех опирается на массы, кто ведет их за собой, осуществляя великое дело Ленина.

Было дано указание Совету Труда и Обороны обсудить запрос красноармейцев. Для обсуждения были привлечены научные силы. Во время обсуждения были учтены все возможности, которыми располагала к тому времени страна. Выяснилось, что успехи пятилетки позволяют уже теперь приступить к проведению опытов в целях осуществления похороненного капиталистами великого научного открытия.

Это решение было доведено до сведения того, кто вдохновил это дело. По его личному указанию была создана специальная комиссия по наблюдению за предстоящими работами. В комиссию эту был включен и комиссар 78 кавалерийского полка тов. Октябрьский.

Правительство отпустило средства, и в 1931 году начались работы по сооружению экспериментальных шахт.

Так вернулась на родную землю гениальная идея русского ученого.

★

Первой задачей было найти метод сжигания угля под землей. Следовательно, надо было изобретать. Появились проекты, авторы которых, естественно, на первых порах отталкивались от единственно существовавшего в науке предположения Менделеева, что подземным иожаром можно управлять так, «чтобы горение происходило, как в генераторе».

Они, таким образом, исходя из общей теории газогенераторной техники, пытались превратить шахту в подземный газогенератор.

При добывании из угля газа в надземной газогенераторной установке уголь сжигается в измельченном виде. «Стало быть, — рассуждали авторы проектов, — и под землей уголь должен быть предварительно размельчен». И они строили свои опытные установки следующим образом: брали пласт угля метров на 30 — 40 по простиранию; шахтным способом делали проходку от поверхности земли до пласта; подготавливали так называемые «панели», т.е. участки угля, которые изолировались от остального пласта мощными изоляционными бутовыми стенами от 1 до 2 метров толщиной; пробуривали в этих панелях скважины на расстоянии 1,5 — 2 метров одна от другой; закладывали в эти скважины снаряды, начиненные динамитом; зажигали пласт угля с расчетом, что, когда огонь дойдет до снаряда, снаряд взорвется, размельчит уголь и обеспечит дальнейшее его горение. За первым снарядом взорвется второй, третий и т. д., вплоть до того момента, пока весь взятый под землей участок не сгорит целиком.

Автор такого «взрывного» метода подземной газификации угля инженер Кириченко получил разрешение на проведение опытов и построил для этого шахту в городе Лисичанске (Донбасс).

Другой, так называемый «магазинированный», метод был предложен инженером Кузнецовым. В основе его лежал тот же принцип дробления угля. От взрывного метода он отличался лишь тем, что предлагалось открыть угольный пласт с поверхности земли, раздробить его, а потом снова зарыть, сделав проходы для газа, зажечь уголь и получать газ.

Кузнецов также получил возможность экспериментировать на опытной установке, которая была построена в городе Шахты (Ростовская область).

Кроме того, опытные установки были построены в Ленинске-Кузнецком (Кузбасс) и в Подмосковном бассейне, с целью расширения опытов на углях раз-

личного качества и на различной мощности пластах.

На это дело были израсходованы десятки миллионов рублей. Экспериментаторам была предоставлена различная аппаратура, двигатели, энергетические установки, рабочая сила, инженеры. Опытные шахты окружены были заботой и вниманием партийных и советских организаций и всех рабочих, живущих поблизости от этих шахт. Все с нетерпением ждали: что-то будет?

В Лисичанске и на других опытных шахтах вскоре добились того, что уголь под землю начал гореть. Больше того, люди начали управлять процессом горения. Стали взрывать снаряды, заложённые в пласте угля на Лисичанской опытной шахте. Все, казалось, идет хорошо. Уже начали получать газ непосредственно из-под земли. Уже газеты наши сообщали об этих результатах, как о громадных достижениях, обеспечивающих в основном решение великой задачи.

Но... выяснилось, что полученный газ не содержит в себе достаточно тепла и не может быть использован в энергетических или технологических целях.

Сразу же в учреждениях, ведавших этим делом, нашлись малoverы, пессимисты и прямые враги подземной газификации угля. Нашлись ученые и неученые люди, которые говорили с улыбкой: куда, мол, нам, лапотным! Рамсэй не такой ученый, и то у него ничего не вышло, а у нас и подавно!

Враги и скептики из руководства Подземгаза в конце-концов прекратили ассигнования на дальнейшие опыты. Люди остались без поддержки. Над некоторыми из них ученые и неученые спецы по вредительству издевались, изображая их шарлатанами и сумасшедшими. Дискредитируя людей, они хотели дискредитировать самую идею газификации угля.

Но не такова наша советская земля, чтобы живое и здоровое зерно на ней заглохло. Не таковы советские люди, чтобы впадать в уныние при первой неудаче. Идея подземной газификации пустила корни. Теоретическая разработка вопроса и лабораторные опыты про-

должались. Молодые наши ученые, коммунисты и комсомольцы, вели эту работу со всей большевистской настойчивостью.

★

В Донбассе имеется Индустриальный институт. Учатся в нем главным образом горняки: забойщики, навальщики, крепильщики, коногоны и рабочие других профессий.

Учились в этом институте сын рабочего комсомолец Петр Скафа, ученик сапожника комсомолец Василий Матвеев и бывший партизан, коммунист, коногон Дмитрий Филиппов.

Одинаковая у них была культура, одинаковая страсть к учебе. Окончив институт, все трое остались на научной работе. И вот эти молодые ученые-коммунисты решили претворить в жизнь идею Менделеева.

Критически изучив неудавшиеся опыты и методы газификации, проверив их экспериментальным путем в лаборатории института, они убедились, что методы эти ошибочны. Нужно было искать новых путей газификации. И они лабораторным путем разработали новый метод, принципиально отличный от взрывного и магазинированного.

Они брали глыбу угля и замуровывали ее так, как будто она находилась в подземных условиях. Потом зажигали ее и процесс горения поддерживали потоком искусственно дувяемого воздуха, обогащенного кислородом. Оказалось, что полученный таким образом газ по своей калорийности вполне пригоден для энергетического использования, т.-е. сжигания в топке и получения электричества.

Это открытие подтвердилось и в Москве, в Институте азота, где одновременно шли экспериментальные исследования в том же направлении. Группа научных работников, изучая вопрос о превращении угля в газ, путем лабораторных опытов пришла к выводу, что установившийся взгляд, будто при газификации угля первоначально образуется углекислота, ошибочен. Работники Института доказали, что если увеличить скорость дувания кислорода в 10 —

15 раз по сравнению с той, какая применяется в обычном газогенераторе, то превращение топлива в газ будет происходить несравненно лучше.

В свою очередь Скафа, Матвеев и Филиппов, проверяя свой метод многочисленными лабораторными экспериментами, все больше и больше убеждались в том, что их метод — единственный правильный, что, равномерно вдувая воздух, обогащенный кислородом, под землю можно получить горючий энергетический газ. Оставалось лишь проверить это непосредственно под землей.

Они составили докладную записку о своем открытии, разработали проект экспериментальной шахты и обратились в Научный комитет по химизации страны с просьбой разрешить им проделать опыты газификации угля по своему методу.

Но труден оказался путь этого нового проекта. Не преминули заявить о себе и зависть, и ущемленное самолюбие, и чванство некоторых косных, консервативных ученых.

— Бывшие безграмотные рабочие, только-что окончившие институт, не имеющие никакого научного стажа, могут разрабатывать такую проблему?

— Смешно!

— Бред!

— Галиматья!

Естественно, к этим противникам проекта примкнули и подлинные враги народа, готовые задушить все живое, что рождается и развивается на советской почве.

Проект был отклонен лишь на том основании, что предложили его неавторитетные в науке люди. Проекту угрожала опасность быть похороненным в архивах.

Но шефы-красноармейцы зорко следили за ходом работ. Комиссар полка тов. Октябрьский был в правительственной комиссии. Он узнал о новом проекте донбасских инженеров, разыскал их в Москве, познакомился.

Внимательно изучив проект, он увидел, что в нем, действительно, устанавливается принципиально новый метод подземной газификации угля, и притом метод чрезвычайно простой и дающий

прекрасные результаты в смысле качества получаемого газа.

Следовательно, — заключил он, — надо продолжать опыты во что бы то ни стало. Надо обеспечить молодым инженерам-коммунистам возможность вернуть свою работу в условиях натуральной шахты.

Октябрьский, помимо всяких комиссий, ознакомил с проектом товарища Орджоникидзе. Талантливый организатор и руководитель тяжелой промышленности сразу же увидел в проекте здоровое зерно. Он пригласил к себе авторов, ободрил их, по-отечески приласкал и тут же отпустил средства на проведение опытов. Октябрьского он назначил уполномоченным наркомата по наблюдению за строительством новой опытной шахты.

★

В один из осенних вечеров 1934 года в горловский Дворец культуры явились два человека.

Один — в поношенном демисезонном пальто, в кепке и темносинем френче. Другой — в кожаной куртке, в высоких сапогах, в измятой военного образца фуражке.

Тот, что в кепке, — лет двадцати трех, выше среднего роста, тонкий, голубоглазый. Другой — шатен среднего роста, постарше своего спутника, но с глубокими карими глазами, сиявшими за большими стеклами очков зазорно и молодо.

Во Дворце культуры происходило в это время собрание районного партактива. В Донбассе так: конференция по ликбезу, собрание учителей, домохозяек, пионеров — все равно разговор будет об угле...

На собрании партактива, конечно же, уголь был злобой дня. Тут раздавались громовые речи по адресу саботажников, хвалили ударников, а некоторые ораторы нудно, заученно повторяли одно и то же: поднять, усилить, закрепить...

Молодые люди, внимательно выслушав несколько ораторов, вышли из зала, прошли по коридору на сцену и вскоре появились за столом президиума. Они обратились к председателю с ка-

кими-то вопросами. Тот отвечал, утвердительно кивая головой. Голубоглазый молодой человек остался сидеть за столом, а другой отошел в сторонку.

Когда принята была резолюция по текущему вопросу, председатель дал слово для внеочередного заявления.

Спокойным молодым баском голубоглазый рассказал собранию о том, как он и его товарищи, еще студентами Индустриального института, изучали способы подземной газификации угля, как изобрели свой метод и получили газ, пригодный для промышленных целей.

Человек с карими глазами слушал своего товарища, нетерпеливо посматривая в зал. А когда председатель дал ему слово, он, не доходя еще до трибуны, звонко и весело произнес:

— Товарищи, я буду говорить о будущем, о будущем, которое у нас не за горами!.. Я вижу среди вас, — продолжал он с подъемом, — таких людей, которые наверно начали работать в шахтах, когда еще уголь доставали из-под земли в бадьях на веревках, конною тягой. Потом коня человек взял с собой под землю, а на его место поставил паровую подъемную машину. Это была единственная механическая сила, действовавшая в процессе угледобычи. Это была эпоха пара — первоначальная стадия развития горного дела.

Теперь у нас вторая стадия развития горного дела — эпоха электричества и пара. Лошадь постепенно вытесняется из шахты. На ее место встает электровоз. Забойщика начинает заменять под землей врубовая машина, а конвейер уже заменил собою саночников. Но вот, товарищи, наступает новая эпоха в развитии горного дела, когда и человек постепенно будет освобождаться от подземной работы.

— Каким же это образом? — слышались удивленные голоса.

— Не нужны станут врубовые машины и пневматические молотки, конвейеры и электровозы, — уверенно и горячо ответил оратор. — Излишним окажется все огромное, дорого стоящее шахтное хозяйство. Сбережены будут миллионы кубов леса, ежегодно гибнущего под землей. Сбережены будут миллиарды руб-

лей, вкладываемые теперь в строительство новых шахт. И, наконец, сотни тысяч людей навсегда будут выведены из-под земли на свет и солнце, и человек забудет, что значит работа в шахте. Не нужна станет шахта.

Одним слушателям это казалось абсурдом, другим — сказкой, третьи просто не верили: «Как это так, не нужна станет шахта? Ведь это же все равно, что сказать: не нужны заводы, мартены, доменные печи». Без шахты и они существовать не смогут. Никто, конечно, не станет возражать против ликвидации шахт в принципе, но как и чем их заменить? Ведь уголь-то — «хлеб промышленности».

Как бы отвечая на эти недоуменные вопросы, человек продолжал:

— Придет новый горняк, вооруженный турбобуром. Он пробуровит землю до угольного пласта. Гидромонитором или электричеством пробьет в нем проходы и зажжет уголь. По трубам силой компрессора даст необходимый поток воздуха. Человек будет управлять подземным пожаром и получать готовый газ. Газ этот по трубам он направит за тысячи километров, доведет его до газовой турбины, до кухонной плиты. Там и здесь вместо угля в натуре достаточно будет повернуть кран, и, пожалуйста, получайте готовое тепло, энергию.

Энергия и тепло эти будут чрезвычайно дешевы, так дешевы, что человеку ничего не будет стоить, скажем, в громадных парниках согреть землю на Севере или у нас зимой и круглый год выращивать свежие огурцы и помидоры.

И такое будущее, товарищи, у нас не за горами!

Оратор говорил, как читал поэму. Он словно раздвинул перед слушателями стены зала, и горняки увидели такое, о чем многие из них даже не мечтали. Ведь это же настоящее чудо!

Вдохновение оратора захватило зал.

— Мы пришли к вам, товарищи, потому, что шахтерская Горловка является сердцем Донбасса. Здесь, как нигде, может быть, люди поймут значение нашего дела. Поймут и помогут довести его до конца.

Правда, оратор не сказал, что Горловку они избрали потому, что здесь на азотнотуковом заводе вырабатывается кислород — основа их метода. Но в конце-концов все решают люди. И оратор не ошибся, обратившись в первую очередь к шахтерскому сердцу и сознанию.

Зал ответил ему громовыми аплодисментами и криками:

— Крой, ребят! Все, что можем, предоставим вам!

Ребята эти были молодые советские инженеры Петр Владимирович Скафа и Дмитрий Иванович Филиппов.

★

Взрывая перед собою снег, фыркая и вздрагивая от напряжения, автомобиль наш с трудом подполз к небольшому каменному зданию.

По сторонам, на высоких столбах, горели электрические лампы. За столбами тянулась колючая проволока; за проволокой стояла тьма.

Кругом было тихо, пустынно, и ничего особенного, ничего примечательного не представляли собой ни это здание, ни то, что его окружало. Но мы знали, что именно здесь через несколько минут будет сделана попытка зажечь под землей еще небывалый огонь...

Выскочив из машины, мы сразу же утонули в сугробе, набирая снегу за валенки. Сырая оледенелая дверь туго распахнулась, и навстречу нам стремительно выкатились белые клубы пара, резко пахнувшие нашатырным спиртом. Яркий электрический свет ослепил глаза.

Осторожно, с оглядкой мы вошли в помещение. Первое, что бросилось в глаза, это громадный шкаф, сплошь уставленный стеклянной посудой. Посреди комнаты на длинном столе стояли аптекарские весы. По углам сияли никелированные баки, соединенные резиновыми трубками; до потолка возвышались бутылки, колбы, банки, наполненные разноцветной жидкостью. В белых халатах мужчины и девушки переливали эту жидкость из одной посуды в другую, наблюдая за происходящими реакциями.

Коротко взглянув на нас, они продолжали свою работу сосредоточенно и невозмутимо.

В соседней комнате также было светло, спокойно и тихо. За столом сидел молодой человек, наклонившись над синей бумагой. Он выводил на ней прямые и ломаные линии, точно паук ткал паутину. По правую сторону от него всю стену заслонял огромный белый щит с разноцветными электрическими лампочками, измерительными приборами и металлическими рычагами. На левой стороне возвышалась мраморная доска с укрепленным на ней рубильником. На рукоятке рубильника висела запломбированная картонка с мрачной надписью: «Не включать, смерть!».

По комнате расхаживал знакомый нам инженер Матвеев.

Инициатор и главный руководитель опытных работ инженер Скафа находился где-то за стенами этого здания. Он часто звонил по телефону, переговариваясь с Матвеевым. После очередного звонка Матвеев встал у щита, готовый в любую минуту нажать рычаг.

Нас было человек пятнадцать. Собрались советские и партийные работники, газетчики, шахтеры-ударники во главе с заведующим соседней шахтой Михаилом Степановичем. Кроме того, из Москвы приехали люди науки и техники. Был тут и шеф, он же уполномоченный Наркомтяжпрома, тов. Октябрьский.

Из всех присутствующих выделялись два человека: Октябрьский и Михаил Степанович. Насколько первый был возбужден, настолько второй невозмутим и замкнут. Медленно прохаживаясь по комнате, он осматривал каждую мелочь в этом здании, ни с кем не разговаривал и вообще держал себя так, как будто от всей этой затеи ожидал обмана. Октябрьский, высокий, худощавый, в длинной кавалерийской шинели, с двумя ромбами в петлицах, напряженный, внутренне собранный, поглядывал на нас быстрыми, горячими глазами, как бы спрашивая:

— Знаете ли вы, какое сейчас произойдет событие?

В комнате было тихо. Говорили шопотом. Не отрываясь, глядели на часы

и на измерительные приборы, ожидая сигнала.

Затрещал телефонный звонок. Скафа сообщил Матвееву, что все готово.

Наступила решительная минута. Часы показывали без четверти шесть.

— Начинаем, — взволнованным, радостным шопотом произнес Матвеев...

★

Это было 5 февраля 1935 года.

Не прошло и шести месяцев после памятного собрания горловского партактива, как уже подготовлен был опытный участок подземной газификации угля, построено каменное здание с пристройкой для компрессоров, установлены машины и оборудована лаборатория.

— Пожалуйста! — обратился Матвеев к одному из московских гостей, закутанному в волчью доху.

Тот храбро шагнул к мраморной доске, на которой был укреплен рубильник, снял с него картонку с мрачной надписью: «Не включать, смерть!» — и коротким движением руки включил рубильник.

Матвеев кинулся к телефону, крикнул:

— Готов!

Было 6 часов 58 минут вечера.

Старомодный какой-то фотограф, успевший перед тем установить треножник, звучно щелкнул затвором. Даже электрический свет не дрогнул. Русоволосый молодой человек попрежнему сидел за чертежами. Медленно тикали часы.

Тишину нарушил Октябрьский. Он выступил вперед и взволнованно произнес:

— Товарищи, разрешите все-таки сказать... Я, понимаете ли, не могу... Мы присутствуем при опыте, который, если удастся, может открыть перед нами новую эпоху промышленного развития — коммунистическую эпоху! Я не буду говорить о том, удастся или не удастся опыт. Это мы увидим собственными глазами. Меня волнуют другие мысли. Подумайте, товарищи, ведь теперь все истинно великие идеи осуществляются только на нашей советской земле. На-

ша родина, весь наш народ превратился в грандиозный аккумулятор новых идей, новых социальных и научных открытий. Мы доказали возможность строительства социализма в одной стране. Мы несем миру освободительные идеи коммунизма. Мы готовимся к решительной схватке со старым миром и создаем материальную основу для грядущего нового мира. Возьмите вы, например, вот эту идею газификации угля. Наш ученый ее выдвинул. Наш Ленин ее подхватил. Наши рабочие и колхозники в красноармейских шинелях ее возродили. Наши молодые ученые, коммунисты и комсомольцы, взялись за ее осуществление. Наша партия, товарищ Сталин оказывают им всемерную помощь. ... Я не могу без волнения говорить об этом потому, что, ей-богу же, гордость распирает сердце... Нет, не могу! Слов не хватает...

Мы понимали его без слов. Казалось, что все, окружающее нас, и все, что было в нас самих, — наши чувства, мысли, желания, — все это аккумулярировалось в огромную силу, давящую на стрелки. И вот они поднимаются все выше и выше, приближаясь к своему зениту.

Наконец они остановились и замерли...

Матвеев громко произнес:

— Идемте, товарищи! Здесь больше нечего делать.

И мы молча, один за другим направились к дверям.

Мы вышли на опытный участок.

Перед нами открылась черная взрытая земля. Она была завалена досками, трубами, железными балками. Обойдя толстую трубу, поднимающуюся из бетонного бруствера, мы подошли к «свече». Это высокая труба раз в пять выше первой и настолько же тоньше ее.

По доскам, прогибающимся под ногами, раскачиваясь и балансируя, мы поднялись на высокий фундамент. С высоты его перед нами открылась ночная панорама Донбасса. Далеко на темном горизонте полыхало зарево. Небо то делалось пурпурным, похожим на яркую весеннюю зарю, то потухало, напоминая остывающее синее железо. Это марте-

новские и доменные печи, плавя чугун и сталь, одновременно плавил небо.

Позади нас празднично сияла шахтерская Горловка. Тысячи огней, рассыпанные по склону взгорья, излучали высокие световые столбы, спиралями подымающиеся вверх. Видна была конусная гора, созданная руками многих поколений шахтеров. На острие ее, как будто в небе, звездой сияла яркая электрическая лампа. Немного левее и ближе к нам, словно иллюминированная, раскинулась шахта им. Сталина с ее обширнейшим шахтерским поселком. Рядом с поселком возвышался громадный химический завод. Батареи коксовых печей полыхали огнем горящего газа. Этот огонь огромными смоляными факелами освещал крыши заводских зданий, поселок, мост-виадук, перекинутый от поселка к заводу, железные трубы, горизонтально протянутые в воздухе, высокий железо-бетонный копер. От завода и шахты доносились глухой гул ночной работы и предупреждающие крики паровозов.

С правой стороны, в километре от нас, возвышались кирпичные и железо-бетонные здания, гранитные башни, железные газгольдеры азототукового комбината. От него до опытной установки тянется труба, по которой сюда поступает кислород. И наш опытный участок кажется только-что родившимся младенцем этой новой, молодой индустрии. Он еще, как пуповиной, связан кислородно-проводной трубой с комбинатом. Он еще дышит кислородом матери, но он уже существует и должен начать жить самостоятельной жизнью.

В десяти шагах от нас возвышались конусные деревянные башенки, расположенные над шурфами¹. К ним тянулись тонкие трубы. Круто загибаясь, они уходили в землю на 75 метров. Там они соприкасались с подопытным пластом угля, который должен загореться сейчас в земной глубине.

Подошли рабочие опытной установки в капелюхах, в валенках, в теплых пиджаках. Они только-что закончили под-

готовку опыта и теперь с таким же напряжением, как и мы, ожидали результатов.

Все смотрели на толстую трубу. В момент включения рубильника электрическая искра должна была зажечь под землей специально заложенные горючие материалы. От них должен загореться угольный пласт. Компрессоры, расположенные в пристройке, дадут струю кислорода в поле горения. Пламя усилится, и тогда, по расчетам авторов проекта, должен начаться процесс выделения газа.

Ждали напряженно. Хотелось поскорее увидеть признаки пожара. Хотелось узнать, все ли там, под землей, в порядке. Но труба оставалась мертвой, холодной, наглухо закрытой белым снежным колпаком.

С этого колпака ветерок сдувал снежинки, и они, колеблясь, едва заметной прозрачной туманностью струились в темном воздухе.

Октябрьский нетерпеливо прошептал:

— А не дымок ли это?

— В самом деле, дымок как будто, — неуверенно и тоже шопотом отозвался Михаил Степанович.

— Тише! — оборвал их кто-то.

Снова наступило напряженное молчание. Все смотрели на трубу.

— Дымок, товарищи! — вдруг радостно крикнул Октябрьский.

— А ты не врешь? — усомнился Михаил Степанович.

Над снежным колпаком трубы по-прежнему едва заметно струилась легкая туманность, прозрачная, как на холоде дыхание человека. Трудно было определить, что это: снег ли, сдуваемый ветром, или действительно дымок.

Но вот стало заметно, как эта туманность с каждой минутой начинает увеличиваться, принимать более определенный вид пара. Пар этот стал обволакивать верхушку трубы, распространяться в стороны. Уже заметны были волнистые барашковые образования; они становились все темнее, темнее...

И тогда все разом вздохнули:

— Есть!

— Дымок!

¹ Шурф — шахтный проход вглубь земли до угольного пласта.

— Подымается!

А Михаил Степанович медленно, с напряжением произнес самое главное:

— Воспламенилась!

Кто-то сказал:

— Надо послать телеграмму!

Октябрьский, улыбаясь, говорил стоявшим возле него рабочему в мохнатой капелюхе:

— Ну, Кузьмич, и напою же я тебя сегодня пивом. Будем пить, пока душа не остынет.

Кузьмич добродушно ответил:

— Пивка-то можно бы, отчего ж... Я, вот, понимаешь, боялся очень, все ли у меня сделано хорошо. Теперь вижу — точно. Значит, и пивка можно.

Двое рабочих, стоявших в стороне от нас, весело разговаривали между собою.

— А пакля-то наша там, поди, уж сгорела?

— Чего ей не гореть, там теперь все горит!

— Эх, поскорей бы газ увидеть! От запыхаться!

— Обожь маленько, компрессоры пустят.

Нам тоже хотелось поскорее увидеть «попыхающий» газ. Все готовы были оставаться здесь до конца, но Михаил Степанович совершенно серьезно произнес:

— Чудно! Под нами пожар, а ноги мерзнут.

Раздался хохот.

— От, старикан! Землю бы ему печкой сделать!

— Он, видно, этого и ждал.

Шутки и смех разрядили напряженное состояние.

— Что ж, товарищи, — сказал Матвеев, — можно пойти погреться. Нам дадут знать, когда появится газ.

Октябрьский и рабочие остались на месте, а мы шумной толпой направились в ту самую комнату, где часа полтора назад был включен рубильник.

★

Комната показалась нам удивительно теплой. Лаборанты попрежнему переливали разноцветную жидкость из одной посуды в другую. Продолжал работать

чертежник. Телефонистки сидели возле коммутатора.

Мы принесли с собой снег, холод и оживление. Согреваясь и закуривая, мы вслух мечтали: что будет, если начатый опыт удастся? Какими путями пойдет дальнейшее развитие техники?

— Уже теперь можно совершенно точно предвидеть, что будет у нас в самое ближайшее время, — говорил Матвеев. — Прежде всего в городе, а затем и в деревне в каждый дом, в каждую квартиру будет проведен газ. Это значит, что каждая семья будет иметь маленькую, чистенькую кухню: ни шума, ни грязи, ни копоти. Но газифицируются не только дома и кухни. Газифицируются целые заводы. Разработан план газификации всего Донбасса. В Енакиеве заканчивается строительством крупнейший в Союзе коксохимический комбинат, газ которого пойдет по трубам через Горловку, Краматорск, Константиновку и Славянск вплоть до Харькова. Кроме того, намечено газоснабжение таких крупнейших городов Донбасса, как Сталино, Макеевка, Ворошиловград и Ворошиловск с их гигантами металлургии и машиностроения.

Нет нужды подсчитывать и распространяться о том, сколько будет сэкономлено угля и нефти после газификации промышленности и городов Донбасса...

Газ можно послать на тысячи километров. Часть его будет использована для выработки всевозможных химических продуктов, часть превращена в электроэнергию. По трубам и электропроводам далеко, далеко пойдет по земле могучая баснословно дешевая сила. Она совершит переворот в промышленности и сельском хозяйстве. Она гигантски ускорит ликвидацию различия между городом и деревней. И тогда, как говорил Ленин, заводы и фабрики будут переоборудованы и превращены «в чистые и светлые, достойные человека лаборатории...».

— Но все-таки, как можно обойтись без угля? — недоверчиво произнес Михаил Степанович. — Паровозы, например, как ты будешь газом отапливать, если топливо им потребно только тогда, когда они в движении? Завод, фабрику,

электростанцию — понятно: дал газ в котлы, и все. Но как ты газифицируешь паровоз?

Матвеев спокойно ответил:

— Железная дорога станет другой. Вместо коптящих паровозов, медленно движущихся, обслуженных грязным трудом машиниста, будут работать удобные, быстрые, мощные электровозы.

— Но все равно же, для кокса, например, нужен будет уголь? — не сдавался Михаил Степанович.

— Совершенно не нужен будет уголь для кокса, потому что сам кокс окажется ненужным...

— А как же ты будешь плавить металл?

— Посредством газа, в специальных газовых печах.

— Помимо домны?

— Да, представьте! Доменные печи станут не нужны, потому что наукой уже доказано, что можно плавить металл без доменного процесса.

— Чорт знает что! — как будто сердился Михаил Степанович. — Ну, а как же тогда быть с шахтами?

— Засыплем! Шахтные постройки и териконы снесем, а на их место разобьем сады и парки с фонтанами.

— И коксовые заводы?

— Да, и эта отрасль промышленности будет снята со счета.

— А химия?

— Химия станет основной промышленностью благодаря обилию подземного газа.

— Ну, допустим, это так. Хорошо. А вот как ты все это сделаешь в тех районах, где нет угля? — говорил, хмуря брови, Михаил Степанович.

— Очень просто! — с веселой улыбкой отвечал Матвеев. — Во-первых, из всех существующих угольных бассейнов могут быть проведены газопроводы и в те районы, где пока еще не обнаружен уголь. А вы знаете, что наши геологи открывают все новые и новые угольные залежи. Во-вторых, богатейшие водные ресурсы. И, наконец, используем силу самого воздуха. Всю ту неисчерпаемую тепловую и двигательную энергию мы подчиним себе,

будем управлять ею, посылать ее туда, где в ней ощущается потребность... Из века пара и электричества мы перейдем в новый век — газа и электричества. Пар, как двигательная энергия, слишком дорог. Оставим его капиталистическому обществу. Будем строить коммунистическое общество на основе газа и электричества. Социализм дает нам для этого все возможности...

— Что же будет тогда? — спросил Михаил Степанович, глядя поверх головы Матвеева куда-то вдаль.

Матвеев продолжал:

— Будет то, что все угольные, нефтяные, торфяные, сланцевые и водные районы превратятся в своеобразные колоссальные электростанции. В земле будут проложены трубы, над землей — электропровода. Города, заводы, железные дороги и поля будут электрогазифицированы. Транспорт — автомобили, тракторы и даже самолеты будут действовать на газе. На аэродромах, дорогах и полях будут сооружены газовые колонки, и так же, как теперь автомобили заряжаются бензином, так они будут заряжаться газом. И в этом нет ничего удивительного. Автомобили и тракторы уже переводятся на газ. Достаточно легковой автомобиль снабдить шестью баллонами газа, и он пробежит полтора километра без заправки... Легко представить себе, насколько увеличится производительность труда и снизится себестоимость продукции, какого она будет качества. И какое человек создаст себе богатство! А это и приведет к тому, что предсказано марксизмом. Человек будет давать обществу по своей способности, а получать от него по своей потребности.

— Да, но когда это будет? Сколько времени на это потребуется? — возбужденно спросил Михаил Семенович.

Матвеев улыбнулся.

— Вот этого уж я точно сказать не могу. Думаю, лет тридцать достаточно...

— Постой! — перебил его Михаил Степанович. — Мне сейчас сорок пять. Если я доживу до семидесяти пяти, значит, я сам все это увижу?

— Возможно.

— Чорт возьми, товарищи! — вскричал Михаил Степанович. — Это же интересно! Подумайте, я вот этими руками успел поработать на капиталистов. Этими самыми руками я свергал их. Ведь я же участник Октябрьской революции в Ленинграде. Был делегатом съезда. Видел и слышал Ленина. Вот эту самую руку подымал за передачу власти Советам. И я еще могу жить и работать, и дожить чорт его знает до какого времени! Вы понимаете, я могу пройти по земле от капитализма через социализм к коммунизму!

— Не дойдешь, а долетишь, — вставил, улыбаясь, Матвеев.

— Ой, как хочется верить! Верить хочется, понимаете? И как не верить, если все это в зародыше уже есть. Мы это видим...

Михаил Степанович вскинул руку вверх и остановился, молча оглядывая нас.

В это время дверь в комнату широко распахнулась, и кто-то с улицы радостно крикнул:

— Товарищи, газ!

Михаил Степанович круто повернулся и кинулся к двери. Мы бросились за ним на улицу.

Возле толстой железной трубы стояли Кузьмич, Октябрьский и Скафа. Они молча смотрели на верхушку трубы. Но теперь не было видно ни дыма, ни снежного колпака на ней.

— Где, где газ? — слышались голоса.

Люди задирали головы, но, кроме звезд и зарева на небе, ничего не видели.

Кузьмич, скинув капелюху, заламывал ее мохнатые края. Скафа стоял сосредоточенный, нахмутив брови. Был ли он действительно занят своим опытом или просто скрывался от нас, но только до сих пор он не показывался на опытном участке. Сейчас он появился, наконец, возле трубы, и это говорило нам, что наступил решительный момент.

К Скафе подошел Матвеев. Коротко, быстро перекинулись они только им понятными фразами, и Матвеев побежал назад. Вскоре за спинами у нас в пристройке к зданию загудел компрессор.

Начал он низко, с октавы, и, постепенно повышая голос, запел сиреной.

Скафа долго прислушивался к его пению. Затем, повернув голову в сторону подымающейся к небу «свечи», он посмотрел на нее, подумал и спокойно, тихо проговорил:

— Василий Кузьмич, попробуйте!

Кузьмич смаху надел на голову шапку, рванулся с места и побежал к тонкой высокой трубе. Вдруг в руках у него вспыхнул факел. Держа его на палке, он быстро стал карабкаться по узенькой железной лесенке.

Вот он добрался до середины трубы, остановился, посмотрел вокруг и снова полез выше. Оставалось метра два, когда он снова остановился и громко, торжественно крикнул:

— Петр Владимирович, ну?

— Осторожнее!.. Давай! — коротко, как команду, произнес Скафа.

Кузьмич поднял факел над головою, сунул его еще выше, до самого края трубы, и вдруг мы все, как сговорившись, громко ахнули...

Над «свечой», высоко над нами, вспыхнуло голубое пламя.

Прозрачное, как воздух, легкое, цвета утреннего неба, оно взвилось к звездам.

Отбросив в сторону факел, Кузьмич быстро стал карабкаться вниз, а мы, застигнутые врасплох, стояли безмолвно, пораженные красотой огня.

— Газ! — прошептал, наконец, кто-то.

— Газ! — с дрожью в голосе произнес Михаил Степанович.

— Газ! — крикнули все. — Газ! Газ!

Октябрьский круто повернулся, обхватил за шею Скафу и крепко поцеловал его в губы.

Колблемый потоком воздуха, столб голубого огня клонился то вправо, то влево. Падая горизонтально, он расширялся, образуя широкое, трепещущее в темном воздухе прозрачно-голубое знамя.

Подбежавший к нам Кузьмич снова снял свою мохнатую шапку и размахивал ею в воздухе. Обращаясь к нему, Скафа спокойно попросил:

— Василий Кузьмич, скажите, чтоб прекратили дутье.

Кузьмич кинулся к зданию. Почти в тот же момент компрессор, понижая голос, дошел до октавы и затих. Голубое пламя в воздухе внезапно осело. Оно легло по краям трубы и васильковым венчиком затрепетало в воздухе, умирая. Скафа, прищурившись, молча смотрел на него, как бы изучая действия хитрого своего противника. Затем он повернулся, подошел к трубе и повернул кран. Пламя исчезло.

— Надо проверить, — сказал он, ни к кому не обращаясь, и пошел в сторону, к шурфу.

Минут через десять он возвратился. Спокойно повернув кран, тихо сказал: «Все в порядке». И крикнул: «Дутье!».

Снова послышалась октава компрессора. Подошедшего Кузьмича Скафа попросил:

— Василий Кузьмич, нужно повторить.

Кузьмич опять побежал к свече, зажег факел, полез наверх...

Когда компрессор взял высокую ноту, в небе снова взвилось голубое пламя.

... Люди облюбовали участок земли. Пробили две дыры на расстоянии ста метров одна от другой. Дошли по шурфам до угольного пласта. Шурфы выложили огнеупорным кирпичом. Спустили по ним до угольного пласта железные трубы. По пласту угля пробили штрек — проход от одного шурфа до другого. Образовалось угольное поле в 12 тысяч квадратных метров, или более десяти тысяч тонн угля, взятых для опыта. На поверхности земли кислородопроводные трубы соединили с компрессорами в каменной пристройке к барока. Кислород провели от азотнотукового комбината. И вот, когда электрическая искра воспламенила под землей заранее заложенные горючие материалы, когда от них загорелся уголь, когда компрессоры стали раздувать этот пожар потоком воздуха, обогащенного кислородом, — уголь под действием кислорода начал как бы плавиться, таять, гореть в земле, выделяя газ. В один шурф идет кислород под землю, сжигая уголь, по другому

шурфу из-под земли по трубам подымается газ.

Мы смотрели на огонь, зачарованные его красотой. Не заметили, как стало рассветать. Надо было отправляться домой. И когда автомобиль наш двинулся от маленького каменного здания, мы долго еще видели позади себя полыхающее в небе голубое пламя.

★

Процесс горения угля идет нормально. Дутье обогащено кислородом: вместо обычных в воздухе 21 процента кислорода оно содержит 27 — 30 процентов. Над «свечою» непрерывно полыхает пламя.

Дутья дается до 3.000 кубических метров в час. Установлено, что при большем обогащении его кислородом процесс горения угля убыстряется, повышается температура подземного пожара, улучшается качество газа.

Удача воодушевляет. Люди забыли о сне. Питаются раз в сутки. Никто не уходит с участка.

За двенадцать дней работы опытная шахта «Подземгаза» дала миллион кубометров энергетического генераторного газа. А «свеча» все горит и горит.

Часто люди останавливаются, не в силах оторвать взгляд от чарующего голубого пламени. Кто смотрит на него с осязанным восторгом, кто — как на чудо. А люди науки и техники, изучая процесс горения и состав выделяющегося газа, открывают все новые и новые перспективы практического его использования.

В наше время, несмотря на механизацию процесса угледобычи, удается взять натурой только 60 процентов угля. Подземная же газификация позволяет использовать уголь на все 100 процентов. Значит, на 40 процентов могут быть увеличены угольные запасы земли. Кроме того, имеется огромное количество бросового угля; из-за маломощности пластов его нельзя взять ни ручным, ни механическим способом. Газификация позволяет и этот уголь использовать целиком.

Далее. Газ является топливом, во-

много раз более экономичным и удобным, чем уголь в натуральном виде. Он сгорает со значительно большим коэффициентом полезного действия. Так, например, на 1 киловатт-час электроэнергии расходуется 4 тысячи калорий тепла, а теоретический расход должен бы составлять всего 860 калорий.

Это значит, что тепло, содержащееся в нетвердом топливе, мы используем лишь на 20 процентов. Если же двигатель внутреннего сгорания перевести на газ, то коэффициент полезного действия составит 36 процентов, т.е. повысится почти вдвое.

Таким образом, мы как бы откроем еще столько же угля, сколько его имеем.

Для превращения тепла газа в электроэнергию не нужно ни складов, ни дробильных установок, ни отдельных бункеров, ни рабочей силы. Не понадобятся ни паровые котлы, ни паросиловое хозяйство. Газ можно транспортировать на большие расстояния посредством газопроводов, следовательно, не нужны груженные углем поезда с дорожно стоящими паровозами.

С переводом заводов и электростанций на газ проблема борьбы с копотью, пылью и вредными, отравляющими воздух отходами разрешается сама собой. Наши города и промышленные поселки больше не будут коптиться в угольном дыму и засыпаться золою.

И, наконец, предполагалось, что при подземной газификации будет получен только энергетический, т.е. горючий, газ. В процессе же работы опытной установки авторы проекта неожиданно для себя получили другой, значительно более ценный, газ.

Случилось это таким образом.

Спустя месяц после того, как началась в шахте опыты, работа была приостановлена вследствие завала шурфа. И тут-то обнаружилось одно замечательное обстоятельство: когда из шахты был взят для анализа газ, оказалось, что он содержит много водорода. Выяснив причины этого неожиданного явления, руководители опытов установили, что при вдувании в шахту воздуха образуются тяжелые газы, вроде углекислоты, и легкие газы. Легкие газы просачивают-

ся сквозь горные породы и соединяются с парами воды, образуя там под влиянием высокой температуры. При этом возникает смесь, представляющая собою водяной газ.

Водяной газ обладает самым высоким коэффициентом полезного действия по сравнению со всеми другими газами. Он вдвое легче энергетического газа и прекрасно горит.

Помимо всего этого водяной газ является сырьем для производства ценнейших химических продуктов. Водяной газ дает водород для производства аммиака. Из него также можно получить искусственный бензин. Поэтому в отличие от энергетического газа, который является только горючим, водяной газ называется технологическим газом.

После того, как выяснилось, что путем газификации угля можно получать не только энергетический, но и водяной газ, на Горловской шахте вдувание воздуха, обогащенного кислородом, стали производить с перерывами. Пока вдувают воздух, получается энергетический газ. Когда же дутье приостанавливается, из шахты начинает выделяться водяной газ. Остановка дутья, разумеется, не может быть слишком продолжительной, иначе процесс газификации прекратится.

Таким образом, на Горловской шахте одна треть получаемого сейчас газа, это — водяной газ, а две трети — энергетический. Соотношение может быть изменено: если вдувать в шахту горячий воздух или же воздух с большим содержанием кислорода, можно получить почти одинаковое количество того и другого газа.

★

Вот уже десять месяцев, не потухая ни на минуту, горит голубой огонь.

Температура под землей достигает 1.200—1.500 градусов. Каменная порода, окружающая уголь, плавится, течет вниз. Происходят обвалы. Но уголь все горит и горит. Подземные пожары, куда угольные пласты горят по 10—15 лет и больше, известны каждому горняку. Но никогда еще не было, чтобы люди управляли огненной стихией под землей.

За десять месяцев шахта «добыла»

3 тысячи тонн угля, не имея ни клетки, ни копра, ни шахтного оборудования, ни забойщиков, ни конопонов, ни электровозов и врубовых машин, ни всего того, что необходимо для обыкновенной угольной шахты.

Выработанного количества газа, если бы его сжигать в газовых турбинах, хватило бы для того, чтобы давать электрическое освещение в течение девяти месяцев всей Горловке, в которой насчитывается свыше 100 тысяч жителей. А ведь это только опытная установка.

Интересно, Матвеев, рассказывая нам о будущем в ту памятную ночь, когда мы сидели в комнате в ожидании появления газа, говорил, между прочим, что скоро автомобили будут ходить на газе и заряжаться газом так же, как они теперь заряжаются бензином. И вот в газетах опубликовано следующее сообщение:

«В Москве началась подготовка к строительству первой опытной газонаполнительной станции. Она будет снабжать сжатым газом грузовики и автобусы, приспособленные для работы на газовом топливе вместо жидкого (бензина).

Газ для сжатия станция будет получать по трубопроводу от московской газовой сети.

Проектирование опытной газонаполнительной станции полностью закончено, оборудование готово, площадка уже выбрана. Строительство предполагается начать в текущем году. В дальнейшем намечается также постройка в разных районах Москвы газовых колонок (наподобие бензиновых), где автомашины смогут пополнять свои запасы газового топлива.

Опыт эксплуатации первой газонаполнительной станции послужит основанием для проектирования таких же станций промышленного типа. В первую очередь станции намечено построить в городах и районах, обеспеченных газом: Москве, Ленинграде, отдельных пунктах Донбасса и др.

Перевод части автотранспорта на газовое топливо даст большую экономию бензина».

★

Академия наук СССР ведет опыты по подземной газификации нефти. Они были осуществлены на одном из майкопских промыслов. Установка действовала в районе, который считался истощенным и где добыча нефти была прекращена.

И вот теперь в этом заброшенном районе опытная установка дала за восемь месяцев 10 тысяч тонн нефти, около 5 миллионов кубических метров газа и 100 тонн газового бензина.

На всех существующих пяти опытных станциях «Подземгаза» — в Донбассе, Кузбассе, Подмосковном бассейне и на Северном Кавказе — экспериментально сжигались пласты угля в 0,4 метра, 0,75 метра, 2 метра, 4 метра от бурых подмосковных до антрацитов в городе Шахты. И всюду опыты дали блестящий результат. Проверялись затем пласты различного рода залегания — от горизонтальных (подмосковные) до почти вертикальных (78 градусов падения, в Горловке). Эти опыты тоже блестяще удались.

Испытывались и различные режимы работ в их химической сути: дутье — от чистого воздуха до технически чистого кислорода, от паро-кислородного до чисто парового. И эти опыты оказались положительными. Любого качества уголь горит в любом положении, при любом дутье.

Теперь встает вопрос о строительстве чисто промышленных химико-энергетических комбинатов на газовом топливе.

После пятнадцати месяцев непрерывной опытной работы Горловская установка была потушена. Экспериментальная проверка теории подземной газификации на первой своей стадии проведена всесторонне. Непоколебимо доказана возможность промышленного использования газа, полученного непосредственно из-под земли. Вместо потушенной установки закладывается полупромышленная станция подземной газификации.

Возле маленького домика, в котором мы пережили столько незабываемых минут, строятся два пятиэтажных здания. Одно из них предназначено для Науч-

но-исследовательского института подземной газификации; во втором будут жить научные работники.

Уже существуют два замечательных проекта. На синюю кальку рукой талантливого инженера-большевика нанесены контуры будущих промышленных химико-энергетических комбинатов.

Первый проект предусматривает промышленное использование энергетического газа в 1.000—1.200 калорий для отопления паровых котлов. Газ будет направлен на заводы; одновременно он будет освещать улицы, двигать трамваи, отоплять дома.

Второй проект предусматривает использование технологического газа с более высокой калорийностью на химических заводах для получения бензина, масел, кислот, удобрений и т. д.

На обоих комбинатах будет безраздельно властвовать химия. Тяжелый физический труд забойщика заменит здесь химическая реакция, а сложный труд химика — автоматическая аппаратура.

Угольная энергия будет обходиться баснословно дешево.

Полностью оправдывается изумительное технологическое предвидение Ленина, что «стоимость электрического тока понизилась бы, при таком техническом перевороте, до одной пятой, а может быть даже до одной десятой теперешней стоимости».

Газ строящихся сейчас новых подземных установок будет стоить в два-три раза дешевле газа, получаемого в обычных надземных генераторах. А на проектируемых промышленных комбинатах, которые должны быть созданы в третьей пятилетке, стоимость газа снизится еще на 30—50 процентов.

Производительность труда на газовых подземных установках уже сейчас в 4—5 раз выше, нежели на механических шахтах. А на будущих промышленных комбинатах она увеличится еще в 4—5 раз.

Следовательно, настолько же снизится и стоимость электроэнергии. Это и будет одна десятая теперешней стоимости.

★

Прошло еще восемнадцать месяцев, и 1 декабря 1937 г. в Горловке, рядом с потушенной опытной установкой, была пущена в ход полупромышленная станция «Подземгаза».

Она во много раз мощнее опытной установки. Глубина скважин и расстояния между ними увеличены. Угля под землю взято для газификации 60 тысяч тонн. С момента пуска станции газ пошел не в воздух, а на полтора километра по трубе на химический завод в топку паровых котлов. И с тех пор станция бесперебойно дает заводу 8 тысяч кубометров газа в час, что равняется 60 тоннам угля в сутки.

Одновременно строится вторая очередь станции. Это настоящее промышленное предприятие, которое будет снабжать газом химический завод, и тогда оно будет давать в час уже 30 тысяч куб. метров газа. В то же время будут проводиться дальнейшие опыты по всему производственному циклу: от получения газа до переработки его в химическую продукцию. Свой газ, своя электроэнергия, полученная на этом газе, своя переработка газа в аммиак — это и есть прообраз химикоэнергетических комбинатов, которые будут построены на основе подземной газификации.

Обслуживать станцию будут всего 34 человека. В числе их — четыре сменных инженера, старший химик, пять лаборантов, контрольный техник, инженер по обработке материалов и двадцать высококвалифицированных рабочих. Уже теперь управляет станцией только один инженер-диспетчер. Нажатием кнопки достигаются нужная интенсивность горения угля под землей и получение необходимого количества газа требуемой калорийности.

Построены парокотельная, механический цех, компрессорная, диспетчерская и два больших красивых дома. Один предназначен для Института подземной газификации, другой заселен инженерно-техническим персоналом станции. Станция занимает площадь около десяти гектаров, и по всей этой площади протянуты трубы, уходящие с поверхности в землю.

Процесс газификации идет беспрепятственно. Газ из-под земли поступает в охладительные аппараты, от них к топкам паровых котлов и там в виде синенького дымка сгорает, вырабатывая пар и электричество.

В ста километрах от Горловки—в городе Лисичанске — строится новая гигантская станция «Подземгаза». Лисичанская станция будет давать миллиарды кубометров газа в год, снабжая им близлежащие заводы и электростанции. И это согласно лишь предварительной геологоразведке. Она войдет в строй промышленных предприятий в начале 1939 года.

Одновременно проектируется еще более мощная станция в Кураковском районе Донбасса. Там будет построена электрическая станция, по мощности в 3—4 раза превышающая Днепрогэс. Эта станция будет работать на подземном газе.

Недавно нарком тяжелой промышленности тов. Л. М. Каганович, говоря о ближайших задачах химической промышленности, сказал: «Самая важная

сейчас задача—подземная газификация угля». От работников «Подземгаза» он потребовал еще более энергичного строительства новых станций, еще более решительного перехода от экспериментов к промышленному освоению этих новых предприятий.

Так быстро у большевиков мечты превращаются в действительность! Давно ли была запущена первая опытная установка, и люди, дрожа за результаты опыта, мечтали о будущем? Прошло всего три года, и на наших глазах мечты превращаются в реальные факты.

С каждым годом все большее число предприятий социалистической промышленности будет переходить на энергию, добытую подземной газификацией угля. Этот переход постепенно «избавит миллионы рабочих от дыма, пыли, грязи, ускорит превращение грязных, отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории». И это будет началом великого промышленного переворота, предсказанного Лениным, вдохновленного и организованного Сталиным.

Кондуктор Никифоров

(БЫЛЬ)

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

★

О том, что человек од незаметный, ему дали понять еще в царскую войну, когда он впервые пришел наниматься на железную дорогу. Начальник станции строго осмотрел его самого и документы, хмыкнул и сказал скрипучим начальническим голосом:

— Уж очень ты, братец, того... И название-то у тебя... только что имя — Павел, а дальше — Никифоров сын, Никифоров и фамилия, читать даже скучно...

Павел сильно испугался, что не возьмут на работу. Но в то же время стало очень обидно от слов начальника, и он сказал тихо:

— А отца и вовсе звали — Никифор Никифоров сын Никифоров.

— Ну и что же? — сердито удивился начальник.

— Ничего... Работал, как все люди работают...

Павел в душе уже раскаивался в непривычной смелости разговора. Но наняться всё-таки удалось.

Было это больше двадцати лет тому назад, на той же самой станции Данилов, на которой я познакомился с Павлом Никифоровичем летом прошлого года... Но о тех временах он вспоминал довольно равнодушно:

— Поступил, известное дело, почему... Крестьянствовать-то в тогдашнее время — это ведь не то было, что теперь. Мне тогда двадцать пятый пошел, а я женат уж был, да на сироте, — за хороший характер женился, а не то, чтобы за хозяйство... Ну, и думал — на же-

лезной дороге все ж таки скорей на прожиток заработаю. А вышло, что заработал — хворь одну...

До революции служил Павел Никифорович Никифоров и стрелочником, и сцепщиком вагонов, и составителем поездов, и «дослужился», наконец, до... станционного сторожа: пришлось перейти на такую должность по нездоровью. весьма быстро нажитому на железной дороге оттого, что господин начальник умел «ездить» в работе именно на людях тихих и незаметных.

В первые годы советской власти лечиться тоже было некогда — приходилось, пожалуй, одинаково трудно и хворым, и здоровым: но в тысяча девятьсот двадцать первом году даниловский отдел здравоохранения занялся железнодорожником Никифоровым обнаружил:

— Язва желудка — несомненная. Утрата трудоспособности — семьдесят процентов...

Проболел крепко почти год, подался Павел Никифорович обратно к сельскому хозяйству, в деревню Большой Дор. Видно, и тогда уже крестьянствовать стало полегче, чем при царе; болезнь вскоре приутихла малость, потом и совсем пошло дело на поправку, а через несколько лет стал железнодорожником инвалид Никифоров в своей деревне «средняком» не хуже многих других.

Но тут, к удивлению жены, Варвары Федоровны, повернулось дело совсем неожиданно. С возвращением здоровья

возвратилась к Павлу Никифоровичу и тяга на транспорт.

— Да куда ты, опять, что ли, заболеть хочешь? — говорили соседи.

— Теперь не заболую, теперь время другое, — слышали они в ответ, и Варвара Федоровна по сосредоточенному, задумчивому лицу мужа видела ясно: не шутит, всерьез решает...

— Неужто, в самом деле, скучаешь?

— Привык ведь я, Варя...

Перед новым — тысяча девятьсот тридцатым — годом бывший железнодорожник Никифоров опять появился на родной станции Данилов. Теперь он, немного смущаясь, попросился даже в кочегары, настолько здоровым и окрепшим чувствовал себя. Однако железнодорожный доктор не пустил на паровоз, — дескать, чего доброго, еще опять язва даст себя знать, кочегарская работа трудная...

— Я работы не опасаясь, — сказал Павел Никифорович, улыбаясь доктору, как хорошему знакомому. Уж очень было радостно чувствовать, что все-таки принимают, что можно опять вернуться к своему настоящему делу...

Пришлось снова начинать со стрелочника. Но теперь, действительно, время было другое. Шел первый год первой социалистической пятилетки, железным дорогам страны всё прибавлялось да прибавлялось дела, и Павел Никифорович Никифоров почуял своим простым и честным сердцем труженика: теперь такие, как он, пригодятся и не только в стрелочниках!

Станция стала куда шумней и хлопотливей — на Северной дороге, как и на других, быстро росли перевозки. Поступив сначала временным стрелочником, Павел Никифорович уже через четыре месяца был переведен в штатные стрелочники, но эту работу считал, однако, временной; тщательно изучая в часы досуга весь распорядок движения поездов, он в душе твердо положил себе — стать кондуктором.

— Сорок лет ведь стукнуло, — сказал он как-то жене, словно ища оправдания себе. — Кабы не хворь та, я бы сколько лет уж кондуктором ездил! А службу-то не хуже любого знаю...

И Варваре Федоровне показалось, что муж будто даже и на нее немного в обиде — неужто, мол, она сама-то не понимает, как тяжело ему до сих пор еще не стертое воспоминание о прежней злой судьбе...

К следующей весне грузовое движение по дороге так усилилось, что кондукторских бригад уже не хватало. Тут-то и пригодилась квалификация и старательность Никифорова: еще оставаясь стрелочником, он чуть не целое лето проездил — в свободные от дежурств на стрелках часы — младшим кондуктором товарных поездов, на участке Всполье—Данилов. За это была объявлена Павлу Никифоровичу благодарность от лица службы, и занесение этой скромной награды в трудовой список было большой радостью в семье. Но радость оказалась кратковременной...

В том же тысяча девятьсот тридцать втором году Никифоров получил выговор — «за неправильную постановку стрелки № 6 при отправлении поезда с четвертого пути, которая была переделана перед самым проходом, вследствие чего поезд отправился по незапертой стрелке».

Павел Никифорович стал опять молчалив и тих. Он, действительно, не успел во-время перевести стрелку, потому что был срочно занят — по указанию старшего стрелочника — при маневровом паровозе; однако сам же и заметил неисправность и моментально перевел стрелку, не успев лишь запереть ее — до прохода поезда по стрелке — на замок. Он сам глубоко чувствовал свою вину, но ведь не меньше был виноват и никем не обвиненный старший стрелочник Комаров, который обязан был своевременно проверить готовность маршрута!

Это, видимо, не хуже знало и руководство станции: в ту же осень стрелочник Никифоров был повышен на должность сцепщика. Через несколько недель он прекрасно освоился и с новой работой, и в слякоть, и в дождь быстро и правильно формируя поезда, как вдруг новый случай, как камень, свалился на его голову.

На станции произошло столкновение

товарного поезда с маневровым паровозом. Были отданы под суд оба виновника — и дежурный по станции Сизов, и старший стрелочник Резвов. Оба получили «по заслугам», был снят и машинист маневрового паровоза Чинарин. Сцепщика Никифорова не привлекали на суд даже и в качестве свидетеля — на этот раз он был уж совсем не причем: авария произошла из-за приема поезда на занятый путь, а проверка стрелок никак не входила в обязанности сцепщика.

Но, тем не менее, когда и следствие, и суд уже кончились, Павла Никифоровича приказано было... уволить. Дорожная комиссия по расследованию в своем протоколе записала и это решение, без всякого основания и против всяких правил посчитав, что именно сцепщик (а не дежурный по путям Семенов) должен был проверить положение стрелок, кроме старшего стрелочника, отвечающего за это.

Варвара Федоровна знала, как тяжело ударила мужа эта явная несправедливость. Впрочем, не только Павел Никифорович и его товарищи по работе видели несправедливость, — сам начальник станции целый месяц собирался с духом, чтобы привести в исполнение нелепый приказ и этим лишиться хорошего, честного работника: но, наконец, двадцатого декабря, в ясный морозный денек, надолго запомнившийся в семье Никифоровых, увольнение всё-таки произошло.

— Ну, уж коли таких работников да негодными оборачивать... — ахали соседки у калитки перед Варварой Федоровной. А муж, отогревая у печки иззябшие на работе руки, рассказал что-то и вовсе несуразное: оказывается, вот сейчас только, выдав расчет, начальник тут же предложил уволенному сцепщику... вернуться на работу.

— Так и сказал: поступай, говорит, опять к нам же на станцию, только не сцепщиком, чтобы, значит, приказ не нарушать, а опять стрелочником...

В первый раз в жизни Павел Никифорович изменил тогда своему «тихому характеру». Он отверг предложение начальника и принял другое, полученное

в те же дни из соседнего Ярославля. Ровно через неделю после увольнения он уже ездил на товарных поездах младшим кондуктором ярославского резерва.

Работал Никифоров, как и прежде, безупречно: не прошло и четырех месяцев, как он уже был переведен с товарных поездов на пассажирские; еще через два месяца, выдержав соответствующие испытания, получил повышение в старшие кондукторы товарных поездов, а затем—очень скоро—и в главные кондукторы ярославского резерва...

Стала замечать Варвара Федоровна, что муж опять повеселел, что понемногу забываются прежние незаслуженные обиды. Дело свое Павел Никифорович любил всё больше и больше, добросовестность и опыт его ценили и товарищи, и руководство, жена тоже была довольна наладившейся хорошей жизнью семьи, — чего еще было желать?

В это самое время и случилась с ним новая беда...

Метельной январской ночью его поезд шел по перегону Филено — Коченятино. Та зима была тяжелой на всем пути от Ярославля до Вологды, как и на многих участках Северной дороги. В качестве главного кондуктора Павел Никифорович находился, как и всегда, на своем посту — все время настороже, хотя перегон был давно знакомый, много раз изъезженный. Надежному считался и Борисов, машинист. Но всю ночь гулял в поле буран, — и, во тьме и пурге подходя к 287 километру Северной дороги, чуть не налетел паровоз на лошадь с санями, застрявшими на самом переезде. Резко затормозив, — едва успел машинист предотвратить несчастье, — локомотив остановился всего за двадцать метров от саней...

Случай произошел на под'еме, правда, совсем небольшим, но состав был порожний; и Павел Никифорович дал сигнал ехать дальше, не имея ни от старшего кондуктора, ни от младшего, ни от ехавших с поездом двух смазчиков никаких предупреждений о неблагоприятии с поездом. Между тем от резкого торможения в составе произошел при остановке обрыв — на двадцатом от хвоста вагоне, как-раз на том единствен-

ном тормозе, для обслуживания которого в поездной бригаде не хватало одного младшего кондуктора. Там, по распоряжению Павла Никифоровича, должен был находиться в пути один из смазчиков, но он, как выяснилось потом, еще на предыдущем перегоне ушел самовольно на тормоз к другому смазчику, ничего не сказав об этом главному. А старший кондуктор, хоть и находился в хвосте поезда, оставшемся на месте обрыва, начал сигнализировать главному фонарем только тогда, когда уводимый паровозом состав уже скрылся за поворотом пути...

Так попал главный кондуктор Никифоров на скамью подсудимых. Совершенно убитый горем, он словно даже и не заметил на суде, что машинист Борисов почему-то оказался там не обвиняемым, а только свидетелем, и даже пытался выступить в роли обвиняющего, пока сам судья не остановил машиниста многозначительным и довольно странным замечанием:

— Вы бы уж сидели да молчали, если вас комиссия самого под суд не отдала!

Почему комиссия так поступила, почему суд «не счел возможным» исправить ошибку комиссии, — все это Павлу Никифоровичу осталось неизвестным, да и совсем не интересовало его — настолько был он подавлен своим несчастьем.

По приговору он получил год принудительных работ и запрещение на два года занимать на транспорте должности, связанные с движением поездов. Оба смазчика получили по полугоду принудительных работ, а старший кондуктор, как и машинист, почему-то отделался ничем...

Напрасно жена и товарищи убеждали Павла Никифоровича немедленно обжаловать приговор.

— Чего уж там, — неизменно отвечал он всем, покачивая головой. — Моя ведь вина, что после торможения поезд не осмотрел, — значит, и жаловаться нечего... Уж раз приговорили, — значит, заслужил!

Его не разубедил в этом и тот факт, что даже прокурор в обвинительном заключении квалифицировал его вину лишь как халатность, а не преступление.

И даже, когда один из осужденных смазчиков обжаловал приговор и был затем оправдан следующей судебной инстанцией, даже и тогда Павел Никифорович наотрез отказался последовать его примеру:

— Ну, смазчику простили... а главному кондуктору всё равно не должны прощать. На то он и главный, — не знаю я разве, какая моя обязанность по правилам?

Вскоре после суда он поступил простым сторожем на местную нефтебазу и целый год работал там. И никто, кроме жены, не знал, как тяжело и горько этому тихому, молчаливому труженику переживать свою вину, как-раз в то время, когда стал подниматься в гору родной транспорт, когда каждый честный железнодорожник видел, что родина ждет от него настоящей, полноценной работы и что именно теперь, с тысяча девятьсот тридцать пятого года, обеспечена для этого полная возможность...

Эту возможность Павлу Никифоровичу вернули даже на полгода раньше срока, определенного приговором. С новым ростом перевозок снова стало не хватать кондукторских бригад на дороге, и уже летом — жарким стахановским летом тысяча девятьсот тридцать шестого года — Никифорова позвали опять на поезда, сначала младшим, а вскоре и опять старшим кондуктором.

Вновь воспрянувший духом, словно помолодевший, Павел Никифорович весь ушел в изучение новых наркомовских правил технической эксплуатации. В поездках он показывал другим кондукторам пример трудовой дисциплины, счастливый оказанным ему доверием, стараясь загладить такой работой первую и единственную настоящую свою провинность. Но тут из управления Северной дороги неожиданно пришла справка, напоминающая Буйскому отделению службы движения: еще не истек срок приговора для кондуктора Никифорова, еще до февраля 1937 года не может он занимать должность, связанную с движением поездов!

На этот раз указание было, бесспорно, правильное. Павел Никифорович, сме-

щенный тотчас в поездные багажные раздатчики, принял это даже с легким сердцем: шел уже сентябрь, значит, раздатчиком предстояло поработать всего четыре-пять месяцев, и тогда, снова выдержав полагающееся проверочное испытание, уже вполне законно, с прежними правами вернуться в старшие, а то и в главные кондуктора... В таких думках, в хорошем, спокойном настроении время шло быстро. Наступило ненастье, резкий северный ветер и днем, и ночью подсвистывал в щели старого багажного вагона, исправно отстукивавшего свои рейсы от станции до станции через угрюмые почерневшие леса, через стынущие в холодных туманах поля; но на сердце у багажного раздатчика Никифорова было тепло. Уже сорокашестилетний, попрежнему незаметный человек упорно, как юноша, учился все эти месяцы. Продолжая ездить раздатчиком, он той же осенью сдал экзамен по новым наркомовским правилам на должность главного кондуктора — сдал на «отлично»; потом, уже зимой, был новый экзамен — по государственному техническому минимуму; и этот экзамен Павел Никифорович сдал на «отлично», потому что не потерял даром ни одного из зимних вечеров, свободных от поездов с багажным вагоном...

Оставалось еще месяц-два до конца срока судебного запрета, и в семье Никифоровых всё чаще и радостнее думали о том, что всё тяжелое — и заслуженное, и незаслуженное — скоро останется позади!

Но срок пришел — и прошел. А Никифорова попрежнему держали в багажных раздатчиках — на работе, не требующей и малой доли кондукторских знаний и опыта. Неспособный проявить хоть малейшую нескромность, Павел Никифорович не считал себя в праве даже и заикнуться самому о своих правах. Безропотно продолжал он ездить в багажных вагонах поездов, принимая и выдавая грузы на станциях, стараясь и тут быть точным и добросовестным, как и во всём. Так прошли и зима, и весна: опять наступило лето, солнечное, не по-северному жаркое. И вдруг...

... Как ни привык Павел Никифоро-

вич к неожиданностям в своей судьбе, но он был, что называется, просто ошарашен, когда в начале июня на станции Ярославль у него, из багажного вагона, отказалась принять сундук по багажной квитанции № 321346. Выгрузить сундук было необходимо — он подлежал переправке на станцию Дзержинск: а в ярославской стационарной багажной конторе весовщики Кондаков и Осьмаков заявили, что в сундуке вес не такой, как обозначено в документе, а на целых двадцать три килограмма меньше. Тотчас был составлен акт.

— Товарищи, да что ж это... теперь уж и воров я выхожу? — дрогнувшим голосом спросил Павел Никифорович. — Да я пальцем чужого не трону, а не то, что... Тут безусловно ошибка вышла какая-нибудь, вы проверьте еще раз!

Но проверять никто не нашел нужным. Телеграмма о пропаже у раздатчика Никифорова двадцати трех килограммов груза уже летела по линии — и на станцию Данилов, кондукторскому резерву, и на станцию Буй — отделение службы движения, и даже в Вологду — управлению Северной железной дороги...

Дома, в Данилове, начальство тоже не стало слушать ни объяснений Никифорова, ни просьб о проверке происшествия. Вскоре он был вызван в контору и услышал краткое:

— Распишись, вот, в прочтении приказа...

Приказ был всего в пять строк. В них начальник Буйского отделения службы движения Тараканович, тот самый, который в качестве председателя экзаменационной комиссии еще так недавно подписал удостоверение Павлу Никифоровичу как отлично выдержавшему испытание. — этот же самый Тараканович теперь приказывал:

«За недостачу груза в двадцать три килограмма багажного раздатчика Никифорова с транспорта уволить».

Никифоров расписался. Но всё еще казалось ему, что недоразумение вот-вот выяснится, что его позовут, наверное, к начальству на станцию Буй для личных

объяснений, или что там сами обнаружат ошибку, и непонятный, невероятный приказ будет отменен.

Но ничего этого не было. И Павла Никифоровича уволили, как ни просил он обождать с этим хотя бы до тех пор, пока придет со станции назначения груза подтверждение о действительной недостатке веса.

— Ведь ошибка тут, не иначе, как просто недоразумение!.. — разбитым голосом повторял он каждому, кто соглашался хоть выслушать его. — Только моей-то вины никакой тут нет, товарищи, вот по всей совести говорю! Вы разберитесь, пожалуйста, где ж это видно, чтобы эдак без разбору человека выгонять!

Ничто не помогло. Павел Никифорович Никифоров увидел себя человеком, уже окончательно ненужным советскому железнодорожному транспорту.

★

В солнечные июньские дни мы познакомились на зеленой окраине пыльного городка Данилово.

В прохладной тени, на скамейке у старого палисадника, я долго слушал тихий, неторопливый рассказ пожилого человека о своей судьбе. Но и в этом первом разговоре, и потом, когда дело дошло до проверки всех фактов по документам этой печальной истории, ни разу не пришлось мне услышать от бывшего железнодорожника Никифорова ни язвительных резкостей озлобленного несправедливостями человека, ни унылого нытья.

— Непонятно всё это, оттого и обидно... — лишь однажды сказал он и тотчас понизил голос, заметив, что Варвара Федоровна прислушивается к нашему разговору. — Ведь ежели они правду считают, что украл я, так тогда не только что увольнять, а и судить меня надо! Но, сколько ни спрашиваю, сколько ни хожу — никакого, говорят, суда тебе не будет, уволен — и всё тут. Непонятно поступают со мной!

Действительно, получалось непонятно. Я тут же отправился на станцию, побывал и в конторе кондукторского резер-

ва, и в месткоме. Везде пришлось услышать одно и то же:

— Ничего не известно, товарищ. Уволен по приказу из Буя, по распоряжению начальника отделения товарища Таракановича.

Только Рыльков, временный начальник резерва, к этому краткому сообщению счел нужным дипломатично добавить:

— Надо полагать, что как старый вообще аварийщик и так далее... Конечно, особо серьезных дел за ним не было, работник он аккуратный, старательный. Но ввиду, так сказать, бдительности... нынче на нашей дороге много таких увольняют: раз было хоть какое происшествие, значит, мол, и опять может случиться!

И ни по тону, ни по выражению лица гражданина Рылькова нельзя было заключить с достоверностью, одобряет он или осуждает такие действия своего дорожного начальства. Впрочем, насчет последнего случая с раздатчиком Никифоровым и Рыльков не меньше других высказывал уверенность, что дело о пропаже груза не обойдется, понятно, без следствия и суда.

Однако шло время, а ничего такого не начинали ни Северная дорога, уволившая Павла Никифоровича, ни соседняя Ярославская, принявшая от него груз якобы с недостатчей, ни даже — странное дело! — сам грузополучатель на станции Дзержинск, откуда не поступало почему-то никаких претензий. Рыльков при встречах с Никифоровым наедине стал даже выражать ему свое сочувствие, но на все вопросы отвечал только, что претензия, безусловно, уже поступила, да, наверное, разбирается еще где-нибудь в Ярославле..

А дни текли, и всё оставалось по-прежнему: бывший железнодорожник Никифоров словно вовсе не существовал больше. По утрам — и в жаркие дни, и в дождливое ненастье — теперь постоянно можно было встретить его понурюю фигуру на дороге к станции: он шел узнавать, нет ли для него каких-нибудь новостей — хоть самых неприятных, хоть сообщения о том, что его, Никифорова, вызывают куда-нибудь для допроса. Но

при каждом моем разговоре с Павлом Никифоровичем оказывалось, что новостей нет никаких.

— Так и хожу вот вором... — глухо отвечал он. — Мне бы уж пятно-то это снять, и то ладно. На работу всё равно, видать, не примут — так хоть бы позор-то снять! Ведь до старости уж доживаю, а воором не бывал...

И голос Павла Никифоровича становился еще глуше, а потускневшие глаза его напряженно останавливались на мне, и видно было, что человек теряет последнюю надежду на то, что хоть кто-нибудь поверит ему...

В Ярославль мне удалось съездить только в начале июля, — почти через месяц со дня странного происшествия с багажом.

От недавно прошедшего дождя на привокзальной улице города стояла легкая, приятная свежесть: под выглянувшим снова солнцем блестели и умытые крыши, и стекла домов, довольные лица прохожих говорили об отдыхе от зноя. Разыскав станционную багажную контору, я увидел приятное благоустройство и на лицах работников этого учреждения, обычно пыльного и душного. На первый же мой вопрос старший весовщик Кондаков, вместо ожидаемого долгого копания в отчетности, ответил сразу и даже с явным удовольствием:

— Ага, это насчет сундука, в поезде номер пятьдесят семь! Как же, как же, помню такое дело... Выяснилось оно, гражданин, уж давно выяснилось — никакой пропажи нет! Видать, наш весовщик ошибся как-нибудь... Из управления дороги по телефону нам звонили: со станции Дзержинск пришел, значит, дополнительный акт — получателем груз принят в полном порядке, разница в весе — не двадцать три килограмма, а пятьсот граммов всего-навсего... ну, это при большом багаже дело пустяковое, просто неточность весов!

Сообщая мне все это, старший весовщик даже улыбался, видимо, столько же довольный хорошей погодой, сколько и возможностью удовлетворить посетителя такими приятными сведениями о ликвидированном недоразумении. Когда он услышал в ответ, что недора-

зумение если и ликвидировано, то лишь относительно сундука, а не относительно опозоренного понапрасну человека, багажная контора наполнилась возгласами изумления и самого Кондакова, и всех остальных:

— Да неужто уволили? Это Никифорова-то? Да мы про это и не слышали вовсе!

— Честнейший, ведь, работник... я ж с самого начала говорил — не может этого быть, наверное, путаница какая-нибудь, — ну, так и вышло!

— Эх, зря пострадал человек...

— Вы ему передайте, товарищ, — всё, мол, в порядке с тем сундуком, весовщик Осьмаков это напутал, а ты, мол, Никифоров, вовсе ни в чем не виноват...

Я мог только сказать всем этим людям, что сам-то Никифоров уверен в своей невинности, но что просьба его о немедленной проверке ошибки никто и слушать не стал, вот в этой самой конторе, месяц назад...

Теперь общее молчание было мне ответом. Потом старший весовщик сказал совсем другим тоном, сухо и деловито:

— Ну, мы, товарищ, люди занятые. Рассуждать много некогда, сами видите. А справку, если желаете, могу выдать.

... Когда я, вернувшись из Ярославля в Данилов, показал эту справку Никифоровым, оба обрадовались так, словно этим сразу кончались все обиды и неприятности. Варвара Федоровна просветлела вся. У Павла Никифоровича задрожала какая-то жилка на щеке, он потер эту щеку рукой и сказал тихо:

— Разобрались, значит, всё-таки...

Через минуту он уже стукнул калиткой, спеша опять на станцию — за официальным подтверждением радостной новости.

Подтверждения, однако, не оказалось — ни в тот день, ни через трое суток, ни через неделю. Это было тем досаднее, что как-раз накануне произошло еще одно событие, внушившее Павлу Никифоровичу большую надежду на лучшее будущее: Тараканович, то самое начальство, чьим единственным

росчерком Никифоров был так легко и быстро выброшен с транспорта, — даже без всякой проверки вины, — этот самый Тараканович, только-что был позорно снят с работы как злостный бюрократ и очковтиратель. В подчиненном ему даниловском кондукторском резерве тоже произошла смена руководства: вместо «дипломата» Рылькова начальником стал Шамонин, один из опытных кондукторов-коммунистов; новым председателем месткома выбрали Махова, тоже кондуктора. Оба они хорошо знали Павла Никифоровича, удивлялись новой задержке дела в Ярославле, наконец послали туда письменный запрос: ведь, теперь было ясно, что вернуть человека на работу мешает только бумажная формальность. Еще неделя прошла в ожидании ответа; его не было...

Уже в конце июля, попав опять в Ярославль, я решил попытаться выяснить всю эту невероятную историю прямо в управлении Ярославской железной дороги. В коридорах большого, красивого здания на волжской набережной пришлось изрядно-таки помотаться, пока меня направили, наконец, по назначению: в комнату № 234. Среди сотрудников, населявших ее, багажными делами занимался старичок строгого вида, весьма быстро мне ответивший, что названного мной дела у него вообще не имеется. После нескольких, так сказать, наводящих вопросов он впрочем как будто заколебался: стал заглядывать в разные толстые папки, потом рыться в ящиках своего стола — и вдруг извлек откуда-то несколько сколотых вместе листков:

— Вот, будто оно как-раз...

«Оно», действительно, содержало все нужные документы по этому делу. Тут же был и недавний запрос от нового руководства даниловского кондукторского резерва, — запрос, до сих пор почему-то лежавший у строгого старичка без ответа.

Таинственные причины этого раз'яснились далеко не сразу. Старичок, недовольно жуя губами, сначала сослался на свою перегруженность работой, затем на то, что он ждет какой-то еще справки от багажной конторы. Наконец, к столу

подошел рослый человек в железнодорожной форме, с выражением лица, еще более строгим, чем у старичка.

— В чем дело, товарищ Катков?

Старичок не успел изложить и половины дела, как рослый человек знаком остановил его.

— Понятно. Направить на дальнейшее выяснение. Поскольку один акт противоречит другому, постольку следует еще выяснить...

Оказалось, что это — «сам» Сеннов, начальник отдела, а выяснять он намерен вот что: а не скрываются ли за актом, столь явно оправдывающим раздатчика Никифорова, следы... нового служебного преступления этого самого раздатчика? А что, если он, убедившись в раскрытии хищения и пытаясь уничтожить улики, сам успел явиться на станцию Дзержинск раньше груза и там, войдя в соглашение с другими раздатчиками и весовщиками, уложил всё похищенное обратно в сундук перед выдачей такового получателю? А то, может быть, и просто сумел уговорить получателя не поднимать шума! Ведь постольку такие предположения еще не опровергнуты...

Вид начальника отдела, попрежнему строго официальный, не допускал и мысли о том, что он шутит или же просто философствует в доказательство своей начальнической способности проникать в глубь явлений, не доступную посторонним наблюдателям.

Должно быть, я в качестве слушателя обнаружил при этих рассуждениях весьма растерянное изумление, — по крайней мере, старичок, в почтительном молчании слушавший свое начальство, смотрел на меня в это время укоризненно и нравоучительно.

Чтобы не отвечать на даниловский запрос, у этих людей оказывалось даже и «законное» основание: даниловский кондукторский резерв находился ведь не на Ярославской, а на Северной железной дороге, следовательно, и должен обращаться в Ярославль не прямо, а через свое дорожное начальство.

— На всё порядок есть, — продолжал поучать меня старичок Катков, — вот ежели бы нас по этому делу само

управление Северной дороги запросило, ну тогда бы...

Привычно перелистывая переписку, он вдруг уткнулся глазами в какую-то бумагу и так свирепо зажевал губами, что нельзя было не заинтересоваться текстом, способным вызывать такую смену чувств в почтенном специалисте по багажным делам.

То было служебное письмо из Вологды, как-раз со штампом управления Северной железной дороги, за подписью начальника отдела вокзалов и борьбы с пропажей багажа:

«... прошу раз'яснить, чем вызвано составление багажного акта № 6025 на ст. Ярославль на недостачу веса багажа по отправке Путятино — Дзержинск (баг. квит. № 321346), когда таковая прибыла на ст. назначения в полном весе...».

Судя по дате, письмо лежало у гражданина Каткова — тоже без ответа — уже около месяца. Оказывалось, что давно недоумевает и управление Северной дороги, то самое, за которым Сеннов и Катков признавали исключительное право запрашивать их «по этому делу»!

★

А дело о неслучавшейся пропаже продолжало тянуться еще с неделю. И, наконец, на станцию Данилов пришел ответ, уже совершенно официально подтверждавший полную невиновность Павла Никифоровича.

День был пасмурный, и знакомая улица даниловской окраины в сумерках казалась словно незнакомой: неприветливо смотрели сегодня темные окна домов, — новая электростанция пока давала жителям свой свет только к вечеру, — но в ясные дни он до вечера и не требовался никому, так что к электростанции своей даниловцы все лето не имели особых претензий. В семье Никифоровых, однако, что-то происходило: из окошка их домика на палисадник и ближайшие грядки огорода уже свегила во-всю керосиновая лампа, тогда как обычно в предвечерний этот час и Павел Никифорович, и Варвара Федоровна всегда отдыхали на крыльце или на ска-

мейке у калитки. На этот раз я застал обоих у стола: муж старательно писал, вооруженный очками, жена молча смотрела на его работу, не сводя глаз с листка, уже почти исписанного. Я прочел:

«Начальнику Буйского отделения службы движения Северной железной дороги. От бывшего раздатчика Никифорова. Заявление. Распоряжением бывшего начальника Таракановича я был уволен с транспорта за недостачу груза в багажном вагоне поезда № 57 четвертого июня. И никто из моих начальников не хотел проверить это дело, которое я с самого начала считал чьей-то безусловной ошибкой, только не моей. Прошло уже полтора месяца, и теперь, наконец, выяснилось, что недостачи груза никакой не было, а было лишь расхождение в весе на пятьсот грамм. Так как теперь, наконец, ясно, что увольнение меня с работы произведено неправильно, прошу вас рассмотреть мое дело, снять с меня это позорное пятно и восстановить на работе...».

— Гляньте, ладно ли вышло, — сказал Павел Никифорович, осторожно ставя точку. И даже улыбнулся чуть-чуть, чего я давно не замечал за ним. — Завтра утрышком и пошлю, значит, первого августа уж там будет...

С той же неуверенной, почти робкой улыбкой он посмотрел на жену, словно спрашивал у неизменной своей советницы, так же ли надеется она на успех, как и он сам, впервые за два последних месяца почувствовавший себя сегодня опять полноправным гражданином и работником. Я увидел, что и Варвара Федоровна торопливо улыбнулась в ответ мужу, хотя глаза у нее блестели как будто чересчур влажно — вряд ли от света керосиновой лампы...

В тот вечер я был убежден не меньше их обоих, что горю семьи, такому обидному и незаслуженному, в самом деле пришел конец. Вернувшись из следующей поездки по линии, я думал найти Павла Никифоровича восстановленным полностью и во всех правах, — но оказалось, что он опять... ждет ответа уже третью неделю, теперь, правда, не из Ярославля, а со станции Буй.

Хоть Таракановича там уже не было, но, видно, обычаи Таракановича еще действовали, потому что, сколько ни звонили туда из Данилова по телефону, буйская контора неизменно отвечала:

— Еще не разобрано дело Никифорова. На-днях поступит новому начальнику на доклад...

Окончательно растерявшийся перед новой волокитой, Павел Никифорович, наконец, решился — по настоянию жены и товарищей — сам ехать в Буй. Чего стоило ему это решение, понятно было с одного взгляда на его осунувшееся, словно сразу постаревшее, лицо.

— Видно, не нужен, коли не торопятся разбирать... — сказал он перед отъездом в ответ на все слова ободрения. — А коли не нужен, так как же тут набиваться... Не такой характер-то у меня, чтобы самому за себя говорить!

На станцию Буй поезд пришел ранним-ранним утром, когда день в городе еще и не начинался. Добравшись до конторы службы движения, Павел Никифорович долго сидел на ступеньках перед запертой дверью. Каждого редкого прохожего он провожал почти завистливым взглядом: наверно, не зря рано встал человек, значит, есть ему, куда идти, значит, где-то он нужен, не болтается попусту...

Потом как-то незаметно проснулась вся улица, застучали колеса и лошадиные копыта по новой мостовой, появились хозяйки, спешащие на рынок, затем—шумливая ребятня, довольная прекрасным августовским днем, обещающим и веселое купанье на речке, и игру в футбол на зеленой лужайке. А вскоре уже непрерывно шли мимо Павла Никифоровича люди, отправляющиеся на работу, — молодые или пожилые, веселые или озабоченные, но все сплошь казавшиеся ему счастливыми и даже гордыми своей занятостью...

Он очнулся от горьких своих мыслей только тогда, когда заметил вдруг, что дверь в контору уже отперта. Торопли-

во поднявшись, он заспешил внутрь, ругая себя за потерянное время. Но в комнатах конторы он скоро понял, что хоть за столами и около столов сидит и стоит немало народу, но одни уже заняты какими-то срочными делами, другие не очень заняты, но им нет никакого дела до уволенного багажного раздатчика Никифорова, а третьи сами пришли сюда за справками, может быть, по таким же делам, как и он, Никифоров. Он опять долго ждал, пока один из начальников, хоть и не самый главный, наконец, согласился выслушать его.

— А, так это вы и есть тот самый Никифоров? — сказал он таким приветливым тоном, что у Павла Никифоровича сразу столько легко и хорошо на душе. — Здравствуйте, я — Печников, заведующий техническим отделом. Ну, как-раз вчера ваше дело разобрано, да-да! Увольнение вас с работы безусловно незаконно, и мы вас восстановили, конечно, с полной оплатой всего вынужденного прогула. Идите сейчас же вон туда, там вам выпишут деньги...

Взволнованный и растроганный таким приемом, Павел Никифорович поспешил ответить, что насчет денег он не беспокоится, хотя и благодарит за заботу, а что самое главное для него — поскорее бы получить новое назначение: раз восстановили, так он хоть сейчас же готов на работу, какую поручат...

— На работу? Работы для вас нет, — не то с удивлением, не то с недовольством сказал начальник технического отдела. — При даниловском кондукторском резерве ваша должность багажного раздатчика как-раз теперь упразднена, к вашему сведению, а больше для вас ничего подходящего нет...

Начальник кончил, а Павел Никифорович еще с полминуты простоял перед ним, не выговорив ни слова. Как будто не веря ушам, он ждал, не услышит ли еще чего-нибудь, более понятного и более похожего на дело. Кашлянув, он сказал, наконец, что, собственно, опять в багажные раздатчики и не просится... Может быть, товарищу начальнику неизвестно, что еще прошлой осенью он, Никифоров, выдержал на «отлично»

экзамен на должность главного кондуктора? Конечно, если таких свободных мест сейчас нет, так он согласен ездить и не главным, а старшим кондуктором, или даже младшим пока что...

Начальник Печников нетерпеливо остановил его:

— Ни на какую должность, связанную с движением поездов, вы не можете быть допущены. Разве вы забыли, что это у вас даже в трудовом списке отмечено?

— Товарищ начальник, да ведь тому запрещению уж и срок давно кончился! Ведь это только на два года мне постановили, а экзамены-то я уж после того держал...

— Всё равно, использовать вас не можем. Раз был с вами случай — не можем, понятно?

— Нет, непонятно... — тихо и медленно сказал Павел Никифорович, не отходя от стола и глядя прямо в лицо начальнику технического отдела. Но тот уже не слушал его, занятый с другим посетителем.

Так и вернулся Никифоров из Буя в положении человека, уже ни на что больше не годного. На расспросы и советы он только молча кивал головой, и опять дрожала какая-то жилка у него на щеке, и в потухших глазах сыло мучительное недоумение. Жене он сказал:

— Ну, ничего, Варя... право-то ведь на труд я имею, согласно Конституции... Эти слова сам товарищ Сталин сказал! Конечно, хотелось бы на своем деле работать, но честно трудиться нигде не заочно...

Он поступил опять простым сторожем на соседний завод. Но тосковал явно и в свободное время попрежнему ходил на станцию — не то опять справляться по своему «делу», не то просто посмотреть на проходящие поезда...

Встречая его, старые товарищи кондуктора и вслух, и за глаза жалели, что стало у них на дороге одним честным работником меньше. Иные из них всё еще надеялись, что вот-вот передумают в Буе и позовут Никифорсва обратно. Только жена, Варвара Федоровна, уже не верила больше ничему. В последнем разговоре про мужа она сказала мне, вздохнув:

— Нет, уж такая, видно, судьба у него, да и характер такой...

А я до сих пор думаю, что раньше или позже, а придется буйским начальникам понять, как и ярославским, что нельзя в наше время и в нашей стране безнаказанно калечить судьбу честного труженика, даже если и такой у него характер, как у Павла Никифоровича Никифорова!

Из прошлого русской науки

Прóf. Б. Г. КУЗНЕЦОВ

★

Наука Сталинской эпохи преемственно связана с отмеченной Лениным материалистической тенденцией передовой русской общественной мысли, с материалистическими традициями русского естествознания, с его борьбой против отживших традиций. Передовая наука, «люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устаревшими, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки» (Сталин),—эта наука насчитывает в своей истории немало русских ученых, которые «умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему». Поэтому знакомство с прошлым русской науки усиливает мощь советского естествознания в его борьбе с отжившими традициями.

Особую важность в этом отношении приобрела борьба передовой советской науки за дарвинизм. Победа колхозного земледелия позволила сделать дарвинизм могучим практическим орудием советского сельского хозяйства. Поэтому миллионы советских людей неразрывно связаны с такими выдающимися дарвинистами, как т. Лысенко, и с глубоким сочувствием следят за борьбой новаторов в биологии против реакционного ра-

болепия перед антидарвинистской традицией буржуазной науки.

С другой стороны, новаторы-биологи, связанные с медициной, создающие научную базу для практической медицины, также преемственно связаны с русскими учеными, боровшимися в свое время против идеалистической реакции. Наконец, все отрасли советской науки в борьбе за ленинско-сталинскую передовую науку опираются на пример таких русских дарвинистов, как Сеченов, Мечников, Тимирязев, Мичурин, Павлов и другие. Русские биологи конца XIX и начала XX веков дали блестящие образцы пропаганды и развития взглядов Дарвина. Однако нужно отметить, что и раньше, в XVIII веке и в первой половине XIX века, в России работали крупнейшие предшественники современного эволюционного учения.

В XVIII веке русские научные экспедиции, особенно в Сибирь и на Урал, имели серьезное значение для мирового естествознания. Экспедиции разбивали метафизическую картину неизменной природы. Материалы русских экспедиций были не менее разнообразны, чем описания заморских колоний Европы, но они были не так разрознены. Крупные ученые, работавшие в России, имели перед собой необъятную страну, включавшую различные климатические зоны, разнообразный географический ландшафт, разнообразные геологические отложения, множество видов живой природы. В этой стране жили де-



Петр Симон Паллас

сятки народов с различными бытовыми, хозяйственными и культурными особенностями. Поэтому изучение русской географии, животного и растительного мира, ископаемых, знакомство с населением и хозяйством страны было основой для широких обобщений, лежащих у истоков современной географии, ботаники, зоологии, минералогии и геологии. Изучение России дало сильнейший толчок развитию мировой науки. Среди ученых XVIII века, изучавших русскую природу, крупнейшим был Паллас.

★

Летом 1768 г. Паллас возглавил экспедицию, отправившуюся в Поволжье, Урал и Сибирь. Уже с первой остановки, из Владимира, Паллас отправил Академии наук ящик с образцами минералов и окаменелостями и подробное описание речной губки, найденной в окрестностях Владимира. Дальше следовали остановки в Касимове, Муроме, Арзамасе, Пензе, наконец, в Симбирске. Здесь экспедиция осталась на всю зиму 1768—1769 г. Паллас приступил к раз-

бору находок экспедиции и записей в путевом журнале. В марте на экстренном собрании академии был прочитан присланный из Симбирска подробный доклад Палласа, который к этому времени уже покинул Симбирск и отправился в Самару. После нескольких поездок в районе Самарской луки Паллас уехал в Оренбург, а затем в Яицкий городок. Здесь он изучал хозяйство яицких казаков и рыбное хозяйство на Яике (р. Урал). Последняя проблема увлекла его к каспийским берегам и устью Волги. Зимой 1769—1770 г. Паллас прожил в Уфе, где вел геологические изыскания, изучал животных и растительный мир и занимался детальным исследованием быта яицких казаков, калмыков и казахов. Здесь же был написан первый том «Путешествия» Палласа.

Наступила весна 1770 г., и Паллас снова приступил к изысканиям. На этот раз они относились, главным образом, к геологическому строению Уральских гор. Последующая зима была проведена в Челябинске. Обработка материалов в течение этой зимы прерывалась двумя поездками — в Тобольск и в Тюмень. В следующем году Паллас поехал дальше на восток, через Омск, Алтай, Томск и Красноярск. Здесь снова зимовка и обработка собранных материалов. В Красноярске был окончен второй том «Путешествия». В начале марта 1772 г. Паллас выехал в Иркутск, затем через Байкал — в Селенгинск, в Кяхту и Даурию. В 1773 г. он вернулся в Европейскую Россию и летом приехал в Петербург обессиленный, постаревший и больной. Ко времени приезда уже была напечатана на немецком языке часть его знаменитого «Путешествия». Вслед за этим появился французский перевод и, наконец, в 1773—1788 гг. — русское издание. Оно называется полностью: «Петра Симона Палласа Медицины Доктора, Естественной Истории Профессора, Российской Императорской Академии Наук, Римской Императорской Естествоиспытательной Академии и Королевских Английского, Шведского, Геттингенского Собрания Члена — Путешествие по разным местам Российского Государства по повелению Санктпе-

тербургской Императорской Академии Наук».

В громадных томах «Путешествия» собран богатейший материал. Это полная энциклопедия природы России, составленная на основе непосредственных впечатлений и наблюдений великого натуралиста. Шаг за шагом описаны на страницах этой книги этапы экспедиции 1768—1773 гг., и вместе с ней разворачивается панорама России второй половины XVIII в. При этом множество наблюдений Палласа являются подлинными научными открытиями.

«Путешествием» не ограничиваются итоги экспедиции Палласа. В 1776—1793 гг. Паллас написал ряд монографий, куда частично вошли наблюдения 1768—1773 гг. Самый перечень этих работ указывает на диапазон научной тематики, поднятой при изучении России. В 1776 г. появился первый том «Сборника исторических сведений о монгольских племенах» (второй том вышел лишь в 1801 г.). Два года спустя вышел составленное Палласом описание грызунов. Это классическое, до сих пор не устаревшее исследование стало образцом для монографий по зоологии. В 1784—1788 гг. вышли два тома «Русской флоры». В 1787—1790 гг. был написан «Сравнительный словарь всех языков и наречий». Кроме того, Палласом было написано большое число биологических статей, до сих пор не потерявших научного значения (особенно «Мемуар об изменчивости животных», 1780 г.), и несколько геологических работ («Наблюдения о строении гор и переменах, произошедших на земном шаре, преимущественно в отношении России», 1777 г.).

В 1795 г. Паллас поселился в Крыму. Здесь он занялся своей главной работой, посвященной русской фауне, «Zoographia Rosso-Asiatica». Эта книга была напечатана через двадцать лет после смерти Палласа. Здесь в оригинальной и далеко опережавшей свое время системе изложены сведения о позвоночных России. Большая часть фактического материала собрана самим Палласом. Этот материал ограничен пределами

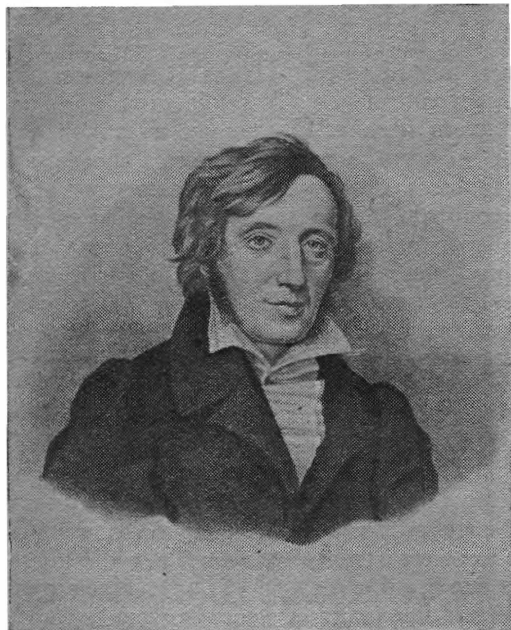
России. Но слово «ограничен» следовало бы поставить в кавычки — материалы наблюдений Палласа охватывают пространство от Балтийского моря до Тихого океана. Созданная на такой базе «Zoographia» оказалась серьезным этапом в историческом развитии всей зоологии, благодаря многочисленности новооткрытых видов, стройности классификации и важности наблюдений. Эти наблюдения привели Палласа к мысли, что нет застывшей грани между животными и растениями (1766). Больше того, Паллас высказывал идею происхождения различных видов от общих предков (1772). Наблюдая организмы в разнообразнейших географических условиях, он говорил о зависимости их строения от окружающей среды (1787). Идея развития проходит и через другие работы Палласа. Он нарисовал древние очертания Каспийского моря и последовательность геологических наслоений Урала.

Таким образом, великий труженик науки, отдавший всю силу научной страсти, исключительной наблюдательности и широты обобщения изучению нашей необъятной страны, открывший сотни новых минералов, новых животных и растительных видов и положивший начало их научной систематизации и классификации, оказался крупнейшей фигурой среди предшественников теории развития в биологии и геологии.

★

В первой половине XIX в. Карл Бэр, изучая Россию, пришел, подобно Палласу, к выводам, имевшим серьезное значение для мировой науки.

Бэр родился в 1792 г. в пределах нынешней Эстонии, учился в Дерптском университете и в 1814 г. получил звание доктора медицины. Когда армия Наполеона перешла границу, Бэр начал работать в Рижском военном лазарете в качестве врача. Это продолжалось до окончания войны. Затем Бэр учился в Вене, Вюрцбурге и Берлине. С 1817 по 1834 г. он жил в Кенигсберге, руководил зоологическим музеем и вел курс



Карл Бэр

зоологии. К этому времени относятся замечательные работы Бэра, положившие начало современной эмбриологии. Характерной чертой Бэра являлась широта научных интересов. Россия с ее бесчисленными формами животного и растительного мира представляла для него арену наиболее плодотворных исследований. Покинув Кенигсберг, Бэр отправился в Петербург и начал свою работу в Академии наук. Еще раньше он читал труды Палласа и составил доклад об его исследованиях в области русской фауны. Вначале он дважды посетил Новую Землю. Впоследствии главные исследования его относились к бассейну Волги и Каспийскому морю и были связаны с созданием русского рыбоводства. Если широта научного кругозора позволила Бэру охватить все детали русской ихтиологии, то, с другой стороны, разнообразие эмпирического материала, связанного с рыбохозяйственными проблемами, питало теоретические выводы основателя эмбриологии. Эмбриологические работы Бэра готовили эволюционную идею в биологии. Кроме того, сам Бэр разра-

ботал свою теорию эволюции. Несмотря на некоторые виталистические суждения, Бэр говорил о непрерывности развития жизненных форм, о том, что нет «новообразований», а только «преобразования» и пр.

Изучение русских рек привело Бэра к открытию закона, носящего его имя. Уже Паллас обратил внимание на то, что реки северного полушария имеют крутой правый и пологий левый берег. Бэр объяснил это соотношение между вращением земли и направлением течения рек в статье, напечатанной в XXVII томе «Морского сборника» — «Почему у наших рек, текущих на север или на юг, правый берег высок, а левый — низмен» (1875 г.).

Умер Бэр в Дерпте в 1876 г. — восьмидесяти пяти лет отроду. Он дожил до появления работ русского эмбриолога второй половины XIX в. — А. О. Ковалевского.

★

Если Бэр в его эмбриологических работах выступает как один из ранних провозвестников теории развития, то Александр Онуфриевич Ковалевский дал новое направление эмбриологии, опираясь на глубокое освоение учения Дарвина. А. О. Ковалевский родился в 1840 г. и шестнадцати лет поступил в корпус инженеров путей сообщения. Новые интересы, связанные с поворотом русской общественной мысли в 50—60-х годах XIX в., побудили А. О. бросить корпус и поступить на естественное отделение Петербургского университета. В университете учителем Ковалевского был выдающийся русский биолог Л. С. Ценковский. Вскоре Ковалевский уехал в Гейдельберг, где зоология преподавалась известным дарвинистом Бронном, переводчиком «Происхождения видов». Сначала Ковалевский увлекался химией и работал у Бунзена, но под влиянием Бронна он перешел к биологическим исследованиям. В 1864 г. А. О. прочел брошюру Мюллера, жившего в Бразилии и изучавшего развитие ракообразных. Работы Мюллера были началом новой стадии развития эмбрио-

логии, началом эволюционной сравнительной эмбриологии, разработанной А. О. Ковалевским и И. И. Мечниковым в целом ряде блестящих открытий. Выбрав специальность, А. О. вернулся в Петербург и защитил кандидатскую диссертацию. Некоторое время он посвятил усовершенствованию в технике микроскопических исследований и затем уехал в Неаполь, славившийся богатством морской фауны.

В это время стали широко известны и популярны идеи Вейсмана о своеобразии развития насекомых и невозможности аналогий между насекомыми и позвоночными. Взгляды Вейсмана опирались на теорию Кювье, говорившего о замкнутых типах животных и категорически отрицавшего связь между позвоночными и беспозвоночными.

В такой обстановке появились знаменитые исследования А. О. Ковалевского, посвященные позвоночному животному ланцетнику (*Amphioxus*), — классический образец борьбы передового ученого против освященных авторитетом, но отживших, устаревших традиций. Знаменитый среди зоологов неаполитанский рыбак Дживани ловил ланцетников для Ковалевского. Нужно заметить кстати, что у Ковалевского не хватало денег для уплаты Дживани, и он нередко продавал свою одежду, чтобы покупать морских животных.

«Он не щадил ни средств, ни времени, ни здоровья. Ланцетники в Неаполе находились в те времена с большим трудом. Он переплачивал Дживани для того, чтобы добыть их в достаточном количестве, и сосредоточивал все свои усилия, чтобы заставить их положить икру. Долгое время это ему не удавалось. Ланцетники, переполненные яйцами и семенными телами, по несколько дней живали в его банках. Обеспокоенные, они быстрыми движениями всплывали, чтобы затем как можно скорее снова зарыться в песок, выставляя от туда лишь свою головную часть тела. Однако, выведенные из нормальной обстановки, ланцетники не метали икру. Наконец, однажды ночью, Ковалевскому удалось найти несколько оплодотворенных яичек в одной из банок. Он не за-

сыпал всю ночь, и тут-то ему представилась изумительная картина. Яйцо, разделившись на целый ряд сегментов, превратилось в пузырек, одна половина которого углубилась в другую. Вскоре поверхность зародыша стала покрываться мерцательными волосками. Овальный зародыш закружился внутри яйцевой оболочки и, прорвав последнюю, выплыл в виде личинки»¹. Вышедшие из яиц ланцетника покрытые ресничками личинки очень напоминали личинок низших животных: медуз, морских звезд и т. п. Итак — стена между позвоночными и беспозвоночными была разрушена.

Указанная работа была началом аналогичных открытий, создавших современную эволюционную сравнительную эмбриологию. Ковалевский производил свои исследования одновременно с преподаванием в Казанском, потом Киевском, Новороссийском и, наконец, Петербургском университетах. Необходимый материал А. О. добывал во время многочисленных морских путешествий. Например, в 1873 г. Ковалевский произвел свои классические исследования плеченогих у берегов Алжира.

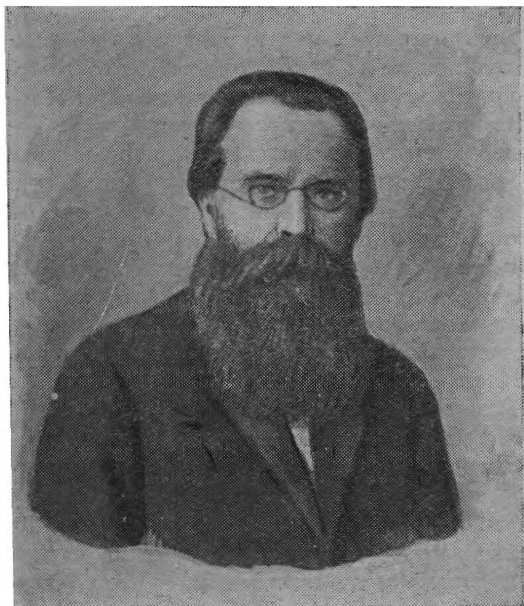
В 1890 г. Ковалевский был избран в Академию наук и с 1894 г. занялся исключительно научной работой, покинув университетскую кафедру. Последние восемь лет его жизни были такими же плодотворными, как и предшествующие. Исследованиям А. О. эмбриология обязана крупнейшими открытиями 80—90-х годов.

★

Через работы младшего брата А. О. — В. О. Ковалевского — учение Дарвина проникло в палеонтологию. Тем самым теория изменчивости видов была подтверждена конкретной картиной живых организмов, последовательно сменявших друг друга и запечатлевших свой облик в ископаемых остатках.

Владимир Онуфриевич Ковалевский родился в 1843 г. В 1861 г. — девятнадцати лет — он уехал за границу, в 1870 г. вернулся в Россию и в ночь с

¹ И. И. Мечников. «Александр Онуфриевич Ковалевский». «Вестник Европы», 1902, декабрь, стр. 781.



А. О. Ковалевский

15 на 16 апреля 1883 г. покончил жизнь самоубийством. Таковы внешние даты жизни великого натуралиста — хронологическая канва одной из самых трагических страниц в истории русской науки.

В. О. Ковалевский учился в Училище правопедения, но в последние годы заинтересовался естественными науками. Сюда тянул его постоянный круг друзей старшего брата, разделявший общее в то время увлечение естествознанием.

Вскоре после окончания училища В. О. Ковалевский уехал за границу, где познакомился с Герценом и другими представителями революционной эмиграции. В 1863 г. он вернулся в Петербург и занялся переводами книг Ляйеля, Брэма и других.

Естественно-научные увлечения русской молодежи были характерной чертой общественной мысли 60-х годов. «Вдруг откуда ни возьмись» объявились признаки какого-то странного брожения — появились новые идеи, новые люди, те «реалисты», на самом деле бывшие до мозга костей идеалистами, которых с такой любовью изобразил в своем Базарове Тургенев, непонятый

старшим поколением; новая жизнь, естественно, наиболее интенсивно охватила молодежь, которая стала в резкую оппозицию к гораздо менее податливому старшему поколению...» — писала впоследствии С. В. Корвин-Круковская — молодая девушка, землячка Ковалевского, приехавшая в это время в Петербург¹. Она стремилась к общественной деятельности и к науке, хотела со своей сестрой уехать учиться и для этого уговорилась вступить в фиктивный брак с В. О. Ковалевским. После свадьбы они уехали в Петербург, а потом на несколько лет за границу. За границей В. О. Ковалевский серьезно занялся геологией и палеонтологией. Он штудирует в Британском музее Кювье, изучает коллекции и, наконец, приступает к самостоятельным палеонтологическим изысканиям. 1871 год застает Ковалевских в Париже.

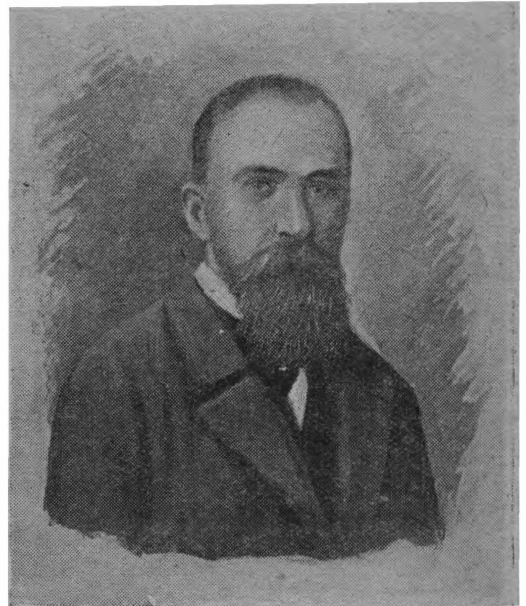
В Париже под руководством Жерве Ковалевский приступил к своим основным палеонтологическим работам.

Каково было в это время состояние палеонтологии? После Кювье палеонтологические исследования состояли почти исключительно в систематизации материала. При этом, по словам Ковалевского, большинство ученых, занимающихся млекопитающими, судили только по устройству зубов, наиболее важному для систематики, не обращали внимания на особенности организма в целом, устанавливали новый род или вид, придумывали для него название и этим ограничивались. Ковалевский — представитель того поколения русской молодежи, для которого Дарвин был не только выдающимся биологом, но и общественным знаменем, — подошел к палеонтологии как последовательный дарвинист. Первая работа Ковалевского была посвящена непарнокопытным млекопитающим (*Perissodactyla*). Кости млекопитающих животных часто находят в отложениях так называемой кайнозойской, т.-е. новейшей, эры. В начале этой эры существовало большое разнообразие

¹ А. А. Борисьяк. «В. О. Ковалевский, его жизнь и научные труды». Л. 1928 г., стр. 9.

копытных животных. Ковалевский рисует картину их эволюции. Постепенно кисти конечностей превращаются в копыта, более удобные для опоры тела. Боковые пальцы исчезают, животные опираются или на два средних пальца, или на один средний. В первом случае возникают парнокопытные животные, во втором — непарнокопытные. Из последних Ковалевский выбрал анхитерия, которого он считал предком современной лошади. Ковалевский сравнивает анхитерия с более древним, описанным Кювье, палеотерием и более молодым в геологическом отношении гиппарионом, кости которого были в то время найдены французским палеонтологом Годри в Греции. Ковалевский считает своего анхитерия промежуточным звеном между палеотерием и гиппарионом. Он пишет о костях анхитерия: «Сравнивая их с палеотерием и гиппарионом, всякий непредубежденный исследователь не может избежать заключения — оно напрашивается само собою, что здесь имеет место трансформация (т.е. развитие из палеотерия гиппариона, и промежуточным звеном является анхитерий), что невозможно предполагать специальные акты творения для признаков, которые все являются переходными. А присутствие этих родов в последовательных слоях еще более подкрепляет результаты, к которым приводит изучение их скелетов»¹. Подробное описание костей анхитерия у Ковалевского совершенно объективно, лишено предвзятых установок и, тем не менее, целиком проникнуто идеей единства и изменчивости органического мира.

Работа об анхитерии появилась в 1873 г. За ней последовали другие. Они имели решающее значение для последующего развития палеонтологии. В 1894 г. самый крупный из американских палеонтологов Осборн писал о работах Ковалевского: «Эти труды смели всю сухую традиционную европейскую науку об ископаемых; они проникнуты новым духом Дарвина, которому посвящена главная работа, в них вопросам проис-



В. О. Ковалевский

хождения придается большее значение, чем установлению новых родов и видов»¹.

Дарвин внимательно относился к В. О. Ковалевскому. Тимирязев рассказывает, что в 1877 г. Дарвин «отметил факт, что в русских молодых ученых он нашел жарких сторонников своего учения, чаще всего останавливаясь на имени Ковалевского». Тимирязев думал, что Дарвин имеет в виду Александра Ковалевского. «Нет, извините, — отвечал Дарвин, — по моему мнению, палеонтологические работы Владимира имеют еще больше значения»².

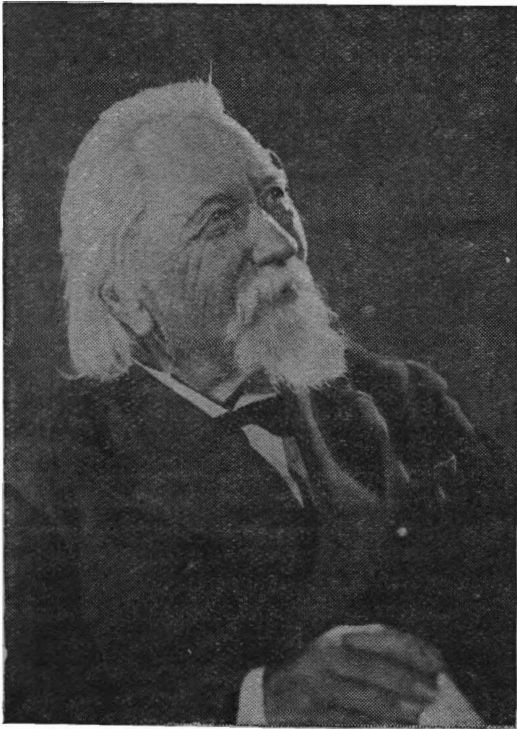
Иначе отнеслась к Ковалевскому русская официальная наука. Когда Ковалевский приехал в Одессу сдавать магистерский экзамен, профессор Сенцов по личным мотивам провалил его, задавая Ковалевскому вопросы, касающиеся деталей, помещенных в бывшем у него единственном экземпляре только-что вышедшей книги. Это произошло в 1873 г.

Возвращение в Россию было кондом

¹ Там же, стр. 119.

² К. А. Тимирязев. «Памяти Дарвина». М. 1910 г., стр. 106.

¹ А. А. Борисяк. «В. О. Ковалевский, его жизнь и научные труды», стр. 8.



А. П. Карпинский

научной работы В. О. С переездом в Петербург Ковалевский бросается в омут финансовых дел. В 1875—1881 гг. Ковалевский запутывается в долгах, тщетно пытается вернуться к науке, опускается все глубже и глубже и, наконец, в 1883 г., в очень тяжелом душевном состоянии, он решает на самоубийство.

Юность, озаренная общественными и научными интересами, быстро промелькнувшее десятилетие творческой работы, тяжелый петербургский период и трагический конец,— вот жизнь В. О. Ковалевского. Эта жизнь ярко демонстрирует влияние русского общественного подема на поступательное движение мирового естествознания и трагическую участь человека, который не нашел в себе сил бороться против растлевающего влияния общественной реакции.

★

Говоря о русской палеонтологии, нельзя, конечно, обойти А. П. Карпинского,

хотя работы последнего охватывают гораздо более широкий круг вопросов. Во всяком случае, палеонтологические труды занимают первое место в литературном наследстве А. П. Карпинского. В них он показал себя прежде всего необыкновенно осторожным, скромным и добросовестным исследователем. Вернее, он соединил тщательность наблюдения и осторожность выводов со смелостью гипотез. Классическим образцом является изучение ископаемой фауны пермских отложений Урала. В них было найдено загадочное ископаемое, которое Карпинский изучал необыкновенно тщательно. Он сравнивал находку с множеством других ископаемых остатков, произвел микроскопическое и химическое исследование, тщательно разобрал и отверг возможно неправильные гипотезы и, наконец, восстановил облик ископаемой рыбы, доказав, что находка представляет ее зубной аппарат. Эту рыбу А. П. назвал «геликоприоном». Но подобные изыскания не были самоцелью. Само разнообразие исследованных форм толкало к единой картине развития. Для А. П. десятки ископаемых остатков были не изолированными единицами, а последовательными ступенями изменения живых форм. Поэтому он искал в самом ископаемом организме указаний на его место в истории жизни и, углубляясь в строение организма, находил необходимые связи. Это, в свою очередь, помогало определить последовательность и возраст геологических отложений, воссоздать историю земной коры.

Вернемся теперь к собственно биологии: Сеченову, Мечникову, Тимирязеву и Павлову.

★

Весной 1843 г. в Петербургское военное-инженерное училище поступил Иван Михайлович Сеченов. Он увлекался физикой и химией, успешно проходил военные предметы, тянулся в строю, но однажды проявил неожиданную строптивость по поводу поблажек, оказываемых генеральскому сыну, впал в немилость, и во время экзаменов начальство наказало Сеченова, не допустив его в высший офицерский класс училища. Сеченов вы-

шел из училища армейским сапером и был назначен в Киев. Новые веяния коснулись саперного офицера через киевскую знакомую молодую девушку, экзальтированную поборницу женского равноправия, образования и служения обществу. Она говорила молодому саперу о лекциях Грановского в Московском университете, заставляла читать сочинения Жорж Занд, Гете, Шиллера и Лессинга. Всю жизнь Сеченов считал себя обязанным этой девушке своими научными интересами¹.

В 1850 г., выйдя в отставку, И. М. поступил на медицинский факультет Московского университета и принялся усердно штудировать анатомию. На третьем курсе, разочарованный схоластическим преподаванием, он бросил слушать лекции по медицине и стал посещать аудиторию историков, где читал Грановский. Но перед окончанием университета Сеченов серьезно заинтересовался физиологией и решил избрать ее своей основной специальностью. Поэтому И. М. забросил работы в клиниках, а по окончании университета уехал за границу к Мюллеру и Дюбуа Реймону. Последний читал курс физиологии, где главным образом шла речь об электрофизиологических явлениях. Им были посвящены и первые экспериментальные работы И. М., сделанные в светлом коридоре возле комнаты Дюбуа Реймона. Затем Сеченов работал в химических лабораториях, после чего приступил к диссертации, посвященной влиянию алкоголя на мышцы и нервы. В 1858 г. он открыл способ выкачивания газов из крови, что сделало его имя известным в европейских физиологических лабораториях. После этого И. М. еще год учился у Гельмгольца и Бунзена и в начале 1860 г. вернулся в Россию. Он защитил диссертацию и приступил к чтению лекций по физиологии.

Сеченов привез с собой новые инструменты для экспериментального изучения физиологии. Студенты-медики впервые увидели гальванометр, индукционный аппарат Дюбуа Реймона и



И. М. Сеченов

штативы для опытов с лягушками. Экспериментальная техника имела принципиальное значение. В 40—50-х годах европейская наука противопоставляла ее реакционным идеям витализма, представлению об особой «жизненной силе». Виталисты апеллировали к нематериальным факторам, не подлежащим экспериментальному изучению. Для России 60-х годов экспериментальная физиология имела особенно широкое общественное значение. Базаров, формулируя идеи нигилистов в разговоре с Павлом Петровичем Кирсановым, заканчивает беседу следующим образом:

«Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать».

Базаровские «лягушки» не были символом. Экспериментальная физиология действительно подрывала «устой».

Первые лекции Сеченова были посвящены животному электричеству. Они пользовались необыкновенной популяр-

¹ См. И. М. Сеченов. «Автобиографические записки». М. 1907 г., стр. 38—41.

ностью. Не случайно русская физиология началась этой областью. Великие русские биологи конца XIX в. «стремились быть физиками», как говорил о себе самый крупный из них — К. А. Тимирязев. Это не значит, впрочем, что Сеченов и Тимирязев хотели свести биологию к физике, что они не видели специфичности биологических процессов...

После двух лет преподавательской работы Сеченов уехал в Париж и там произвел очень важные исследования. И. М. нашел в головном мозгу лягушки центры, которые задерживают спинномозговые рефлексы. Они названы «сеченовскими центрами».

Исследование центров торможения доставило Сеченову европейскую известность. В 1863 г. он вернулся в Россию и на все лето засел писать «Рефлексы головного мозга», где последовательно изложил общие выводы из своих экспериментальных работ. В первой главе устанавливаются основные понятия и описываются наиболее важные явления, относящиеся к невольным движениям. Сначала описан самый простой рефлекс. У обезглавленной лягушки спинной мозг, нервы и мышцы живут еще очень долго. Если ущипнуть такую лягушку, она попытается отпрыгнуть. Такие отраженные движения свойственны животным и при наличии головного мозга. Свойственны они и человеку. Еще с 40-х годов становилось известным все большее число фактов, относящихся к торможению этих невольных отраженных движений. Наконец, был открыт механизм, находящийся в мозгу лягушки и подавляющий ее болезненные рефлексы. Сеченов рассматривает подавление рефлексов у человека. Шаг за шагом он стремится показать, как из рефлексов, при их торможении, вырастают все формы высшей нервной деятельности. Мысль, по его мнению, есть заторможенный рефлекс.

С этой точки зрения, без внешнего раздражения невозможна никакая психическая деятельность. Основная идея книги Сеченова была сформулирована в первоначальном названии ее: «Попытка свести способ происхождения психи-

ческих явлений на физиологические основы». Но цензура потребовала изменить это название, как «слишком ясно указывающее на конечные вытекающие из статьи выводы». Печатание «Рефлексов» было разрешено лишь в специальном медицинском журнале, а когда работа вышла отдельной книжкой, на нее был наложен арест, и авторы решили привлечь к ответственности по статье, карающей «развращение нравов». Впрочем, министр юстиции князь Урусов во-время одумался и решил не возбуждать общественного внимания вокруг «вредной» книги. Приведем отзыв цензуры о «Рефлексах»:

«В этом обширном (около 100 печатных страниц) ученом трактате автор чрезвычайно ловко и более или менее (для читателя-неспециалиста) удовлетворительно объясняет чисто механическим образом все акты психической жизни. При спокойном и сдержанном изложении автор, хотя нигде прямо не касается религиозных верований и нравственных или политических начал, но тем не менее подрывает их, проводя самым обширным образом идею материализма во все акты жизни человека».

Власти рассматривали «Рефлексы» как материалистический памфлет. В России 60-х годов подобная книга неизбежно должна была стать крупным общественным событием. И действительно, вокруг «Рефлексов» начались самые оживленные дебаты. Имя Сеченова ставили рядом с именами Добролюбова и Чернышевского.

До 1870 г. И. М. читал лекции и вел экспериментальные работы в Медико-хирургической академии. В 1870 г. он предложил кандидатуру И. И. Мечникова для кафедры зоологии. Но Мечников был забаллотирован, и возмущенный Сеченов подал в отставку. Вскоре он уехал в Одессу и с 1871 г. преподавал в Новороссийском университете. Делянов предупреждал при этом попечителя Одесского округа: «г. Сеченов имеет репутацию отъявленного материалиста, который старается проводить материализм не только в науку, но и в самую жизнь. Не будучи спе-

циалистом по части физиологии, я не сумею судить об ученых достоинствах г. Сеченова, которые и оставляю в стороне, так как они признаны учеными корпорациями, но вменяю себе в обязанность обратить внимание вашего превосходительства на вышеозначенную сторону репутации г. Сеченова и покорнейше прошу вас сообщить мне: можете ли вы иметь уверенность, что преподавание г. Сеченова в Новороссийском университете и близкие его отношения к юношеству не будут иметь вредные последствия на его нравственное развитие и не повлияют вредным образом на спокойствие в университете».

В 1876 г. И. М. был переведен в Петербургский университет.

Еще в то время, когда Сеченов работал в Одессе, возникла мысль об его избрании в Академию наук. Отделение выбрало его, но общее собрание не утвердило избрания. Имя Сеченова прибавилось к списку крупных ученых, не допущенных в Академию.

В 1888 г. И. М. переехал в Москву, где оставался до самой смерти. Наряду с дальнейшим изучением нервной системы он произвел классические исследования, посвященные газам, растворенным в крови.

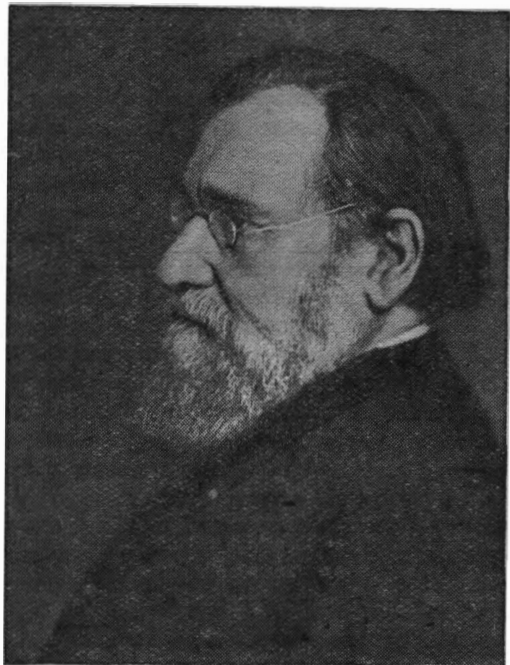
Характерной чертой Сеченова была постоянная тяга к популяризации науки. Свойственное многим крупным ученым умение широко пропагандировать научные достижения было общим признаком русских дарвинистов — их работа была составной частью русского «просветительства». Сеченов был выдающимся популяризатором даже на этом фоне. Особенно удачными были его последние лекции на Пречистенских курсах для рабочих в Москве. Но эти лекции показались опасными и были запрещены. В феврале 1904 г. мировой ученый не был утвержден в должности преподавателя Пречистенских курсов. Это — знаменательная страница в биографии русского физиолога. Впервые Сеченов столкнулся с рабочими. Накануне 1905 г. материалистическое и атеистическое содержание работ И. М. коснулось слуха людей, в умах которых идеи становились силой. Чиновни-

ки, скрепя сердце, разрешали изложение сеченовских работ на страницах специальных медицинских изданий, тормозили опубликование их в общей печати, но допустить Сеченова в рабочую аудиторию — это было слишком опасно...

★

В библиотеке Пастеровского института в Париже, украшенная венками из дубовых и лавровых листьев, хранится небольшая урна с прахом великого русского физиолога Ильи Ильича Мечникова. Почти тридцать лет в Пастеровском институте микроскоп, глаза и мысль И. И. были прикованы к проблемам жизни и смерти организмов. Но это была лишь половина научной деятельности Мечникова, который начал свои исследования восемнадцати лет отроду. Уже в детстве ему предрекали будущность ученого. Его называли «живым серебром» за необыкновенную подвижность, любопытство и живость. В 1855 г. Мечников поступил в Харьковскую гимназию. В следующем году двенадцатилетний мальчик уже читал «Колокол» Герцена и затем взялся за сочинения Бюхнера, Мошешота и Фейербаха. Больше всего он увлекался естественно-научными книгами. Влияние общественного подема было несомненным, но ограничилось научными интересами. Революционно-демократические идеи не затронули Мечникова ни в юности, ни позже.

Окончив гимназию, И. И. уехал учиться за границу. Здесь и проявилась его болезненная впечатлительность. Приехав в Лейпциг, Мечников отправился покупать книги, забыл адрес дома, где он остановился, долго бродил по городу и, совсем расстроенный, уехал в Вюрцбург. Холодная встреча с русскими студентами, сухость сердитых хозяев квартиры — и Мечников, наскоро сложив вещи, в тот же день уезжает обратно в Россию. Что он вынес из этой неудачной поездки? Очень много: в связке лейпцигских книг было «Происхождение видов» Дарвина. Прочитав эту книгу, И. И. поставил перед собой задачу установить непрерывность



И. И. Мечников

ряда связанных между собой видов. Он исследует промежуточные формы и уже в 1863—1864 г. устанавливает новый отряд пресноводных животных. К этому времени Мечников за два года оканчивает Харьковский университет и в 1864 г. снова едет за границу. За границей И. И. встретился с Бакуниным и Герценом. Последний произвел сильное впечатление на Мечникова, но не вовлек его в политическую борьбу. Несравненно большее значение имели встречи с биологами А. О. Ковалевским и И. М. Сеченовым. В эти годы И. И. увлекался эмбриологией. Его диссертация была посвящена сходству сложных, развитых форм животного мира с простейшими. Простейшие, состоящие всего из одной клетки, не имеют, естественно, пищеварительной полости. Поэтому усвоение пищи происходит внутри клетки. Проникнутый идеей единства видов, Мечников уже в 1865 г. нашел в организме ресничного червя клетки, которые переваривают пищу, подобно одноклеточным организмам. Впоследствии он обнаружил вну-

триклеточное пищеварение у ряда губок, иглокожих и других многоклеточных животных. Это было основой дальнейших открытий.

Вернувшись из-за границы, Мечников защитил диссертацию и стал профессором Одесского университета. К этому времени относится первый брак И. И. Вскоре Мечникову пришлось отвезти больную жену в Мадеру, где она умерла. В очень тяжелом моральном состоянии И. И. решился на самоубийство, но принял слишком большую дозу морфия и остался жив. Тогда он решил покончить жизнь другим способом. Мечников впоследствии вспоминал, как в эту минуту, проходя по мосту через Рону, он увидел при свете фонаря летающих поденок и задумался о том, как насекомые, живущие всего несколько часов, могут приспособляться к окружающей среде. Пробудившиеся научные интересы заглушили мысль о самоубийстве. Эта мысль была не последним проявлением тяжелой нервной впечатлительности, но все же во второй половине жизни Мечников все больше освобождается от тяжелого пессимизма своей юности. В этом ему много помогла вторая жена — О. Н. Мечникова, которая стала на долгие годы, вплоть до самой смерти И. И., самым чутким и деятельным товарищем и помощником его. В записках О. Н. Мечниковой¹, написанных в значительной части под руководством самого И. И., мы получили драгоценный документ, отразивший облик, жизнь и творчество великого ученого. В конце 70-х годов и начале 80-х Мечникову особенно нужна была поддержка. Реакционная волна выбрасывала из университетов талантливых и честных ученых и ставила на их место послушных чиновников. Эти факты довели Мечникова до второй попытки самоубийства. В 1882 г. он получил возможность уйти из университета и тотчас же уехал в Мессину для изучения морских животных. Здесь и было совершено одно из крупнейших открытий конца XIX века.

¹ О. Н. Мечникова. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова». ГИЗ, 1926 г.

Мечников и раньше наблюдал, как подвижные клетки многоклеточных животных, подобно одноклеточным организмам, поглощают и переваривают пищу.

Он видел, как одноклеточные животные и подвижные клетки низших многоклеточных поглощают не только пищу, но и проникшие в организм посторонние тела.

У Мечникова возникла мысль о том, что это поедание и внутриклеточное переваривание является защитой организма.

«В чудной обстановке Мессинского пролива, — писал впоследствии Мечников, — отдыхая от университетских передряг, я со страстью отдавался работе. Однажды, когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких-то удивительных дрессированных обезьян и я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям. Чувствуя, что здесь кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если мое предположение справедливо, то заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на нее подвижными клетками, подобно тому, как это наблюдается у человека, занозившего палец. Сказано — сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом деревце была устроена детям рождественская «елка», я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных, как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день рано утром с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу теории фагоцитов, разработке которой были посвя-

щены последующие. 25 лет моей жизни»¹.

В памятное мессинское утро Мечников увидел, как подвижные клетки скопились вокруг занозы. Это напоминало нагноение и воспаление. Клетки человеческого организма — белые кровяные шарики — таким же образом пожирают и уничтожают болезнетворных микробов. Как назвать эти спасительные белые шарики? На обратном пути в Россию Мечников спросил знакомых зоологов, как перевести «пожирающие клетки» на греческий язык. Клетки были названы греческим словом «фагоциты».

Для того, чтобы проверить свою теорию, Мечников в 1884 г. наблюдал под микроскопом мелкое ракообразное — дафнию, в прозрачном теле которой легко можно было видеть борьбу фагоцитов с инфекцией. И. И. видел, как споры паразитических грибков проникают с пищей в кишечный канал дафнии и внедряются в ее тело. Если подвижные клетки — фагоциты — переваривают паразитов, — болезнь прекращается. В противном случае дафния погибает. После опытов с дафнией Мечников наблюдал, как фагоциты борются в крови кролика с микробами сибирской язвы. Здесь он столкнулся с вопросом об иммунитете, т.-е. о невосприимчивости некоторых животных к болезни. И. И. стал искать ответа на этот вопрос и пришел к выводу, что животные невосприимчивы к болезни, когда фагоциты немедленно уничтожают болезнетворных микробов. Если небольшими прививками ослабленных микробов «приучить» фагоцитов к борьбе с ними, то организм приобретает искусственный иммунитет и станет невосприимчивым к инфекции.

Дальнейшая разработка теории фагоцитов была произведена Мечниковым в Пастеровском институте. В те годы в России на месте современного Института экспериментальной медицины и других мировых центров науки о человеке находились жалкие, непригодные ла-

¹ О. Н. Мечникова. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова», стр. 95—96.

боратории, опекаемые чиновниками. Впрочем, и сюда не пускали «беспокойных» профессоров, к которым принадлежал Мечников. Эти условия заставили И. И. в 1887 г. покинуть родину. Он поехал в Германию, но его оттолкнула враждебность некоторых немецких физиологов и условия, существовавшие в германских лабораториях. Мечников нашел пристанище у Пастера. Многолетняя дружба с Пастером, Ру и другими выдающимися французскими учеными и условия для работы, предоставленные ему Институтом, привязали И. И. к этому учреждению. Здесь были произведены многочисленные исследования, которые доставили теории фагоцитов полную победу и признание.

Закончив исследования, посвященные иммунитету, Мечников перешел к давно интересовавшим его проблемам старости и смерти. Он открыл, что фагоциты уничтожают ослабевшие и омертвевшие клетки организма. Позднее И. И. нашел, что седина вызывается клетками, поедающими пигмент волос, морщины зависят от подобного же уничтожения клеток. Что же ослабляет клетки и ведет их к гибели? По мнению Мечникова, совокупность бактерий, находящихся в толстых кишках человека, — кишечная флора отравляет клетки организма и ведет его к старости и смерти. В своих «Этюдах о приросте человека» И. И. рассматривает старость как болезнь. Он указывает на страх смерти, как на доказательство глубокой дисгармонии в устройстве человеческого организма. Человек умирает преждевременно, до появления естественного инстинкта смерти. Унаследованные от млекопитающих предков и ненужные человеку длинные толстые кишки являются сосредоточием бактерий, медленно ведущих к преждевременной смерти. В страхе перед смертью человечество прибегает к религии и философии, но только науки и медицина, по мнению Мечникова, могут побороть естественную дисгармонию и обеспечить человеку «ортобиоз», т. е. нормальную продолжительность жизни, после которой смерть естественна и нестрашна. Наряду с научно-философски-

ми этюдами, посвященными старости и смерти, Мечников наметил положительные пути борьбы с вредной кишечной флорой: устранение сырой, зараженной микробами пищи, введение молочнокислых микробов (например, в простокваше), борьба с инфекционными болезнями, особенно с социальными.

Мечников думал, что патологическая старость и смерть могут быть уничтожены без коренного социального переворота. Но жизнь показала, что ортобиоз недостижим в классовом обществе, что выводы науки могут быть полностью воплощены в практику лишь после освобождения народов от гнета и эксплуатации. В «Этюдах оптимизма» Мечников весь во власти обычных предразсудков насчет ненужности революций, невозможности социализма и т. д. Между тем история демонстрировала, что вне революционного пути человечество обречено на гибель. Мечников не видел той силы, которой было суждено создать общественные предпосылки ортобиоза. Он был очень одинок в своей борьбе против смерти. Поэтому ему не хватало бодрого оптимизма и уверенности, рождающихся из связи с борющимся классом. Это усугубляло природную болезненную впечатлительность. Как могла при таких условиях повлиять на него война? О. Н. Мечникова, которой И. И. поверял все свои мысли и чувства, пишет в своих записках: «Война сделалась мрачным и тревожным фоном жизни. Не на одном поле битвы ее жертвы. Она подписала смертный приговор и тому, усилия всей жизни которого были направлены к охранению людского существования и к выработке рациональных условий жизни. Резкий контраст его стремлений к жестокой действительностью был ударом, которого не могло перенести его отзывчивое, больное сердце»¹.

И. И. Мечников не дождался мрачных подвигов современных апостолов смерти — фашистских заговорщиков против жизни и безопасности народов. Но идейные предшественники Додэ и

¹ О. Н. Мечникова. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова», стр. 197.

де ля-Рока — французские черносотенцы, — в 1912 г. подняв кампанию против иностранца «мэтэка» Мечникова, намного сократили его жизнь. Война была еще более тяжелым ударом. Два года, почти непрерывной болезни, и 18 июля 1916 г. на кладбище Пер-Ляшез были сожжены останки умершего борца за жизнь. Мечников оставил свой прах Пастеровскому институту, открытия — человечеству и славу — русской науке.

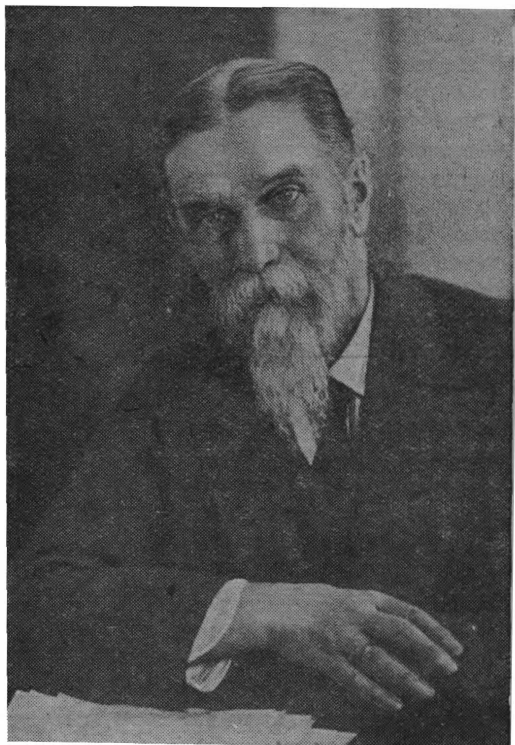
★

Все лучшие черты русского дарвинизма ярче всего воплотились в образе Климентия Аркадьевича Тимирязева. Подобно Сеченову, он изгонял витализм из самых темных углов биологии. Тимирязев показал значение физико-химических и в особенности энергетических закономерностей для жизни организмов, установив, как свет влияет на явления, происходящие в листьях растений. Но материализм Тимирязева не остался механистическим. В работах великого русского дарвиниста была развернута вся многокрасочная картина жизни растений, несводимая к механистическим абстракциям и подчиненная специфическим законам биологии.

Яркий оптимизм проходит через все творчество Тимирязева. Это — социальный оптимизм. В противоположность Мечникову, Тимирязев нашел путь к революции. Гуманизм ученого превратился в мировоззрение революционера. На склоне лет Тимирязев стал под знамя пролетарской диктатуры и вошел в ряды партии Ленина — Сталина.

К. А. Тимирязев родился в Петербурге 23 мая 1845 г. Его родители были незаурядными людьми. К. А. посвятил их памяти свой сборник «Наука и демократия» и, обращаясь к ним, пишет:

«С первых проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по словам поэта, «под кровлею отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой плодотворное зерно», Вы внушали мне словом и примером безгра-



К. А. Тимирязев

ничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде».

Непосредственно от отца, очевидца 14 декабря, Тимирязев слышал рассказ о том, как рабочие, строившие Исаакиевский собор, бросали камнями в царские войска на Сенатской площади. Характерно, что этот факт, ускользнувший от внимания большинства историков, не только был замечен, но и неоднократно подчеркивался в семейных рассказах. Больше того, когда в 1848 г. кто-то стал расспрашивать отца Тимирязева, какую карьеру он готовит своим четырем сыновьям, отец отвечал: «Какую карьеру? — А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими — на Зимний дворец!»¹.

С пятнадцати лет Тимирязев начи-

¹ К. Тимирязев, «Наука и демократия». Л. 1926 г., стр. 365—366.

нает трудовую жизнь. «С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, которого не заработала бы правая» — писал он в приветствии первому рабфаку. «Зарабатывание средств существования, как всегда бывает при таких условиях, стояло на первом плане, а занятие наукой было делом страсти, в часы досуга, свободные от занятий, вызванных нуждой. Зато я мог утешать себя мыслью, что делаю это на собственный страх, а не сижу на горбу темных тружеников, как дети помещиков и купеческие сынки»¹.

В 1861 г. К. А. поступил к Петербургский университет. Тимирязев не ограничил своего участия в общественном движении естественно-научными интересами, как В. О. Ковалевский, И. М. Сеченов и И. И. Мечников. Поэтому и самые естественно-научные интересы были определеннее, а научные работы — последовательнее. Пропаганда дарвинизма, начатая Тимирязевым еще на университетской скамье, была в его глазах боевым общественным делом, не отделимым от служения научной объективности. Статья К. А. «Книга Дарвина, ее критики и комментаторы» (1864) появилась в «Отечественных записках» после его статей: «Гарибальди на Капрере» (1862) и «Голод в Ланкашире» (1863). Статьями дело не ограничивается, и в результате студенческих беспорядков Тимирязев должен был кончить университет в качестве вольнослушателя. По окончании университета К. А. приступает к научной работе. Он изучает влияние удобрений на урожайность, исследует питание листьев при искусственном освещении. Это было началом долговременных исследований, посвященных применению физиологии растений к земледелию и влиянию света на хлорофилл.

В 1868 г. Тимирязев едет за границу и поступает в Гейдельбергский университет. Его ближайшими гейдельбергскими друзьями были В. О. и С. В. Ковалевские. В то время в Гейдельберге

работали Гельмгольц, Бунзен и Кирхгоф. 1869—1870 г. Тимирязев проводит в Париже, где учится у Клода Бернара, Сен-Клер-Девиля, Бертло и Буссенго. По приезде в Россию он становится профессором Петровской сельскохозяйственной академии, а с 1877 г. сверх этого приступает к лекциям в Московском университете. Одновременно из-под пера К. А. выходит целый ряд сочинений, посвященных агрономии, физиологии растений и пропаганде дарвинизма.

Тимирязев был замечательным популяризатором, и в этом одна из его важнейших заслуг. Он обладал исключительным литературным талантом. Демократ-шестидесятник, впитавший всю вековую культуру Запада и неразрывно связанный со своим народом, он писал строго научным, но живым и ясным языком о самых сложных проблемах физики и биологии. Тимирязев разбил перегородку между научной и популярной литературой. Это было революционным делом, так как перегородка воздвигалась для того, чтобы закрыть подлинную науку от угнетенных классов. Поэтому Тимирязев ненавидел жреческий псевдо-научный жаргон и его нарочитую чопорность. Вычурная терминология вызывала со стороны К. А. ядовитую насмешку. У сотен буржуазных монополистов науки последняя была синонимом непонятности. У Тимирязева научность стала синонимом народности — демократизма, популярности. В этом отношении он продолжал лучшие традиции русской науки, созданные еще Ломоносовым. Заметим, кстати, что в полном соответствии с мировоззрением и со всем стилем научного творчества находились и взгляды Тимирязева на искусство: он всегда был приверженцем художественного реализма и питал отвращение к формалистической вычурности. Тимирязев нападал на декадентов, «ищущих новых путей», замечал, что «великие художники, конечно, тоже искали новых путей, но они сообщали миру только свои находки, а свои поиски хранили в своих мастерских или без жалости их уничтожали».

¹ К. Тимирязев. «Наука и демократия», Л. 1926 г., стр. 382.

Тимирязев открыл дарвинизму дорогу в русскую агрономию. Еще в 60-х годах под руководством Менделеева он приступил к работе по организации опытных полей. Впоследствии К. А. стал вдохновителем всей сети опытных станций. Он показал в своих работах всю цепь, связывающую физиологию растений, агрономическую химию и агрономию. «Агрономия ставит вопросы; агрономическая химия дает средства для их научного разрешения; физиология растений, исследуя их на живом растении, дает окончательный ответ на запросы практики. Земледелие стало тем, что оно есть, только благодаря агрономической химии и физиологии растений»¹. В своих статьях о Дарвине Тимирязев всегда подчеркивал значение колоссального эмпирического агротехнического и зоотехнического материала, на который опирался дарвинизм. С другой стороны, К. А. понимал значение дарвинизма для практической агрономии. Благодаря дореволюционным условиям имя и работы великого русского генетика Мичурина остались неизвестными для Тимирязева, но сейчас мы не можем не поставить их имена рядом.

Иван Владимирович Мичурин начал свои опыты в 80-х годах. На небольшом участке в 6 десятин он устроил знаменитый питомник. Скрещивая различные формы и изменяя внешние условия, он стремился реорганизовать русское садоводство. Этот замысел был самым грандиозным производственно-техническим воплощением идей Дарвина и Тимирязева.

Мичурин установил новые закономерности развития растений, применил отдаленную гибридизацию, преодолел нескрещиваемость некоторых видов, вывел десятки новых форм, обновил породно-сортовой состав плодово-ягодных растений и продвинул их границу далеко на север. Иден Мичурина живут поныне, они толкают советских селекционеров к дальнейшим открытиям и в то же время блестяще демонстрируют практиче-

ское значение научных идей, пропагандистом и творцом которых был замечательный русский дарвинист — К. А. Тимирязев.

В тимирязевской пропаганде дарвинизма выразился прежде всего боевой темперамент ученого-революционера. Здесь нет ни одной равнодушной строки. Нетрудно понять, почему именно русский натуралист-шестидесятник стал самым ортодоксальным и пламенным учеником Дарвина. В России, как и на Западе, дарвинизм и антидарвинизм были общественными течениями. Но у нас общественный характер этой дискуссии был гораздо более явным.

Против антидарвинизма русского и западного Тимирязев выступал, как убежденный материалист. Несомненно, что страстная борьба против мистики, витализма и реакции толкнула Тимирязева к исследованиям, в наибольшей степени разъяснившим тайну органического мира. В июле 1877 г. К. А. посетил Дарвина и через тридцать с лишним лет описал свою встречу с ним в статье «У Дарвина в Дауне». «От физиологии растений, — вспоминает Тимирязев, — разговор перешел к моим работам, и, узнав, что я занимаюсь специально хлорофиллом, он, не задумываясь ни минуты, высказал те слова, которые мне приходилось не раз цитировать, прямо поразительные в устах человека, стоявшего совершенно в стороне от химических и физических вопросов: «Хлорофилл, это, пожалуй, — самое интересное из органических веществ». Любопытно, что последняя его заметка, появившаяся за несколько дней до его смерти, касалась именно хлорофилла»¹.

Действительно, после работ Дарвина раскрыть тайну хлорофилла было важнейшей задачей не только биологии, но всего естествознания.

В сборнике «Солнце, жизнь и хлорофилл» Тимирязев собрал речи, статьи и исследования, посвященные действию света на растения. Интерес к генезису открытия, к прошлому науки неразрывно

¹ К. А. Тимирязев, «Земледелие и физиология растений», стр. 30.

¹ К. Тимирязев. «Наука и демократия». Л. 1926 г., стр. 92.

связан со всем его мировоззрением. В лекции «Круговорот углерода» (1899) Тимирязев говорит о том, что Майер пришел к представлению о сохранении энергии и к механической теории теплоты. Несомненно, открытие Майера было важнейшим шагом естествознания XIX в. Со второй половины XVIII в. мы видим ряд последовательных открытий, разбивших метафизические перегородки между отдельными областями науки, но еще больше подчеркнувших специфику каждой отрасли. В науке побеждает идея развития, изменчивости и превращения. Гипотеза Канта о происхождении солнечной системы, развитая и доказанная в XIX в., была первым шагом. Ляйель внес идею развития в геологию. Электричество в XVIII в. впервые получили из химического процесса (Вольта) и превратили в ток, теплоту и свет (Петров). Фарадей, исходя из «закона сохранения сил», пришел к своим замечательным открытиям, а в конце XIX в. Максвелл создал современную теорию электричества, подтвержденную опытами Герца и Лебедева. Химия XIX в., предугазанная Ломоносовым и Лавуазье, разъяснила механизм превращения одного вещества в другое и в лице Менделеева связала отдельные элементы периодическим законом. Но основным открытием этого ряда была механическая теория теплоты и закон сохранения энергии. Сам Майер пытался применить свой закон к явлениям жизни. «Не задумываясь, высказал он основное положение, что или мы должны допустить, что в организмах сила не возникает сама собою, а лишь превращается, или должны признать безгранично царившую в то время «жизненную силу», т.-е. «должны пресечь себе всякий путь к дальнейшему исследованию; отказаться от мысли применить к изучению жизненных явлений законы точных наук»¹. Но борьба с витализмом вызвала бешеную травлю со стороны цеховых ученых, и плодотворная работа Майера, продолжавшаяся всего три го-

да, оборвалась. Майера об'явили сумасшедшим и пытали в психиатрической лечебнице, добиваясь отказа от антивиталистических идей. К. А. Тимирязев применил закон сохранения энергии к биологическим явлениям и выяснил энергетику жизненных процессов. Здесь нужна была еще одна предпосылка — теория Дарвина. Именно потому, что Тимирязев был последовательным дарвинистом, он сумел подойти к явлениям жизни с полным пониманием их специфичности. Теория Дарвина, наряду с законом сохранения энергии, была важнейшим завоеванием XIX в., который Тимирязев называл много раз «веком Дарвина». Русский ученый-революционер соединил в своих работах два важнейших открытия XIX века.

Тимирязев был одним из первых ботаников-физиков. Он рассматривал свет как лучистую энергию и поэтому прежде всего хотел поставить в связь энергию лучей с их действием на хлорофилл, т.-е. с разложением углекислоты. До Тимирязева считали, что из всех лучей спектра желтые, как самые яркие, в наибольшей степени разлагают углекислоту. К. А. показал прежде всего, что это делают красные лучи, обладающие наибольшей энергией.

Тимирязев разработал чрезвычайно тонкие методы газового анализа и при их помощи показал, какая часть спектра сильнее всего действует на хлорофилл. «Благодаря этим двум методам точного анализа газов, дозволявшим в первый и до сей поры единственный раз изучить явление в чистом спектре, а с другой стороны — благодаря обнаруженному закону поглощения света хлорофиллом, можно было получить то доказательство, что именно те лучи, которые поглощаются зеленым листом, и в той мере, как они поглощаются, затрачиваются на разложение углекислоты. Таким образом, было получено мною то экспериментальное доказательство, которого требовали Майер и Гельмгольц для возможности приложения их великого открытия к тому явлению, которое современный физиолог... справедливо считает едва ли не самым

¹ К. А. Тимирязев. «Солнце, жизнь и хлорофилл». М.—Л. 1923 г., стр. 38.

интересным во всей области естествознания»¹.

Таким образом, мы вправе рассматривать Тимирязева, как ученого, соединившего физику и физическую химию XIX в., с одной стороны, и дарвинизм — с другой, в едином учении. Не случайно этот ученый пришел к революции.

Синтез двух величайших открытий XIX в. был сделан на основе революционного миросозерцания. Последовательно-революционные и последовательно-материалистические взгляды сложились у Тимирязева не сразу. С «Капиталом» он познакомился чуть ли не раньше всех в России. «Это было так давно, — пишет Тимирязев, — что Владимир Ильич тогда еще не родился, а Плеханову, которого многие наши марксисты считают своим учителем, было всего десять лет. Осенью 1867 г. проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева, я заехал к П. А. Ильенкову, в недавно открытую Петровскую академию. Я застал П. А. Ильенкова в его кабинет-библиотеке за письменным столом; перед ним лежал толстый, свеженький том с еще заложеным в него разрезальным ножом, это был первый том «Капитала» Маркса. Так как он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел мне чуть не целую лекцию о том, что уже успел прочесть; с предшествовавшей деятельностью Маркса он был знаком, так как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже...»².

Но тогда «Капитал» не оставил в душе Тимирязева заметных следов. К. А. увлекался Контом, а политические взгляды его не отличались особой четкостью. Неприглядной русской действительности он противопоставлял западноевропейскую культуру в целом. Для «западнических» идей Тимирязева

статья «Кембридж и Дарвин»¹ особенно характерна. Здесь описаны кембриджские торжества 22—24 июля 1909 г., посвященные столетию со дня рождения Дарвина. В стенах кембриджских колледжей, где жили, учились и работали Ньютон, Дарвин и Максвелл, где каждый камень связан с великими страницами культурной истории человечества, Тимирязев любовно и почтительно отмечает вековые традиции западноевропейской науки, вплоть до университетских мантий.

«Хозяином, принимавшим гостей от имени университета, был лорд Рейлей, знаменитый физик, а на этот раз торжественный канцлер университета, в черной мантии, сплошь расшитой золотом. Костюм этот, так же, как и университетские костюмы англичан, многим приезжим казался чем-то комическим; но, как бы в ответ на это, были открыты сообщавшиеся с музеем помещения старейшего из колледжей, Питер-гауза, основанного в 1284 году. Когда со стен на вас смотрят если не сорок, то по крайней мере, семь веков, тогда каждый остаток этой седой старины, выражается ли он в лежащей изящными складками старинной мантии, или в серебряном жезле, несомом перед канцлером, вызывает совершенно иное чувство, чем, например, наши мундиры с их подпирющими подбородки воротниками, исторически напоминающие век Аракчеева, а эстетически — разве только Держиморду»².

Уважение к культурным ценностям, накопленным человечеством, К. А. пронес через всю свою жизнь, и нигде это не могло встретить такого сочувствия, как в рядах пролетарских революционеров. Но для того, чтобы притти к революционному марксизму, Тимирязев должен был разглядеть оборотную сторону западноевропейской цивилизации. Искренний боевой гуманизм, демократические и материалистические традиции русской общественной мысли, честность и последовательность научного мировоззрения не могли мириться с

¹ К. А. Тимирязев. «Солнце, жизнь и хлорофилл», стр. 24.

² К. Тимирязев. «Наука и демократия», стр. 413, 414.

¹ К. Тимирязев. «Наука и демократия», стр. 138.

² Там же, стр. 138.

капиталистическими порядками. Чем острее становилась классовая борьба, тем большую определенность приобретали политические симпатии К. А. «В мировой борьбе, завязывающейся между той частью человечества, которая смотрит вперед, и той, которая роковым образом вынуждена обращать свои взоры назад, на знамени первой будут начертаны слова: наука и демократия — сим победишь». Эти слова, написанные в 1908 г., Тимирязев поместил в качестве эпиграфа к сборнику «Наука и демократия», вышедшему после революции. Краткое изложение не может дать представления об этой содержательной, глубоко научной и глубоко революционной книге. «Наука и демократия» показывает развитие общественных идей Тимирязева вплоть до войны и революции. Империалистическая война многому научила К. А. Для его политических настроений 1916—1917 гг. характерна переписка с А. М. Горьким¹, Тимирязев — пораженец, он с презрением и ненавистью говорит о либералах и оборонцах. Революция сделала его большевиком. Пламенное приветственное письмо Московскому Совету (6 марта 1920 г.) показывает всю силу и чистоту его революционного чувства. Но письмо Моссовету было предсмертным. 27 апреля 1920 г. К. А. в ответ на посланную книгу «Наука и демократия» получил следующее письмо от Владимира Ильича:

«Дорогой Клементий Аркадьевич. Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья.

Ваш В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)»

На следующий день, 28 апреля, К. А. умер. За несколько минут до смерти он сказал доктору Вайсброду: «Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты

вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, — я верю и убежден, — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами... Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелания дальнейшей успешной работы для счастья человечества»¹.

★

Иван Петрович Павлов был младшим современником Мечникова и Тимирязева. Он родился в 1849 г. В конце 90-х годов интересы, одушевляющие русских дарвинистов, были еще сильны и проникали даже в стены духовной семинарии, где учился Павлов. Эти интересы заставили И. П. бросить семинарию и поступить на естественное отделение Петербургского университета, а после окончания университета — в Медико-хирургическую академию. С 1879 г. Павлов работает в лаборатории Боткина над вопросами кровообращения. В 80-х годах он начинает свои исследования, посвященные секреции пищеварительных желез, которые принесли ему мировую известность. В начале 900-х годов Павлов приступил к работе, поставившей его имя в ряд классиков естествознания.

Наблюдая функции пищеварительных желез, Павлов столкнулся с вопросом о слюноотделении. Если собаке дать кусок хлеба, слюнные железы сразу начнут вырабатывать слюну. Пища вызывает отделение слюны, богатой смазывающими веществами, помогающими проглатыванию. Если дать собаке кислоту, — потечет водянистая слюна, отмывающая рот от раздражающей жидкости. Слюноотделение вызы-

¹ См. Сборник «Памяти К. А. Тимирязева, 1920—1935». М.—Л. 1936 г., стр. 44—59.

¹ Там же, стр. 15.

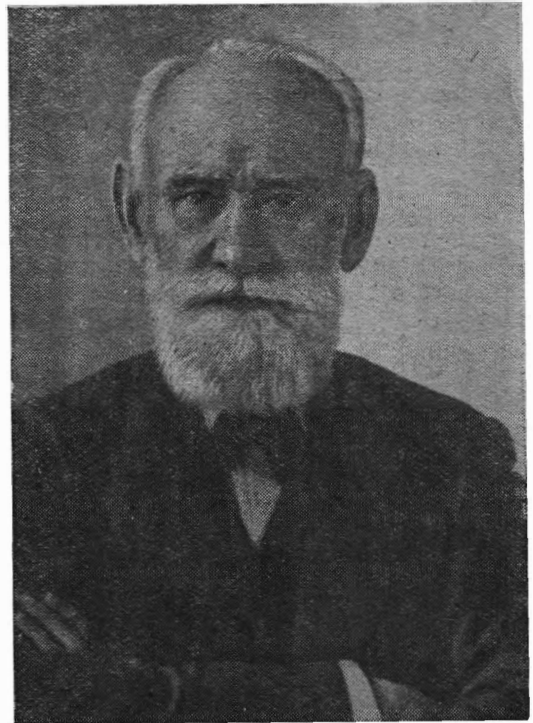
вается непосредственным проникновением хлеба, мяса, кислоты и т. д. Подобные явления были названы безусловными рефлексами.

Но слюна выделится и в том случае, когда собаке лишь показывают пищу или когда она видит того человека, который обычно приносит еду. Такие явления Павлов назвал условными рефлексами. До Павлова они рассматривались с чисто психологической точки зрения. Физиологических понятий здесь, с нашей современной точки зрения, не было. Павлов решил создать подлинно научные объективные понятия в этой области. Философские представления Павлова, однако, не могли обеспечить этот путь от механистических ошибок. В ошибки такого характера впадал и Сеченов, работы которого оказали большое влияние на развитие идей Павлова.

Последний сам говорит об этом влиянии:

«...главным толчком к моему решению, хотя и не сознаваемому тогда, было давнее, еще в юношеские годы испытанное влияние талантливой брошюры Ивана Михайловича Сеченова, отца русской физиологии, под заглавием: «Рефлексы головного мозга», 1863 г. ... В этой брошюре была сделана — и внешне блестяще — поистине для того времени чрезвычайная попытка (конечно, теоретическая, в виде физиологической схемы) представить себе наш субъективный мир чисто физиологически. Иван Михайлович в это время сделал важное физиологическое открытие (о центральном задерживании), которое произвело сильное впечатление в среде европейских физиологов и было первым вкладом русского ума в важную отрасль естествознания, только-что перед этим сильно двинутую вперед успехами немцев и французов»¹.

Павлов решил подойти к тем явлениям, которые раньше относили к объективно непостижимой области чисто психических процессов, как физиолог.



И. П. Павлов

Он создал теорию условных рефлексов, руководствуясь стихийно-материалистическим убеждением, что основой психических процессов являются такие процессы, которые может увидеть и изучить физиолог-экспериментатор. В введении к сборнику «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных» И. П. пишет: «Скажу о себе еще следующее. В начале нашей работы долгое время давала себя знать власть над нами привычки к психологическому истолкованию нашего предмета. Как только объективное исследование наталкивалось на препятствие, несколько останавливалось перед сложностью изучаемых явлений, — невольно поднимались сомнения в правильности избранного образа действия. Но постепенно, вместе с движением работы вперед, они появлялись все реже, — и теперь я глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь главнейшим образом, на этом пути, окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной

¹ Акад. И. П. Павлов, «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». Л.—М. 1923, стр. 10—11.

задачей его — познать механизм и законы человеческой природы, откуда только и может произойти истинное, полное и прочное человеческое счастье».

В этом же введении Павлов указывает на ошибочность физико-механистических объяснений, отрицающих специфичность биологических процессов — установленное Дарвиным приспособление к среде. С другой стороны, он решительно отменяет виталистические концепции.

И. П. столкнулся с идеалистическими, по существу реакционными, откликами на предложенный им объективный метод изучения нервной деятельности. В 1906 г. он читал в Лондоне лекцию, посвященную памяти Гексли, — «О новых успехах науки в связи с медицинской хирургией». Здесь И. П. рассказал следующее:

«Позвольте начать с некоторого житейского случая, имевшего место в моей лаборатории несколько лет тому назад. Среди моих сотрудников по лаборатории выделялся один молодой доктор. В нем виднелся живой ум, понимающий радость и торжество исследующей мысли. Каково же было мое изумление, когда этот верный друг лаборатории обнаружил истинное и глубокое негодование, впервые услышавши о наших планах исследовать душевную деятельность собаки в той же лаборатории и теми же средствами, которыми мы пользовались до сих пор для решения различных физиологических вопросов. Никакие наши убеждения не действовали на него, он сулил и желал нам всяческих неудач. И, так можно было понять, все это потому, что в его глазах то высокое и своеобразное, что он полагал в духовном мире человека и высших животных, не только не могло быть плодотворно исследовано, а прямо как бы оскорблялось грубостью действий в наших физиологических лабораториях»¹.

Изучение условных рефлексов привело Павлова к открытию объективных законов работы мозга, которые изложены в известных «Лекциях о работе больших полушарий головного мозга». Исследования И. П. имеют громадное значение и для психиатрии.

Следует остановиться на принципиальном значении новой области науки, созданной Павловым, для истории мирового естествознания. Современное естествознание развивалось в боях с религией, мистикой, идеализмом. Шаг за шагом все новые области подчинились объективному научному истолкованию. Коперник и Галилей объяснили движение небесных тел. Декарт и Ньютон, нередко ошибаясь, отступая иногда в сторону идеализма, создали гениальную теорию механических явлений. Физика и химия XVIII—XIX вв. покончили с таинственными «скрытыми свойствами». Теория электричества с каждым годом все больше разъясняет самые глубокие тайны строения вещества, и рецидив «индетерминизма» может затормозить на время, но не прекратить поступательное движение науки. Теория Дарвина выбросила бога из живой природы. Осталась последняя область, где сторонники идеализма сохранили некоторые позиции. Естествознание остановилось перед этой новой областью — высшей нервной деятельностью.

Теория Павлова перешагнула через этот барьер и изгнала идеализм из его последнего убежища. Поэтому достижения великого русского ученого вошли в сокровищницу материалистической мысли. Но создатель теории условных рефлексов принес также советской науке, в качестве примера и образца, творческую любовь к истине, тщательность эксперимента, упорство в поисках и смелость обобщений. Эти принципы изложены в замечательном документе — известном письме Павлова к молодым советским ученым, опубликованном после смерти И. П. и воплотившем лучшие традиции русской науки.

¹ Там же, стр. 54

Красная Армия — оплот мира

Полковой комиссар И. БУЛОЧНИКОВ

★

Прошло 20 лет со времени окончания мировой империалистической войны 1914—18 гг. Еще не совсем забыты все те ужасы и разрушения, которые принесла с собой эта война, как уже надвигается новая, еще более ужасная мировая бойня.

«...сказка о «последней войне» есть пустая вредная сказка»¹ — писал Владимир Ильич Ленин еще в ноябре 1914 г. А в 1921 году товарищ Ленин писал, что если на войне 1914—18 гг. было перебито 10 миллионов человек и стали калеками 30 миллионов, то в неизбежной новой войне будет перебито 20 миллионов человек и станет калеками 60 миллионов.

Эти пророческие слова Ленина сбываются полностью. Фашистские агрессоры не только готовят новую мировую войну, но уже приступили к ее осуществлению. Захват фашистской Германией Австрии, нависшая угроза над Чехословакией, разбойничья война германского и итальянского фашизма в Испании, война японского империализма в Китае, провокационные вторжения японских войск на нашу территорию, — все это яркие факты, свидетельствующие о том, что фашизм уже приступил к развязыванию «большой» войны.

И если сегодня война не разгорелась еще в мировой пожар, то только потому, что на $\frac{1}{6}$ земного шара существует великий Советский Союз, который последовательно проводит политику мира, по-

тому, что существует Красная Армия, охраняющая завоевания социализма. «защитница и оплот мира не только в нашей стране, не только для нашей страны, но она готова сделать все для того, чтобы мир был обеспечен всему миру»¹.

Армия социалистического государства рабочих и крестьян существует не для нападения, а для обороны нашей великой родины.

Красная Армия представляет собою грозную силу, которая препятствует осуществлению кровавых военных замыслов фашистских агрессоров.

Эту силу и мощь Красной Армии вынуждены признать и правительства капиталистических стран. С этим фактом они вынуждены считаться.

Шведская газета «Ню даг» пишет: «Если фашисты попытаются напасть на Советский Союз, то они будут уничтожены Красной Армией».

«Последние политические события, — продолжает газета, — особенно убедили миллионы миролюбивых людей в том, что Красная Армия Советского Союза является мощным орудием мира и свободы».

Норвежская газета «Арбейдерен» пишет в передовой статье: «Советский народ может с гордостью сказать, указывая на свою армию: она является самой организованной и самой сильной армией в мире, она является непобедимой пре-

¹ В. И. Ленин. Том XXVII, стр. 27.

¹ К. Е. Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат, 1936 г., стр. 655.

жде всего потому, что как солдаты, так и командный состав Красной Армии знают, что они борются за дело социализма и мира. Красная Армия является грозой для всех провокаторов войны» («Правда», 25.II.38).

В чем заключается сила и мощь нашей Красной Армии?

«Ничто не зависит до такой степени от экономических условий, — писал Энгельс, — как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия находятся в прямой зависимости от данной степени развития производства и средств сообщения»¹.

СССР — великая индустриальная держава. За один год Советский Союз добывает угля, нефти и производит металла столько, сколько царская Россия добывала и производила в 4 года. Еще в 1936 г. один Магнитогорский завод выплавил чугуна в $2\frac{1}{2}$ раза больше, чем все заводы Польши, а Кузнецкий и Магнитогорский заводы превысили на 30% выплавку чугуна всех заводов Японии.

На этой основе, в результате двух сталинских пятилеток, техническая оснащенность Красной Армии выросла до огромных размеров, и на сегодняшний день она не уступает передовым армиям капиталистических стран.

Наша могучая социалистическая родина оснащает свою армию всем, что ей нужно для победы.

Сухопутные войска Красной Армии богато оснащены автоматическим оружием — ручными и станковыми пулеметами. Если германская пехотная дивизия имеет 408 пулеметов, японская — 584 и итальянская — 291, то мы можем с уверенностью сказать, что в этом отношении им не уступим.

Опыт войны в Испании и Китае подтверждает, что артиллерия является одним из важнейших родов войск. Наша артиллерия растет и совершенствуется с каждым годом. Красная Армия вооружена всеми видами артиллерии. У нас есть в нужном количестве противотанковые пушки, легкая полевая, зенитная, тяжелая и дальнобойная артиллерия.

Германская пехотная дивизия имеет в своем составе 132 орудия, японская — 96, итальянская — 82. Эти цифры не являются для нас трудно достижимыми.

В годы гражданской войны в Красной Армии не было своих танков, и в последующие годы, вплоть до первой пятилетки, было несколько испорченных танков, захваченных у врагов во время гражданской войны. Теперь Красная Армия имеет первоклассные танки в нужном количестве для обороны страны. Эти танки сделаны на советских заводах, из советских материалов, советскими людьми. Наши танки обладают прекрасными боевыми качествами: большой проходимостью, большой скоростью и подвижностью.

Специальный военный журнал «Ревю д'энфантери», отмечая высокую моторизацию и механизацию РККА, пишет:

«Правильное применение моторизации и механизации является одним из главных факторов, способствовавших превращению Красной Армии в ту мощную, грозную силу, какой ее считают теперь. Почти все танки, имеющиеся в Красной Армии, построены в СССР, созданы трудом советских инженеров и рабочих».

В годы гражданской войны молодой советский воздушный флот состоял из нескольких десятков устаревших и истрепанных самолетов. В 1918 г. во время первомайской демонстрации над Красной площадью кружила одинокий самолет, а на Ходынском поле в сараях стояло около 20 самолетов — «летающих гробов», как их называли летчики.

В настоящее время наш военно-воздушный флот — самый сильный флот в мире. Теперь самолетов у нас не только вполне достаточно по количеству, но и по качеству они не уступают современным самолетам европейских армий. Превосходство нашей авиации признано всем миром. Газета «Пари суар» пишет:

«Самый замечательный, самый паразитический воздушный флот принадлежит СССР. Все население СССР относится к авиации с неопишувым энтузиазмом. Осваиваем образцов по всей стране сотни школ планеризма, пилотажа, десятки клубов для мужчин и жен-

¹ Карл Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. XIV, стр. 170.

щин, тысячи ячеек для ознакомления крестьянской молодежи с современным развитием авиации.

Советский воздушный флот — первый в мире. Понятно, Германия смотрит на этот флот недобрыми глазами. Она боится его во сто раз больше, чем наземной армии Советов и их морских сил».

Мы имеем в нашей армии огромное количество разного рода машин: автомобилей, тракторов, мотоциклов, самокатов. В 1933 г. мы имели на одного красноармейца 7,74 механической лошадиной силы, в 1936 г. — 12 лошадиных сил, а теперь техническая вооруженность Красной Армии стала еще большей.

На маневрах Красной Армии наши самолеты перебрасывают в тыл «противника» целые стрелковые части. Английский генерал майор Узвелл заявил, что, если бы он сам не видел этого, он никогда никому не поверил бы, что можно произвести подобную переброску.

Наши сухопутные границы тянутся почти на 32 тыс. км. Они крепко заперты на замок. Мощные укрепления из железа и бетона опоясывают наши границы. На протяжении свыше 40 тыс. км. наши границы омываются морями и океанами. Охране морских границ наша партия, Советское правительство уделяли и уделяют огромное внимание.

Наши военно-морские флоты — Балтийский, Черноморский, Северный, Тихоокеанский — представляют уже большую силу. Наши линкоры, подводные лодки, крейсера, миноносцы надежно охраняют наши морские границы.

Таково техническое оснащение нашей Красной Армии. Но эта техника будет с каждым годом расти и совершенствоваться, потому что, как сказал товарищ Ворошилов, «Мы знаем, что партия и правительство, наш мудрый Сталин будут и впредь делать все, чтобы наша Армия и Флот непрерывно получали высокую боевую технику, а следовательно, чтобы вооруженные силы социализма были самыми мощными, самыми механизированными и потому никогда, нигде и никем непобедимыми»¹.

Красная Армия сильна не только техникой, она сильна тем, что имеет прекрасные кадры, преданные партии Ленина — Сталина, сильна крепким тылом, поддержкой 170-миллионного советского народа.

Она сильна тем, что она имеет крепкий большевистский политический аппарат, воспитывающий личный состав Красной Армии в преданности нашей родине, великой партии Ленина — Сталина.

Ни одна армия в мире не имеет такой поддержки, такой любви, какой пользуется наша Красная Армия. Единство красноармейцев и командного состава скрепляет силу нашей Красной Армии, у них одна цель — защита границ нашей прекрасной родины.

Товарищ Сталин на торжественном заседании Московского Совета в день десятилетия Красной Армии говорил: «Первая и основная особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она есть армия освобожденных рабочих и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата...

Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она, наша армия, является армией братства между народами нашей страны, армией освобождения угнетенных народов нашей страны, армией защиты свободы и независимости народов нашей страны»¹.

Вот почему наш народ любит свою армию, вот почему весь народ, все национальности, населяющие нашу страну, — это Красная Армия в будущей войне. Но товарищ Сталин сказал еще о третьей особенности Красной Армии. Он говорил: «Наконец третья особенность Красной Армии. Состоит она в духе интернационализма, в чувствах интернационализма, проникающих всю нашу Красную Армию».

Именно потому, что наша армия воспитывается в духе интернационализма, в духе единства рабочих всех стран, она является армией мировой революции, армией рабочих всех стран. В этом сила и мощь Красной Армии. Подготовка к

¹ К. Е. Ворошилов. 20 лет РККА. Огня, 1938, стр. 13.

¹ И. В. Сталин. О трех особенностях Красной Армии. Воениздат. 1938 г. Стр. 4—7.

выборам и выборы в Верховный Совет СССР и в Верховные Советы союзных республик показали, какими крепкими узами Красная Армия связана со своим народом. Рабочие, колхозники и интеллигенция единодушно выдвигали, а затем и выбирали лучших бойцов и командиров Красной Армии в депутаты Верховного Совета СССР и Верховных Советов союзных республик.

Ни одна капиталистическая страна не могла и не может иметь такую армию, какую создала наша страна, страна социализма, под руководством партии Ленина—Сталина. Трудящиеся Советского Союза идут в Красную Армию, чтобы защищать свои кровные интересы, интересы всего народа. Красная Армия—единственная армия в мире, которая знает, за что она борется... «Армия, знающая, за что она борется, непобедима» — сказал товарищ Сталин.

Сила и мощь Красной Армии в том, что каждый боец, каждый гражданин нашего Союза преданы делу Великой Октябрьской социалистической революции, преданы партии Ленина—Сталина и потому готовы на величайшие подвиги.

Бесчисленное множество примеров героизма бойцов, политработников и командиров Красной Армии, проявленных в годы гражданской войны, свидетельствуют о том, что только армия народа, армия освобожденных рабочих и крестьян способна на такие подвиги. Только в такой армии возможны такие герои, как Чапаев, Щорс, Лазо и др., только такая партия, как партия Ленина—Сталина, могла воспитать таких вождей-героев, как товарищи Ворошилов, Буденный, Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и др., под руководством которых Красная Армия проявляла чудеса храбрости и героизма.

На протяжении всего славного пути Красной Армии, в целом ряде блестящих операций, как алмазы, блестят героические подвиги отдельных бойцов, командиров и целых подразделений и частей.

В 1919 году, когда Юденич наступал на Петроград, нужно было в тылу у белых взорвать железнодорожный мост.

На это дело добровольно вызвался комсомолец тов. Архангельский. Он пробрался к мосту, привязал пироксилиновую шашку и зажег фитиль. Произошел взрыв. Тов. Архангельский погиб при исполнении своих обязанностей. Но вместе с ним погибло много и белых охранявших этот мост.

В бою на врангелевском фронте один из полков 15-й дивизии под давлением противника начал отступать. Комиссар дивизии тов. Янышев — старый большевик — бросился вперед и увлек за собой бойцов этого полка. Раненный, он продолжал бежать вперед. Началась рукопашная схватка. Тов. Янышев, проколотый штыком, упал, обливаясь кровью. Вокруг умирающего комиссара завязалась ожесточенная борьба. Под напором бойцов Красной Армии противник отступил.

В августе 1919 г. под Гейдельбергом (Мелитопольское направление) курсантская бригада, вследствие неустойчивости своего соседа слева, попала в окружение противника. Две роты курсантов с пением «Интернационала» бросаются навстречу со всех сторон наступающему врагу. Во весь рост, не сгибаясь, они шли мерным шагом, как на учении. Большая часть курсантов-героев погибла, но они спасли бригаду, которая благополучно вышла из окружения.

Таких примеров героизма можно было бы привести бесчисленное множество. О героях бойцах и командирах у нас сложены стихи и песни, о них помнит весь народ нашего Союза.

Ныне в ряды Красной Армии вливаются лучшие люди нашей страны, люди, которые посвятили свою жизнь родине и готовы по первому зову партии и правительства дать отпор любому врагу. Эти люди-бойцы, помня героизм своих отцов и братьев в годы гражданской войны, следуют их примерам, они свято чтут их заветы.

Жизнь Красной Армии в годы после гражданской войны богата примерами исключительного героизма, недаром многие тысячи бойцов и командиров заслужили высшую оценку нашего правительства — награждены орденами и званием Героев Советского Союза.

У всех в памяти замечательный подвиг бойца Василия Дмитриевича Баранова. Он был ранен при защите дальневосточных границ. Японо-манчжуры захватили его и унесли с собой, чтобы выведать у него военные тайны. Но ни пытки, ни заманчивые обещания, ни угрозы не могли сломить могучую волю красноармейца. Он умер от ран и истощения, но тайны врагу не выдал.

Красноармеец Иван Трунов с двумя своими товарищами об'езжал участок на среднеазиатской границе СССР. В это время банда нарушителей напала на советских пограничников. Один из товарищей Трунова был убит, другого он послал за помощью на заставу, а сам остался один против целого отряда. Его окружили пятнадцать бандитов. Трунов убил восьмерых, а остальные были уничтожены с прибытием подкрепления с заставы.

О прекрасных людях-бойцах нашей Красной Армии, нашей родины свидетельствуют замечательные дела наших героев-летчиков, танкистов, артиллеристов.

Враги народа, шпионы и диверсанты, троцкистско-бухаринские бандиты пытались проникнуть в ряды Красной Армии, подорвать ее мощь и в предстоящей войне продать нашу страну фаши-

стам. Мы вычистили фашистскую нечисть из Красной Армии, стали еще бдительнее, еще более настороженными.

Очистившись от врагов, шпионов и диверсантов, наша Красная Армия и Военно-Морской Флот стали еще сильнее, еще могущественнее.

На параде в 20-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции маршал Советского Союза товарищ Ворошилов от имени всей Красной Армии заявил:

«Рабоче-Крестьянская Красная Армия, как и весь Советский Союз, готова всегда жить в мире со всем миром. Но Красная Армия также готова каждый миг в порошок стереть врага, дерзнувшего напасть на страну трудящихся. Наша армия существует не для нападения, но только до момента нападения врага на нашу Родину. Она будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий, если враг ее понудит к этому»¹.

В словах вождя Красной Армии звучит уверенность в победе. С такой армией, как наша Красная Армия и Военно-Морской Флот, мы уничтожим любого врага, если он нападет на нашу социалистическую родину.

¹ «Правда», № 300, 10 ноября 1937 г.

Угроза новой мировой войны

Полковник И. И. ПОПОВ

★

Заклячая Версальский договор, империалисты всего мира, а вместе с ними и вожди социал-предательских партий уверяли, что больше войн не будет. Они клялись на могилах «неизвестных» солдат в том, что впредь ни одна человеческая жизнь не будет принесена в жертву войне.

Но все это оказалось ложью и лицемерием. Начиная с 1919 г. и до настоящего времени войны фактически не прекращались. Правда, эти войны по своим масштабам не могут сравняться с войной 1914—1918 гг., но они являются как бы прелюдией к новой мировой войне.

«Усиление борьбы за внешние рынки, уничтожение последних остатков свободной торговли, запретительные таможенные пошлины, торговая война, война валют, демпинг и многие другие аналогичные мероприятия, демонстрирующие крайний национализм в экономической политике, обострили до крайности отношения между странами, создали почву для военных столкновений и поставили на очередь войну как средство нового передела мира и сфер влияния в пользу более сильных государств». (Сталин. Отчетный доклад XVII съезду партии. Издание Партиздата, стр. 10).

Этими словами товарищ Сталин указывает на то, что «дело явным образом идет к новой войне».

Версальская система не завершила, а, наоборот, развязала новую серию войн.

Так называемые «малые» войны, ко-

торые велись в недалеком прошлом, и те, которые со все возрастающей силой свирепствуют в настоящее время, нельзя рассматривать изолированно от большой подготовки капиталистического мира к «большой» войне.

Малые войны в капиталистическом мире котируются чрезвычайно высоко. Они, прежде всего, оцениваются как репетиции «большой» империалистической войны. Фашистские страны, несущие разорение и смерть народным массам, именно так и смотрят на свое участие в войне против героической республиканской Испании. Печать этих стран с присущей ей циничной развязностью не раз писала о том, что война в Испании дает возможность проверять на кровавом деле новейшую военную технику, оперативно-тактические взгляды и прививать командному составу боевые навыки. Недавно в мировой печати был опубликован секретный доклад немецкого генерала Рейхенау. В этом докладе Рейхенау пишет: «Испытывая в течение двух лет в Испании наше военное снаряжение и тренируя там наших солдат, мы значительно опередили другие государства». Именно основываясь на этом опыте, Рейхенау предлагает в германской армии оставить лишь то вооружение, которое выдержало испытание на пиренейском театре военных действий.

Но «малые войны» следует рассматривать не только в этом смысле. В 1895 г. Европа стояла на пороге возможных крупных военных событий. В это время вышла работа Энгельса «По

и Рейн», в которой он дает развернутую характеристику сложившейся обстановки и приходит к выводу, что «в этом случае, помимо вопроса симпатии или антипатии, решающим является военно-географическое положение обеих стран» (Ф. Энгельс. «По и Рейн», стр. 39. Партиздат, 1934 г.).

Приведенное замечание Энгельса целиком верно и на сегодня. Бешеная подготовка капиталистических и прежде всего фашистских стран к войне сказывается не только в численном увеличении армий, в ее мощном техническом оснащении и т. д., но и в стремлении будущих противников занять по отношению друг к другу более выгодное географическое положение.

Для доказательства этого достаточно вспомнить следующие факты. 7 марта 1936 г. Германия ремилитаризовала Рейнскую зону. Этим актом германский фашизм обнаружил свое стремление заручиться на случай войны с Францией более выгодным географическим положением. И действительно, в результате этого Германия ныне обладает сильнейшим оборонительным рубежом — рекою Рейн, под прикрытием которого она сможет в более спокойной обстановке отобилизовать свою армию и сосредоточить ее для нанесения удара в юго-западном направлении.

То же остается целиком верным и по отношению к испанским событиям.

Италия оккупировала Балеарские острова. Германия, как у себя дома, хозяйничает на Канарских островах и в Испанском Марокко. Это опять-таки говорит о стремлении фашистских стран занять более выгодное географическое положение по отношению уже не только к Франции, но и Англии.

Базируясь на Балеарских островах, военно-морской флот Италии представляет реальную угрозу для сообщений Франции с ее африканскими колониями. Утвердившись в Испанском Марокко, Германия может свести на-нет значение Гибралтара и тем создать сильнейшую угрозу средиземноморским путям Британской империи. Построив базы подводного флота на Канарских островах, Германия выступает в качестве контро-

лера на морских путях в Азию вокруг атлантического берега Африки из Западной Европы, в том числе и из Англии.

11 марта 1938 г. двухсотпятидесяти-тысячная армия немецкого фашизма вторглась в Австрию и покончила с ее самостоятельным существованием. Семимиллионный австрийский народ попал под ярмо германского фашизма. Значение захвата Австрии велико прежде всего потому, что Германия приобрела выгодное географическое положение для дальнейшего натиска на страны Дунайского бассейна, Балканского полуострова, на Чехословакию и Швейцарию. Именно этим актом германский фашизм показал всему миру, что он намерен превратить Австрию в свой плацдарм, откуда можно сеять по всей Европе военную смуту и тревогу.

На китайском театре военных действий множатся могилы убитых, растет армия инвалидов войны. С 1931 г. японский империализм развернул широкое наступление на Китай. Это наступление одновременно затрагивает и наши дальневосточные границы. «Японская армия оккупирует одну за одной именно те провинции Китая, которые граничат с СССР и МНР». Это «ясно показывает, что главная задача японского империализма — это подготовка войны против СССР, что захват китайской территории преследует задачу создать плацдарм этой войны». (Из речи т. Окано на VII конгрессе Коминтерна.) Таким образом, и здесь, в борьбе против Китая, Япония в предвидении «большой» войны стремится занять более выгодное географическое положение.

Наконец, «малые» империалистические войны показывают с предельной ясностью, что страны-агрессоры, стремящиеся разжечь пожар новой мировой войны, хотят заранее получить новые источники стратегического сырья.

Итало-германские интервенты захватили громадные богатства испанского народа. Железная руда Испанского Марокко, уголь Астурии, лучшие промышленные предприятия Бильбао и других городов Испании находятся целиком в руках немецкого и итальянского фашиз-

ма. Интервенты вывозят из Испании массу пшеницы, масла, скот и др. сельскохозяйственные продукты. Более того, интервенты, по сообщению «Френте рохо», отбирают у крестьян Испании лучшие земли. На этих землях они организуют плантации для производства разной сельскохозяйственной продукции, в которой так сильно нуждаются Германия и Италия.

Аналогично нужно оценивать проникновение немецкого фашизма в долину Дуная. Генерал Коньян в своей статье «Дунай — дорога на юго-восток» («La France militaire», 11.IV. 1938 г.) пишет: «Оккупация Австрии является исходной базой для выполнения замыслов Гитлера. Германия нуждается в пищевых продуктах и в сырье. Долина Дуная имеет все это. Германия стремится получить хлеб, нефть, горные богатства». Таким образом, захват Австрии немецким фашизмом обнаруживает стремление получить не только лучшее географическое положение, но и новые рынки стратегического сырья.

Овладев Австрией, фашистская Германия пытается расчистить себе путь вниз по Дунаю с тем, чтобы из Венгрии, Румынии и балканских стран черпать нефть, железную руду, медь, бокситы, марганец, лес, зерно и мясо, столь

необходимые ей для ведения «большой» войны.

Японский империализм в настоящее время добивается окончательного захвата Северного Китая. Агрессор и здесь до начала «большой» войны хочет получить прочную базу стратегического сырья. В этом нетрудно убедиться, если вспомнить, что именно северная часть Китая обладает огромными сырьевыми ресурсами. Во всем Китае, без Манчжурии, общие запасы каменного угля составляют 248.287 млн. тонн и железной руды 381 млн. тонн. Из них в Северном Китае, т.-е. в провинциях Хэбэй, Шаньдунь, Шаньси, Чахар, Суйюань, залегают каменного угля — 53,5 проц. и железной руды — 45,3 проц. Кроме того, в Северном Китае от всей валовой сельскохозяйственной продукции страны собирается 36,7 проц. пшеницы, 60,7 проц. проса, 53,9 проц. гаоляна, 43,2 проц. маиса, 25,9 проц. хлопка и 90 проц. шерсти.

Фашистские страны — основные поджигатели новой мировой войны — подчинили ей все отрасли своей экономики.

В этих целях они форсируют добычу топливных ресурсов, увеличивают выплавку черных и прочих металлов, которых, как известно, расходуется очень много при ведении современной войны.

Рост добычи топливных ресурсов и выплавки черных металлов в странах блока агрессоров

Годы	Германия				Япония					Италия	
	Добыто угля (в млн. тонн)		Выплавлено (в тыс. тонн)		Добыто		Выплавлено			Выплавлено (в тыс. тонн)	
	каменного	бурого	чугуна	стали	угля млн.т.	нефти в тыс. галонов	чугуна (в тыс. тонн)	стали (тонн)	меди (в м. кг.)	чугуна	стали
1929	176,4	174,0	15336	18456	34,8	3098	1536	2292	75,6	684	2012
1930	156,0	133,4	11604	13476	31,2	2168	1568	2292	79,2	540	1776
1931	129,6	133,2	7572	9828	27,6	3360	1404	1884	75,6	504	1452
1932	115,2	122,4	5280	7236	27,6	2532	1548	2400	70,8	456	1292
1933	121,2	127,2	6864	9252	32,4	2256	2028	3004	69,6	516	1788
1934	135,6	136,8	1560	13824	36,0	2316	2400	3400	67,2	516	1848
1935	142,8	147,6	12540	16104	34,8	2940	2724	4500	69,6	624	2208
1936	148,4	160,8	15300	19152	38,4	3816	2808	5028	78,0	744	2028
1937	184,8	184,8	15960	19848	41,3 ¹	3892 ¹	29,0 ¹	5148 ¹	83,2	792	2088

¹ Предварительный подсчет.

Из анализа таблицы становится совершенно ясным, что агрессивные страны действительно накапливают стратегическое сырье, столь необходимое им для ведения большой войны.

Полезные ископаемые при ведении современной войны имеют действительно колоссальнейшее значение. Ряд виднейших военных специалистов Западной Европы и США утверждают, что во время войны армия, численностью в один миллион человек, расходует ежемесячно 4 млн. тонн каменного угля, 200 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 300 тыс. тонн стали и т. д. Нужно сказать, что эти подсчеты совершенно реальны. Более того, они чрезвычайно скромны. В этом легко убедиться, если напомнить, что во время мировой империалистической войны 1914—1918 гг. годовой «стальной паек» солдата коле-

бался от 2 до 3 тонн. «Дейче вер» еще 16/1 1936 г. писала о том, что сухопутная армия в составе трехсот пехотных дивизий будет во время войны расходовать ежегодно не менее 12 млн. тонн нефти. В Германии недавно издана брошюра «Нефтяная политика великих держав, с точки зрения экономики войны». Автор брошюры, Фриц Фетцер, оценивает годовую потребность Японии в нефти и нефтепродуктах во время войны в 15 млн. тонн.

Все это, вместе взятое, говорит о том, какое гигантское значение имеют полезные ископаемые при ведении войны. Фашистские государства недостаточно обеспечены своими полезными ископаемыми, поэтому они с каждым годом увеличивают импорт стратегического сырья. Об этом с большой ясностью свидетельствует нижеприводимая таблица:

Импорт сырья и товаров военного значения в Германию и Италию
(в тыс. тонн.)

Название товаров и сырья	Германия						Италия					
	1932 г.	1934 г.	1936 г.	Январь-сентябрь			1932 г.	1934 г.	1936 г.	Январь-сентябрь		
				1935 г.	1937 г.	итого 1937 г. в % от итогов 1936 г.				1936 г.	1937 г.	итого 1937 г. в % от итогов 1936 г.
Лом железный, стальной и чугунный . . .	98,7	499	221	210	312	149	477	732	400	311	422	136
Медь	138,5	194,0	152,3	116,8	162,7	134	53,2	63,3	83,4	66,5	56,3	85
Олово	14,0	14,6	10,8	8,2	13,1	155	3,8	4,2	3,7	3,2	2,7	85
Нефть сырая . . .	270	277	579	377	555	147	127	143	301	227	683	301
Бензин	1088	1158	1325	1022	779	76	325	348	210	148	226	153
Минеральные смаз. масла . . .	313	322	386	277	302	109	66,5	65,7	54,7	40,8	53,4	131
Каменный уголь	—	—	—	—	—	—	8,8	12,7	9,3	7,0	9,4	135
Каучук	48,2	63,7	73,4	51,8	72,9	141	15,4	21,8	16,8	14,3	19,3	135

Не располагая в достаточном количестве собственным стратегическим сырьем, поджигатели войны создают у себя их запасы. Мировая печать сообщала, что Германия в районе Магдебурга содержит резервированную нефть в 60 подземных хранилищах. Нужно полагать, что она на случай

войны накапливает запасы и прочего сырья.

В отношении Японии было давно известно, что она также создала у себя запасы стратегического сырья. Ряд иностранных источников утверждает, что до войны с Китаем Япония в неприкосновенном запасе имела свыше 2 млн.

тонн железной руды, около 1,5 млн. тонн железного лома, более 2 тонн нефтепродуктов, до 3 млн. тонн каменного угля и т. д.

Значение промышленности во время войны настолько велико, что его трудно переоценить. На самом деле, любое техническое средство борьбы является продукцией современной индустрии. Поэтому нет никакого сомнения, что лишь то государство, которое располагает развитой промышленностью, сможет наиболее полно оснащать свою армию новейшим вооружением. О напряженной работе промышленности в целях удовлетворения потребностей войны можно судить по следующим примерам.

Слаборазвитая в промышленном отношении царская Россия во время войны 1914—1918 гг. мобилизовала для выработки военной продукции более 3 200 заводов. Во время этой же войны было мобилизовано во Франции 15 000 заводов и в Германии около 30 000. Французская промышленность во время войны ежедневно вырабатывала 115 000 артиллерийских снарядов различных калибров. Германия за всю войну 1914—1918 гг. отправила на фронт 392 млн. артиллерийских снарядов.

Кроме снарядов, приходится посылать на фронт огромное количество орудий. Германия ежемесячно отправляла на фронт: в 1916 г. по 500 и в 1917 г. по 1 500 артиллерийских орудий разных систем и калибров.

Помимо артиллерийских орудий и снарядов промышленность должна снабжать армию патронами, винтовками, пулеметами, танками, броневиками, самолетами и разным имуществом связи, инженерным и т. п.

Учитывая все это, фашистские страны заранее приспособливают свою промышленность к требованиям военного времени. При этом они особое внимание уделяют машиностроительной, металлургической и химической промышленности.

Они всеми мерами стремятся повысить удельный вес перечисленных отраслей промышленности. Причем особо ощутительный рост показывает машиностроение.

Машиностроительная промышленность блока агрессоров (индексы)

Годы	Германия	Италия	Япония
1929	100	100	—
1930	82,4	91,3	100
1933	41,5	68,8	137,6
1935	81,2	97,9	211,9
1936	97,7	115,3	241,8
1937	122,2	—	—

Из отраслей машиностроения наибольшее военное значение имеют: авиационная, автомобильная и судостроительная. Как-раз эти отрасли промышленности находятся под «высоким» покровительством фашистских стран. Они прилагают все усилия к тому, чтобы добиться в этих отраслях промышленности высокой производительности. Мировая печать годовую производственную мощность авиационной промышленности Германии оценивает в 16—16,5 тысяч и Японии в 6—6,5 тысяч самолетов.

Моторизация и механизация довольно широко внедрены в фашистских армиях. Это вызывает бурный рост автомобильной промышленности.

Автомобильная промышленность (1929 г. = 100)

Годы	Германия		Италия
	Грузовые машины	Легковые машины	Все машины
1930	61,8	72,4	81,8
1932	23,9	31,4	69,9
1934	83,2	104,9	78,6
1936	168,5	177,6	142,3
1937	195,3	214,3	—

Фашистские государства готовятся к войне не только на суше, но и на море. Нижеследующая таблица показывает загрузку судостроительной промышленности этих государств.

Суда, находящиеся в постройке, — в среднем ежемесячно (в тыс. рег. тонн брутто).

Годы	Германия	Италия	Япония
1929	253,3	77,9	183,6
1931	104,0	178,3	53,3
1933	22,5	11,2	406,8
1935	254,1	25,6	118,6
1937	369,4	106,9	305,5

В странах фашистского мракобесия растет и химическая промышленность. Во время войны 1914—1918 гг. в Германии в среднем ежемесячно вырабатывалось 4.500 тонн отравляющих и дымовых веществ. Теперь же есть все основания полагать, что этих веществ Германия может производить в 7—8 раз больше. Японская химическая промышленность сможет ежемесячно давать 10—11 тыс. тонн отравляющих веществ.

Как и все виды промышленности, так и пути сообщения агрессоры ставят на службу войне. Для этого улучшается сеть ранее существовавших путей сообщения и ведется бурное строительство стратегических дорог. Японский империализм, готовя из Манчжурии плацдарм «большой» войны, за период времени с 1932 г. по 1937 г. включительно увеличил сеть железных дорог почти вдвое. Кроме этого, Япония намерена здесь же построить в ближайшее пятилетие еще около 4.500 км. новых железных дорог.

Несмотря на то, что Германия обладает весьма развитой сетью грунтовых путей сообщения, она все же строит стратегические дороги нового типа, так называемые автострады. Таких автострад в Германии за период времени с 23 сентября 1933 г. по 1 марта 1937 г. построено 1.141 км. Кроме того, находилось в постройке еще 1.618 км. автострад.

Наряду с подготовкой к войне промышленности, сельского хозяйства и путей сообщения, фашистские государства увеличивают свои вооруженные силы. К марту 1938 г. германская армия имела 44 пехотных дивизии и 4 мотомехдивизии. Кроме того, нынешняя численность военно-обученных резервов позволит удвоить германскую армию.

Таким образом, германский фашизм в первые дни войны может выставить около 100 пехотных и, конечно, более 4 мотомеханизированных дивизии общей численностью приблизительно в 2 миллиона человек. Одновременно с увеличением сухопутной армии растут воздушный и морской флоты.

За период 1933—37 гг. в Германии построено 12.000 самолетов, а в 1938 г. намечено к выпуску до 5.000 самолетов

и до 10.000 авиамоторов¹. Увеличивается количество авиационных заводов, на которых занято 100.000 рабочих против 5.000 в 1932 г. На 1.V.38 г. морской флот Германии вместе с кораблями, находившимися в постройке, составлял 132 боевых единицы в 425.500 тонн водоизмещения.

Не отстает от Германии и фашистская Италия, увеличившая свою армию до 1 миллиона человек. Вместе с этим она развивает танко- и самолетостроение. К исходу 1937 г. Италия имела в строю около 4.500 самолетов². В 1938 году на авиационное строительство ассигновано 1.265.560 тысяч лир³. Это почти вдвое превышает ассигнования предыдущего года. Итальянский фашизм уделяет исключительное внимание укреплению своего морского могущества. На 1938 г. морской флот Италии состоял из 246 боевых единиц в 553.000 тонн водоизмещения.

Вооруженные силы японского империализма за истекший год резко увеличились. В 1937 г. Япония имела армию в 375.000 человек⁴, а уже к настоящему времени у нее под ружьем находится около двух миллионов человек. Механизированные силы Японии, по иностранным источникам, состоят из 3—4 мехбригад и 4 танковых полков.

Японские империалисты напрягают все силы к тому, чтобы быть независимыми в области авиации. В настоящее время Япония имеет до 3.300 самолетов. По плану так называемой «авиации Нагано», программа строительства рассчитана на 5 лет. Ассигновано 75 млн. иен⁵.

На 1.I.38 г. японский морской флот состоял из 263 боевых единиц. На выполнение так называемой «третьей дополнительной программы» военно-морского строительства, утвержденной в 1936 г., ассигнован 1 млрд. иен. Про-

¹ «Вестник воздушного флота», № 6 за 1938 г., стр. 95.

² «Вестник воздушного флота», № 4 за 1938 г.

³ «Правда», 1.VIII.37 г.

⁴ «Правда», 1.VIII.37 г.

⁵ «Вестник воздушного флота», № 3 за 1938 г.

грамма рассчитана на 5 лет. По данным иностранной прессы, Япония приступила к постройке 3 линкоров и 3 быстроходных мощных крейсеров. Кроме того, решено построить: 43 эсминца, 7 легких крейсеров и несколько подводных лодок.

Фашисты бешено готовятся к новой мировой войне и прежде всего к войне против первого в мире социалистического государства. Наша страна — решающий фактор мира. Она «неизменно теперь, как и ранее, стоит на позициях мира». (Ворошилов. Речь на параде РККА 7 ноября 1937 года). Однако

миролюбивая политика Страны социализма означает не слабость. Напротив, «Рабоче-Крестьянская Красная Армия, защищая мир во всем мире, готова каждую минуту ринуться в то место, где будут нарушены священные границы нашего пролетарского государства. Рабоче-Крестьянская Красная Армия одним могучим броском отбросит всякого врага туда, откуда он пришел, и будет его бить там, откуда он пришел, откуда он вознамерился осквернить нашу святую Советскую землю». (Ворошилов. Речь на параде РККА 7/XI 1937 г.)

Оборона Царицына

Полковник С. ГУРОВ

★

Осень 1918 года. Молодая Советская республика переживала самые тяжелые дни за все время своего существования. Вокруг нее сжималось огненное кольцо врагов. На востоке — Самару, Казань, Симбирск, Поволжье, Сибирь заняли белые и чехословаки с меньшевиками и эсерами; с юга наступали белогвардейские армии Краснова и Деникина; Кавказ и районы Туркестана были захвачены местными белогвардейскими формированиями, турками и англичанами; на западе — белополяки и германо-австрийские дивизии захватили всю Белоруссию и Украину; с севера наступали войска Антанты (англичане, французы и американцы) и белые отряды. Кольцо почти замкнулось. Только гордый Царицын — красный Верден — стоял неприступной крепостью и разделял южный и восточный фронты контрреволюции.

В противовес югу, где сосредоточились контрреволюционеры, Царицын с прилегающим к нему районом являлся опорным пунктом для революционной борьбы Советской России на Дону, Кубани и Украине. С своим 30-тысячным организованным рабочим населением Царицын был одним из важнейших жизненных центров революции на юго-востоке Советской республики.

Будучи расположен между донским углем, южным хлебом, северным лесом, уральским металлом, туркестанским хлопком и бакинской нефтью, Царицын являлся значительным экономическим

центром и мощным транзитным узлом на Средней и Нижней Волге. Владея Царицыном, Красная армия обеспечивала связь Советской республики с Астраханью и Северо-Кавказским фронтом и, в то же время, не допускала оперативной связи и взаимодействия белых армий юга с уральским белогвардейским казачеством, а через него и с восточным фронтом. Таково было политическое, экономическое и оперативное значение Царицына.

Все это прекрасно учитывал товарищ Сталин, находившийся в Царицыне с 6 июня 1918 г. Партия и Ленин послали товарища Сталина в Царицын в качестве руководителя всем продовольственным делом юга России. В Царицыне товарищ Сталин застал полную неразбериху во всех советских, профессиональных и партийных организациях и еще больший хаос и путаницу в военных учреждениях. Обстановка была такова, что работу по организации политической и хозяйственной жизни Царицына трудно было отделить от военной деятельности, и вскоре товарищ Сталин превратился в фактического руководителя всеми вооруженными силами Царицынского фронта. Это положение было оформлено в Москве, и на товарища Сталина были возложены задачи:

«навести порядок, объединить отряды в регулярные части, установить правильное командование, изгнав всех непопулярных» (из телеграммы РВС Республики с надписью: «Настоящая теле-

грамма отправляется по согласованию с Лениным») ¹.

Железной рукой товарищ Сталин стал наводить порядок во всех советских учреждениях, но главное свое внимание сосредоточил на военных вопросах. Руководителем Северо-Кавказского военного округа был ставленник предателя Троцкого генерал Снесарев, который вместе со своими ближайшими помощниками полковником Носовичем, Ковалевским и др. вел вредительскую работу и подрывал оборонную мощь Царицына. Город был переполнен контрреволюционерами всех мастей, которые до приезда товарища Сталина чувствовали себя, как дома, и весело проводили время в садах, кафе и ресторанах.

Нужно было в кратчайший срок реорганизовать военное управление и красные силы на фронте, очистить тыл от контрреволюционного мусора. И товарищ Сталин взялся за это дело по-сталински. «Линия южнее Царицына еще не восстановлена» — пишет он Ленину в записке от 7 июля, переданной с характерной надписью: «Спешу на фронт, пишу только по делу».

«Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим. Можете быть уверены, что не пощадим никого — ни себя, ни других, а хлеб все же дадим.

Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана; и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им».

И далее, отвечая на беспокойство Ленина по поводу возможного выступления левых эсеров в Царицыне, он пишет кратко, но твердо и ясно: «Что касается истеричных, будьте уверены, у нас рука не дрогнет, с врагами будем действовать по-вражески» ².

К июлю 1918 г. к Царицыну подошла группа войск под командованием товарища К. Е. Ворошилова, сосредоточившаяся на левом берегу Дона в районе Кривомузгинской, Карповки и Воропо-

ново. Эта группа с боями прошла 700 километров с Украины, через Донбасс и Донецкую область. Начиная от Конотопа, через Ворожбу, Харьков, Купянск, Сватово, Кабанье, Родаково, Луганск, Миллерово, Глубокая, Лихая и далее по бушевавшему контрреволюционному Дону шла армия товарища Ворошилова в непрерывных боях с немецкими оккупационными войсками и белоказачьими контрреволюционными отрядами.

«Десятки тысяч деморализованных, изнуренных, оборванных людей и тысячи вагонов со скарбом рабочих и их семьями нужно было провести через бушевавший казачий Дон. Целых три месяца, окруженные со всех сторон генералами Мамонтовым, Фицхелауровым, Денисовым и другими, пробивались мои отряды, восстанавливая железнодорожное полотно, на десятки верст снесенное и сожженное, строя заново мосты и возводя насыпи и плотины. Через три месяца «группа войск Ворошилова» приблизилась к Царицыну, и здесь из нее и других частей была образована 10-я красная армия, которую мне было поручено командовать» ¹.

Так описывает переход своих войск через контрреволюционный Дон товарищ Ворошилов.

С приходом группы войск товарища Ворошилова положение Царицына улучшилось. На Царицынский фронт влились тысячи бойцов — металлистов и шахтеров Донбасса с ценным боевым имуществом.

Во главе с товарищем Сталиным создается Революционный военный совет, который и приступил к организации регулярной армии. Были созданы новые дивизии: 1-я Коммунистическая, Сводно-Казачья, 1-я Морозовско-Донецкая, 1-я Южная. В эти новые дивизии влились ранее существовавшие отдельные небольшие отряды, которые теперь вошли в состав дивизий в качестве рот, батальонов и полков.

Между тем обстановка на фронте требовала напряжения всех сил и

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Воениздат, 1937 г., стр. 8.

² Там же, стр. 6—7.

¹ В. Меликов. Героическая оборона Царицына, Воениздат, 1938 г., стр. 8. Автобиография тов. Ворошилова.

средств, чтобы отстоять Царицын от нападающего врага.

Еще в апреле месяце донское бело-гвардейское правительство, при содействии немецких оккупантов, захватило Ростов и Новочеркасск. Генерал Краснов приступил к формированию Донской армии. В конце июля белоказачьи части заняли исходное положение для решительного наступления на Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск, Калач.

В направлении на Царицын Краснов выделил отряды генералов Фицхелаурова и Мамонтова общей численностью 27 000 пехоты, 30 000 конницы, 610 пулеметов, 175 орудий, 20 самолетов и несколько бронепоездов. Войска Царицынского фронта насчитывали: 35 000 штыков, 2 400 сабель, 260—270 пулеметов и 100 орудий.

Вот при таком соотношении сил и начались бои в районе Царицына.

Группа генерала Фицхелаурова начала развивать наступление в направлении на Камышин. 30 июля белоказаками была занята ст. Себрякова, а к 3 августа белые вышли на линию Камышин, Елань. Таким образом, Царицын был отрезан от Москвы.

Тем временем Сводно-Казачья и 1-я Коммунистическая дивизии перешли в наступление на мамонтовские части в направлении на Калач и 31 июля заняли его, где были захвачены огромные запасы хлеба, много винтовок, пулеметов и орудий, один пароход и баржи.

Однако на севере обстановка складывалась все более не в пользу войск Царицынского фронта. Генерал Фицхелауров своим правым флангом начал развивать наступление на юг. 2 августа им была занята Пролейка на берегу Волги, и огонь белых мешал движению по Волге нашим пароходам. 11 августа белыми была занята ст. Иловля.

8 августа и группа генерала Мамонтова перешла в наступление на Царицын с востока. 11 августа им была занята ст. Кривомузгинская. Войска Царицынского фронта под напором белоказачков начали отступать на линию: Котлубань, Басаргино, Тингута. Этот

период так характеризует тов. Ворошилов:

«Помню, как сейчас, начало августа 1918 г. Красновские казачьи части ведут наступление на Царицын, пытаюсь концентрическим ударом сбросить красные полки на Волгу. В течение многих дней красные войска во главе с Коммунистической дивизией, сплошь состоявшей из рабочих Донбасса, отражают исключительной силы натиск прекрасно организованных казачьих частей. Это были дни величайшего напряжения. Нужно было видеть товарища Сталина в это время. Как всегда, спокойный, углубленный в свои мысли, он буквально целыми сутками не спал, распределяя свою интенсивнейшую работу между боевыми позициями и штабом армии. Положение на фронте становилось почти катастрофическим. Красновские части под командованием Фицхелаурова, Мамонтова и других хорошо продуманным маневром теснили наши измотанные, несшие огромные потери войска. Фронт противника, построенный подковой, упиравшейся своими флангами в Волгу, с каждым днем сжимался все больше и больше. У нас не было путей отхода. Но Сталин о них и не заботился. Он был проникнут одним сознанием, одной единственной мыслью — победить, разбить врага во что бы то ни стало. И эта несокрушимая воля Сталина передавалась всем его ближайшим соратникам, и, невзирая на почти безвыходное положение, никто не сомневался в победе»¹.

12 августа группа генерала Фицхелаурова теснит красные части к югу и захватывает ст. Качалино. Мамонтов выделяет конный отряд в 1 000 сабель с целью выйти во фланг и тыл нашим частям с юга. С 14 по 16 августа идут кровопролитные бои на линии: Гумрак, Воропоново, Тингута. К 18 августа Царицын был отрезан и с севера и с юга. Произошло его первое окружение.

Но все попытки белых захватить Царицынский железнодорожный узел кончились неудачей. Благодаря наличию трех железнодорожных линий, расходя-

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Воениздат, 1937 г., стр. 12—13.

щихся от Царицына к северо-западу, западу и юго-западу, и соединительной ветке между первыми двумя линиями, товарищ Ворошилов мог свободно маневрировать по ним имеющимися у него бронепоездами и отбивать все атаки противника артиллерийским и пулеметным огнем.

Революционно настроенные члены профсоюза «Грузолес» (рабочие-грузчики) постановили просить Военный совет выдать им оружие и отправить на фронт. Разрешение было получено, и из «Грузолеса» был сформирован отряд в 2 000 человек, который и был направлен на северный участок фронта.

С 20 августа войска Царицынского фронта, приведенные в порядок, усиленные отрядами рабочих и сцементированные железной волей товарища Сталина, под непосредственным руководством товарища Ворошилова перешли в контрнаступление на врага. На северном участке 20 августа противник был выбит из Орловки и Мечетки, 22 августа он теряет Пичугу.

В тылу белых, в районе Громославки (юго-западнее Царицына) остался Громославский полк. Этому полку Военный совет приказывает нанести удар во фланг белых в направлении Ивановки. Громославский полк эту задачу выполняет своевременно и обращает белых в бегство. По всему фронту противник начал отступать, и в первых числах сентября части Красной армии вышли на линию: ст. Иловля, Калач, Ляпичев, Гнилоаксайская.

7 сентября товарищ Сталин посылает Ленину следующую телеграмму:

«Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом: на севере взята ст. Иловля, на западе — Калач, Ляпичев, мост на Дону, на юге — Ромашки, Немковский, Демкин. Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается.

Нарком СТАЛИН»¹

Так первая попытка белоказаков захватить Царицын окончилась неудачей.

Но не кончились еще тяжелые дни для Царицына. Генералы Краснов и Денисов придавали очень большое значение Царицынскому фронту, они во что бы то ни стало хотели захватить Царицын и тем самым войти в оперативную связь с восточной контрреволюцией. Группа генерала Мамонтова, усиленная свежими частями, по приказу Краснова в 20-х числах сентября вновь перешла в наступление на Царицын.

К концу сентября положение на фронте было таково. На северном боевом участке наши части к 24 сентября занимали ст. Липки и вели успешные бои с противником, тесня его на север и северо-запад.

На западном (центральном) участке белоказаки превосходными силами теснили наши части в направлении Карповки; 29 сентября велись бои на линии Голубинская, ст. Кривоузгинская, ст. Ляпичев.

На южном боевом участке противник большими силами наступал на ст. Абганерово. В оперативной сводке Военного совета так рисовалось положение на южном участке:

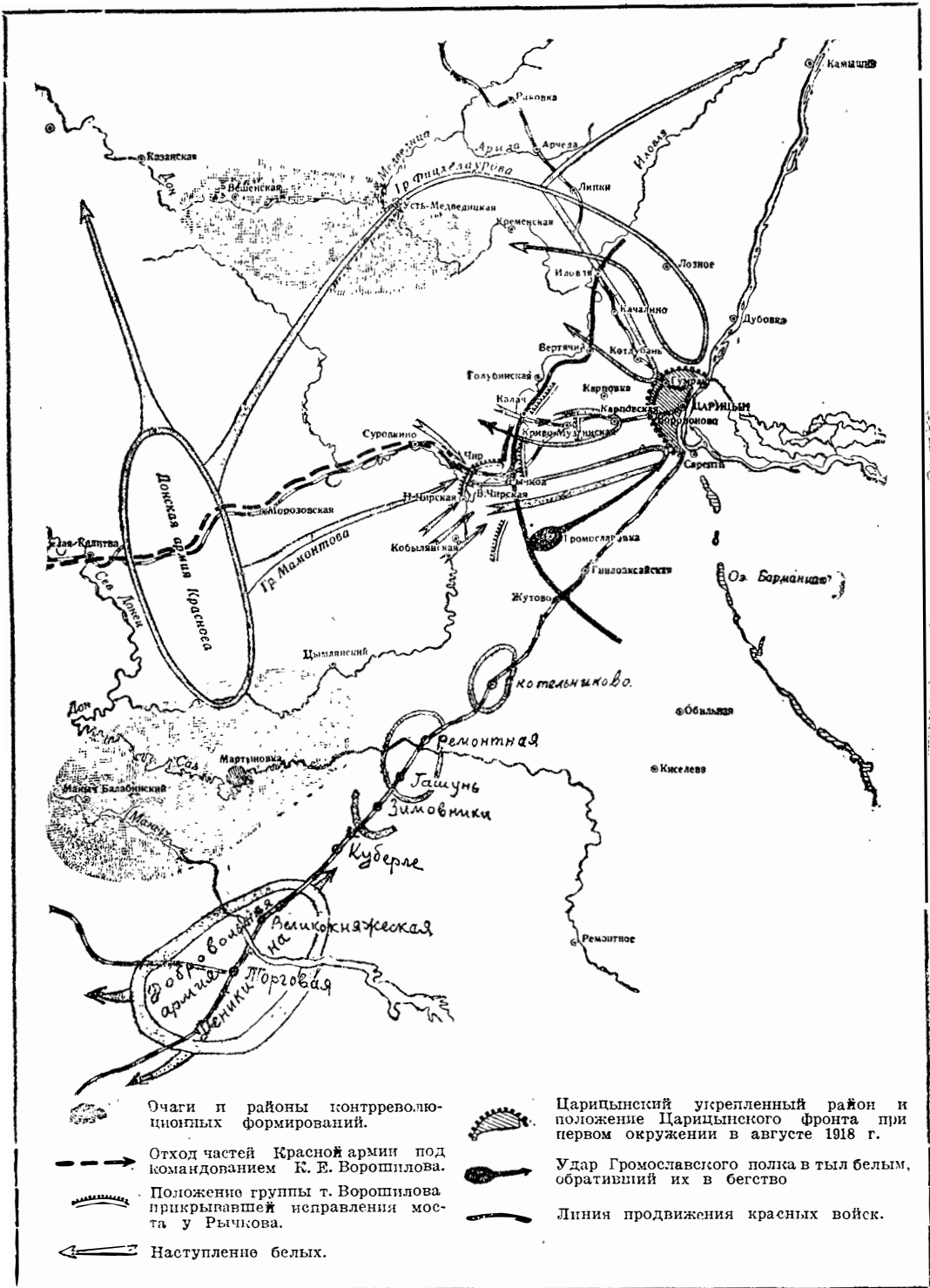
«На левом фланге противник крупными силами ведет наступление на ст. Абганерово, стараясь взять город Царицын с юго-запада, причем нами оставлена станция Гнилоаксайская. Наши войска, находящиеся на Южном фронте в районе Котельниково—Ремонтная, от нас отрезаны, связи с ними пока не имеем»¹.

6 октября товарищ Сталин уезжает в Москву для доклада товарищу Ленину о положении дел на фронте. Но он не оставляет Царицына без своего внимания. Так, по пути в Москву из Камышина товарищ Сталин посылает товарищу Ворошилову телеграмму следующего содержания:

«После некоторого размышления на досуге для меня стало очевидным, что казаки намерены во что бы то ни стало соединиться с астраханскими казаками, прервать Волгу, если даже Цари-

¹ В. Меликов. Героическая оборона Царицына. Воениздат, 1938 г., стр. 42.

¹ В. Меликов. Героическая оборона Царицына. Воениздат, 1938 г., стр. 47. ЦДКА, дело № 207—396, лист 47.



Первое окружение Царицына (схема № 1).

цын не будет взят, то отрезать совершенно Северо-Кавказскую армию от центра снабжения, взять Астрахань, закрепить за собой Сев. Каспий и Сев. Кавказ, поэтому наша основная очередная задача — во что бы то ни стало закрепить за собой линию Сарепта — Барманцак — Садовая — Обильное — Киселево, без выполнения этой задачи положение будет угрожающее. Через час выезжаю Москву. *СТАЛИН*»¹.

Товарищ Сталин был в Москве до 11 октября. События подтвердили гениальное предвидение товарища Сталина. Уже 9 октября для Военного совета стало ясно, что главные силы белых наступают на Царицын с юго-запада и что силы эти свежие, хорошо одеты и вооружены.

Между тем предатель Троцкий, как мог, работал на пользу врагов. Он не только пытается отстранить виднейших руководителей партии в Царицыне от руководства вооруженной борьбой, но требует эвакуации штаба руководства из Царицына в Козлов, т. е. на 550 километров от Царицына.

От РВС республики и главного командования приходили путаные и разноречивые распоряжения, которые еще больше осложняли работу командования Царицынским фронтом. Так, товарищ Ворошилов посылает в центр следующую телеграмму:

«Арзамас. Военревсовет Республики. Москва. Кремль. ЦИК СТАЛИНУ. Козлов. Сытину. Только АРЗАМАС.

Военревсоветом Республики 17 сентября я назначен членом Военревсовета Южного фронта и помощником командующего Южного фронта. До сих пор отмены моего назначения я от Военревсовета Республики не получал. В то же время в телеграммах за подписью Троцкого, полученных в последние дни, указывается о создании Военревсовета Южного фронта в новом составе и в которых я называюсь командующим 10-й армией. Для себя считаю законными постановлениями лишь Военревсовета Респуб-

лики. Прошу раз'яснений, отстранен ли я с товарищем Сталиным от должности членов Военревсовета Южного фронта. До получения указаний от Военревсовета Республики не считаю себя вправе приводить в исполнение единоличных приказов Троцкого. Считаю долгом заявить, что бесконечная путаница приказов, один другой отменяющих, в последние дни пагубно отражается на положении фронта, что уже дает плачевные результаты. Если в срочном порядке не будут устранены подобные явления и не получится снаряжение, я за последствия ответственность с себя снимаю. № 789.

ВОРОШИЛОВ»¹.

Вскоре после этого последовало указание, что командармом 10 является товарищ Ворошилов и место расположения штаба 10-й армии предоставляется право выбрать ему.

Таким образом, на время отъезда товарища Сталина в Царицыне оставался товарищ Ворошилов и по директивам товарища Сталина руководил обороной Царицына.

Товарищ Ворошилов все время находился на фронте. Он переезжал из одной дивизии в другую, ободрял бойцов, давал указания командирам. В самом Царицыне в это время кое у кого падало настроение, распространялись панические слухи, поднимался вопрос об эвакуации Царицына. Товарищ Ворошилов своими телеграммами с фронта успокаивал и вселял уверенность в колеблющихся.

Так, 10 октября товарищ Ворошилов шлет телеграмму:

«Царицын. Военсовет.

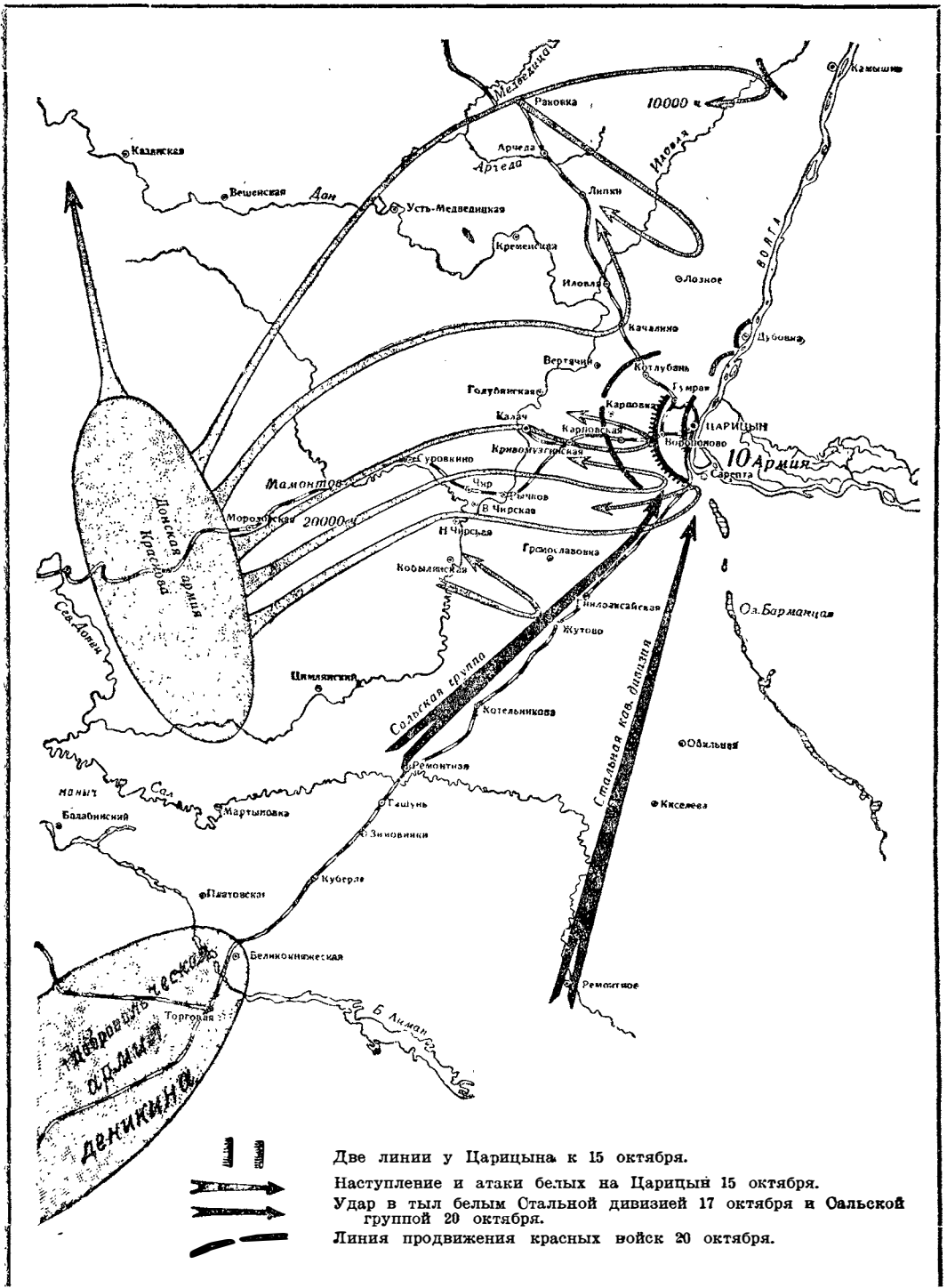
Принята 10/Х—1918 г. 11 ч. 40 мин.

Об'ехал Морозовскую дивизию. Приняты все меры для восстановления положения. Тундутово займу сегодня. Еду в Чапурники, куда в случае надобности телеграфируйте. Положение не так плохо, как это многим трусам и дуракам кажется. К вечеру или ночью буду в Совете. *Ворошилов*»².

¹ В. Меликов. Героическая оборона Царицына. Воениздат, 1938 г., стр. 53. ЦДКА, дело № 46—557, лист 116.

² К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Воениздат. 1937 г., стр. 65.

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия, Воениздат, 1937 г., стр. 50.



Второе окружение Царицына (схема № 2)

Силы белых, действовавших в этот период под Царицыном, составляли: 12 конных и 8 пехотных дивизий, общей численностью до 45 000 штыков и сабель (плюс 20 000 так называемой «молодой армии»), при 288 пулеметах, 150 орудиях и 8 бронепоездах.

Численный состав 10-й Красной армии по состоянию на 15 октября был таков: 54 190 штыков, 10 273 сабель, 820 пулеметов, 195 орудий. Кроме этого, в распоряжении командующего армией было 9 бронепоездов, на которых было 28 орудий разных калибров и 97 пулеметов.

Но в армии ощущался большой недостаток огнеприпасов. Красные бойцы на бензевые атаки и ураганный огонь белоказаков принуждены были отвечать только штыковыми контрударами.

14 октября товарищ Ворошилов шлет телеграмму:

«Арзамас. Военревсовет Республики. Козлов. Военревсовет Южного фронта. Главком, Москва, ЦИК Свердлову.

14 октября. Ввиду задержки центром необходимого вооружения, снаряжения и обмундирования положение фронта резко ухудшилось. Оставлены станции Кривая Музга, Карповка, Лог; противник переправился через Волгу у Светлого Яра, распространяясь по левому берегу против Царицына. Поторопите высылку подкреплений пока не поздно.

Командарм 10 ВОРОШИЛОВ»¹

И в этот же день в другой телеграмме товарищ Ворошилов пишет:

«14 октября. Противник крупными силами наступает против Центрального и Северного участков Царицынского фронта. Наши части отступают. Противник отрезал Волгу на юге, пытается отрезать на севере и взять Царицын. Положение критическое, снарядов нет. Необходимо немедленная помощь по Волге военными судами, живой силой, снарядами, патронами, после исправить положение будет уже трудно. Армия сражается героически, но всему есть пределы.

ВОРОШИЛОВ»¹.

¹ В. Мелников. Героическая оборона Царицына. Воениздат, 1938 г., стр. 63. ЦДКА. Дела №№ 30—065, лист 38 и 118—758, лист 211.

В ответ на эти тревожные телеграммы из центра посылались успокоительные телеграммы и обещания прислать и подкрепления, и боеприпасы, но все это оставалось лишь на бумаге. Так, например, в распоряжение товарища Ворошилова была послана так называемая Вольская дивизия, но из ее состава пришел только один Московско-Саратовский полк в 500 штыков и штаб артиллерийской бригады без орудий. А положение становилось все более угрожающим. Товарищ Ворошилов находился в боевой линии, все время держал связь с товарищем Сталиным, который 11 октября вернулся из Москвы в Царицын.

«Царицын. Сталину.

Из Воропоново, принята 14/X—1918 г., 12 ч. 2 мин.

Противник рано утром повел сильное наступление на разезд Басаргино, но нашей пехотой и бронепоездами был сбит. Нами были заняты господствующие высоты, командный состав не распорядился задержаться на высотах и начал преследовать отступающего врага. Противник, оправившись, пошел в контр-атаку, сбил нашу цепь, и все побежало. Я и Кулик с ног сбились, пытаюсь остановиться отходящих, но задержать не удалось. Цепи дошли до железнодорожного пути. Броневые поезда работают самоотверженно и исключительно стойко, если положение восстановится, то исключительно благодаря бронепоездам. Я напрягаю все силы и принимаю меры спасти положение. Еду опять на фронт, в цепь.

ВОРОШИЛОВ»¹.

Таково было положение на 15 октября. Части 10-й армии вели бои с белоказаками на центральном и южном участках фронта на следующей линии: Воропоново, Отрадное, Сарепта, Ивановка, Большие и Малые Чапурники. До Царицына оставалось примерно 20 километров. Особенно сильный нажим оказывали белые с юга.

К этому времени переброшенная с Северного Кавказа, по приказу товарища

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Воениздат, 1937 г., стр. 65.

Сталина, подходила к Царицыну Сталинская дивизия. Развернувшись в боевой порядок от железнодорожного раз'езда Чапурники, дивизия нанесла удар в тыл белоказакам. Белые покатались назад. Бросая орудия и пулеметы, белоказаки бежали, скрываясь по оврагам и хуторам.

Но на центральном (западном) участке обстановка все еще была угрожающей. 16 октября противник занял Воропоново, а 17-го на рассвете начал развивать наступление на Царицын. Тревожно заревели гудки заводов Царицына. Они извещали о новой грозной опасности, нависшей над Царицыном. Эта тревога требовала нового напряжения и новых жертв от рабочих Царицына. И рабочий класс вновь послал на фронт своих лучших сынов и братьев.

Части 10-й Красной армии под прикрытием артиллерийского огня 27 батарей, сосредоточенных на 5-километровом фронте, при поддержке бронепоездов перешли в контрнаступление на противника. Вскоре белоказаки были отброшены к Кривой Музге.

Не развил успеха противник и на северном участке. Преследуя белых, дивизии 10-й армии к концу октября вышли на линию: Островская, Арчеда, р. Дон, Жутово, Елмата, Черный Яр.

Таким образом, и вторая попытка белых овладеть Царицыном окончилась неудачей. Царицын продолжал гордо стоять неприступной крепостью.

После разгрома белых в период второго окружения Царицына товарищ Сталин выехал в Москву. Он был назначен членом Реввоенсовета Республики. 24 октября товарищ Сталин прислал в Царицын телеграмму следующего содержания:

«Командующему Царицынским фронтом Ворошилову.

Передайте Морозовскому, Тихорецкому, 3-му революционному и другим полкам..., окружавшим противника и разгромившим его наголову, мой горячий коммунистический привет. Скажите им, что Советская Россия никогда не забудет их героических подвигов и вознагра-

дит их по заслугам. Да здравствуют отважные войска Царицынского фронта!

Член Революционного Военного совета Республики, народный комиссар СТАЛИН»¹.

Вскоре и товарищ Ворошилов был назначен на другую ответственную работу. После товарищей Сталина и Ворошилова 10-я Красная армия продолжала борьбу с белоказакми. Они не оставляли мысли захватить Царицын. Части 10-й армии, организованные, обученные и воспитанные товарищами Сталиным и Ворошиловым, не раз наносили сокрушительные удары противнику. Но изменил делу революции командующий 11-й армией полковник Всеволодов, перешедший потом на сторону белых. 11-я армия, действовавшая на правом фланге 10-й армии, умышленно, как потом писал Всеволодов в белогвардейской газете «Вечернее время», была отведена назад, вместо того, чтобы наносить удар в левый фланг войскам Мамонтова.

29 июня 1919 г. 10-я армия вынуждена была оставить Царицын и отойти к северу от него на 30—35 километров.

Таким образом, целый год — с июня 1918 г. по июль 1919 г. — Царицын выполнял роль железного клина, вбитого искусной рукой товарища Сталина между контрреволюционными силами юга и востока. Он обеспечил транзит по Волге с Нижнего и Среднего Поволжья на север. Он все время угрожал тылу Донской армии, действовавшей к северу от Ростова. К моменту, когда Царицын был взят белыми, наши красные армии Восточного фронта далеко отбросили восточную контрреволюцию и, следовательно, роль Царицына была уже закончена.

Огромную роль играл Царицын в период его первого и второго окружения — 20 лет тому назад, когда обороной его руководили товарищи Сталин и Ворошилов. И в этом было счастье молодой Советской республики.

О роли товарища Сталина в обороне Царицына писал в белогвардейском

¹ В. Меликов. Героическая оборона Царицына. Воениздат, 1938 г., стр. 83.

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная

журнале «Донская волна» от 3 февраля 1919 г. перебежавший к белым полковник Носович:

«Главное назначение Сталина было снабжение продовольствием северных губерний, и для выполнения этой задачи он обладал неограниченными полномочиями...

Линия Грязи — Царицын оказалась окончательно перерезанной. На севере осталась лишь одна возможность получать припасы и поддерживать связь: это — Волга. На юге, после занятия добровольцами Тихорецкой, положение стало тоже весьма шатким. А для Сталина, черпающего свои запасы исключительно из Ставропольской губернии, такое положение граничило с окончанием его миссии на юге. Но не в правилах, очевидно, такого человека, как Сталин, уходить от раз начатого им дела. Надо отдать справедливость ему, что его энергии может позавидовать любой из старых администраторов, а способности применяться к делу и обстоятельствам следовало бы поучиться многим...»¹.

Это свидетельство врага. Но мы в миллион раз лучше знаем своего любимого и мудрого вождя, мы ежедневно и

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия, стр. 9.

ежечасно учимся у него, а он с любовью учит и воспитывает нас, как нужно бить любых врагов.

Пусть знают и помнят поджигатели войны, оголтелые фашисты, что если в тяжелые дни для молодой Советской республики, когда Красная Армия была не такая, как сегодня, все попытки врагов окружить и уничтожить ее потерпели полный крах, то нападение на Советский Союз в настоящих условиях, когда наша Красная Армия стала самой мощной армией в мире, неизбежно кончатся разгромом нападающего агрессора.

20 лет назад на полях нынешнего Сталинграда сыны трудового народа, рабочие и крестьяне, коммунисты и комсомольцы, отцы, братья, матери и сестры нашей теперешней молодежи под руководством товарищей Сталина и Ворошилова показали чудеса храбрости, мужества и героизма. Многие из них отдали свою жизнь за счастье своих сыновей и дочерей, братьев и сестер. Нашей молодежи есть чему поучиться, вспомнить героические дни Царицына, пройдя по всем историческим местам былых сражений. И мы убеждены, что в юбилейные дни героической обороны Царицына не одна сотня нашей молодежи побывает в Сталинграде.

Памяти К. С. Станиславского

★

Весь мир поразила скорбная весть: умер Станиславский. Народ знает это прекрасное имя, работники театра носят его в сердце. Ибо он был народный артист в самом высоком значении этого звания. Беседы с ним бывали праздником для всех имевших счастье соприкоснуться с ним в работе; после них мы умнели, мы становились лучше.

Невозможно и непосильно теперь подвести итоги всей его изумительной деятельности. Это целый пласт в истории сценического искусства вообще. Мы можем сказать, что из жизни ушел один из величайших теоретиков театра и сам — громадный артист, гениальный режиссер и отличный литератор, воспитатель целой плеяды блестящих режиссеров и актеров, человек-событие, как Максим Горький, народный артист Союза, неоднократно награжденный советским правительством, и, наконец, неутомимый организатор, который рука об

руку с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко создавал лучший театр в мире.

Значение Станиславского громадно. О нем писали монографии, к его голосу прислушивались мастера мирового театра. Люди в театре, по ту и другую сторону рампы, с одинаковой скорбью встретили это горестное известие. Он, как гора, высился посреди русского театра. Он был искателем высокой реалистической правды в искусстве и всю свою долгую жизнь неустанно двигался к ней. И уже воспитанники его учеников, его театральные внуки пленяют и покоряют ныне сердца многомиллионных советских зрителей. Потому-то именно теперь, когда социалистическая революция сделала театр достоянием и насущной потребностью народа, — так тяжела эта утрата.

Работники братских искусств благоговейно обнажают головы перед Константином Сергеевичем Станиславским.

★ ★ ★

К. С. Станиславский

В. САХНОВСКИЙ

★

Константин Сергеевич Алексеев (его сценический псевдоним — Станиславский) родился в Москве 17 (5) января 1863 года. Мать Станиславского, француженка, «была дочерью известной в свое время парижской артистки Варлей, приехавшей в Петербург на гастроли» («Моя жизнь в искусстве», стр. 3).

Образование К. С. Станиславский получил в Лазаревском институте восточных языков в Москве.

С самых ранних лет К. С. Станиславский страстно любил театр и мечтал о сцене. Участвуя в любительских спектаклях, он готовился к оперной карьере.

«Малый театр лучше всяких школ подействовал на мое духовное развитие. Он научил меня смотреть и видеть прекрасное... Я готовился к каждому спектаклю Малого театра. Для этого составилась небольшая кружок молодых людей, которые все вместе читали пьесу, поставленную на репертуар театра, изучали литературу о ней, критику на нее, сами устанавливали свои взгляды на произведение; потом всем кружком мы шли смотреть спектакль, а после него, в ряде новых бесед, поверяли друг другу свои впечатления. Снова смотрели пьесу в театре и снова спорили о ней... Малый театр стал тем рычагом, который управлял духовной, интеллектуальной стороной нашей жизни. К обожанию самого театра прибавилось у нас еще и обожание отдельных актрис и актеров» (Там же, стр. 52—53).

Живокини, Шумский, Самарин, Медведева, Ленский, Федотова произвели

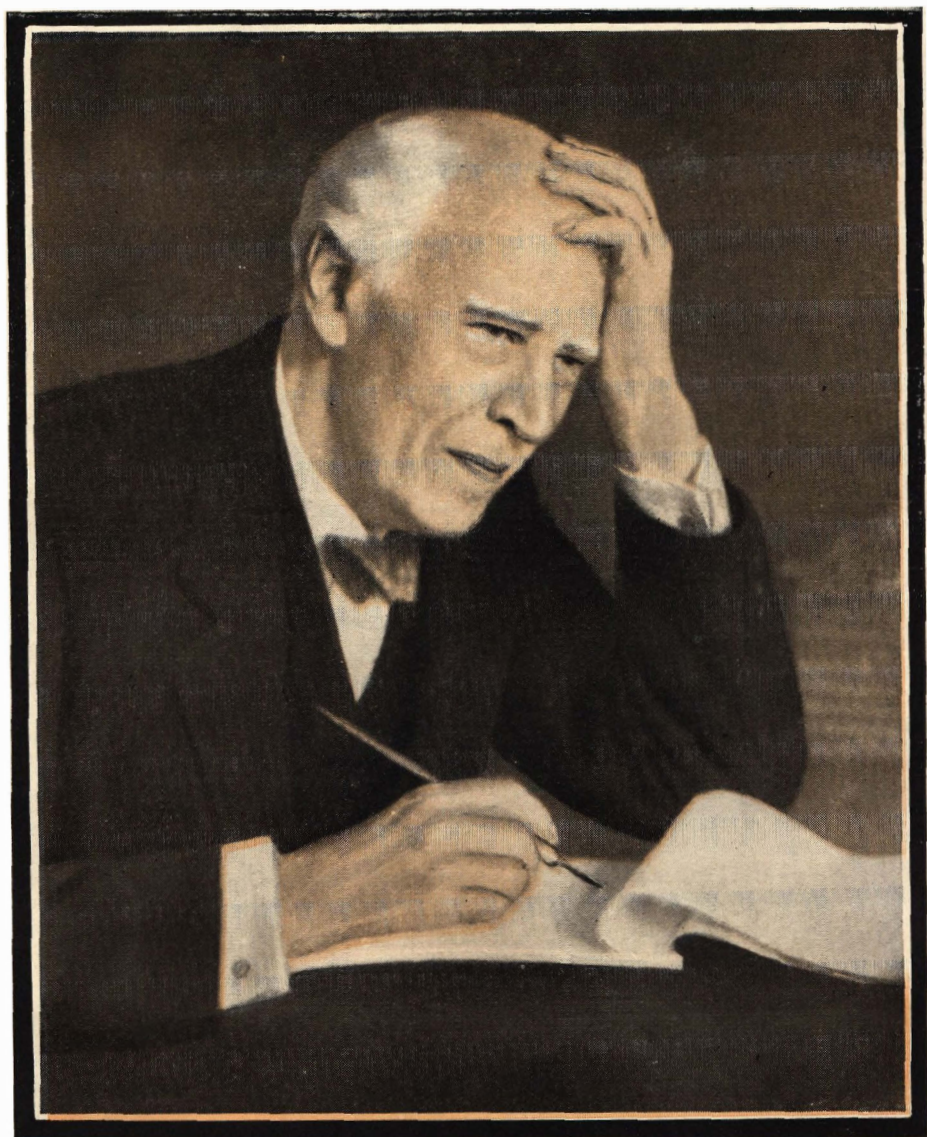
на молодого К. С. Станиславского огромное впечатление в их репертуаре в Малом театре. Такое же, если не большее, впечатление на созревшее дарование будущего великого артиста произвели М. Г. Савина, О. О. и П. М. Садовские, П. А. Стрепетова, М. А. Никулина, Е. К. Лешковская, и совершенно исключительное влияние на молодого Станиславского оказала М. Н. Ермолова.

Первый дебют К. С. Станиславского состоялся в сентябре 1877 г. в любительском спектакле в водевиле «Чашка чаю».

После увлечения водевилями так называемый Алексеевский кружок перешел к работе над оперетками и другими сценическими жанрами. К. С. Станиславский играл самые разнообразные по своему характеру роли. Но с первых шагов своего увлечения театром он неизменно проявлял огромную трудоспособность и страстность в работе, глубокую самокритичность и умение обобщать полученные из опыта впечатления.

В 1888 г. К. С. Станиславский совместно с бывшим оперным артистом Ф. П. Коммиссаржевским и А. Ф. Федотовым основал «Общество искусства и литературы». В любительской труппе общества К. С. Станиславский первоначально выступал только как актер, а потом стал и режиссером.

Как режиссер этого театра, К. С. Станиславский шел по стопам так называемых мейнингенцев. Он стремился, как и Кронек (режиссер Мейнингенско-



Народный артист СССР К. С. Станиславский (1863—1938 гг.)

го театра), к исторической точности в декорациях и костюмах, к тщательности в проработке постановки, в особенности в массовых сценах, к сыгранности актерского ансамбля и к общей стилиевой слаженности спектакля.

В постановках Общества искусства и литературы К. С. Станиславский, как режиссер, стремился воссоздавать атмосферу жизни. Сделанная К. С. Станиславским в этом театре постановка «Плодов просвещения» Л. Н. Толстого (1891 г.) и инсценировки «Села Степанчиково» Достоевского создали ему имя. Постановка «Уриэля Акосты» (1895 г.), а затем «Отелло» и «Ганнеле» и «Потонувшего колокола» Гауптмана окончательно утвердила славу выдающегося мастера-режиссера.

В 1898 г. К. С. Станиславский совместно с Вл. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

Художественный театр открылся пьесой А. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович». «Первая серия спектаклей, типичных для начального этапа нашей художественной деятельности, шла по линии историко-бытовой. К этому типу относятся постановки: «Царь Федор», «Смерть Грозного», «Шейлок», «Антигона», «Геншель», «Власть тьмы», «Юлий Цезарь» и др.» (Там же, стр. 356 — 357).

Первые два года театр не пользовался большим успехом. Новая эпоха для Художественного театра началась в 1900 году, после того, как вся труппа побывала в Севастополе и Ялте для того, чтобы познакомиться со своими спектаклями больного тогда А. П. Чехова.

Сотрудничество театра с Чеховым и Горьким определило дальнейший его характер.

К. С. Станиславский в своей книге называет чеховские постановки идущими «по линии интуиции и чувства».

«Линия интуиции и чувства подсказана мне Чеховым. Для вскрытия внутренней сущности его произведений необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин. Конечно, того же требует всякое художественное произ-

ведение с глубоким духовным содержанием. Но к Чехову это относится в наибольшей мере, т. к. других путей к нему не существует» (Там же, стр. 377).

«Чехов — неисчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда в своем основном, духовном лейтмотиве не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы» (Там же, стр. 379).

Необходимо отметить, что К. С. Станиславский был блестящим исполнителем всех ролей чеховского репертуара.

К. С. Станиславский в самом прямом смысле слова действовал в них с великолепной внутренней пластичностью. Его сила — в умении изображать скрытый душевный мир. В своем сценическом поведении он жил бесчисленным множеством незначительных мелочей, которые его как бы физически поглощали. Казалось, для него не существовало больших проблем, страстных стремлений, огромных толчков темперамента, пламенных мыслей. Все было занесено житейским сором, мелочами, может быть, даже запылено, чуть в паутине. Таково было воплощение «хмурых людей» Чехова, никчемной жизни восьмидесятников и людей 90-х годов, а на самом деле во всем этом была страшная трагедия и одиночество русского интеллигента, мучительно бившегося в условиях реакции русского самодержавия.

Такими же изумительными «созданиями» К. С. Станиславского, как и чеховские образы, являются: Аргон («Мнимый больной» Мольера), Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты» Островского), князь Абрезков («Живой труп» Л. Н. Толстого), граф Любин («Провинциалка» Тургенева) и, наконец, замечательный образ Фамусова.

«С переходом в новый театр в 1902 году в Камергерском переулке (с 1898 г. по сентябрь 1902 г. Художественный театр играл в здании театра «Эрмитаж» в Каретном ряду. — В. С.) совпало начало новой линии в репертуаре и в направлении работ театра. Эту линию я буду называть общественной политическою. Раньше, за два года до

описываемого времени, в репертуаре и актерской работе театра оказался зародыш такого направления. Но он создан случайно. Это произошло в ибсеновской пьесе «Доктор Штокман», в сезоне 1900/1901 г. Доктор Штокман в моем репертуаре — одна из тех немногих счастливых ролей, которая влечет к себе восторженной силой и обаянием. Впервые прочтя пьесу, я сразу ее понял, сразу зажил ею и сразу заиграл роль на первой же репетиции». (Там же, стр. 425).

«Образ доктора Штокмана стал популярным как в Москве, так и особенно в Петербурге. В то тревожное политическое время — до первой революции — было сильно в обществе чувство протеста. Ждали героя, который мог бы смело и прямо сказать в глаза правительству жестокую правду. Нужна была революционная пьеса — и «Штокмана» превратили в таковую» (Там же, стр. 428).

Наконец, в 1902 г. пришел в Художественный театр А. М. Горький.

«Главным начинателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре был А. М. Горький». (Там же, стр. 433).

«Мещане» и «На дне» открыли эту блестящую страницу в истории МХАТ.

Одной из великолепных ролей К. С. Станиславского должно считать роль Сатина, созданную им в пьесе А. М. Горького «На дне».

В творческом пути К. С. Станиславского, наряду с большим количеством поставленных им спектаклей жанрового, «психологического» характера, особое место занимают две его крупнейшие постановки: «Синяя птица», сделанная в сотрудничестве с Суллержицким, и «Гамлет», в сотрудничестве с Гордоном Крэгом.

«Синяя птица», поставленная в 1908 г., по разработанности мизансцен, по продуманности режиссерского плана, представляет исключительный интерес. Режиссерский экземпляр, находящийся в музее Художественного театра, отражает всю творческую работу К. С. Станиславского, как режиссера, в этом спектакле и может считаться классическим произведением режиссерского искусства.

«Гамлет» был поставлен в 1911 г. Режиссерский путь к нему был очень сложен и раскрывает К. С. Станиславского совершенно с другой стороны, чем в «Синей птице».

С одной стороны, это смелый эксперимент, с другой стороны, это своего рода режиссерская экспликация шекспировской трагедии.

«Актерская работа и задания при постановке «Гамлета» были... сила и глубина душевного переживания в простейшей форме сценического воплощения». (Там же, стр. 598).

Пересмотр в системе работы над ролью и над спектаклем, собственно, и начался у К. С. Станиславского со времени работы над «Гамлетом».

К. С. Станиславский пишет относительно этого периода своих исканий: «Я временно променял свою обычную работу актера на изыскания экспериментатора и потому, естественно, пошел назад, как исполнитель и интерпретатор ролей и пьес». (Там же, стр. 602.)

«Молодежь верит на слово, без проверки. Поэтому нас (К. С. Станиславского и Л. А. Суллержицкого. — В. С.) слушали с увлечением, и это давало нам бодрость. Начались уроки по системе...». (Там же, стр. 603.)

Система в творческом пути К. С. Станиславского занимает исключительное место. Начав ее разработку, обдумывание ее, применение сначала к неопытным сотрудникам, потом к талантливым ученикам, наконец, к крупнейшим артистам МХАТ, К. С. Станиславский пришел к выводам о возможности построить элементы науки об искусстве актерского мастерства.

Почти три десятилетия К. С. Станиславский тщательно записывает ряд своих наблюдений, разрабатывая эту совершенно не тронутую область в искусстве. Он работает теоретически и практически.

Огромный рукописный архив, оставшийся от К. С. Станиславского, даст возможность изучить разные эпизоды в подходе к основной проблеме мастерства актера, заключающейся в работе над собой и работе над ролью.

Созданные К. С. Станиславским сту-

дии давали ему возможность экспериментировать и проверять верность отдельных эпизодов в применении его системы.

Когда же студии, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, оформлялись в законченные театры, у К. С. Станиславского вновь и вновь возникала мысль о возможности начинать с совершенно неопытными учениками для того, чтобы выработать в них постепенно навыки к артистическому творчеству.

В работе с молодежью, набранной для такой именно студии, оборвалась жизнь этого гениального мастера сцены. Такого рода школа-студия под его руководством просуществовала два года.

К. С. Станиславский полностью принимал основы и принципы советского театра. Будучи, по существу, реалистом, он в своих постановках и исканиях твердо проводил линию социалистического реализма. Это явно сказывалось в тех спектаклях, которые он «выпускал» в Художественном театре в советский период.

Воспитание кадров совершенно поглощало его. Знаменитое письмо А. М. Горького, написанное по поводу его семидесятилетия, полностью отражает сущность К. С. Станиславского, как горячего, страстного борца за дело советской культуры.

«Дорогой Константин Сергеевич! — писал А. М. Горький. — Вы — признанный великий реформатор театрального искусства. Вы и Вл. Ив. Немирович-Данченко создали образцовый театр, одно из крупнейших достижений русской художественной культуры, — благотворное влияние вашего театра явно и признано во всем мире. Это — огромная и неоспоримая заслуга, она всем известна, и, может быть, мне не нужно было упоминать о ней.

Но есть в деятельности вашей скрытая где-то за кулисами еще работа, особенно глубоко ценяемая мною и восхищающая меня: какой вы чуткий и великий мастер в деле открытия талантов, какой

искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их!

Вы создали солиднейшую армию удивительно талантливых работников сцены, многие из них, идя вашим путем, тоже стали учителями сценического искусства, воспитали и непрерывно воспитывают новые группы отличных деятелей сцены. Вот работа ваша, культурное значение которой как будто еще недооценено. И если вы нуждаетесь в благодарности Союза Советов, так она должна быть воздана вам прежде всего за эту вашу невидимую и, конечно, труднейшую работу создания лучших в мире артистов театрального искусства. Работой этой вы, прекрасный и тонкий артист, доказали еще раз, как богата и неисчислима творческая энергия нашей страны...».

В созданной им в первый год революции сначала оперной студии, затем оперном театре его имени К. С. Станиславский проводил те же принципы работы с актером и работы над спектаклем, как и в драме.

Партия и правительство высоко оценили выдающиеся заслуги К. С. Станиславского награждением его сначала орденом Трудового Красного Знамени, а затем орденом Ленина.

К. С. Станиславский с честью носил звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, и вся его творческая деятельность была связана со всеми народами СССР, которые знали, любили и ценили его.

К. С. Станиславский велик не только в истории советского театра. Он является подлинным реформатором в мировой культуре театра. Его книги изучаются, его ученики рассеяны по всем концам земного шара.

Пока из работ К. С. Станиславского опубликованы «Моя жизнь в искусстве», статья «О ремесле» в журнале «Культура театра», 1921 г., №№ 5 и 6, и скоро выйдет в свет первая часть его книги, формулирующей основы системы, — «Работа актера над собой».

7 августа 1938 года в 3 часа 45 мин. дня Константин Сергеевич внезапно скончался от паралича сердца.

Исторические романы Ал. Н. Толстого

В. ПЕРЦОВ

★

Среди всего написанного Ал. Н. Толстым его исторические романы занимают особое место. Именно эти произведения сделали его одним из наиболее популярных современных писателей. Широкий читатель связывает с именем Ал. Толстого в первую очередь его роман «Петр I», а в последнее время и повесть «Хлеб» («Оборона Царицына»). Именно в больших исторических произведениях, если еще присоединить к названным и незаконченную замечательную трилогию «Хождение по мукам», талант писателя, развивавшийся медленно, достиг своей идейной зрелости и художественной самостоятельности.

Важно то, что писателем историческим сделала Ал. Толстого социалистическая революция. Она дала ему точку зрения на прошлое; и в то же время через изображение прошлого — близкого и далекого — подвела писателя к осмыслению советской действительности нынешнего дня. Хороший исторический роман не только приближает к нашему пониманию людей и событий прошлого, сохраняя все неповторимое их своеобразие, но и помогает нам разобраться в нас самих, показывая прошлое, как подготовку настоящего.

Этим свойством отличаются исторические романы Ал. Толстого. В них время не стоит, а движется, и не просто движется: автор показывает, куда ведет дело история. И в романе о Петре I, и в повести о большевиках,

организовавших оборону Царицына, компасом для автора, определявшим направление движения истории, была наша социалистическая сталинская современность. Этого компаса не было еще в руках писателя, когда создавалась первая часть трилогии «Хождение по мукам» («Сестры»).

«Сестры» и «Восемнадцатый год» написаны с огромным воодушевлением, со страстью человека, желающего разобраться в том, что он изображает как художник. Факт не новый в истории литературы, — в этих произведениях художник и мыслитель не всегда живут в ладу между собой. Художник опережает мыслителя, художник правдиво, сильно рисует жизнь такой, как она была, а мыслитель иногда мучится, колеблется и, бывает, — путает и сбивает художника.

Между «Сестрами» и «Восемнадцатым годом» — большая разница, хотя оба эти произведения являются ступенями к тому единству художника и мыслителя, которое намечается в «Петре I» и «Хлебе».

Роман «Сестры», как известно, написан в первые годы после революции (1919—1921). Это — подведение итогов дореволюционного творчества Ал. Толстого и начало нового пути художника. Героями старых произведений Ал. Толстого были в большинстве своем так называемые «лишние люди». Вот характерное положение его дореволюционных рассказов: герой — это ча-

«с всего «какой-то дворянин, а может-быть, и князь», — возвращается из шумной столицы, где он потерпел какую-то неудачу в личной жизни, к себе в усадьбу и там доживает свой век, как человек разочарованный, не нашедший приложения своим силам в общественной деятельности («Хромой барин», «Петушок», «Овражки» и пр.).

Очень выразителен в этом отношении сборник ранних рассказов Ал. Толстого «Под старыми липами». Характерно уже самое его название — оно показывает ясно и диапазон жизни, которую охватывал в то время писатель, и круг его героев.

Как же относился сам автор к людям, которых он тогда изображал? Мягкий юмор и лиризм пронизывают описание их злоключений. Не чувствуется, чтобы автор как-то осуждал их или хотя бы испытывал чувство горечи за них. Он показывал умирание дворянской усадьбы, как умирание природы, как осенний пейзаж.

И вот — роман «Сестры», законченный в 1921 г. В центре этого произведения поставлена семья преуспевающего в начале войны столичного адвоката Смоковникова, его жена Катя и сестра ее Даша. В этом романе обращает на себя внимание, — по сравнению с тесным кругом действия дореволюционных произведений Ал. Толстого, ограниченных обычно пределами дворянской усадьбы, — охват огромного пространства всей страны, потрясенной войной и революцией. Действие происходит сначала в Петербурге, в различных кругах дореволюционной интеллигенции, на заводе — в рабочей среде, потом на фронте, в плену и, наконец, в Москве после февральской буржуазно-демократической революции.

Этот выход из замкнутого усадебного мирка в жизнь целой страны не был, конечно, только внешним преодолением прежнего «единства места»; он был связан с расширением точки зрения автора: в романе «Сестры» раздвинулось не только пространство, но и время.

Революция дала Ал. Толстому, как художнику, новое ощущение пространства и времени. Он начинает пережи-

вать не только судьбы отдельных героев, но и ход исторических событий в их связи между собой и в их взаимодействии с судьбами героев. Правда, последнее, в особенности активное участие героев в общественной жизни, писателю удастся изобразить гораздо менее отчетливо, чем личные их переживания.

Лучшими эпизодами в первой части трилогии «Хождение по мукам» являются те, в которых обаятельные образы сестер Кати и Даши показаны в обстановке их частной жизни. Потребность сестер в личном счастье, их неустроенность в любви, благородство их побуждений в отношениях с любимым человеком — от этих страниц романа веет незабываемой свежестью и чистотой.

Катя и Даша кое в чем напоминают образы ранних произведений Ал. Толстого, но уже существенно отличаются от них. Вряд ли можно было бы назвать этих героинь лишними людьми. Правда, обе сестры мучительно переживают свою неприспособленность к жизни, свое неумение включиться в общественную деятельность — и в этом у них общее с героями дореволюционных произведений Ал. Толстого. Но в то же время у обеих сестер такое острое чувство социальной справедливости, такая огромная потребность осуществить эту справедливость сегодня же в новых отношениях между людьми, что Катю и Дашу гораздо более правильно характеризовать не как лишних людей, а как «правдоискателей».

Таковым же является и муж Даши — инженер Телегин, человек с очень сильным чувством жизни, с большой верой в жизнь, в людей, в будущее своей страны; эти чувства, неопределенные, но цельные, заменяют ему несложившиеся политические убеждения, уводят его из лагеря защитников капитализма, приближая его к пролетарской революции.

Телегин совершает побег из плена: ускользнув от расстрела, он возвращается в Москву к любимой им Даше, обогащенный тяжким опытом «хождения по мукам», который дала ему

империалистическая война. Огромные исторические события, развертывающиеся в стране, — революция и гражданская война — сначала переживаются Телегиным и всеми основными героями романа, как нечто внешнее, тоже как «хождение по мукам», как неизвестно откуда взявшийся шквал, который грозит, прежде всего, личным отношениям — любви, дружбе, всем привычным связям, так естественно и нерушимо складывавшимся раньше. Характерны слова Рощина, за которого потом выходит замуж Катя, — этим утверждением заканчивается первая часть трилогии:

«... пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше...».

Так же думали и герои ранних произведений Ал. Толстого, — люди, для которых мир был ограничен кругом «старых лип». В «Сестрах» этому мировоззрению подведен, как сказано, истинный итог на новом этапе истории. Но автор видит теперь дальше своих героев; и лишь устами Телегина, который высказывает во многом взгляды самого писателя, автор выражает свою любовь к родине, свою веру в народ, связывая воедино прошлое и настоящее, личное и общественное:

«Иван Ильич захопнул книгу:

— Ты видишь... И теперь не пропадем... Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, — разбили Карла XII, загнали татар за Перекоп, Литву прибрали к рукам и похаживали в лапотках уже по берегу Тихого океана... А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил... Великая Россия пропала!... Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля...

Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым рассветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу, он погладил, поцеловал ее в волосы:

— Иди спать, трусиха...».

В этих словах Телегина о прошлом

русского народа ясно слышны те мотивы, которые приведут в дальнейшем Ал. Толстого к работе над романом о Петре I.

Вторая часть трилогии «Хождение по мукам» («Восемнадцатый год») была написана через много лет после первой — в 1926—1927 гг. Этот роман дает уже несколько иное соотношение личной судьбы героев и моментов исторических по сравнению с первой частью трилогии.

Если в «Сестрах» на переднем плане проходят личные судьбы персонажей, а история — только фон, то во второй части трилогии (об этом говорит и ее название — «Восемнадцатый год») сделана попытка дать панораму целой страны, раздираемой гражданской войной, и показать, как рождалось в ней новое, социалистическое государство рабочих и крестьян. набросок истории гражданской войны, сделанный Ал. Толстым в этой части трилогии, страдает многими существенными недостатками, в особенности, если сопоставить «Восемнадцатый год» с «Хлебом»: историческое и философское вооружение автора чрезвычайно выросло ко времени написания последней повести. Однако прекрасное чутье Ал. Толстого — художника восполнило неясность представлений Ал. Толстого — мыслителя, и в романе «Восемнадцатый год» мы видим в общем верную историческую картину того хода событий, который сквозь хаос разрушения, неизбежный при сломе старой государственной машины, привел к победе творческих сил пролетарской диктатуры. Уже и в этом романе Ал. Толстой намечает, как в народной толще, снизу, и сверху — в большевистском Кремле работают одни и те же центростремительные силы, которые сплавивают, цементируют новое, социалистическое государство. Эта особенность второй части «Хождений по мукам» чрезвычайно примечательна, если вспомнить, что она появилась в 1926—1927 гг., когда в ряде произведений, изображавших гражданскую войну, на первый план выдвигались моменты партизанщины, стихийности.

Одним из лучших мест «Восемнадцатого года» является эпизод, в котором показано сопротивление народных масс германской оккупации на Украине. Замечательна сцена убийства Матреной Красильниковой германского солдата, который приставал к ней с «ухаживаниями»:

«На дворе слышалось бормотание, тяжело, неуверенно затопали сапогами. Раздался злой женский крик: «Пусти!». Затем возня, сопение, и опять, еще громче, как от боли, закричала Матрена: «Семен, Семен!».

На кривых ногах бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть, — все равно, он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал: «Давече в сенях топор оставил, им — значит». Диким голосом вскрикнул Семен на дворе. Раздался хряск удар. На дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось.

Вошла Матрена, белая, как полотно, — тащила за собой шаль. Прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его... Взглянула, ахнула, побежала и по локоть сунула руки в ведро с водой».

Эта сцена из «Восемнадцатого года» напоминает в «Хлебе» картину убийства Агриппиноу ее хозяина-кулака.

Матрена Красильникова относится к числу тех персонажей романа, которые сознательно и активно творят историю, участвуют в классовой борьбе.

Иное положение у основных героинь романа, которых мы знаем по первой части трилогии. Личная жизнь у обеих сестер складывается неудачно, место каждой из них в исторической борьбе остается мучительно неопределенным. Они попрежнему ищут правды и хотят послужить людям, но живут и действуют как бы лишённые своей воли, как во сне. Они подхвачены вихревым движением истории, как листья, оторвавшиеся от дерева, и с ними происходят самые странные злоключения. В особенности трагично безволие Даши. Душевная борьба Даши, сделавшейся слепым орудием контрреволюционеров,

показана так, что, содрогаясь от возможных последствий ее поступков, читатель все-таки не теряет веры в то, что большевистская правда восторжествует в душе Даши.

Сильно написана сцена выступления Ленина на заводе, куда пробралась Даша. Скупыми и простыми авторскими ремарками Ал. Толстой достигает большой выразительности в обрисовке образа Ленина на трибуне и в передаче впечатления, производимого его речью на отдельных рабочих и на колеблющуюся душу женщины, которая пришла сюда с злодейским поручением.

Вот конец сцены выступления Ленина: «Он чаще проводил ладонью по лбу, голос его тускнел, он сказал уже все, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки:

— Итак, товарищи, если мы все это усвоим, все это сделаем, тогда победим наверняка.

И вдруг улыбка, добродушная и усталая, осветила его лицо. И всем стало ясно: свой, свой! Закричали, захопали, затопали. Он побежал с трибуны, втягивая голову в плечи, насупясь. Зубастый парень около Даши ревел бычьей глоткой:

— Да здравствует Ильич!».

Эта сцена относится к числу наиболее удавшихся попыток изображения Ленина в советской литературе, причем не только не уступает соответствующим местам «Хлеба», но, на наш взгляд, превосходит их своим непосредственным лиризмом.

Не будучи в точном смысле слова исторической, поскольку в ней изображается не конкретное выступление В. И. Ленина на определенном заводе, эта сцена является замечательным историческим обобщением, в котором элементы факта и вымысла органически слились в художественном образе вождя пролетарской революции. Во второй части трилогии встречается целый ряд лирико-публицистических отступлений, которые объясняют движение всех образов романа: и панораму гражданской войны, и личные судьбы героев. Эти публицистические отступления полны поэзии:

«Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару, изнемогшая от мировой войны, не покорится, стиснув зубы, проклиная мать и бога, снова пошлет сынов своих на еще более страшную битву... Год назад народ без памяти бежал с фронта, страна как будто превращалась в безначальное анархическое болото, но в нем уже начали появляться внутренние силы сцепления, над утробным бытием поднималась косматая, с безумными глазами, мечта о справедливости. Появились необыкновенные люди, каких раньше не выдвали, их породила земля, как Вия, — и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду...».

Образы этих «необыкновенных людей» — большевиков, руководителей народа, еще только брезжут на страницах второй части трилогии. Ал. Толстому понадобилось сделать отступление в героическое прошлое русского народа (роман «Петр I»), чтобы вновь и уже более глубоко развернуть образы необыкновенных людей его новейшей истории в повести «Хлеб».

★

Роман «Петр I» был первым историческим романом, к работе над которым Ал. Толстой приступил вслед за окончанием «Восемнадцатого года». Эта последовательность не была случайной: работа над «Восемнадцатым годом» подготовили писателя к теме Петра I, которую он вынашивал с давних пор. На первый взгляд, кажется странным, какое отношение мог иметь роман о 1918 году, посвященный становлению социалистического государства в огне гражданской войны, — к теме Петра I? Однако, на самом деле, здесь была несомненная связь: на опыте изображения первого года социалистической революции Ал. Толстой смог выработать и пережить свое новое ощущение и понимание исторического процесса, которое легло и в основу романа о великом преобразователе русского государства Петре I. Смысл той ломки русской жизни, которая связана с именем Петра I,

открылся Ал. Толстому, как художнику, в свете преобразований Великой Социалистической революции.

Само собой разумеется, что этот факт не имеет ничего общего с тем вулгарным толкованием романа о Петре I, которое давали некоторые «критики», разоблаченные впоследствии как враги народа. Оно сводилось к тому, что, мол, этот роман о далеком историческом прошлом на самом деле представляет собой повествование о сегодняшнем дне, что здесь содержатся завуалированные намеки на современность. Вздорность этой клеветы на роман Ал. Толстого становится в особенности очевидной, если сопоставить первоначальную разработку темы Петра I, которую дал автор в одном из своих рассказов, написанных в 1917 г., с советским историческим романом о Петре I, написанном в 1929—1934 гг. Историческая ценность этого романа как раз в том и состоит, что он показывает, как в прошлом зрелище те силы, которые подготовили настоящее. Если бы Ал. Толстой не подошел к трактовке своей темы с высоты социалистической революции, если бы он не понял того, что говорил о Петре Ленин, то вряд ли удалось бы ему создать исторически верную картину той эпохи.

Ленин так характеризовал преобразования Петра в своей работе 1918 года «О «левом» ребячестве и о мелко-буржуазности»:

«... Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»¹.

Вот эта мысль Ленина воплощена Ал. Толстым в художественные образы, борьба Петра I варварскими средствами против варварства раскрыта в романе чрезвычайно остро и смело. Однако не эта сторона романа делает его особенно близким нам, точно так же, как и не образ самого Петра I. На наш взгляд, не этот образ является наибольшей художественной удачей в романе. Нам кажется даже, что при всей талантливости сцен, в которых показана

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 2-е, т. XXII, стр. 517.

демократичность молодого царя и его страстное желание самому научиться работать, автор не вышел здесь из круга традиционно известного по учебникам истории о личности Петра. Петр I, как образ, как психологическое явление, ошутим, конечно, гораздо меньше, чем, скажем, Кутузов в «Войне и мире».

Гораздо более значительным в романе Ал. Толстого является другое, и вот это другое оказывается и наиболее художественно ценным и наиболее исторически весомым. Это другое заключается в том, что роман Ал. Толстого написан не только о гении Петра, но и о гении народа. Точнее: роман этот дает не только образ замечательного преобразователя русского государства, но и образ замечательно талантливой русского народа, без помощи которого Петру никогда не удалось бы осуществить свои дерзновенные планы. Вот в чем выражается историческая правдивость этого романа. В изображении очень далекой эпохи, в процессе строительства нового государства, которое вряд ли может вызвать у нас особые симпатии, ибо это было государство купцов и помещиков, Ал. Толстой показывает творчество народа в создании новой родины, показывает движение вперед от варварства к прогрессу — этим роман исторически правдив и близок нам.

Чрезвычайно важно для понимания романа напомнить, как художник подходил к осуществлению своей темы. Ведь, можно сказать, что Петр I, это — тема всей зрелой творческой жизни Ал. Толстого.

В 1917 г., как сказано выше, Ал. Толстой написал рассказ «День Петра». Любопытно сравнить, как эта тема была разрешена тогда и теперь.

В рассказе, написанном с большим блеском, изображен день Петра I, его невероятная работоспособность, его борьба с врагами государства, это — день Петра на строительстве Петербурга. В этом рассказе Петр показан одиноким: он один, все и всё против него; все обманывают его, все его предадут, не на кого опереться. Петр сделан фигурой чисто психологической, а не исторически-конкретной. Трагизм этой фи-

гуры вытекает в рассказе вовсе не из борьбы с реальными историческими трудностями, это трагизм «сверхчеловека», т. е. психологический мотив довольно неглубокий. Ведь психология исторического лица может быть понятной, если она раскрыта через историю, через реальные обстоятельства жизни. А в этом рассказе Петр изолирован и от людей, и от истории.

Чрезвычайно характерен конец рассказа, он подытоживает всю трактовку образа Петра и основную идею автора: «За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день окончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех».

Вот подход Ал. Толстого к своей теме, к образу Петра в ту пору, когда он не был еще вооружен ни тем опытом, который появился у него после социалистической революции, ни тем знанием исторических фактов, которое пришло на основе нового понимания истории.

В романе «Петр I», вторая часть которого закончена была в 1934 году, идея одиночества Петра отброшена; и это самое главное достижение, которым Ал. Толстой обязан социалистической революции. Теперь Петр — гениальный преобразователь русского государства — не одинок. Пафос романа, воплощенный в наиболее сильных художественных образах его, состоит, напротив, в том, что Петр идет к своей цели не один; и хотя испытывает сильнейшее сопротивление реакционного боярства, но опирается на исторический передовой торговый класс и на те силы, которые он черпает из народной массы.

Уже сказано, что в романе превосходно передано то, что Ленин называл борьбой против варварства варварскими средствами. Однако не эти сцены борьбы с враждебными людьми и пережитками средневековья кажутся нам наиболее значительными с идейной и с художественной сторон. Гораздо более

важное значение и по своему социальному содержанию, и как образцы художественного мастерства Ал. Толстого имеют те сцены, в которых показано, как Петр обрастает друзьями, как он собирает вокруг себя людей, как он выискивает себе помощников, — эти сцены самые замечательные, и в них лежит ключ к пониманию романа:

Наряду с Петром, важнейшими героями романа являются члены семьи Ивана Артемича Бровкина: сам Иван Артемич, бывший кабальный крестьянин, холоп князя Волкова, его сын Алешка, другой сын Артамон, дочь Санька и другие. Вспомните превосходную сцену, с которой начинается роман:

«Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковщик».

Здесь изображена основная группа героев романа, которые действуют бок о бок с Петром. Ал. Толстой показывает возвышение семьи Бровкиных. В начале романа Иван Артемич — кабальный холоп, а к концу он ведаёт поставкой провианта на всю петровскую армию, он ставит полотняный завод, он выходит в торговые люди. Один из его сыновей, Алешка, становится видным офицером при Петре. Санька выходит замуж за боярина Василия Волкова, того самого Волкова, у которого отец ее был кабальным холопом.

Сцена сватовства Саньки, на наш взгляд, одна из наиболее художественно сильных в романе, наиболее важных для понимания того, как Петр искал и находил нужные ему «кадры» (выражаясь современным словом). Петр хочет выдать Саньку замуж — и именно за Василия Волкова, т.е. за бывшего господина ее отца. Василия Волкова привозят к Ивану Артемичу, который уже стал торговым человеком, и здесь происходит чрезвычайно острая сцена:

«... между дружками, — Алешкой и Меньшиковым, — сидел в серебряном кафтане его бывший господин Василий Волков. Давно уже Иван Артемич заплатил ему по кабальным записям и сейчас мог купить его всего с вотчиной и холопами... Но не умом, — заробел поротой задницей.

— Жених, что ли, не нравится? — вдруг спросил Петру...

Опять — хохот... У Волкова покривились губы под закрученными усиками. Меньшиков подмигнул Петру:

— Может, он какие старые обиды вспомнил? (Мигнул Бровкину). Может, жених когда тебя за волосы таскал? Али кнутовище ломал об тебя? Прости его, Христа ради... Помирись...

Что на это ответить? Руки, ноги дрожали... Он глядел на Волкова, — тот был бледен, покорно смирен... И вдруг вспомнил, как на дворе в Преображенском Алеша вступился за него и как Волков бежал по снегу за Меньшиковым и умолял, цеплялся, чуть не плакал...

«Эге, — подумал Иван Артемич, — главный-то дурень, видно, не я тут...» Взглянул на Волкова и до того обрадовался — едва не испортил все дело... Но уже знал, чего от него ждут: опасной потехи — по жердочке над пропастью пройти... Ну, ладно!

Все глядели на него. Иван Артемич тайно под столом перекрестил пупок, поклонился Петру и князь-папе:

— Спасибо за честь, сватушки... Простите нас, Христа-ради, дураков деревенских, если мы вас чем невзначай обидели... Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, неученые. Говорим попростому. Девка у нас засиделась — вот горе... За последнего пьяницу рады бы отдать... (В ужасе покосился на Петра, но ничего — царь фыркнул покошачьи смехом). Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят? Девка красивая, только что на один глазок слеповата, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили, так ведь личико можно платком закрыть... (Волков темным взором впился в Иван Артемича...) Да ножку волочит, голо-

вой трясет и бок кривоватый... А больше нет ничего... Берите, дорогие сваты, любимое детище... (Бровкин до того разошелся — засопел, вытер глаза...) Чадо, Александра, — позвал он жалобным голосом, — выдь к нам... Алеша, сходи за сестрой... Не в нужном ли она чулане сидит, — животом скорбная, это забыл, простите... Приведи невесту...

Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся, — только у Петра дрожали подбородок.

— Спасибо, дорогие сватушки, — говорил Бровкин, — жених нам очень понадравился. Будем ему отцом родным: по добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытану али за волосу ухвачу, — уж не прогневайся, зятек, — в мужицкую семью берем...».

Сцена эта, превосходная в живописном отношении, чрезвычайно важна по своей идее: она указывает на тот процесс преодоления упорства боярства, реакционных кругов боярства, который Петр осуществлял, опираясь на помощников, выдвинутых им из народных низов.

Петр поднимал этих новых людей на командные высоты государства, совершенно не считаясь с их происхождением, делал из них преданных слуг своего класса и с их помощью перерабатывал людей своего класса. Это очень важно потому, что обычно выпячиваются моменты заимствования у Запада, факты иноземного влияния. Споры нет, что эти последние имели большое значение, и показ их не упущен в романе, но заслуга Ал. Толстого, как художника-мыслителя, состоит здесь в том, что он обратил внимание на новые социально-экономические силы, на роль русских людей из народа в «перевоспитании» господствующих классов старой Руси.

Чрезвычайно интересен в этом отношении образ Саньки. На первый взгляд, это очень легкомысленное существо, увлекающееся «политесом» и «минуэтами», но в этом легкомыслии, в этом увлечении внешними формами нововведений Петра чувствуется большое дви-

жение вперед. И если сравнить Саньку, которая мечтает встретиться с королем Людовиком, причем представляет себе, как он будет преподносить ей розы, если вспомнить, как она не теряет времени на постоялом дворе, изучая по тетрадке, составленной братом Артамоном, главу о галлах, если эту Саньку, которая в начале романа бегала босиком, сравнить с князем Василием Волковым, ее мужем, с этим «тюфяком», из которого она делает все, что захочет, — то сопоставление этих двух фигур приобретает характер символический: Санька, или теперь боярыня Александра Ивановна Волкова, это «выдвиженка» Петра, это человек из числа его основных «кадров», при помощи Саньки и Василий Волков сможет подтянуться и пойти в ногу со своим временем.

Вот еще пример того, как в романе показан подбор Петром новых нужных ему людей. Петр запросто приезжает к Ивану Артемичу и спрашивает его о сыне:

«— Иван, — сказал Петр Алексеич, — приведи сына.

Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеич поставил его между колен, оглядел пытливо:

— Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а они — вот они... (И — Артамону) Грамоте разумеешь?

— Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно... (Петр Алексеич рот разинул: «Мать честная! Ну-ка еще!») Артамошка ему то же самое по-немецки. На свечу прищурился и — по-голландски, но уже с запинкой.

Петр Алексеич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал и тащил на себя, тряс.

— Ну, скажите! Ах, молодчина! Ах, ах! Ну, спасибо, Иван, за подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалее: погодите, скоро за ум графами стану жаловать...».

Ничуть не удивительно после этого, если Иван Артемич идет вразрез с новгородскими купчиками, которые не хотели давать царю денег после пораже-

ния русских под Нарвой. На обращение к нему Петра он говорит:

«— Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеич, куда ты, туда и мы.

Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер: ведь сговорились только что — попридерживать денежки, и вдруг Ванька-ловкач сам выскочил... Петр обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам:

— Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич... Умен ты, смел, много тебе воздастся за это...».

Петр не одинок, у него есть люди, на которых он может положиться, вроде Ивана Артемича Бровкина, или Алексеашки Меньшикова, который в детстве торговал пирогами с зайчатинной, или таких, как Алешка Курбатов, дворовый человек князя Шереметьева, который подсказывает царю мысль о новом источнике дохода — выпуске гербовой бумаги, или кузнец Жемов, обучающий Петра кузнечному делу, и ряд других фигур людей из народа, окружающих Петра дружественной средой. Без помощи этих людей он не смог бы осуществить свое историческое дело преобразования русского государства.

Таков смысл этого произведения Ал. Толстого. Герои этого романа не какие-то «лишние люди» умирающих дворянских гнезд, а деятели, приближающие лучшее будущее своей родины.

В этом пафосе романа «Петр I» была для Ал. Толстого подготовка к пафосу гораздо более высокому, пафосу социалистической родины, которым воодушевлена повесть «Хлеб». Известно, что повесть эта написана автором по материалам редакции «Истории гражданской войны».

Можно сказать, что это наиболее историческое из всех произведений о гражданской войне — не только потому, что главными героями в нем являются лица исторические, но, конечно, прежде всего потому, что в нем сделана попытка показать Ленина и Сталина как руководителей борьбы масс.

Одной из особенностей «Хлеба», характерной и для «Хождений по му-

кам», является то, что в этих произведениях события взяты в масштабе целой страны. В «Хлебе» мы видим Петербург и Москву, казачью станицу на фронт под Царицыном, Кремль с руководителями партии и правительства и рабочее собрание на петроградском заводе, явочную квартиру белогвардейской организации в Москве и завод Гартмана в Луганске, на котором Ворошилов начал формирование своей армии... Если вспомнить, что в большинстве наших лучших произведений о гражданской войне авторы не выходят за пределы одного края (например, Дальний Восток — в «Разгроме», Кубань — в «Железном потоке»), то в особенности станет ясным «государственный» характер новой повести Ал. Толстого. Подлинным героем ее является страна, народ. Образ этого коллективного героя наиболее правдивый и сильный в новой повести. Если сравнить изображение страны в «Хлебе» и во второй части трилогии «Хождение по мукам» (ведь и тут и там идет речь об одном и том же историческом периоде), выступит со всей очевидностью рост Ал. Толстого и как мыслителя, и как художника. В новой повести Ал. Толстой дает ряд значительных эпизодов, показывающих пролетарскую самодетельность; напомним такой замечательный образ организатора-массовика, как Саша Трубка, старуха-чернобабочая, член Царицынского совета. Саша Трубка показана в органической слитности с массой, из рядов которой она сама вышла. Это — одна из тех героических женщин, которых подняла с низов социалистическая революция, разбудила и призвала к активной политической жизни.

«Из добродушных морщинок на слушателей взглянули вдруг умные, выцветшие, совсем не старушечьи глазки Саши Трубки:

— Побалагурили, — давайте дело... Я уж с моими бабами сегодня говорила. На лесных пристанях у нас шесть тысяч баб... Работают они лучше вас и получают больше вашего, мужики...

— Но, но, Саша...

— Ври, не завирайся...

— Лучше, лучше... Бабы мои все организованные. И прогулов меньше, и водки не пьют...

— Врешь, дьявол, сама хлещешь...

— Сама — другое дело... (Опять засмеялись, покачали головами: «Ну и зубаста, на все — ответ»). Шесть тысяч баб да вас тут половина великовозрастных бородачей останутся на деле... Остальным мужикам надо спасать революцию...

Сказала она до того обыкновенно и уверенно, — сразу стало тихо. Теперь ее начали слушать сочувственно — напряженно глядели в ее мужиковатое морщинистое лицо, не хотели пропустить ни слова. И кто бы вздумал сейчас пошутить, крепко бы погладили такого по затылку.

Но, конечно, главное значение повести — в ее историческом содержании, т.-е. в попытке показа величайших организаторов пролетарской революции Ленина и Сталина и их замечательных соратников. Широкий читатель воспринял «Хлеб» прежде всего как исторический документ, как достоверный рассказ о героических людях и делах боевого 1918 года. Если во второй части трилогии «Хождение по мукам» много места уделено изображению психологии людей, только собирающихся приложить свои силы в революции, и почти нет рабочих эпизодов и деятелей-большевиков, то в повести «Хлеб» на первом плане показана организация военных сил революции, начало организации Красной Армии, и, в частности, очень много места уделено такому важному эпизоду нашей гражданской войны, как создание 10-й армии во главе с товарищем Ворошиловым.

В повесть введено множество исторических лиц; в этой ее особенности заключено не только ее достоинство, но и серьезнейший недостаток. В различные моменты появляются Буденный, Пархоменко, Щаденко, Коля Руднев, инженер Бахвалов и многие другие, появляются и исчезают. Автор предполагает в читателе настолько точное знание всех этих исторических лиц, которое освобождает его от обычных обязанностей художника, вытекающих из появления

в повествовании нового персонажа, т.-е. представления его читателю, раскрытия его личности, разработки характера, в особенности, если этот персонаж несет в развитии действия определенную сюжетную нагрузку. Показывая отчетливо связь событий и движение их, Ал. Толстой не углубляется в образы людей, используя известные исторические фигуры, как веши для изложения хода событий. Вследствие этого историко-познавательное значение новой повести Ал. Толстого в целом ряде отдельных мест выше ее художественного значения. Не случайно, что издательство «История гражданской войны» снабдило книгу рядом карт, по которым читатель может следить за перемещением воинских частей и отдельных лиц, действующих в «Хлебе». Карты здесь необходимы, чтобы разобраться в военно-историческом содержании повести Ал. Толстого.

При всей значительности этой стороны содержания «Хлеба», изображение исторических событий во многих местах поглощает, заслоняет собой изображение людей и в том числе исторических лиц. По сравнению с этими мелькающими на втором плане фигурами, которые носят громкие и популярные имена исторических героев, образ Агриппины Чебрец, созданный целиком воображением художника, оказывается более понятен читателю благодаря более углубленной разработке этого характера.

Агриппина в повести Ал. Толстого — превосходный эпический образ новой русской женщины из народа, в котором героика нашей истории раскрыта через конкретную человеческую личность. Очарование этого образа в его жизненности, в том убедительном взаимодействии исторического события и индивидуального характера, которое позволяет увидеть в личном героизме и творчестве истории, и конкретную человеческую психологию. Агриппина в повести Ал. Толстого живет, любит, ненавидит, волнуется за судьбу близкого человека, гордится им, отдает дань традициям и предрассудкам среды, из которой она вышла, и — растет, растет на глазах у

читателя. Это лицо движется, этот характер обогащается, жизнь учит, изменяет Агриппину — вот наиболее ценное в трактовке образа простой и глубокой героини «Хлеба», одной из тех героических женщин, которые впоследствии стали избранницами народа, будучи выдвинуты в депутаты советского парламента. Агриппина — личность, в которой чувствуются громадные резервы: нравственная сила, богатство чувства, жажда стать наравне с лучшими людьми, борющимися за счастье народа. Удивительно верна и трогательна сцена, в которой Агриппина, вступившая уже в ряды Красной Армии, обращается с просьбой к девушке-политпросветнице научить ее грамоте:

«Я могу счастье свое потерять... Горячие бои раньше двух недель не начнутся, время будет... Надо понять — на моем горбу двое детей. Им надо расти, надо учиться, а я неграмотная... Кроме них один человек, он партийный, Ленина хорошо знает, Ворошилова знает... И я вижу — ему моя темнота скоро станет поперек горла...».

В образе Агриппины узнают себя многие сотни и тысячи женщин, тех кухарок, которые, по слову Ленина, научились управлять государством, но во всем этом множестве Агриппину не смешаешь ни с кем.

Нам кажется, что тот художественный метод, который обусловил удачу образа Агриппины, есть органический метод искусства, проявляющий свою силу и в образах исторических лиц, несмотря на ряд ограничений, которыми связан здесь художник.

Напомним один из лучших эпизодов повести, в котором показан Ленин. В нем изображены отношения между Владимиром Ильичем и питерским металлостроителем Иваном Горой. Иван Гора стоит на часах у входа в кабинет Ленина в Смольном. В ответ на просьбу Владимира Ильича поправить телефон Иван Гора говорит:

«— Сейчас поправим. Ничего невозможного».

Владимир Ильич углублен в свои мысли, но формулировка ответа доходит до его сознания, может быть, по-

тому, что созвучна его собственным мыслям о трудностях, переживаемых революцией. Когда через несколько месяцев Иван Гора, вместе с делегатами петроградских заводов, попал на прием к Владимиру Ильичу для обсуждения катастрофического продовольственного положения, Ленин сказал, взглянув на Ивана:

«— На свете не бывает «ничего невозможного».

Иван ахнул: «Помнит».

Эта подробность, повидимому, выдуманна, но она так принимается читателем, что ни у кого даже не возникает вопроса о том, было ли это на самом деле или нет. (Такое же ощущение вызывает и картина выступления Ленина в «Хождениях по мукам».) Эта подробность с фразой «ничего невозможного» настолько в духе Владимира Ильича, настолько раскрывает его, как человека, что она принимается непосредственно, как нечто вполне достоверное, ничуть не менее достоверное, чем какая-нибудь конкретная деталь, вставленная в повесть на основе воспоминаний людей, знавших Ленина.

Нам кажется, что разрешение проблемы образа Ленина в нашей литературе находится в прямой зависимости от того, в какой мере художник сумеет раскрыть и продолжить историко-документальный материал своим творческим воображением. В единстве художественной и исторической правды лежит путь развития Ал. Толстого, как художника-историка.

После замечательных произведений народных певцов Джамбула и Сулеймана Стальского, посвященных товарищу Сталину, в повести Ал. Толстого «Хлеб» едва ли не впервые в советской прозе мы встречаем сравнительно удачную попытку художественно изобразить товарища Сталина. Сцена в вагоне, изображающая тов. Сталина в день его приезда в Царицын и показывающая метод его работы, относится к числу лучших в повести. Есть в ней отдельные моменты, в которых сделана попытка раскрыть образ товарища Сталина через психологическую деталь. Наша критика единодушно отмечала

интересную сцену, в которой Сталин наблюдает полет коршуна:

«Сталин следил, как один из коршунов — совсем близко от них, так что слышен был свист его твердо раскинутых крыльев — пронесся к земле и почти задел суслика, стоямя торчавшего у своей норы на невысоком кургане — древней могилы какого-нибудь гунна, наездника. Суслик успел, вильнув хвостом, нырнуть под землю, коршун важно, будто ему совсем и не хотелось мяса, взмыл по горячему току воздуха.

Сталин рассмеялся, похлопывая себя палочкой по голенищу.

— Когда-нибудь научимся строить такие самолеты, — сказал он. — Совершенный полет, совершенное владение силами. А люди могут летать лучше, если освободить их силы... Мы будем летать лучше...».

В этой детали дан верный образ зарождения мысли гения, образ учено-революционера, для которого всякая «случайность» действительности служит толчком для «загада» в будущее, для смелого опережения действительности.

Повесть Толстого, это — повесть о героизме народных масс, выдвинувших из своей среды замечательных вождей, сильных своей связью с массами, своей глубокой верой в массы, своей готовностью пожертвовать всем ради общего дела, своими организаторскими талантами, своим умением вести революцию от победы к победе. В народной войне против немецкой оккупации в 1918 г., в организации отпора зарвав-

шемуся врагу проявился гений руководителей социалистической революции Ленина и Сталина, развернулись таланты людей из народа, воплощенных Ал. Толстым в образах Саши Трубки, Агриппины, Ивана Горы и многих десятков и сотен боевых командиров, чьи имена с любовью и гордостью пронесены ныне вся страна.

Историческая повесть Ал. Толстого полна советского патриотического воодушевления и уверенности в силе социалистического народа, отстаивающего навечно свою независимость и свободу.

В творческом пути писателя эта повесть занимает исключительно важное место: мыслитель помогает здесь художнику в изображении необыкновенных людей и дел социалистической эпохи.

Повесть «Хлеб» полностью подтверждает ту замечательную эволюцию Ал. Толстого, о которой Вячеслав Михайлович Молотов сказал на Чрезвычайном VIII Съезде Советов:

«Передо мной выступал всем известный писатель А. Н. Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой. А теперь? Один из лучших и один из самых популярных писателей земли советской, товарищ Алексей Николаевич Толстой. (Аплодисменты).

В этом виновата история. Но перемена-то произошла в хорошую сторону. С этим согласны все мы вместе с самим А. Н. Толстым»¹.

¹ В. М. Молотов. Конституция социализма. (Речь на Чрезвычайном VIII Съезде Советов 29 ноября 1936 г.). Стр. 18.

Антифашистский фронт писателей

М. АПЛЕТИН

★

I

В 1935 году на Парижском конгрессе создалось Международное объединение писателей под лозунгом защиты культуры. С рядом имен великих писателей связан был этот, по существу говоря, первый мировой конгресс писателей. Двух из них уже нет — Анри Барбюса и Максима Горького.

Но непреклонный дух этих подлинных гуманистов и великих борцов за культуру и цивилизацию живет в антифашистском писательском движении и зовет все живое и творческое на борьбу за культуру, увлекает своим героическим примером.

Прошло три года жизни и борьбы Международной ассоциации писателей для защиты культуры. Борьба не только обострилась, но она приняла такие формы, когда уже одно «за» или «против» становится недостаточным. От писателей требуются уже конкретные действия, живое участие в движении.

Испания — фронт борьбы героического народа против германо-итальянских фашистских орд, против средневекового варварства, уничтожающего славную культуру народа, убивающего женщин, детей, разрушающего госпитали, школы, музеи, города.

Фашизм ведет свою подрывную работу в странах демократии, он ведет войны, он готовит новую бойню. Объединенный в союзе с японской фашиствующей военщиной, германо-итальян-

ский фашизм ведет решительную борьбу против мира, против демократических стран, против Советского Союза, против культуры.

Те, кто пришел к движению чужаком, индивидуалистом, те, кого увлекали только свои собственные слова, те, кто (по выражению одного французского писателя) всегда вел только «биографическую политику», те, кто не способен к коллективным действиям, кто боится масс и победы рабочего класса, — те скатились в клоаку злобствующих, хулящих антифашистское движение, те скатились в ряды пособников и сообщников фашистско-троцкистского зверья.

Недаром первую антисоветскую книжку А. Жида печатали немецкие фашисты. И недаром его вторую книжку, вышедшую, по словам испанского писателя Хосе Бергамина, в то время, когда фашисты обстреливали Мадрид, перепечатал генерал Франко в «Диарио де Бургос».

Хозяева Андре Жида и других ренегатов этой своей поспешностью с публикацией его книжки быстро выдали себя, и понятнее стала сама возможность появления таких гнусных пасквилей. Эти книги писались по заданию врагов культуры.

Ко 2-му конгрессу антифашистское движение, уже в ряде стран организационно оформившееся, пришло с известным активом, с организационно-политическим опытом.

II

Несмотря на колоссальные затруднения, создававшиеся правительствами и полицией различных стран, на конгресс 1937 года пробрались представители 28 стран, и конгресс состоялся в Валенсии, Мадриде, Барселоне, а закончился в Париже.

80 писателей — участников конгресса в испанских городах — унесли с собою не только волнующие и незабываемые впечатления героизма испанского народа, они унесли также уверенность, что народ Испании хочет победить и победит, о чем говорил на конгрессе Альварес дель Вайо.

Там, у мадридских окопов, они вочию увидели, что Испания героически отстаивает не только право на свое независимое существование, но и культуру человечества, о чем с полным основанием заявил председатель совета министров Негрин.

Они унесли с собой провозглашенное «на весь мир непреклонное решение народа бороться и победить во имя всеобщей цивилизации и человеческого братства», о чем с такой страстью говорил президент Каталонии Кампанис.

К великой ненависти по отношению к фашистским варварам звала борьба испанского народа писателей мира.

Грозным обвинением звучали слова испанского писателя католика Хосе Бергамина, клеймившего презрением предательство Андре Жида и обман политики невмешательства. Уверенный в победе дела мира в Испании, Хосе Бергамин подчеркивал, что испанскому народу нужен лишь «такой мир, который придет в результате победы».

Призыв французского писателя Андре Шамсона к собратьям по перу, чтобы они раскрыли народам правду, за которую борется народ Испании, находил благоприятную почву среди участников конгресса. И решительнее укреплялось желание доказывать необходимость покончить с терпимостью и преступлениями против культуры и человечества, совершаемыми фашистами в Испании.

Под грохот орудий яснее сознавалась связь между тем, что происходило в западном углу Европы, и теми зверствами военно-фашистской японской интервенции на востоке Азии, которыми открылась новая война японских агрессоров против китайского народа 7 июля, в те дни, когда происходил 2-й антифашистский конгресс писателей.

Это как бы являлось трагическим предостережением тем, кто восхваляет так называемое «невмешательство», как меньшее зло, локализирующее войну.

Это было грозным осуждением тех правительств, которые своей политикой помогали Гитлеру и Муссолини, развязывали руки японскому агрессору в Китае.

«Неужели вы верите в политику примирения, нейтралитета, невмешательства?» — обращался раненый, не имеющий сил держаться на ногах, немецкий писатель Густав Реглер к колеблющимся писателям.

Писатели разоблачили грязную клевету желтой прессы (выступление американца Малкольма Каули), заклеили гнуснейшую предательскую роль подлых сообщников и наймитов фашизма, злейших врагов культуры — троцкистов, особенно в речах Алексея Толстого и Поля Вайяна-Кутюрье.

Писатели звали на помощь Испании и оружием, и словом: «Мы просим вас — пишите... Я прошу вас — сражайтесь, пером, словом, но сражайтесь» — звал недавно вырвавшийся из фашистского застенка Людвиг Ренн. Норвежский писатель Нордаль Григ, подчеркивая значение борьбы писателя своим оружием, говорил: «Слова могут придать силы бойцу, они могут посеять сомнение в сердце врага». Выпущенной вскоре книгой Нордаль Григ доказал это на деле.

III

Участниками конгресса подчеркивалась связь фронта борьбы за культуру с борьбой за защиту мира, значение культурного фронта в деле борьбы с антиподом культуры — фашизмом.

Особенно выразительно об этом говорили Генрих Манн, Луи Арагон и Михаил Кольцов.

Яснее становилось значение борьбы в Испании перед новыми угрозами вооруженных выступлений фашизма и в Европе, и в Азии, и в Америке.

«Испанский народ борется для блага всех других народов, и ему поэту необходимо помочь победить» — призывал Генрих Манн.

На фоне всех этих фактов особенно понятны были в речах участников конгресса, выступавших на заключительном собрании в Париже, указания на то, что «Советский Союз — оплот чаяний всего передового человечества».

Резолюция конгресса отразила мнения и настроения всех лучших писателей мира, как участвовавших в конгрессе, так и не принимавших участия в нем, — в словах о «невозможности для писателя соблюдать нейтралитет перед лицом воинствующего фашизма, угрожающего культуре и свободе человечества».

«Писатели и все честные интеллигенты мира, займите свои места, подымите забрала, не прячьте своих лиц, скажите — «да» или «нет», «за» или «против». Вы не укроетесь от ответа. Ответьте же скорее!» — требовал конгресс словами представителя советских писателей Михаила Кольцова.

«Весь мир во имя гуманизма, во имя добра, свободы, во имя всего, что есть прекрасного и творческого в нашей жизни, должен стать грудью на защиту гордого народа прекрасной Испании» — призывал представитель писателей Советской страны Алексей Толстой.

Конгресс не только демонстрировал симпатии лучших деятелей культуры всего мира к борьбе республиканской Испании; не только звал на ее защиту, звал усилить борьбу против фашизма, но он содействовал укреплению связи литературы и писателей всего мира с писателями Испании, борющимися вместе с народом за культуру человечества, связи с «авангардом Запада», как назвал Испанию Ромэн Роллан в своем приветствии конгрессу, «против вражеских наймитов».

Конгресс перед лицом всего передового прогрессивного человечества предъявил обвинительный акт фашизму и его наемным агентам-троцкистам и показал, что фашизм — главный враг культуры.

Конгресс сыграл известную роль в деле «сплочения литературной интеллигенции всех стран для борьбы против фашизма», за культуру и демократию, против всех поджигателей войны, показал невозможность никакого нейтралитета в отношении к фашизму.

Мировая буржуазная пресса приложила все усилия, чтобы заговором молчания умалить его значение: она почти ничего не печатала о конгрессе.

Нужно было приложить много усилий, чтобы работой самого международного центра Ассоциации писателей в защиту культуры побудить широкие круги писателей мира ответить на вопрос, поставленный конгрессом: «за» или «против».

Надо было бороться за то, чтобы расширить ряды борцов в защиту культуры, привести для этого в действие всю силу честного печатного слова.

IV

Прошел год с тех пор, как участники 2-го конгресса вернулись в свои страны. Прошел еще год мирового фашистского разбоя, происходящего при попустительстве правительств крупнейших стран демократии.

Прошел еще год антифашистской борьбы Международной ассоциации писателей для защиты культуры.

В какой же мере решения 2-го антифашистского конгресса писателей проводятся в жизнь? Каковы факты и итоги этой борьбы писательского антифашистского объединения?

Жан Жионо, когда обстановка требовала не только подписи того или иного обращения, но и участия в коллективных действиях, дошел до такого падения, которое уже никак не прикрывается фразами об абсолютном пацифизме. В своих «Контадурских тетрадах» Жионо докатился до такого «отказа повиноваться войне», в котором, цинично перефразируя слова Пассионарии, ска-

зал: «Лучше прожить сто лет, как овца, чем один, как лев... Что до меня, я предпочитаю быть живым немцем, чем мертвым французом».

Короче говоря, прав был Жорж Садуль, когда он это непротивление фашистскому наступлению назвал саботажем борьбы против фашизма, согласием повиноваться фашизму.

И «благодарные» хозяева, германские фашисты, недаром оценили Жионо и печатают в своих органах произведения его творчества.

В противовес этому, текущий год во Франции характеризуется большой активностью писателей, более острым пониманием ответственности данного периода. Вопрос «за» или «против» здесь поставлен со всей категоричностью.

И тут уже только группа состоятельной молодежи кружка Жана Жионо, принципиально отказавшаяся слышать о борьбе (она «принципиально» не читает газет), может отмахнуться от действительности и укрыться в своем стойле.

Для характеристики дифференциации и тяги к объединению в кругах французских писателей показательны три их обращения.

Первое опубликовано 19 марта 1938 года в 18 газетах, начиная с «Ордр» и «Пти Паризьен» до «Тан», «Пепль» и «Юманите».

В числе подписавших это воззвание наряду с Луи Арагоном, Мальро, Шамсоном, Анри де-Монтерланом и присоединившимся Ромэн Ролланом, стоят имена писателей-католиков — Франсуа Мориак, Жак Маритэн и Жорж Бернанос.

Сознавая «угрозу, нависшую над страной и над будущим культуры», писатели в интересах единения французов «решили заставить умолкнуть всякий раздор между ними и дать нации пример братского единения».

Ромэн Роллан в своем присоединении к этому воззванию развил «сокровенные мысли». Необходимость единения он видит в обстановке, когда «на карту поставлено не только благо одной страны, но и священные ценности ци-

вилизации», когда «находятся под угрозой драгоценные блага мировой культуры последних веков, ее героические стремления к прогрессу, ее достоинство, ее свобода». Он говорит о восставших против западной цивилизации бандитах, «вроде того главаря бандитов, который в бешенстве кричал умирающему Унамуно: «Смерть интеллигенции!».

Называя факты собственными именами, Ромэн Роллан говорит об идущем преступном, диком потоке варварства. «поглотившем старую Австрию, затопившем часть Испании и дошедшем уже до ворот Чехословакии, окружающем Францию от Северного до Средиземного моря, от Вогез до Альп и Пиренеев, об угрожающем вызове всем демократическим странам». Подчеркивая историческую роль, стоящую перед Францией, он говорит о чести для Франции «стать оплотом свободы на Европейском континенте». Призывая к миру, великий гуманист утверждает, что «мир дается только тем, кто обладает достаточным мужеством, чтобы добиваться мира и его защищать».

25 марта группа писателей — от «пацифистов» Жионо и Виктора Маргерита до скандально «известных» троцкистов Вюлленса и Андрэ Бретона — напечатала в трех газетах свой контрпризыв против «некоей предварительной вербовки», против распространения слухов «о неминуемой внешней опасности». Само утверждение о внешней опасности они считают «маневром высокой политики», «покушением на здравый смысл, достоинство и подлинные интересы страны».

Очень знаменательно то, что Жионо, проповедующий покорность фашизму и саботаж антифашистской борьбы, подписал «контрпризыв» вторым. «Дух» этого блока достаточно ясен, и цели его определяются составом участников.

27 марта появилось еще одно обращение против обращения Ромэн Роллана, Арагона и других. Оно содержит выпады против совместных усилий «с представителями иностранного государства» (клеветнический намек понятен!), за объединение, «чтобы переделать Францию».

Когда видишь в числе двух с половиной десятков малопочтенных литераторов (типа Леона Берара и Пьера Бенуа), подписавших это контрвоззвание, такого матерого троцкиста, как Франк Брентано, и не менее матерого фашиста Дрѐ ла Рошель, — характер желательной для них «переделки» становится ясен сам собой.

Даже известный правый депутат Анри де-Керилис «не сохранил спокойствия», читая намеки так далеко зашедшего блока троцкистов с фашистами; он высмеял этих людей, взявших под подозрение всех тех, кто говорит о «примирении французов между собою для того, чтобы Гитлер осознал всю силу нашей страны (Франции!—М. А.) и перестал убивать одну за другой слабые страны, его окружающие».

V

В связи с обращением главы правительства республиканской Испании Негрина свыше ста французских писателей, профессоров, художников и представителей других групп интеллигенции Франции 9 апреля 1938 г. обратились к французскому народу, чтобы просить правительство помочь республиканской Испании средствами защиты. Подчеркивая ответственность правительства за безопасность Франции, за охрану мира, воззвание подчеркивает необходимость действовать, если французы не хотят войны.

Две непристойности заслуживают того, чтобы они были отмечены. Это, во-первых, посылка отделом пропаганды министерства иностранных дел скандально-известного сюрреалиста троцкиста Андрѐ Бретона в Мексику с докладами о французской культуре в марте 1938 года. Во-вторых, приглашение Маринетти национальными музеями прочесть в школе Лувра лекцию «От фугуризма к аэроживописи».

И то, и другое вызвало протесты передовой интеллигенции Франции.

Международная ассоциация писателей в защиту культуры организовала 6/IV—38 г. в Париже митинг—«День уважения австрийскому духу». На этом

митинге, где прозвучали речи (личные выступления или письменные обращения) Генриха Манна, Эмиля Людвига, Людвига Ренна, австрийского писателя Иосифа Рот, английской писательницы Розамунды Леман, Ромэн Роллана, Арагона и др., не только отдавалась дань уважения «австрийскому духу», но подчеркивалась роль Франции в деле защиты культуры.

Луи Арагон, при единодушном сочувствии присутствующих, говорил об уроке, который должны извлечь из австрийских событий католики и не-католики во Франции. Он призывал писателей мира к объединению для защиты культуры, находящейся в опасности.

Людвиг Ренн от имени немецких антифашистов заявил, что все они станут «бойцами Франции», если Гитлер осмелится тронуть ее.

Андрѐ Виоллис, приехавшая в Вену в день захвата ее фашистскими войсками Гитлера, в своих статьях призывала понять австрийский урок.

Правый писатель Франсуа Мориак понял смысл захвата Австрии и сказал, что «дух, торжествующий в Австрии, — это тот самый дух, который торжествует в Испании, в Абиссинии и Китае». Он заявил: «Огненное кольцо замыкается вокруг нас».

Мориак с возмущением говорил («Фигаро», 24/II—38 г.) о заговоре кагуляров. Он рекомендовал хладнокровно исследовать причины того странного явления, что люди такого типа, «как инженер от Мишлена, склонялись к терроризму, или чтобы они охотно шли на убийство по приказу».

И этот же Франсуа Мориак писал 2 февраля 1938 года о бомбардировке Барселоны: «Хотелось бы знать, почему они выбрали воскресенье: потому ли, что в этот день улицы пусты и будет убито меньше людей? Или, напротив, они рассчитывали, что многие жители выйдут погулять со всей своей семьей?». И автор предостерегает «от Минотавра, не ограничивающегося испанцем, китайцем или абиссинцем». Мориак предупреждает, что «завтра, быть может, уже у нас будут снимать кинооператоры патэ-журнала, наклоняясь

над рядами мертвецов, пытаюсь распознать знакомые лица!».

Показателен рост Ассоциации домов культуры во Франции, ее филиалов на местах, объединивших в ряды массового культурного движения уже более 100 тысяч человек. Писатели, художники, архитекторы, деятели театра, музыки, кино, скульпторы, граверы, фотографы, друзья музеев, туризма и федерация воспитания детей, — вот деятели этого движения.

Они организованы в виде различных объединений (ассоциации, дома техники, федерации, союзы и пр.).

Выпускается ряд специальных изданий, читаются лекции, доклады. Специальные лекции посвящаются культуре разных стран — СССР, Испании, Китая, Чехословакии, «культуре» в странах фашизма. Читаются лекции по истории и современной жизни, о марксизме-ленинизме.

VI

Насколько правильно понимают лучшие представители писательской интеллигенции Франции роль компартии в деле защиты интересов французского народа, показывает речь Жан-Ришар Блока на конгрессе КП Франции 29 декабря 1937 г.

Ж.-Р. Блок, вместе с Андрэ Виоллис, Поль Гзеллем, Андрэ Рибаром и рядом других представителей интеллигенции, был приглашен на конгресс и от имени этих гостей последнего произнес знаменательные слова: «Этот конгресс следовало бы назвать конгрессом не партии, а всего французского народа, — так отражена в нем действительность нашей страны, ее история и природа, ее экономика и чувства».

Блок говорил о том, что «в политике компартии утверждается жизненность самого социализма», говорил о широкой и смелой человечности тех, кто выражает мысли партии, о единстве и солидарности, являющихся залогом эффективности деятельности партии. Он подчеркнул близость партии к массам: «Нет сейчас во Франции другого собрания людей, которые были бы ближе

к массе, более слиты с ней, более непосредственно исходили бы из нее, показывая нам самое лицо нашего рабочего и крестьянского народа». И дальше: «Мы констатируем на этом конгрессе, что ваша партия, партия рабочих и крестьян, именно и есть та партия, которая способна поднять человека до такой физической, нравственной и духовной свободы, которая явится наиболее благоприятной средой для применения высших функций ума».

Французские писатели — члены Международной ассоциации писателей в защиту культуры, вместе с лучшими представителями других интеллигентских профессий, при всех тревожных моментах в жизни страны живо вмешивались в борьбу, возвышали свой голос в защиту воли народа, выраженной на выборах 1936 года. Вместе с Ромэн Ролланом, Арагоном, Ж.-Р. Блоком, Мальро, Виоллис, Геэно, подписали такое обращение свыше 600 представителей интеллигенции.

Писатели другой стороны, вместе с Андрэ Жидом, падали все ниже и ниже. Селин в своем презрении к человечеству дошел до призывов к еврейским погромам (книга «Безделицы для погрома»). Соратник фашиста Дорио, Селин в своей бешеной ненависти к целому народу хотел бы, чтобы во время войны даже «раненые евреи не эвакуировались из зоны военных действий: пусть выздоравливают в военной зоне или пусть издохнут, но в ней же». Хорошая компания для Андрэ Жида этот выученик фашизма по части антисемитизма!

В среде врагов культуры и цивилизации, наряду с ненавистью к народу, царит отчаяние и пессимизм (Жорж Дюамель — «У постели больной цивилизации»).

Клод Фаррер, фашист, член «Боевых крестов», выпустил гнуснейший пасквиль против республиканской Испании, восхваляющий фашистских мятежников.

Фашисты награждают своих пропагандистов из рядов писателей: так, Поль Клодель получил звание члена фашистской академии в Саламанке.

VII

Английский писатель Олдос Хаксли, в прошлом (при начале деятельности Международной ассоциации писателей) принимавший участие в антифашистском писательском движении, — и в своем творчестве и в деятельности ничему не научился за этот год. Его последние книги проникнуты отвращением к жизни, в них он не указывает выхода.

Как многозначительно для тех, кто хотел бы оставаться неисправимым пацифистом, звучат слова Томаса Манна о том, что «свобода должна научиться носить панцырь и защищаться» и что «абсолютный пацифизм только провоцирует войну!» Эти слова, сказанные одним из крупнейших писателей Германии и всего мира в докладе «Грядущая победа демократии» (сделан в Нью-Йорке), приобретают, несмотря на ряд ошибочных положений доклада, еще большую выразительность, когда читаешь заявление Т. Манна: «Утверждение, что искусства и наука оторваны от политики, является заблуждением... каждый, кто уважает культуру, должен вести борьбу за свободу и демократию, как условия, создающие возможность развития культуры».

«Я готов принять участие в этой борьбе за свободу» — заключил писатель.

Позже эту же мысль Т. Манн подтвердил в своем обращении в связи с международным конгрессом против бомбардировки незащищенных городов (июль 1938 г.).

На вопрос американского журналиста Джона Друри: «Должен ли писатель принимать участие в политической жизни?» — Томас Манн ответил: «Да, конечно, писатель должен принимать участие в политическом движении, которое стремится улучшить жизнь всего мира как духовно, так и материально. Художник не может быть отделен от политики».

И все большие и большие круги писательской интеллигенции становятся на этот путь.

В этом смысле показательна эволюция известной английской писательни-

цы Розамунды Леман. По вопросу об отношении к Испании она письменно заявила, что «всею душой и всеми помыслами против Франко и фашизма, за законное правительство и за народ республиканской Испании. В полном смысле пацифистка до сих пор, я поняла теперь, что непротивленчество может стать, а в данном случае и стало, отрицательным, стерильным и даже разрушительным фактором».

Еще пример может быть взят из американской действительности. Эрнест Хэмингуэй — автор книги «Прощай, оружие», бывший пацифист, — наученный опытом варварской войны международного фашизма против республиканской Испании, стал активным борцом против фашизма.

VIII

Показательно выявилось отношение к проблеме связи литературы с политикой на Пражском конгрессе пен-клубов 26—30 июня 1938 г.

Жюль Ромэн, председатель Федерации пен-клубов, полемизируя с теми, кто утверждает, что федерация занимается политикой, в то же время подчеркнул, что федерация не может «оставлять без внимания события и факты, в своей основе политические».

Конгресс федерации пен-клубов, которую в недалеком прошлом никак нельзя было обвинить в пристрастии к вопросам политики, дал ряд прекрасных иллюстраций того, как усиливающаяся опасность войны, как фашистский разбой, зверское варварство «учат» отвлеченных «аполитичных» гуманистов. Вот эти иллюстрации:

бурное выражение горячих симпатий крупнейшим представителям австрийской интеллигенции, вынужденным эмигрировать;

коллективный жест солидарности с заключенным в концентрационный лагерь председателем пен-клуба в Австрии — Раулем Ауернхеймером: все присутствующие молча встали;

конгресс почтил вставанием память Карла Осецкого, нобелевского лауреата, замученного, но не сломленного;

солидарное сочувствие собрания в отношении жертв фашистских бомбардировок в Испании и Китае;

резкий отпор председателя и демонстративно-презрительное молчание собрания по адресу лакея германского и итальянского фашизма, делегатки из Польши, предложившей конгрессу воздерживаться от политических демонстраций.

Да разве не политической демонстрацией были продолжительные аплодисменты в ответ на заявление, что Япония отказывается от сделанного ранее предложения созвать конгресс пен-клубов в Японии?

Выборы в исполнительный комитет Федерации представителей Испании, Чехословакии и, вместо Японии, выборы представителя Китая, — это, разумеется, тоже показатель необходимости и неизбежности связи писательского движения с политикой, вопреки литературно гладко написанным пунктам резолюций многих предыдущих конгрессов, говоривших об аполитичности движения пен-клубов.

Конгресс высказался против антисемитизма и расовой розни, он выразил симпатии народам Испании и Китая, осудил бомбардировку беззащитных городов.

И каким диссонансом этим действиям конгресса явились призывы Жюля Ромэна к правительству Чехословакии «об уступчивости»! Это напоминало кое-что из памятной политики воздействия на Чехословакию со стороны Чемберлена — Галифакса и их французских сообщников.

IX

Эти, пока еще недостаточные, настроения против аполитичности писательского движения не являются только субъективным настроением тех или иных делегатов конгресса пен-клубов, это — реакция писателей на то, что их окружает, и на то, что происходит в мире.

О таком повороте говорит и тот интерес, который писатели, например, в Англии, за последнее время проявляют к жизни. Это — «серьезный шаг в сторону политического движения».

О подобном же интересе к политическому движению, к действительности свидетельствует и трактовка проблем жизни колониальных народов. Публикация ряда книг индусских писателей, живущих в Лондоне, во главе с Мулк Радж Ананд — показатель этого. О том же говорит и расширение деятельности объединения писателей Индии на базе «борьбы и беспощадной критики против реакции в экономике, политике, культуре».

Писатели начинают сознавать, — читаем в «Лефт ревью», — «что социальный и политический кризис, охватывающий их, не может быть отделен от специальных проблем искусства». Отсюда у ряда писателей, — правда, пока в виде доброго желания, — «попытки трактовать проблемы искусства с точки зрения марксистской теории».

И новым фактором последнего времени в Англии является тяга писателей к изучению марксистско-ленинской теории. Этому способствует доступность за последние год-полтора для писателей произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, — их важнейших трудов.

Не случаен и рост движения, объединенного в «Клуб левой книги». Он — не только организация, пропагандирующая новую, хорошую книгу или пьесу, но и объединение, которое организует сбор средств на помощь народам Испании и Китая.

«Клуб», связанный с массами, имеющий сотни отделений и поставивший задачу объединить 100 тыс. членов, рассчитывает активно участвовать в будущей избирательной кампании.

X

На 2-м антифашистском конгрессе писателей в июле 1937 г. к писателям мира был обращен вопрос, с кем они — «за» или «против» фашизма? В ноябре 1937 года редакция журнала «Лефт ревью» опубликовала сборник «Писатели делают выбор».

Ответы английских писателей дают отчетливое представление о том, что огромное большинство их — за республиканскую Испанию, против Франко и

фашизма. Отрицательных ответов — всего лишь пять — за Франко.

В этих ответах зафиксировано осуждение политики невмешательства, понимание вредности непротивления фашизму, призыв задуматься о судьбах своей страны, об опасности победы международного фашизма над республиканской Испанией, как величайшего несчастья для Европы. В них есть отчетливое понимание опасности фашизма для культуры и цивилизации.

В некоторых ответах подчеркивается необходимость для писателя быть ближе к политике: «Аполитичный писатель — это современный миф, порожденный страхом, обскурантизмом. Но Аддис-Абеба, Герника, Тянь-Цзинь открыли глаза даже наиболее изолированным писателям, а непосредственная угроза фашизма заставляет каждого из нас занять твердую позицию против фашизма в защиту Испании, что должно быть отражено в нашем творчестве» — пишет, например, Р. П. Хьюэт. Есть в ответах и понимание того, что «кровью испанского народа пишется страница истории человечества, которая не погибнет в веках» (Харольд Хэзлуп), что фашистские диктаторы готовы свой разбой повторить в отношении других стран (Сторм Джеймсон). «Быть над битвой, когда речь идет о таких вещах, — значит, быть ниже звания человека» — делает вывод Джек Линдсэй в своем ответе.

8 июля 1938 г. снова имело место коллективное выступление английских писателей против фашизма, в защиту свободы. Это был первый митинг, на котором писатели разных политических убеждений по другим вопросам — от некоторых консерваторов, воображающих, что они аполитичны, либералов до коммунистов — объединились на платформе антифашистской борьбы.

Тут были, конечно, и оговорки, чтобы консерваторов и либералов не смешали с «красными»; но факт тот, что этот митинг, как правильно писали об этом Джон Стречи и Джек Линдсэй, — значительное явление в деле создания народного фронта в области культуры.

Английские писатели в это время уже видели перед собой урок Австрии, и они отдавали себе отчет, когда выражали свои симпатии осажденному народу Чехословакии и солидарность с народным фронтом во Франции.

И даже Г. Уэллс, политические позиции которого во многих случаях достаточно неопределенны и иногда просто сомнительны, почти одновременно с этим митингом счел нужным дать в «Се суар» (5.VI) статью «А после Испании?». Он говорит в ней о жутких последствиях в случае победы Франко (Уэллс не рискует сказать: «итало-германского фашизма»), последствиях в виде угрозы Гибралтару, потери Средиземного моря, опасности для жизненных артерий Британской империи, о физическом уничтожении сотен тысяч людей. Уэллс возмущается положением, когда «постыдные банкроты» — Италия и Германия — не видят необходимости прибегать к займам, а «берут силой там, где плохо лежит», не хотят покупать товаров, а конфискуют их. Уэллс видит угрозу для Северной и Южной Америки и опасность удара со стороны Японии в Тихом океане. При таком положении писатель подчеркивает необходимость со стороны демократических сил мира объединиться и... прогнать.

Примером активной антифашистской борьбы английских писателей является их участие в пятитысячной демонстрации против политики Невилля Чемберлена (июль 1938).

В Кембриджском университете осуществлено объединение прогрессивных сил — демократический фронт, в который вошли социалистический и либеральный клубы, союз друзей Лиги наций; рабочая и коммунистическая партии сотрудничают с этим объединением.

Все эти факты говорят о расширении и усилении антифашистского движения интеллигенции Англии.

XI

Из явлений, характеризующих рост антифашистского движения американской интеллигенции, следует выделить

2-й конгресс американских художников, прошедший под знаком борьбы «за мир, за демократию и культурный прогресс». Конгресс резко выступил против фашистской интервенции в Испании и за отпор японским агрессорам (17.XII—37).

За прошедший со времени 2-го американского съезда писателей год Лига американских писателей стала организацией, объединяющей литераторов в масштабе США, она выросла и численно; «все наиболее активные и многообещающие молодые писатели, как и старшее поколение, являются его членами». Она активно оказывала материальную помощь Испании, помощь медицинскую; ряд американских писателей, как и английских, был в Испании.

Члены Лиги писателей, вопреки бешеным усилиям группы троцкистских бандитов пера, одобрили приговор советского суда над право-троцкистской бандой. Почти 150 видных писателей, художников, композиторов и профессоров подписали заявление об этом. Данное обращение, одобряющее «предпринятые Советским Союзом меры для сохранения и увеличения его могущества», призывало американских либералов «поддержать стремление освободиться от внутренних предателей — этой угрозы миру и демократии». Знаменательно то, что через несколько месяцев в США был раскрыт германский фашистский шпионский центр.

Из 418 американских писателей, ответивших на анкету: «С кем вы?», только одна писательница высказалась за Франко; запутавшийся политически Синклер Льюис не ответил на анкету. Все лучшие писатели стали на антифашистские позиции.

Имели место выступления таких признанных писателей, как Эптон Синклер и Поль де-Крайф, против клеветнических выпадов в отношении СССР. Кроме того, Эптон Синклер обратился к митингу, на котором полпред СССР делал доклад «СССР и международное положение», с речью, в которой подчеркнул: «В борьбе за сохранение демократии на сегодняшний день имеется только одна страна, со стороны кото-

рой можно рассчитывать на искреннюю поддержку, — это Советский Союз».

XII

Испанские писатели в своей огромной массе стоят твердо на посту активных защитников республиканской Испании. Словом и оружием выполняют они свой долг перед страной, перед культурой, перед человечеством.

В грозные часы особой опасности они звали интеллигенцию в добровольческие отряды. Они призывали и интеллигенцию той части Испании, которая поработана фашизмом, «осознать свой долг и исторические судьбы страны, оказать помощь Республике, т.-е. освобождению и возрождению родины».

И грозной клятвой звучали слова этого призыва, подписанного лучшими писателями и другими деятелями культуры: «Нет такой жертвы, перед которой испанский народ остановился бы в своей непоколебимой решимости победить».

Исполняя призыв 2-го конгресса, многие участники последнего выпустили книги об Испании, в защиту республиканской Испании: Мальро, Мартин Андерсен-Нексе, Нордаль Григ, Мария Грубешлиева, Крестю Белев, Михаил Кольцов, Илья Эренбург и ряд других европейских и американских писателей.

В числе других серьезнейших задач Международной ассоциации писателей в защиту культуры является борьба в защиту китайского народа против японских варваров.

За последние месяцы конкретно встали задачи защиты демократической Чехословакии против опасности фашистского нападения и нажимов некоторых «доброжелателей» из Англии и Франции, не желающих видеть опасности, угрожающей и этим странам, угрожающей всеобщему миру.

Лучшие писатели Чехословакии оказались на высоте поставленных перед ними обстановкой задач. Они организационно связались с международным антифашистским движением писателей.

Они вместе с сотнями других извест-

ных деятелей культуры выступили (15.V—38) с призывом «создать единый фронт защиты республики от внешнего и внутреннего врага».

Сознание необходимости такого единства подкрепляется пониманием того, что «защита независимости и демократии в Центральной Европе есть защита свободы всей Европы».

Эта клятва интеллигенции Чехословакии скреплена заявлением о твердой уверенности, что «Европа выйдет из нынешних трудностей свободной и счастливой».

XIII

Немецкие писатели-эмигранты, объединенные в «Союз защиты немецких писателей», осенью текущего года справляют пятилетие своего существования в эмиграции.

Они пережили разбойнический захват Австрии, они переживают отголоски гитлеровско-генлейновского террора в Чехословакии. Многие немецкие писатели-эмигранты сражались против фашизма, в защиту республиканской Испании. Эмиграция писателей увеличилась. Материальные условия существования и борьбы тяжелые.

Троцкистские подонки в рядах писательской и журналистской немецкой эмиграции внесли раскол в ряды движения и создали свой «Союз независимых (!) немецких писателей».

Но, подводя итоги своей творческой деятельности, немецкие антифашистские писатели могут заявить, что, несмотря на тяжелые условия эмигрантского бытия, только они являлись представителями германской культуры. Сотни прекрасных книг созданы эмигрантской интеллигенцией, бежавшей из гитлеровской Германии.

Вопреки стремлению гитлеровцев протворить проникновение эмигрантской литературы в различные страны, во всем мире знают лучшие произведения немецких антифашистов. И только именно этих писателей германские народные

массы признают своими писателями.

В «Нью-Йорк таймс бук ревью» сообщается, что «за одни лишь весенние месяцы текущего года были переведены почти на все европейские языки 54 книги немецких писателей-эмигрантов».

Год со времени 2-го антифашистского конгресса писателей характерен ростом понимания писателями мира роли советской политики мира, значения экономических, политических и культурных достижений СССР.

«Советский Союз — оплот чаяний всего передового человечества» — подчеркивалось на 2-м антифашистском конгрессе писателей.

Лучшие писатели мира в сотнях высказываний о СССР, о торжестве Сталинской Конституции, воплощающей подлинную демократию масс, в многочисленных приветствиях к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции показали это признание на деле.

Советские литература, музыка, кино, музыканты, театр, успехи науки и техники имеют широкое признание во всех странах.

И особенно ясно величие роли нашей могучей и прекрасной родины, нашей партии, великого вождя и учителя народов товарища Сталина сознают трудящиеся массы, сознает все прогрессивное передовое человечество тогда, когда в том или ином месте мира возникает опасность народам со стороны воинствующих фашистских мракобесов, со стороны тех или иных агрессоров, когда возникает угроза миру.

Эту историческую роль великой страны социализма, оплота мира и «сильнейшей крепости свободы»¹ признают с благодарностью писатели мира, объединенные в антифашистский фронт. Советская литература в этом росте симпатий к СССР имеет свои заслуги.

¹ Лион Фейхтвангер, «Правда», 1.VIII—38.



Леся Украинка (1871—1913 гг.)

Леся Украинка

(К 25-летию со дня смерти)

МИКОЛА БАЖАН

★

Первого августа 1913 года в Сураме, в Грузии, умерла великая украинская поэтесса Ларисса Петровна Косач-Квитка, писавшая под литературным псевдонимом Леси Украинки. Ее имя, наряду с именами бессмертного Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Коцюбинского, является свет-

лой точкой дореволюционной украинской поэзии. Творчество Леси Украинки, о которой Иван Франко когда-то сказал, что «эта больная, слабосильная девушка чуть ли не единственный мужчина» в современной ему украинской литературе, — творчество ее обогатило культуру украинского народа, дав ей

выхода из общества угнетения, темноты и рабства. Эта центральная тема Леси Украинки многообразно отражена в ее стихах и драмах. Так, раб-неофит из драмы «В катакомбах», прокляв ложь и лицемерие своего нового христианского окружения, уходит туда, где «десь над Тибром, як перейти отруєну Мадемму... Є табор потайний рабів-повстанців». Вила-посестра (из поэмы того же названия) убивает своего любимого побратима, который отказался от свободы и предпочел заживо гнить в тюрьме, потеряв силы и стремление к победе. Даже в образе Дон-Жуана, так многократно и разнообразно появлявшемся в мировой литературе, Леся Украинка сумела воплотить свою тему непокорности судьбе, борьбы за свободу. Дон-Жуан, променявший долю изгнанника-протестанта на белую мантию командора, этот символ «опоры государства и порядка», должен погибнуть, ибо «каменный хозяин» (как и называется драма Л. Украинки) не потерпит такого человека в своем доме и на своем пиру; и, быть может, только Сганарель предвидит неминуемую участь своего господина, изменившего собственной жизни из-за призрака королевской короны, из-за гнетущего величия каменного католического Эскуриала, которым манит его невольная мстительница за женскую честь — властолюбивая, лукавая Донна-Анна. Ведь даже Лукаш, этот бесхитростный юноша, — певец украинского Полесья из прекрасной «Лесной песни» Л. Украинки, погибает из-за того, что променял свою свободу и песню на тупую, ограниченную жизнь хозяйчиков-стяжателей. Вера в неминуемую победу, неуклонная воля к борьбе, — вот, что вдохновляло Лесю Украинку, не смирявшуюся ни под гнетом тех годов реакции, на которые выпал расцвет ее творчества (1907—1913), ни под влиянием невзгод личной жизни.

Она писала:

Що ж не дає мені промовить просто:
«Так, доле, ти міцніша, я корюся?»
Чому на спогад цих покірних слів
Рука стискає невидиму зброю,
А в серці крики бойові лунають?

Леся Украинка знает, что является могучим источником мужества и непреклонности, вдохновляющим, борца: чувство любви к родной земле, любовь к народу — вот что поддерживает и умножает силы человека, вышедшего лицом к лицу «против бури». В стихотворении «Надпись на руине» поэтесса пишет о монументах древнего Египта, е которых стерлось забытое имя угнетателя-царя, но которые утверждают в веках творчество народа, воздвигшего эти колоссы:

І кожна статуя, колона, малювання,
Мережечка, різьба і навіть цегла
Незримиими устами промовляє:
«Мене створив єгипетський народ»...
Спивци, не марьте, вчени, не шукайте,
Хто був той цар і як його наймення:
З його могили утворила Доля
Народу пам'ятник — хай гине цар!

В народе, в народности таится ключ к бессмертию и к истинному величию творца; победа приходит только тогда, когда к ней стремятся с народом и для народа. В своей поэме «Роберт Брюс» Леся Украинка объясняет победы этого шотландского полубогородного рыцаря-борца (пусть даже несколько изменяя дошедшие до нас исторические факты) тем, что он в подвигах своих был глубоко и неизменно связан с подвигами и чаяниями шотландского народа. В этом — тайна непобедимости борца, в этом — честность его знамени, ибо иначе:

Будь проклята, кров ледача,
Но за чесний стяг пролита!

Честный стяг борца за освобождение всего человечества подняла и пронесла в своем творчестве Леся Украинка, эта истинная наследница гневного шевченковского слова. Лучшие традиции украинской, русской, мировой литературы восприняла она, воспитывая и укрепляя свой творческий дух. Наряду с благоговением к памяти Шевченко, к его «вечному слову, ставшему на страже», Леся Украинка преклоняется и вдохновляется бессмертной пушкинской поэзией. Во время пребывания в далеком Хони, в маленьком имеретинском городке, единственная книга, которую она

просила ей туда прислать, был томик Пушкина с его «Каменным гостем». Задумав своего «Каменного хозяина», Леся Украинка из всей многочисленной дон-жуановской литературы (прекрасно известной ей, владевшей почти всеми европейскими языками) выбирает именно драму Пушкина.

Поэзия Пушкина и Некрасова, так же, как и поэзия Шевченко и Гейне, были могучими воспитателями таланта Леси Украинки, определившими его интернациональный размах и значение. Сама Леся Украинка признается в том увлечении, какое испытала она в ранние годы свои, зачитываясь стихами П. Якубовича и Надсона; пусть потом увлечение это было забыто, но никогда не была потеряна глубокая связь творчества великой украинской поэтессы с великой культурой русского народа. Это должны были со скрежетом зубным признать даже украинские националисты, для нас же связь эта многое объясняет в том взлете к истинно гуманным и народным высотам, которого достигло творчество Леси Украинки. Разве не перекачается идея ее стихотворения «Надпись на руине» с незабываемыми словами Горького о народе как о силе, создающей не только материальные ценности, но и являющейся единственным и неисчерпаемым источником ценностей духовных? Это — не случайное совпадение, а основная, жизнеопределяющая их идея, воспитанная лучшими традициями великой русской культуры, традициями Пушкина, Некрасова, в наши дни воплощенными в Горьком. Не случайным было и сотрудничество Леси Украинки в журнале «Жизнь», где печатались статьи, подписанные великим именем Вл. Ильина (Ленина), где печатался Чехов и Горький, где был напечатан «Буревестник», послуживший поводом к закрытию журнала. Леся Украинка помещала там статьи, то информировавшие русского читателя о новых явлениях в украинской литературе (статья «Малорусские писатели на Буковине» — «Жизнь», 1900 г., IX), то разоблачавшие реакционность таких модных в то время писателей, как д'Аннунцио. В своей статье «Два на-

правления в новейшей итальянской литературе» («Жизнь», 1900 г., VII) она писала об этом предтече современных фашистских писак: «несмотря на призывы к «возрождению», он певец вырождения», она вскрывала слащавую и выспреннюю лживость его писаний: «Италия в поэме д'Аннунцио является земным раем также и для скромных тружеников. Такая «весть» представляет интересный контраст двум экономическим статьям, — помещенным в той же книжке журнала, — в которых «труженикам Италии» сообщаются далеко не радостные вести: едва ли эти труженики утешатся в своих новых бедствиях тем, что «великий Пан еще не умер»...».

В своих драмах, стихах, литературно-критических статьях Леся Украинка всегда оставалась верна жизненной правде искусства, в противовес лживости и коварству упадочнической, вырождавшейся культуре современного ей общества господ. Пусть, повторяем, набрасывает она порою на своих героев хитон раба-неофита, плащ Дон-Жуана, — это отнюдь не скрывает реалистической сущности ее поэзии, ее позиции борца:

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ты хворим рукам!

Это чувство сожаления поэтессы о своих «хворих руках» должно быть воспринято и в буквальном смысле: уже на одиннадцатом году жизни тяжелый туберкулезный процесс поразил сначала ее руку, потом ногу, затем захватил и легкие, приковав Лесю к постели, обрекши ее на жизнь вдали от родины. в тех краях, где климат и солнце могли принести ей исцеление. Египет, южная Франция, Карпаты — названиями их городов и селений помечены стихи и драмы поэтессы, устремленной всеми мыслями и чувствами своими назад, к отечеству и родному народу, к его страданиям и испытаниям, к его неугасимой вере в светлое будущее. Но непокорный дух этой физически обессиленной женщины нашел свое могучее проявление

в творчестве, вдохновленной верой в победу над всеми и всякими страданиями человека.

Наша эпоха понимает и ценит величие такой жизни. Один из благороднейших сыновей ее прожил подобную же творческую жизнь: «рожденный бурей», он рассказал человечеству, «как закаляется сталь», как личные страдания побеждаются в борце и в творце чувством бессмертия народа. Именно облик Николая Островского встает в памяти при мысли о мучительной жизни больной поэтессы.

Задыхаясь, захлебываясь кровью, полулежа, писала Леся Украинка план своей последней, предсмертной, так и не оконченной драмы. Александрийский мудрец Феокрит непоколебимо верит в окончательную победу науки, но его удушает дикий фанатизм христиан, озлобленных независимостью и смелостью мысли ученого, восстающего против темного рабства и бессмысленной веры, проповедуемой христианскими вождями толпе. «Язычника» хватают и везут в тюрьму: его библиотека должна быть предана разорению и сожжению. Но маленькие сын и дочь Феокрита

ночью уносят из библиотеки самые ценные рукописи отца и, тайком выбравшись из города, выходят в пустыню; в песок ее прячут они свое сокровище, а сами, став на колени, простирают руки к восходящему солнцу: «Гелиос! Спаси наше сокровище, тебе и золотой пустыне вручаем его!» Придет пора, и люди найдут в песках эти ценности человеческой мысли, спасенные от сожжения, удивятся и обогатятся ими.

Глубокий смысл получает теперь этот предсмертный замысел Леси Украинки, освещенный радостной ее верой в неминуемый восход солнца, в нетленность творений смелого человеческого духа. Костры темной фанатической Александрии загорелись еще более диким пламенем на площадях Берлина перед озверелой коричневой толпой. Но они не сожгут и не уничтожат человеческой мысли: увенчанные новым сиянием Сталинского солнца, лучшие творения человечества охраняются и возносятся народами социалистической страны. Под этим солнцем новым блеском сияет и имя благородной поэтессы освобожденного украинского народа — Леси Украинки.

Горький над страницами философских книг

(По неизданным материалам)

Проф. Д. БАЛИКА

★

I

1900—1901 годы в развитии массового рабочего движения, в частности нижегородского пролетариата, были особенно значительны. Это был период интенсивной большевистской политической агитации, открытых уличных демонстраций против царизма, основания нижегородского комитета РСДРП. Нижний был постоянно в сфере влияния только что возникшей «Искры», регулярно снабжался литературой и информировался из центра Н. К. Крупской.

В эти годы А. М. Горький принимает участие в местном большевистском подполье путем составления прокламаций, денежного субсидирования партийной организации, содействия в устройстве тайной типографии, а также путем помощи в основании рабочих библиотек.

Помогая организации нелегальных большевистских библиотек, Горький наряду с этим заботился и о городских публичных библиотеках Нижнего и Арзамаса. Нижегородскую читальню он пополняет книгами из своей личной библиотеки, — пополняет систематически, из года в год, создавая в городской библиотеке ядро подлинно научных изданий, обеспечивающих читателям научное мировоззрение и политическое воспитание.

Мы располагаем материалами, показывающими, как Горький осуществлял свое влияние на публичную библиотеку своего родного города. Только за годы 1900—1910 им было пожертвовано свы-

ше тысячи ценнейших книг научного содержания и по художественной литературе. Это количество притом должно быть значительно увеличено, ибо, кроме цифр, указанных в официальных отчетах библиотеки, от Горького было получено немало книг, не опубликованных в силу цензурных условий.

В своем отчете за 1901 г. библиотечный комитет писал: «Комитет считает своим долгом выразить глубокую благодарность за пожертвования, значительно увеличившие книжный запас библиотеки. Особенную признательность Комитет выражает А. М. Пешкову (М. Горькому) за сделанное им ценное пожертвование книгами (214 названий в 298 томах). Это уже не первый дар А. М. Пешкова. Ввиду значительности пожертвования, Комитет выделил пожертвованные А. М. Пешковым книги в особый отдел, назвав его «Отдел М. Горького». Благодарность Горькому за все новые и новые пополнения библиотеки мы встречаем и во всех последующих отчетах.

10 июня 1903 г. в Канавине, в городском доме, бывшем (кстати сказать) Булычева, было открыто Макарьевское отделение городской библиотеки. В книжный фонд его, наряду с другими книгами, была выделена и часть изданий из «Отдела М. Горького».

С 1903 г. «Отдел М. Горького» растет и в городской библиотеке, и в филиале, в Канавине. В 1902 году М. Горький писал заведующему библиотекой П. И. Крылову:

«... я буду пополнять библиотеку по мере сил до поры, пока я жив. Я уже говорил с вами и о проекте устроить «библиотеку для самообразования» по программам Комиссии домашнего чтения. Книги, имеющиеся у меня теперь, вышлю в половине или конце февраля. В это время выйдут новые книги «Знания» и «Труд», так что я пришлю все вместе, дабы не тратиться на пересылку дважды...».

В приложениях к библиотечным отчетам ежегодно указывалось, какие книги подарены были Горьким. Нет, разумеется, надобности сколько-нибудь подробно доказывать, сколь важен во многих отношениях анализ этих материалов систематического пополнения библиотеки нижегородской библиотеки, — тем более, что сам Горький продолжал пользоваться своими книгами и после поступления их в библиотеку; об этом говорят сохранившиеся в архиве библиотеки записочки писателя, например:

«Уважаемый Николай Александрович! Будьте добры, дайте, пожалуйста, из моих книг маленькую книжку Гексли. Введение в науку.

А. Пешков.

Посылаю «Психологию» Джемса.
1902 г.».

Не приводя здесь названий книг, переданных Горьким в нижегородскую библиотеку, отметим лишь, что он уделял особое внимание политической экономии, рабочему вопросу, аграрному вопросу. Имеется ряд книг по изучению люмпенпролетариата, преступного мира. Обращает на себя внимание значительное число изданий о тяжелом положении женщин в капиталистических странах.

Немало из этих книг посвящено было также истории английской и французской революций, истории России, Украины, Армении, Грузии.

Уже в 1902—1904 гг. в библиотеку поступили от Горького разнообразные издания и на национальные темы: армянский вопрос, еврейский вопрос, положение евреев в России, украинский вопрос, жизнь национальностей в России представлены большим числом работ. Любопытно, что из книг по художе-

ственной литературе Горький дарит не только русских и западноевропейских классиков, но и писателей украинских (Коцюбинский, Шевченко, Иван Франко, П. Кулиш), армянских, грузинских, еврейских и др. Богато представлена история литературы, а также искусство. Можно назвать ценнейшие издания по книговедению, особенно о борьбе с лубочной литературой.

Ценные книги даны по естествознанию (Дарвин, Неймайер и др.). Наконец, весьма значительно число книг по философии и логике. Вопросами философии Горький много занимался лично, и эти книги испещрены его пометками.

Ниже мы и остановимся на этих следах чтения Горьким философских трудов.

Судя по датам издания и поступления в библиотеку большинства из этих изданий, нужно думать, что пометки Горького на философских книгах относятся к периоду 1893—1900 гг. Ниже мы воспроизводим следы чтения Горького на двух книгах такого рода.

II

Первая из них — Акад. Е. Каро. «Пессимизм в XIX веке». Изд. 2-е. М. 1893. 313 стр.

В главе первой ее, «Пессимизм в истории», на стр. 9, против изречения из Лукреция: «Все есть для нас загадка и хаос. Мы не знаем вовсе вещей, среди которых влечет нас слепая сила», — на полях слева, черным карандашом, стоит знак вопроса (?), означающий, по видимому, несогласие Горького с этим утверждением.

Дальше, на стр. 15, имеют место такие положения: «Основным верованием древности было, что человек рожден, чтобы быть счастливым, а если он не достигает счастья, — это вина или какого-нибудь завистливого божества, или человеческой гордости, восстающей с оскорблениями и угрозами против богов. Между древними господствовала упорная вера в земное счастье и любовь к жизни; когда они страдают, кажется, что нарушены их законные права».

Эти строки Горьким отчеркнуты на правом поле книги.

На стр. 17, где речь идет о господстве между древними идеи земного оптимизма, отчеркнуто черным карандашом справа: «А вот место из Экклезиаста: «... псу живому лучше, нежели мертвому льву».

На странице 19, слева, отчеркнуто карандашом: «Христианство имеет мрачную сторону: грозные догматы, дух суровости, лишения и даже аскетизма». Сверх того, на б р а н н ы е к у р с и в о м слова Горьким подчеркнуты, а справа, на полях, стоит восклицательный знак (!) и написано: «О, да».

В главе второй — «Пессимизм в XIX веке. Леопарди поэт пессимизма», на странице 73, там, где приведены слова Леопарди об упадке науки в XIX веке, Горький подчеркнул: «...чем более увеличивается желание знать, тем слабее становится способность изучать»; и дальше, после слов Леопарди об «умственном капитале», разделенном между многими головами, Горький отмечает жирной карандашной чертой слова: «Там, где всякий знает немало, знают очень мало».

На стр. 74, слева, отчеркнуты слова Леопарди: «Вам говорят: предоставьте массам работать; но так как массы состоят из индивидуумов, то что же они могут сделать без них? Но индивидуумов обескураживают, отымая у них всякую надежду на эту жалкую награду славы. Их унижают...».

На стр. 79—80 приведен из Леопарди разговор между продавцом альманахов и прохожим; один спрашивает другого, не желает ли он, чтобы новый год был похож на какой-либо из предыдущих, и получает отрицательный ответ. В этом диалоге Горьким резко подчеркнуты фразы: «Это значит, что до сих пор нет никого, с кем бы случай не обошелся дурно», и на следующей странице: «У человека нет более жестокого врага, как человек».

Горький реально ощущает зло, творимое людьми, и говорит о необходимости борьбы с ним; люди созданы для счастья, о чем говорили еще древние.

На стр. 82 Каро, приводя слова Шопенгауэра: «Жизнь есть бесконечная

охота, ...война всех против всех», прибавляет: «Были ли мы неправы, утверждая, что пессимизм есть скорее мозговая болезнь, чем система? С этой точки зрения система не требует более критики, она делается достоянием клиники, здесь мы ее и оставим». Горький, повидимому, не соглашаясь с этим, ставит на полях знак вопроса. Он скорее согласен с Леопарди; о метафизической причине зла последний ничего не знает и знать не хочет: «Зло чувствуется и замечается; это сумма вполне реальных ощущений из области опыта, а не размышления». Выделенные здесь слова Горький подчеркивает толстой чертой.

В главе третьей — «Школа пессимизма в Германии и во Франции», на стр. 89, Горький отчеркивает: «По Гегелю, каждое конечное бытие осуждено на уничтожение своими противоречиями».

На стр. 92, в фразе Каро, подчеркивающей идеализм Шеллинга и Гегеля: «божественный разум оплетает как бы волшебную тканью все эти события», — Горьким подчеркнуто слово «оплетает».

На стр 97, где речь идет об ученике Шопенгауэра, Тауберте, считаем, что меланхолия является одним из величайших утешений и не только переносит воображение далеко за пределы реальных страданий, но еще особенным образом увеличивает наши наслаждения, Горький не только отчеркивает, но и обводит каймой абзац:

«Пессимизм нам вполне показывает, что всякая радость иллюзорна, но он не разрушает самого наслаждения и оставляет его существовать, несмотря на его доказанную пустоту; он только ставит его в черную раму, отчего картина выглядит еще лучше».

Несколькими строками ниже, против слов: «Джемс Селли тонко замечает, что Тауберт кажется ему оптимистом, нечаянно попавшим в пессимизм и делающим тщетные попытки высвободиться из этой трясины», Горький слева на полях снова ставит знак вопроса.

На стр. 100 автор, видя в лице Банзена последнюю фазу немецкого песси-

мизма, пишет: «Банзен с гордостью может сказать пессимизму: дальше ты не пойдешь». Горький подчеркивает последние слова и приписывает: «можно пойти», — как бы предвидя возможность еще большей деградации и буржуазных философов.

На стр. 103 француз Каро дает волю своему шовинизму и патетически восклицает о соотечественниках: «Страсть к свету, стремление к логичности, любовь к труду, привычка к полезной деятельности, все это защищает нас (французов) достаточно против неувидимого и расслабляющего влияния с того берега Рейна. Однако, даже во Франции замечались неоспоримые проявления этого зла...». Горький слева на полях пишет: «Ренан».

Оставив штрихи карандаша на стр. 107 и 108, Горький на стр. 110 очеркивает жирной чертой мысли Ренана. «В отличие от Шопенгауэра, говорит Филалет, я покоряюсь. Таким образом, мораль сводится к подчинению. Безнравственность, это — восстание против порядка вещей, живность которого очевидно. Нужно одновременно видеть ее и, все-таки, подчиняться ей».

Помимо этого, слева на полях он еще приписывает: «Карлейль. Ислам». Горький, совершенно не сочувствуя этим положениям Ренана, признает необходимость акта воли против порядков, коварность которых известна.

На стр. 111 Горький не только подчеркнул слова: «Мысль, освободившая нас от иллюзии, тем самым освободила нас и от обязательства», но и сопроводил это надписью: «Тема». Очевидно, целая тема для размышления и работы писателя!

На стр. 115 Каро вновь пишет, что философия и литература кошмара во Франции никогда не имела успеха: «Фантастические сказки Гофмана не могли акклиматизироваться под нашим небом и на нашем языке. Шопенгауэр и Гартман будут у нас всегда только предметом любопытства».

Горький приписывает карандашом в тексте: «Ошибся, друг мой!».

В четвертой главе: «Доводы Шо-

пенгауэра против человеческой жизни. Тожество воли и страдания, теория отрицательности наслаждений и маккиавелизм природы», Каро, споря с пессимистами, свою полемику основывает на идеалистических утверждениях; однако, Горький явно не согласен с этим, как видно из отчеркиваний на страницах 128, 130, 132, 133 и из реплик на полях.

По Шопенгауэру, «человек понимает, что сущность воли есть усилие, и что всякое усилие — страдание». Выражение это Горьким отчеркнуто.

«Жить, это — желать, а желать, это — страдать, следовательно, всякая жизнь есть не существование своему страданию».

Горький против этих слов пишет на полях: «Проповедь в Бенаресе».

На стр. 130 Каро говорит: «Отнюдь не рождаюсь от потребности, усилие само есть первая потребность нашего существа, и оно удовлетворяет себя деятельностью, что бесспорно есть наслаждение». На полях слева стоят горьковские знаки вопроса и (ниже) — восклицания.

На стр. 133 читаем у Каро: «Напр., мы можем указать на чистые радости, получаемые от победы, одержанной после громадных, долговременных усилий в борьбе с препятствиями...». Подчеркнув слово «чистые», Горький приписывает на левом поле карандашом: «Глупо».

На стр. 134 Каро договаривается до понимания труда, как удовольствия, безотносительно от социальных условий, в которых живут трудящиеся: «На самом деле, после того, как побеждены первые трудности и первые отвращения, труд сам по себе, без всякого отношения к его результатам, есть одно из наиболее живых наслаждений». Горький, отчеркнув это место жирной чертой, слева на полях добавляет: «Очень глупо».

И дальше, на стр. 135, Каро описывает радость труда еще более цветисто: «Подобно тому, как борьба со внешними препятствиями дала первую радость начинающейся жизни, которая, реагируя на окружающее, ощущает самое себя, — так же и труд, который есть концентри-

рованные и направленные на известную цель усилия, ставши полною нашею собственностью, является самым интенсивным нашим наслаждением, потому что он, борьбою с препятствиями, вырабатывает у нас чувство нашей индивидуальности и освящает наш, правда, частный и временный, триумф над природою. Вот что такое усилие, что такое труд в действительности». Слова «правда, частный и временный» подчеркнуты Горьким жирной чертой, и после обзаца им написано явно неодоительно: «*И-да!*».

На стр. 136—139 у Каро приведены следующие рассуждения Гартмана о страдании-наслаждении: «... есть различные роды наслаждения, которые ни в малейшей степени не происходят от прекращения страдания и которые непосредственно следуют за состоянием полного безразличия». Горький ставит на полях слева знак вопроса (?) и в дальнейшем тексте подчеркивает обозначаемое курсивом: «Наслаждения вкусовые, половое наслаждение в чисто физическом смысле слова, независимо от его метафизического значения, наслаждения искусством и наукою, все это такие виды наслаждений, для которых нет никакой надобности быть предшествующими страданием и спускаться сначала ниже безразличного состояния или полнейшей нечувствительности, чтобы потом положительно подняться над ним».

Все эти строки Гартмана подчеркнуты жирной чертой, и Горьким написано на полях во всю величину отрывка: «*Наивно*».

На стр. 141 и Каро, и Горький соглашаются с Шопенгауэром в том, что «человек не только, подобно животным, испытывает чувство страдания, но он еще увековечивает его через воспоминание, предвкушает посредством предвидения и увеличивает воображением в бесчисленное число раз; он не страдает, как животное, только от настоящего, но он мучится еще прошедшим и будущим; прибавьте сюда еще громадный контингент нравственных страданий, которые на животных едва оказывают мимолетное влияние, быстро

исчезающее под волною новых ощущений». Все это место сильно отчеркнуто на правом поле, а первые строки, кроме того, подчеркнуты.

На стр. 143 отчеркнут вывод Гартмана, что обыденный человек счастливее гениального, и пессимистическое утверждение: «В жизни человека самые счастливые, единственно счастливые минуты, это — сон, глубокий, без сновидений, когда человек не сознает себя».

На стр. 144—145 пометки Горького констатируют его несогласие со слишком легковесными возражениями Гартману со стороны Каро: «Способность к страданию, конечно, возрастает вместе с интеллигентностью; но разве можно сомневаться, что в то же время возрастает и способность к новым видам наслаждения, вполне неведомым низшим натурам...». Это выражено в подчеркивании Горьким отдельных слов и знаке вопроса слева на полях.

Знаки вопросов и против текста, где говорится о радостях Ньютона, испытанных «за один момент, во время открытия точной формулы тяготения», или Паскаля, страдавшего 39 лет и сделавшего научное открытие. Горький не согласен со столь легковесными возражениями Гартману.

В главе восьмой: «Учение Гартмана об освобождении мира чрез добровольное самоуничтожение. Опыт космического самоупийства», на стр. 264, Горьким отчеркнуты остро волнистой линией рассуждения Гартмана из «Философии Бессознательного». И непосредственно далее также на стр. 265: «Чтобы уготовить вселенной благо конечного освобождения, нужно действовать не на индивидуальную волю человечества, ибо это еще мало значит, но на всемирную волю, на самую причину вещей».

III

Только-что описанная книга любовно переплетена Горьким в один изящный переплет с другим изданием: Штейн Вл. Граф Джакомо Леопарди (1798—1837) и его теория infelicità. (Литературный очерк.) СПб. 1891. 286 стр.

Книга эта состоит из двух отделов: обзорение жизни Леопарди и изложение его теории. Пометки М. Горького имеют место в обоих отделах; особенно же много во втором разделе, на котором и остановимся.

Леопарди, поэт мировой скорби, кроме канцон, написал ряд прозаических произведений, из которых выделяются «Диалоги», где он свел в стройную по своему философскую систему свои безотрадные мысли о мире и людях.

Личные несчастья, пережитые Леопарди с детства, приводят его к размышлениям над источником бедствий и страданий человечества, к вопросам философии и особенно морали. Для Леопарди характерно то, что, вместо отвлеченных умствований Шопенгауэра, Гартмана и др., он, не отвергая метафизики, смотрит на нее лишь как на точку отправления, исходя из которой его размышления сосредоточиваются на вопросах, соприкасающихся с действительной жизнью. Леопарди, поэтому, скорее является скептиком и моралистом во вкусе Монтэня, Вовенарга, Шамфора или Ривароля.

На стр. 193 Горький отчеркивает и ставит нота-бене против следующего яркого отрывка из положений Леопарди:

«Зачем горят все небесные светила?.. К чему служат бесконечные воздушные пространства и неизмеримая глубина неба? И сам я — что я такое? Размышляя над этим, я все же для великолепия необъятной вселенной, для бесчисленных ее обитателей, для деятельности и движения небесных тел и земных организмов, неустанно вращающихся и возвращающихся к исходной своей точке, не могу подыскать ни цели, ни пользы. Единственное, что я знаю и чувствую, — это, что из всего круговорота и из моего шаткого бытия, быть может, кто-нибудь и извлечет для себя благо и удовлетворение, но для меня то самое существование является просто злом».

Множество горьковских помет вызывают космологические воззрения Леопарди.

На стр. 196 Горьким отчеркнуто очень важное место из положений Леопарди:

«...Материя никогда не увеличивается ни на самую ничтожную величину, а равно не являет признаков разрушения или тленности; поэтому отсутствуют и всякие данные для заключения о том, что материя когда-либо получила начало или нуждалась для своего бытия в причине или посторонней ей силе. Иное дело с разнообразными формами бытия материи, т.-е. вещественными предметами: они растут, убывают и, наконец, распадаются, а отсюда само собою вытекает, что они не существовали предвечно, но имеют начало и причину».

Непосредственно дальше, на той же странице, отчеркнуто, что материя, вообще, и все, в частности, органические существа «имеет скрытую в себе силу или несколько сил, которые постоянно их двигают или волнуют в разных направлениях». Об этих силах «можем догадываться и обозначать их соответственно их действиям», но никогда не можем ни познать их, как вещь в себе, ни постигнуть их природу.

На стр. 197 Горьким отчеркнуто, что непостижимо и то, простираются ли данные «действия, приписываемые нами одной и той же силе, действительно из одной силы или из многих и, наоборот, — на самом ли деле те силы, которые мы обозначаем разными именами, суть силы различные, либо составляют одну общую силу».

Дальше им тоже отчеркнуто:

«Во всяком случае, достоверно, что именно эти силы, или, лучше, сила, присутствующая материи, постоянно двигая или волнуя ее, образует из нее бесчисленные существа, т.-е. видоизменяет материю на разнообразнейшие лады. В общей совокупности эти существа, распадающиеся на отдельные роды и виды, но объединяемые между собою общою связью, простирающею из их сущности, составляют мир...».

На стр. 198 Горьким вновь отчеркнуто: «... несмотря на угасание индивидов, все или некоторые из родов и видов сохраняются, почему — поскольку порядок и естественная между вещами связь не нарушается — и говорят, что мир еще длится».

На этой же странице отмечено на по-

лях, что порядок, управляющий вселенною, «изменяется... столь медленно, что самые перемены эти едва улавливаются...». Эти периоды времени «составляют ничтожное мгновение в сравнении с вечным бытием материи, и было бы заблуждением предполагать, будто наш мир незыблем».

Далее, в самом тексте, Горьким подчеркнуты строки:

«Вследствие вечного вращательного движения земли вокруг ее оси те части земного шара, кои лежат у экватора, стремятся от центра в пространство, и, наоборот, частицы, прилегающие к полюсам, притягиваются к центру. По этой причине земной шар непрерывно менял и меняет свою фигуру и, постепенно расширяясь у экватора, в то же время более и более сжимается у полюсов...».

Вся стр. 199 отчеркнута, и на полях стоят два больших восклицательных знака (!!). Речь у Леопарди идет о том, что земля по обе стороны от экватора сплющится так, что уподобится плоской тонкой доске и, продырявившись в середине, распадется на куски.

На стр. 200 Горьким отчеркнута следующая строка, а в нем подчеркнуты слова, отмеченные курсивом: «Итак, самое круговращательное движение мировых сфер — этот главный элемент существующего порядка природы, который является как бы принципом и источником сохранения вселенной, — послужит, с другой стороны, причиной гибели вселенной. Но если планеты, земля, солнце и звезды обречены на гибель, то из материи, входящей в состав всех тел, образуются вновь космические единицы, новые роды и виды существ, и собственной вечною силою, присущею материи, создастся иной порядок вещей и иной мир».

На стр. 202 отчеркнута общее заключение Штейна о мировоззрении Леопарди; последнее можно подвести под систему, основой которой служат материя и сила природы: «Но, на какой конец оперирует природа над миром и

человечеством, остается неизведанною тайною».

Обращаясь к природе, Леопарди бросает ей резкий упрек; Горький отчеркивает на стр. 202 это место, очевидно, соглашаясь с ним: «... одним ты расставляешь засаду, другим угрожаешь, третьих осаждаешь, четвертых бьешь, пятых ломаешь, шестых разрываешь и всех всегда оскорбляешь, либо преследуешь... Ты, неведомо зачем, являешься палачом своего собственного семейства, своих детей, своей собственной крови... Люди злы, но, по крайней мере, они перестают преследовать того, кто бежит и скрывается от них, с истым желанием убежать и скрыться, ты же никогда не переставаш нас преследовать и гонишь, доколе совсем не уничтожишь».

На стр. 203 снова отчеркнута Горьким: «... тем не менее, хотя Леопарди и допускает со стороны толпы погоню за покоем и чувственным наслаждением, он утверждает, однако, что люди, вдумывающиеся в происходящее пред их глазами, должны уразуметь неуловимость счастья вообще».

Точно так же — и на стр. 204: «... счастья ищет всякая тварь во всех своих деяниях, но нигде его не настигает и в течение жизни, несмотря на ухищрения, труды и заботы, все сущее страдает и изнуряется лишь затем, чтобы достигнуть единственной цели, установленной от природы, т.е. смерти». И далее — подчеркнута: «Объясняется это тем, что всякое наслаждение — вещь умозрительная — стремление, но не факт, — порождение мысли, но не опытное ощущение».

Вся страница 205, где приведены слова Леопарди об иллюзорности наслаждения и поисков человеком счастья, Горьким отчеркнута волнистой линией.

Отчеркнув большую часть страницы 206, Горький на полях подает реплику: «глупство» против следующего текста:

«Строго говоря, любим мы счастье, а не жизнь, хотя часто и усвоаем жизнь привязанность, питаемую к счастью.

Что привязанность к жизни не составляет необходимой принадлежности людской природы, видно из того, что в древности многие добровольно выбирали смерть, имея полную возможность жить. Этого не могло бы случиться, если бы любовь к жизни являлась коренным свойством человеческой природы; иное дело — любовь к собственности и благу и счастью...». А затем подчеркнуто: «существование — зло, пропорциональное количеству несчастья».

На стр. 207 Горький подчеркивает отдельные слова и волнистой линией на полях:

«Стремление к славе, по выражению Паскаля, столь сильно в людях, что, с чем бы слава ни связывалась, хотя бы даже со смертью, она все же является желанною... все же и эта химера рассеивается, как дым, если разобрать дело хорошенько...».

На стр. 209 Горьким отчеркнуто:

«Но отсюда еще не вытекает, чтоб оценка делалась и ими беспристрастно: хотя бы и вполне знающий критик — в своих суждениях стоит под влиянием минутных впечатлений, вкусов, навязанных ему обстоятельствами и собственным возрастом: молодость, наприм., придает особую цену блеску, старость мало доступна чувствительности, а в больших городах, где по преимуществу созидаются репутации, сердца и умы всегда несколько разочарованы». Последние слова, сверх того, подчеркнуты волнистой линией, и слева поставлен знак вопроса (?).

На стр. 210 отмечено: «Допустим полнейшую даже удачу: пусть писателю, чрез одобрение лучших его современников, обеспечено прослыть «великим» у потомства, но сомнительно, стоит ли за этим гнаться...».

На стр. 211 Горький отчеркнул: «единственное, за чем еще можно признать в жизни разумность, — это скука, порождаемая суетностью вещей, она сама не может быть названа ни суетною, ни ошибочною, ибо ни на чем ложном не покоится и заключает в себе ту прочную реальность, какая на-

блюдается в жизни. Скука есть чистое желание счастья, не удовлетворенное наслаждением и не возмущенное открытым страданием».

На стр. 213 отмечены строки: «Безумен тот, кто кичливо восклицает: Я создан для наслаждения! — и с омерзительною гордостью исписывает целые книги, суля народам недоступные и высокие судьбы, а в небесах неизведанное блаженство, тогда как достаточно какой-нибудь волны взбушевавшихся морей или просто дуновения злотворного воздуха, чтобы смести с лица земли и все человечество, не оставив о нем и памяти».

На стр. 216 Горьким подчеркнуты волнистой чертой слова Леопарди: «Истая сущность, единственная цель бытия есть смерть».

На стр. 217 отчеркнуто: «единичная частица неутомимо поспешает к смерти с удивительным усердием и быстротою... нам лишь порою, на краткие мгновенья, доступно ее подобие, в виде сна, где мечты, разнообразясь формами, приносят нам полноту и сладость блаженства, радостей и надежд, какие недоступны наяву».

На стр. 218: «природа, назначив человеку уделом жизнь более бедственную, чем другим тварям, оставила ему власть полагать жизни, когда заблагорассудится, конец».

Против этих строк на полях слева Горький поставил большой знак вопроса (?) и подчеркнул ряд слов.

На стр. 221 Горький, подчеркнув в тексте следующую фразу, на полях ставит восклицательный знак: «в то время, как все твари умирают без боязни, мир и спокойствие последнему часу человеческой жизни не сопутствует».

На стр. 223 Горький отчеркивает резко волнистой линией суждение Леопарди о счастье.

На стр. 224 он подчеркивает весь текст следующего абзаца: «весь современный общественный строй (XIX века) далеко не способствует подьему мужества, великодушия, пылкости, способности

действовать и наслаждаться, а при сравнении древних индивидов и масс с современными можно справедливо заключить, что древние как в морали, так и в философии были несравненно мужественнее нас».

Познав глупость людей, которые в борьбе из-за радостей, их не гешащих, и благ, их не удовлетворяющих, причиняют себе бесконечные заботы и несчастья, удаляющие их от счастья тем более, чем настойчивее они его ищут, Леопарди не становится человеконенавистником.

На стр. 231 Горький отмечает строки, где Леопарди говорит, что люди делают зло «не из-за голого желания причинить зло другому, а это побуждение естественно и не может вызывать ненависти»: все это отчеркнуто волнистой линией и такую же чертой подчеркнуто Горьким и слово «естественно».

В последней, пятой, главе книги Штейна о Леопарди дается оценка литературной деятельности последнего путем сравнения его взглядов с воззрениями Шопенгауэра. Леопарди договорился до девиза: 1) «не пытайся быть счастливым и не предполагай возможности избежать несчастья» и 2) «нужно отказаться от всяких желаний и, не заботясь об отвращении стра-

даний, отдавать предпочтение скромной и спокойной жизни, не причиняя никому зла и не заботясь о возвышении своего положения»; в этой главе Горький сделал две пометки на стр. 243 и 245 — о «химерах» «Мудрости» и «Истине».

К пессимистическим рассуждениям Леопарди Горький относился явно неодобрительно. Согласно с ним лишь там, где на первое место выступают материализм и развенчивающий прежнее общественный строй скепсис, Горький изучал Леопарди исключительно в целях критики религии, капиталистического общества, заострения ряда проблем, в целях провозглашения лозунга борьбы со злом, за жизнь, за счастье человечества.

★

Опубликование вышеприведенных пометок Горького на книгах раскрывает не только новые биографические черты его, но, в известной степени, показывает, как выковывались взгляды великого пролетарского писателя. Формируя свое мировоззрение на трудах основоположников марксизма, Маркса и Энгельса, и под непосредственным влиянием Ленина, — Горький вместе с тем стремился овладеть наиболее значительными явлениями буржуазного культурного наследия, строго критически осваивая их.

Шевченко и русская литература

ДМ. КОСАРИК

★

„... Странствуя с обозом за своим помещиком в Киев, Вильно и в Петербург, на постоянных дворах крал изображения исторических героев, как-то: ... Кульнева, Кутузова, казака Платова и прочих, с намерением скопировать их на досуге» — говорит в автобиографии Т. Г. Шевченко. Так еще 14 — 17-летним юношей талантливый крепостной увлекался героями русского народа.

Прибыв с обозом Энгельгардта в феврале 1831 года из Вильно в Петербург, Шевченко прожил здесь безвыездно до 1843 года. На протяжении шести лет он жил в одном городе с А. С. Пушкиным. Знал ли Шевченко, будучи в крепостной неволе, о том, что он живет в одном городе с великим русским поэтом?

Оказывается, знал. Через год после прибытия в столицу, в 1832 году, помещик Шевченко Энгельгардт законтрактировал его на 4 года живописных дел цеховому мастеру Ширяеву. У последнего были литературные знакомства: «Я нередко бывал у Ширяева, — рассказывает один из его приятелей, — и мы беседовали по вечерам; иногда я у него читал и декламировал произведения Пушкина и Жуковского. В это время в соседней комнате, у растворенных дверей, постоянно стояли два мальчика, лет 16 — 17-ти, ученики хозяина, которые были у него на побегушках, терли краски и рисовали немного, пока учитель не доставил им возможности посещать академические классы. Все, что я читал, маль-

чики слушали очень внимательно. Почему же, — спросят меня добрые люди, — я распространяюсь с такими подробностями о каких-то мальчиках? Потому, — отвечу я, — что один из них сделался впоследствии любимым малороссийским поэтом, — то был Тарас Шевченко»¹. Таким образом, уже в эти годы Шевченко слышал, быть может, «Кавказского пленника», «Цыган» и «Бахчисарайский фонтан» из уст ширяевского гостя.

Не исключена возможность, что на протяжении шести лет Тарас хоть один раз видел живого автора поэм, пленивших его воображение. Следует только сопоставить биографические факты Шевченко и Пушкина, чтобы видеть возможность такой встречи — в летнем саду, на гуляниях в Петергофе, наконец, в мастерских Художественной академии. В кругах советских художников сейчас изучается недавно найденный рисунок Шевченко, изображающий Пушкина на смертном одре.

Весь этот период жизни Шевченко в Петербурге, до выкупа его из крепостной зависимости, до сих пор не был освещен; а между тем он многое определил в жизни и творчестве великого украинского поэта. Он сроднил его с русскими писателями и художниками и, в первую очередь, с друзьями Пушкина. Ведь именно они, в 1837 году похоронившие Пушкина, в следующем 1838 году выкупили за 2.500 р. 24-летнего

¹ «Русская старина», 1887 г., стр. 676.

Шевченко. Первое свое литературное произведение из жизни художников Тарас Григорьевич написал именно по просьбе Жуковского, друга Пушкина, еще будучи крепостным¹. Жуковский, вообще, сыграл в жизни Шевченко особенно значительную роль; он был литературным учителем раннего Пушкина и молодого Шевченко. Недаром украинский поэт посвящает ему на память о дне выкупа из неволи знаменитую свою поэму «Катерина».

Творчество Пушкина оказало благотворное влияние на поэзию Шевченко; об этом неоднократно свидетельствовал сам Т. Г. в своем дневнике. Выходец из крепостных, Тарас Григорьевич по своему воспринимал творчество Пушкина. Так например, читая «Капитанскую дочку», он все свои симпатии отдал Пугачеву; и этот образ народного мстителя на всю жизнь остался в душе Тараса. Как художник, Шевченко рисовал Пугачева несколько раз²; он вспоминает о нем и по дороге в ссылку: «Я незаметно выехал в Татищеву крепость. Тут отдал я подорожную смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменили лошадей, я припомнил «Капитанскую дочку», и мне, как живой, представился грозный Пугачев, в черной бараньей шапке и в красной епанче на белом коне».

Стихи «Пушкина Шевченко знал на память» — свидетельствует один из его современников. «Наравне с родным эпосом любил Тарас... только Пушкина. Разогревши дух свой думами кобзарскими, почитывает, бывало, на память новорусского Гомера... Не ведая, как и цену ему сложить за его пышное слово, понимал достоинство Пушкина глубиной духа своего» — писал Пан. Кулиш, близкий знавший Шевченко. «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Анджело», «Каменный гость», «Скупой рыцарь» фигурируют в произведениях Шевченко,

¹ Это произведение не дошло до нас. Из фонда Жуковского найдены лишь рисунки Шевченко, сделанные до выкупа и сохранившиеся в парижской коллекции Онегина.

² До нас дошли рисунки Шевченко: «Арест Пугачева» и «Пугачева сажают в железную клетку».

как непосредственные возбудители его собственных творческих замыслов. «Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подехали к селу» — говорит он в повести «Прогулка».

В дни похорон Пушкина Шевченко был потрясен стихотворением Лермонтова «На смерть поэта» и уже во все минуты своей жизни не мог жить без его стихов. «Пришлите, ради поэзии святой, Лермонтова хоть один том; большую-пребольшую радость пришлете с ним» — пишет он в первые месяцы своей ссылки. Шевченковская «Тризна» создана под влиянием лермонтовского «Демона». В этой поэме, написанной на русском языке, Шевченко в начале своей общественно-литературной деятельности так наметил для себя путь жизни:

Без малодушной укоризны
Пройти мытарства трудной жизни,
Измерить пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все беззаконные дела,
И сохранить полет орла,
И сердце чистой голубицы...

Шевченко жил единой мыслью с революционным крылом современной ему русской литературы. Отсюда — и его взаимная идейная близость с Герценом. Два изгнанника: один вне родины, в Европе, бьет в набат против деспотизма, другой в азиатских степях ему вторит:

Бодай кати їх постинали
Отих царів, катів людських!

Голоса их встретились, и они протянули друг другу руки. Шевченко посылает Герцену экземпляр «Кобзаря» «с моим благоговейным поклоном», а Герцен говорит о Шевченко, что «он — совершенный народный писатель... политический деятель и явился борцом за свободу».

Эти мысли Герцена развил Добролюбов в статье о «Кобзаре» Шевченко. «Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан» — такую заслуженную оценку услышал Шевченко из уст Добролюбова, одного из самых прогрессивных русских мыслителей 60-х годов прошлого

столетия. Революционно - демократическая группа «Современника» увидела в национальном слове Шевченко «такие мысли и чувства, которые, будучи народно-украинскими, понятны и близки, однако, всякому, кто не совсем извратил в себе лучшие человеческие инстинкты» (Добролюбов). В их братской среде Шевченко почувствовал себя — после десяти лет солдатской жизни в ссылке — равным среди равных.

Круг друзей и соратников Чернышевского, объединенных лозунгом «К топору зовите Русь!», вдохновлял его на новые подвиги: «Обличения Шевченко стали теперь безудержными. Он разит и бьет, он весь пылает каким-то бешеным всеистребляющим огнем» — не то восторгается, не то пугается один из его украинских современников-литераторов. Поэт за годы ссылки не только не смирился в борьбе с царизмом, но еще более мощно громит его.

Царів, кровавих шинкарів,
У пута кутії окуй,
В склепу глибокім замуруй...—

читаем в одной из его тогдашних «молитв». Таким же огненным словом памфлета разоблачает он и крепостников-помещиков:

... Оцей годований кабан!
Оце ледащо. Цірий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот,
.....

... кругом паскуда!
Чому ж його не так зовуть?
Чому на його не плюють?
Чому не топчуть?!

Это гневное стихотворение направлено против украинского помещика П. Скоропадского — предка царского генерала Павла Скоропадского, палача трудящихся нашей родины, который в 1918 году за гетманскую булаву «продавал» немецкому империализму Украину.

Мужественный Шевченко, окрыленный дружбой с группой Чернышевского и закаленный 10-летней ссылкой, разя острым словом крепостнический строй, вместе с тем поет оптимистические песни, смело и ясно глядя в светлое будущее. Изображая его то в форме минут-

ного сновидения крепостной матери, задремавшей над сыном, то в виде песни девушки, то в лирических псалмах, поэт твердо верит в победу революционного дела:

Розвернися на всі боки,
Ниво-десятино!
Та посійся ж не словами,
А розумом, ниво!
Вийдуть люди жито жати...
Веселії жнива!

И не было границ его влияния на широкие круги читателей, которые вместе с ним убеждались в силе его лозунга:

На землю правда прилетить!

В раскаленной атмосфере 60-х годов в Российской империи шевченковский «Заповит» читали, как призыв к вооруженной борьбе:

... Та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою, злою кров'ю
Волю окропіте!

Он, Шевченко, смелый мечтатель, шел навстречу будущему: «О агрономы-филантропы! — восклицал он, — выдумайте вы, вместо серпа, какую-нибудь другую машину: вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжелый труд человечеству». Эпоха социалистического комбайна еще была далеко впереди...

Крестьянство не могло победить, куда оно не обрело союзника и руководителя — рабочего класса. «...века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных единичных восстаний, скорее даже «бунтов»...»¹. Шевченко не слал оружия, он продолжал борьбу вместе с товарищами — революционными демократами. «Во главе этих, крайне многочисленных тогда революционеров стоял Н. Г. Чернышевский». (Ленин).

Шевченко с Чернышевским — не только бойцы одного революционного крыла; их дружба пронизывает все творчество и сближает их в быту. Об

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 143.

этом буржуазные «литературоведы» старались не писать. Вот для иллюстрации лишь несколько биографических фактов. В 1859 году Чернышевский проводит вечера с Шевченко в «Балабинских номерах» в Петербурге. Он бодр и весел в его обществе и радуется успеху «Кобзаря». «Над Тарасовой головой взойшла новая звезда... его теперь Петербург не знает, где и посадить, чем и угощать» — говорит Чернышевский.

Борясь за всеобщее освобождение крестьян, он не забывает и о таком частном, но для него лично важном вопросе, как выкуп из крепостного состояния родственников Тараса Григорьевича. 21 марта 1860 года Чернышевский вместе с другими русскими писателями созывает комитет для принятия практических мероприятий в этом направлении; после переговоров с помещиком комитет снова собирается 13 сентября.

Т. Шевченко бывал и в семье Чернышевского; об этом свидетельствует опубликованный в 1925 году его эскиз, взятый из альбома жены великого публициста, изображающий маленького сына Чернышевского, сидящего верхом на запряженной лошади¹.

Эти бытовые детали дороги для нас, — они свидетельствуют о теплой дружбе великих борцов двух братских народов. Салтыков-Щедрин, Островский, Курочкин были близки и дороги Шевченко. Их имена согреты дружескими эпитетами, восторженными отзывами об их творчестве в его переписке, в дневнике.

Шевченко высоко ценил критическое наследство Белинского и пополнил свою личную библиотеку его сочинениями. Некрасов печатал в своем журнале переводы Шевченко на русский язык, принимал участие в его похоронах, отозвал-

ся на смерть Тараса Григорьевича искренним, волнующим стихотворением, в котором высказал чувства всех друзей покойного. В образной форме на тернистом жизненном пути Тараса он показал:

так погибает...
Русской земли человек замечательный.

Это стихотворение Некрасову пришлось, во избежание неприятностей, наполовину уничтожить; но за год до своей смерти он, уже безвозвратно прикованный к постели, продиктовал это стихотворение своей сестре. Замечательно также выступление Некрасова в харьковской судебной палате, на процессе по поводу переиздания «Кобзаря». Здесь он, как эксперт, произнес пламенную речь о творчестве Шевченко, в которой высоко оценил поэму «Наймичка», «где мать представляется величайшим идеалом материнской любви». Он подчеркивал горячую любовь Шевченко к своей родине, окрашенную «радующей надеждой».

Позднее, читая на Капри очередную свою лекцию по литературе для рабочих, великий буревестник коммунизма Максим Горький поставил Шевченко наряду с Пушкиным:

«Шевченко, Пушкин... — люди, воплощающие дух народа с наибольшей красотой, силой и полнотой».

Стоит ли после этого спорить с вражескими националистическими лжецами, искусственно отрывавшими творчество украинского поэта от единого неразрывного течения прогрессивных русских писателей? Да и то, что Шевченко написал десять повестей, несколько поэм и дневник на русском языке, еще раз свидетельствует об его органическом родстве с русской культурой.

В наши дни сталинской дружбы народов СССР читатели всей страны социализма читают и любят художественное слово украинского Кобзаря.

¹ Кроме того, в картинной галлерее Т. Г. Шевченко есть еще 4 фото его рисунков из альбома Чернышевских.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВЛ. САБЛИН и З. ФАЗИН. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИССАР».
Повесть. М. Гс. изд-во «История Гражданской войны». 1938 г. 211 стр.
Тир. 75.000 экз. Цена 5 руб.

★

История великой партии Ленина — Сталина богата славными именами неустрашимых революционеров, их героической борьбой за свободу и счастье трудящихся. Из ее рядов вышло много талантливых организаторов и руководителей народных масс, много бесстрашных, мужественных борцов с капиталистическим рабством и насилием. Жизнь этих выдающихся большевистских деятелей полна доблестных подвигов, она служит прекрасным примером коммунистического поведения, она является воплощением лучших типических черт передового, прогрессивного человечества. И потому создание литературно-художественных произведений о жизни и деятельности таких замечательных людей является почетной и неотложной задачей советских писателей.

Эту задачу пытались разрешить Вл. Саблин и З. Фазин в рецензируемой книге «Чрезвычайный комиссар» о товарище Серго Орджоникидзе, беззаветно отдавшем всю свою яркую жизнь героической борьбе за раскрепощение человечества от капиталистических цепей, за торжество великих идеалов социализма и коммунизма.

В книге повествуется лишь об отдельном, сравнительно коротком, периоде жизни товарища Орджоникидзе, когда он в 1918—1919 гг. возглавлял вооруженную борьбу трудящихся Северного Кавказа с буржуазно-националистической контрреволюцией и белогвардейскими бандами генерала Деникина.

Повесть «Чрезвычайный комиссар» написана в плане военно-революционной хроники. Во вступительной главе ее изображена сложившаяся к указанному моменту крайне сложная и обострившаяся обстановка в Терской республике: углубление и расширение классовой борьбы, особенно вокруг земельного вопроса, межнациональная вражда горцев, сознательно разжигаемая буржуазно-националистическими изменниками, концентрация контрреволюционных сил, белогвардейский террор, офицерские заговоры, казачьи мятежи. Необходимо было защитить завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. И вот, летом 1918 года, для организации пролетарского отпора об-

наглевшему врагу, коммунистическая партия посылает на Северный Кавказ товарища Орджоникидзе в качестве «чрезвычайного комиссара Юга России».

Вооруженный огромным революционно-боевым опытом, являясь последовательным проводником ленинско-сталинской национальной политики, будучи прекрасным знатоком жизни и быта кавказских горцев, пламенный народный трибун Орджоникидзе вскоре становится популярным, любимым вождем горской и казачьей бедноты. Его называют «Эрджикнез», что по-ингушски означает «князь бедняков». Ингуш Керим-Султан говорит своим сородичам:

«— Позавчера я был у одного человека, который приехал к нам от Ленина. Этого человека зовут Эрджикнез. Эрджикнез — князь бедняков, вождь обездоленных людей — хочет дать нам землю».

Непоколебимая преданность своей партии, изумительная отвага и мужество, огненный, воспламеняющий всех темперамент, исключительное умение сплачивать разноязычные массы, неугасимая ненависть ко всем врагам трудящихся — отличительные особенности центрального героя повести «Чрезвычайный комиссар».

Под руководством товарища Орджоникидзе трудящиеся Терской республики, отрезанной от Советской России, в течение нескольких месяцев сдерживали натиск белогвардейских полчищ, удивляя всех своей стойкостью и храбростью. Однако силы были неравные. Лишенные поддержки, изнуренные затянувшейся борьбой, малочисленные революционные отряды вынуждены были уйти в глубокое подполье. И в этих новых, весьма суровых условиях «чрезвычайный комиссар» проявил те же прекрасные революционно-боевые качества. Под его руководством в белогвардейском тылу собираются новые революционные силы, подготавливается разгром белогвардейщины. И только тогда, когда горный Кавказ был покрыт густой сетью партизанских отрядов, Орджоникидзе с риском для своей жизни пробивается через непроходимые горные перева-

ды, сквозь белогвардейскую блокаду. в Тифлис, а затем через Баку и Каспийское море в Советскую Россию с тем, чтобы оттуда выслать помощь восставшему Кавказу.

Повесть заканчивается сценой приезда во вновь освобожденный от белогвардейцев Владикавказ, вместе с Серго, товарища Сталина — великого организатора побед на фронтах гражданской войны. Идет заседание областного съезда советов. «У трибуны стоял спокойный черноусый человек в военном френче. Это был Сталин. Перед ним в облаках табачного дыма колыхалось море голов. И каждое слово, падавшее с трибуны, рождало движение в зале, шопот одобрения и аплодисменты.

Сталин объявил делегатам Терека волю Советского правительства об устройении жизни народов Терека.

Старая вражда между народами Северного Кавказа должна прекратиться. Чеченцы, осетины, ингуши и русские казаки на равных правах входят в великую семью дружественных народов Советской России.

Сталин закончил свою речь словами: «Да здравствует союз народов Терской области с народами России».

Переполненный зал, в котором царил напряженная тишина, внезапно ожил и задрожал. Казалось, все горные речки с их водопадами наполнили своим грохотом здание. Делегаты на всех языках многоплеменного Терека, стоя, пели «Интернационал».

И вместе со всеми, радостно улыбаясь, пел Серго».

Повесть «Чрезвычайный комиссар» читается с интересом, так как она проникнута горячим пафосом героического прошлого и наполнена волнующим содержанием. Заслуга ее авторов заключается в том, что они собрали и использовали обширный документально-исторический материал об Орджоникидзе, о героической борьбе трудящихся Северного Кавказа в 1918—1919 гг., и попутно авторы описывают

жизнь, нравы и обычаи народов Северного Кавказа, его природу.

И все же книга Вл. Саблина и Э. Фазина не может полностью удовлетворить советского читателя. Ее художественный уровень далеко не соответствует высокой значимости столь важной и ответственной темы. Образ великого большевика Серго Орджоникидзе в их повести не получил надеждающего художественного воплощения. Авторы явно еще не овладели мастерством литературно-художественного портрета. Они слишком упростили свою задачу, ограничившись лишь внешним, поверхностным повествованием о революционно-боевых событиях в хронологическом порядке. В их произведении калейдоскопически мелькают отдельные сцены, эпизоды, картины, человеческие фигуры, не скрепленные между собой четким сюжетом и творческой мыслью.

Существенные недочеты ощущаются и в языке произведения. Речь действующих лиц не индивидуализирована, герои говорят на обезличенном «книжном» языке. Совершенно не передано даже своеобразие склада речи тов. Серго.

Этот недостаток особенно заметен потому, что авторы часто прибегают к форме диалога, чрезмерно злоупотребляя ею за счет других средств и приемов художественной прозы. Там, где лучше было бы показать героев в самом действии или дать им авторскую характеристику, или психологически вскрыть их внутренние переживания, — писатели часто некстати заставляют своих героев вести утомительные разговоры.

Тем не менее, даже при весьма существенных недочетах, книга «Чрезвычайный комиссар» является полезной книгой как первая попытка художественной биографии Серго Орджоникидзе — замечательного человека и выдающегося деятеля эпохи Великой Октябрьской социалистической революции.

П. Березов.

★

ВЛ. ЛИДИН. «БОЛЬШАЯ РЕКА».

Государственное изд-во «Художественная литература».

Действие «Большой реки» происходит на Дальнем Востоке. Мы осматриваем нанайское стойбище, вместе с изыскательной партией «шцем водоностичники на месте «безводных амурских участков», плывем по реке на «омо-рочке» и следим за тем, как нанаец Заксор ловит острой кету; тот же Заксор берет нас с собой на охоту в тайгу.

Территориальному размаху соответствует разнообразный круг героев. Но как бы ни отличались они друг от друга по возрасту, профессии, культурному уровню. — общий знаменатель у них есть. Это — советский па-

триотизм. Чувство любви к родине объединяет старого профессора Черемухина, работающего над проблемой водоснабжения в районе вечной мерзлоты; и красного партизана Игната Прямякова, который по окончании гражданской войны не уехал из родного края и снова занял пост бакенщика; его сына Алексея, юношу, перед которым еще только открывается жизнь; и бурового мастера Аксентьева, вдосталь хлебнувшего горя в царской России; приемную дочь Игната — Аниску, окончившую педтехникум и обучающую грамоте нанайских ребят; и стахановцев-железнодорожников, которые вместе с легендарным Лазо гнали японских свиней из нашего советского ого-

¹ Книга выходит в ближайшее время.

рода; нанайца Заксора и краснго партизана, ныне гидролога, Дементьева. При совершенно разных обстоятельствах пробудилось в них это священное чувство, и выражает его каждый по-своему.

С виду чудаковатый, профессор Черемухин, бесспорный кандидат в «неудачники» в условиях царской России, только в Советском Союзе нашел себе родину по плечу и по нраву: «Я никогда не смел даже мечтать о таком громадном развороте работ... Я точно вышел из своей комнаты на широкое поле с воздухом и с перспективой» (стр. 162). Предоставим слово Аксентьеву: «А я что имел? Дон не мой и родина не моя. Царева родина да золотопромышленника Полузадова родина, да Привалова родина. А твоя родина какая? В солдаты итти служить, подати платить, землю в отвалы выкидывать — вот твоя родина. Так я для нее вот столько себя не дам!.. А теперь шурф бурю — думаю: найдем водичу, поставим дело. Зашумит мой край, пойдут поезда, и сам я в нем первый, главный человек, Аксентьев! Для царя ишу воду? Для себя ишу воду. Моя земля... на какую сторону ни подамся — везде я свой человек. Это, брат, дорого стоит!..» (стр. 147). «Нанайские люди совсем не жили прежде. Теперь живут!» — поет Заксор. В этой до предела сжатой формуле — вся история нанайского народа: обреченный на вымирание при царизме, подвергавшийся двойной эксплуатации — и со стороны царских чиновников, и со стороны китайских купцов, — теперь он выделяет из своей среды талантливейших художников, посылает свою молодежь в Институт народов Севера, слушает радио, читает Пушкина, обращается за советами не к шаману, а к врачу, строит зажиточную и культурную колхозную жизнь. Так как же не любить нанайцам советскую родину? как не любить ее Заксору, человеку простого и мудрого сердца? Мы знаем, какова прежде была участь «простых сердец» не только или, верней, не столько по новелле Флобера, сколько из жизни. А теперь он — хозяин своей страны; его ценят в колхозе, как лучшего охотника, именно о нем вспомнил Дементьев, когда подошло время подбирать людей для изыскательной партии. Заксор, выходявший раненого Дементьева во время гражданской войны, и здесь оправдал его доверие, — он нашел источник.

Всем этим людям бесконечно дорог родной край: не захотел покинуть его Игнат Прямыков; ради него отказался от соблазнительных предложений из Москвы профессор Черемухин. Но это — отнюдь не «местный» патриотизм: границы края расширяются до пределов страны. «...здесь, на Дальнем Востоке, — говорит Дементьев Алеше Прямыкову, — особенно чувствуешь, что и труд твой, и подвиг, и надежды, — все это для своей страны, для родины, для ее процветания» (стр. 145). И Алеша это понимает и чувствует: «Почти ошутимо лежало в груди счастье двигаться, жить и любить, чувствовать свою жизнь отданной этому

краю, а через него всей стране, которая с надеждой и ожиданием встречала его юность» (стр. 253).

Многие, подобно Игнату Прямыкову, машинисту Грузинову, Дементьеву, с оружием в руках защищали свой край от колчаковцев и японских интервентов. Но они и сейчас держат порохов сухим. Они знают, что такое Дальний Восток для обороны страны: ведь «всякая работа на Дальнем Востоке есть пост». Дети верны отцам: «Нет, есть уже первые мускулишки на его, аleshкиных, руках, может он не только помогать отцу тянуть сеть, но и сумеет вместе с ним защищать этот край. Все в нем — плеск бегущей амурской воды, горючее шлепанье плуц колесного парохода, ветерок, налетающий с сопков, каждый писк потревоженной птицы, — все это стало частью его, аleshкиной, жизни. Отец дрался в свою пору за Дальний Восток, и вот сын подрос, чтобы итти теперь рядом» (стр. 35—36).

Пафосом освоения природы проникнута вся книга. У Лидина — это не случайная тема: в доказательство можно привести не только «Великий или Тихий», — мы помним «Искателей». Но то были искатели-одиночки, покорение природных стихий являлось для них самоцелью. У героев «Большой реки» горизонт несравненно шире. Дементьев, собираясь искать источники, ищет прежде всего людей: «Ему нужно было... сочетать науку с народным опытом, опереться на самые надежные силы — на науку и на силы народ!» (стр. 239); и, «подобно живой воде этих подмерзлотных глубоких источников, он нашел здесь людей» (стр. 236), — нашел энтузиаста Черемухина и своего верного друга Заксора, нашел и вырастил на работе окончившего семилетку Алешу Прямыкова. На людей, а не только на технику, опирается он; и самую работу строит он так, чтобы на ней воспитывались и закалялись люди: «А пока, Алеша, — говорит он, — наша борьба сейчас здесь за живую воду... много еще стоячих затхлых вод нужно пройти, чтобы найти эту воду. То же и с людьми... жадно и с надеждой выпытываем мы этого нового человека, и немало застаившихся, затхлых людей нужно сбросить с пути, чтобы они не мешали его росту».

Коллективизм характерен и для Черемухина («главное — это почувствовать, что присоединяешь свои силы ко всеобщим усилиям», стр. 162), и для Заксора: «И он... в тайге не сам для себя ищет удачу, как прежде, а он посланный колхоза. Чем больше он набьет белки, тем будет лучше для всех. Всем нанайским людям будет лучше». Честь открытия источника принадлежит ему: «Это будет твой ключ, Заксор, — сказал Алеша. — Я скажу Дементьеву, чтобы назвали его твоим именем». «Пускай нанайский ключ называют, — ответил охотник серьезно. — Нанайские люди много, как лес... моя один — дерево. Лес шибко шумит, все кругом слышать можно. Дерево одно шумит — кому слышно?» (стр. 151). Для

Алеши это — «быстрый и мятежный» ключ юности (недаром вспомнила Аниська стихи Пушкина!), пробивающий ему дорогу в будущее.

«Говорливый ключ торопливо бежал, прорвав толщу вечной мерзлоты, и, стиснутый перемерзшим надмерзлотным слоем, жадно прорывался наружу, навстречу жизни...» (стр. 150—151). Не символ ли это Дальневосточного края, который освободила революция от «мерзлоты» царской России? Не символ ли это всей нашей родины, в которой революция пробудила дремавшие до времени силы?

Колхозный быт нанайского стойбища показан в «Большой реке» выпукло и ярко. Лидин умеет находить простые, но выразительные, меткие детали. И перед читателем сразу резко выступает разница между прошлым и настоящим. Однако в характеристике героев автор слишком часто прибегает к одному и тому же приему: он устраивает героям встречу, и те, едва успев поздороваться, или сообщают о том, что ими сделано со времени предыдущей встречи, или излагают свои взгляды, или почуяют. Так у Игната с Дементьевым, так у Аниськи с Алешей, так у Дементьева с Черемухиным, так у Алеши с Детко и с Грузиновым. Большинство из них говорит слишком уж гладким, книжным языком, склонно к риторике и к наставительным сентенциям. Автор сам, видимо, почувствовал это и счел долгом извиниться за героев, хотя не без оговорок: «Слегка по-книжному говорила Анись-

ка, слишком много и жадно прочла она книг...» (стр. 74); «Это была несколько многословная фраза, но он (Черемухин. — Н. Л.) сказал ее искренно» (стр. 90).

Мы вполне согласны с тем, что говорят и Дементьев, и Игнат, и Алеша, и Аниська, — мы не имеем оснований не верить их искренности. Но мы хотели бы, чтобы они поменьше рассуждали и побольше действовали у нас на глазах; мы хотели бы больше знать об их личной жизни; мы хотели бы потесней сдружиться с ними.

Не раскрыты в действии и враги. О них тоже много говорится, вскользь сообщаются отдельные факты их подрывной работы. Но мы ни разу не сталкиваемся с ними лицом к лицу; образ старовера Магафонова крайне расплывчат.

Как всегда у Лидина, хороши в рассматриваемой книге и пейзажи. Но, интересные сами по себе, мастерски нарисованные, они занимают в книге непомерно много места и тормозят развитие действия, которое и без того идет в замедленных темпах, особенно вначале; книга лишена прочного сюжетного каркаса.

Мы ждем от Лидина новых книг, в которых внутренний мир героев, динамика их чувств и страстей были бы раскрыты с той же яркостью и полнотой, с тем починным мастерством, каким отличаются картины быта и природы в «Большой реке».

Н. Любимов.

★

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. «МОИ СТИХИ».

М. Изд-во «Советский писатель». 1938. 102 стр. Тир. 10.000 экз. Ц. 3 р. 25 к.

Стихи Сергея Михалкова живут не только на страницах этой маленькой книжки. Они живут во всей нашей большой стране. Их знают и любят дети и взрослые: дети знают его стихи по книжкам с картинками, их родители — из «Правды», «Известий». Молодой поэт пишет совсем недавно. Но куда бы он ни приехал, — в любой школе, в любом пионерском отряде, — как только он прочитает:

В доме восемь дробь один,
У заставы Ильича, —

ребята дружно подхватят хором:

Жил высокий гражданин
По прозванию «Каланча».

Это не слава; никто не назовет Михалкова «крупным» поэтом. Но молодого поэта любят в нашей стране. Почему?

Правда, много незрелого еще есть в стихах Михалкова. Иные строчки его слишком отчетливо напоминают знакомые ритмы и интонации других наших поэтов. Так, лаконичный, рубленый ритм «Белой сирени»... заставляет вспомнить мастерскую чеканку стиха «Мистера Твистера» Маршак. Или детская скороговорка стихотворения:

Мы в часы
Мячом падали... —

доходит на вслепые стихи Барто. Даже сложное, капризное движение образов, свойственное Пастернаку, оставило след в творчестве Михалкова, о чем свидетельствует стихотворение «Ливень».

Но и такие стихи нельзя назвать подражанием, — это поиски своего, собственного голоса. А он есть у Михалкова, — и за этот веселый, жизнерадостный голос любят читатели поэта.

Есть очень немного «детских» поэтов, которые умеют смотреть на мир глазами ребенка, со всей непосредственностью детского восприятия, со всей глубиной детских впечатлений и конкретностью представлений. Может быть, только «Детский сад стихов» Стivenсона и стихи нашего поэта Квитко в полной мере обладают этими качествами. Вот этим стихам «сродни лучшие строки Михалкова».

Михалков знает ребят и умеет передать их чудесную непосредственность. Потому так правдиво разговаривают дети в его стихах:

— А у меня в кармане гвоздь.
А у вас?

— А у нас сегодня гость.
А у вас?
— А у нас в квартире кошка
Родила вчера котят.
Котят выросли немножко,
А есть с блюда не хотят...

Кто из маленьких читателей не узнает себя в этом простом описании:

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем.
Мы такие с ним друзья —
Куда он,
Туда и я.
Мы имеем по карманам:
Две резинки,
Два крючка,
Две больших стеклянных пробки,
Двух жуков в одной коробке,
Два тяжелых пяточка...

Так же просты и свежи у Михалкова описания природы — и день в колхозе («С утра до вечера»), и рассказ о проказах щенка («Щенок»). Вместе со своим маленьким читателем поэт —

... слышал и зверя, и птицу,
В колючие лазил кусты.
Он трогал руками пшеницу,
Чудесные нюхал цветы.

Жизнерадостное мироощущение поэта роднит его с читателем. А для того, чтобы передать это мироощущение во всей его полноте, Михалков умеет найти конкретные, зримые образы, искренние слова. Поэтому он может разговаривать с детьми даже на серьезные и трудные темы. В одном из лучших своих стихотворений Михалков говорит о советском пограничнике:

Он стоит,
Над ним зарницы.
Он глядит на облака:
Над его ружьем границу
Переходят облака.

И маленький читатель чувствует, почти осязаемо, незримую стену, которая окружает нашу страну; чувствует, вместе со «Светланой», что он может спать спокойно, что его покоя не потревожат враги.

Еще одна особенность привлекает читателя: мягкий лирический юмор. Юмористические стихи Михалкова неизменно заставляют ребят весело смеяться, потому что темы их близки детям, а в знакомую им жизнь поэт вдруг вводит черты свободного вымысла, сказки. Игру вымысла дети воспринимают так же конкретно и ярко, как реальность. Слушая сказку, ребенок знает, что гуляет по стране чудес, он отделяет этот мир от реальности и тем не менее верит этим чудесам. Дети отлично понимают условность искусства, но забывают об этой условности и, хотя они знают, что полено не может ожить, Пиноккио и Буратино для них — живые, реальные герои.

Михалков знает эту особенность детского восприятия. Он рассказал о ней в своем стихотворении «Рисунок»:

Я карандаш с бумагой взял,
Нарисовал дорогу,
На ней быка нарисовал,
А рядом с ним корову.

И эти тучи я потом
Проткнул стрелой. Так надо,
Чтоб на рисунке вышел гром
И молния над садом.

Я черным точки зачеркнул,
И означало это:
Как будто ветер вдруг подул,
И яблок больше нету...

Вымысел и реальность сливаются в детской игре, в сказке. Михалков не пишет сказок, но сказочными чертами наделяет реальность. Любимый детский герой «дядя Степа» — правдивый образ добродушного, веселого человека. Это попросту сосед, которого знает каждый:

От ворот и до ворот
Знал в районе весь народ,
Где работает Степанов,
Где прописан,
Как живет.

Этими будничными словами поэт подчеркивает, что говорит не о каком-нибудь сказочном великане, а об обыкновенном человеке; человек и ведет себя обыкновенно — снимает ребятам змея с проводов, подымает малышей на параде, катается на ослике в парке культуры, поступает во флот. Только одну черту — огромный рост — Михалков доводит до сказочной гиперболы. И тут поэту не нужно никаких фантастических ситуаций, — все крайне просто:

Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки,
Он разыскивал штаны
Небывалой ширины.

Купит с горем пополам,
Повернется к зеркалам, —
Вся портновская работа
Раз'езжается по швам.

Но рост у «дяди Степы» все-таки сказочный. В этом сочетании реальности со сказочной гиперболой — особенность юмора Михалкова. Та же гипербола — и в стихотворениях «Мимоза», «Фома» и «Мы с приятелем».

Смех для Михалкова — не самоцель. Вопросы морали волнуют поэта, стихи его воспитывают в читателе отвагу, любовь к родине, чувство товарищества. Дядю Степу ребята любят не только за его удивительный рост, — он предупреждает крушение поезда, спасает тонущего, даже голубей спасает от пожара. В других стихах поэт высмеивает упряма или неженку, который живет в новом доме, «не готовый ни к чему», —

Ни к тому, чтоб стать пилотом,
Быть отважным моряком,
Чтоб лежать за пулеметом,
Управлять броневиком.

Эти стихи воспитывают, а не поучают. И в этом — еще одно достоинство стихов Михалкова.

Но есть и серьезные недостатки в работе молодого поэта. Отчетливей всего эти недостатки видны в его «взрослых» стихах. «Наши люди», «Стихи о войне» — риторические композиции, примитивные и по форме, и по содержанию. Поэт повторяет в них лозунги, дорогие сердцу каждого советского человека, но он не нашел для этого своих, трепещущих чувством и мыслью, слов. Перо Михалкова не «приравняешь к штыку». После поэтических снарядов Маяковского нельзя писать вялыми, общими, неточными словами:

Врагами задуманы войны,
Немало врагов у страны,
Но родина наша спокойна:
Она не боится войны.

Конечно, стихи эти написаны искренне; но у молодого поэта не хватает мастерства для больших политических тем. А о том, чтобы повысить свое мастерство, повидимому, он заботится очень мало. Маяковский оставил нам непревзойденные по силе, по напряженности политические стихи; он показал поэтам, как гранить слово, он открыл новые пути для русского стиха. Михалков пишет так, словно в нашей

поэзии и не было Маяковского. Он не ищет своих ритмов, очень мало заботится о звучании стиха. Рифма у Михалкова — примитивная, бедная; «никому — ничему», «никогда — навсегда», «корову — дорогу», «гром — он» «от кори — в школе», — это не случайные промахи, а «нормальный» уровень. Главная сила молодого поэта — в образе; но и здесь недостаток работы над стихом виден отчетливо. В прекрасном стихотворении «Светлана» встречается бессмысленный, бессодержательный образ:

Лес, как вкопанный, стоит.

Михалков талантливый поэт, он поймет, конечно, что нельзя пренебрегать формой стиха, не снижая при этом его политической действительности и силы. Он вспомнит о том, как оттачивал свое оружие Маяковский, и примется за работу.

Молодого поэта вырастила советская страна; ей он обязан всем своим богатством — жизнерадостным мироощущением, свежестью творческих сил. Теперь пришло время платить долгу родине — значительными произведениями, которые зажигали бы читателя глубокими мыслями, горячим чувством любви к друзьям и ненависти к врагу.

М. А. Гершензон.

★

ДЖОРДЖ МИЛБЭРН. «ПРЕЙСКУРАНТ».

Пер. с англ. М. Урнова. Гослитиздат, 1937. Тираж 10.000. Ц. 3 р. 50 к.

Вымышленный провинциальный округ Кончарти, соединивший в себе все отрицательные, уродливые черты, типичные для современной действительности капиталистической Америки, повседневная, будничная жизнь его обитателей, преступные, низменные поступки одних, безропотное прозябание других, — такова сюжетная основа книги Джорджа Милберна «Прейскурант». Она представляет собой своеобразное и острое произведение американской литературы.

Разрабатываемый Милберном в этой книге жанр сатирической повести-памфлета, видимо, отвечает запросам дня в США. Об этом говорит хотя бы такой факт, как выход в 1937 году книги молодого американского писателя Джерома Бара «Хорошие американцы», где также живописуется повседневный быт воображаемого городка Хиллона, с такой же мрачной иронией, с какой Милберн рисует своих «почтенных» граждан.

Милберн не называет штата, где находится изображаемый им округ Кончарти; но прототипы персонажей книги существуют во всех штатах Америки. Лицемеры и интриганы, мошенники и плуты всех мастей, политические дельцы и финансовые воротилы, личиватели и громилы — все они извлекаются на поверхность и пригвождаются к позорному столбу. Как опытный хирург, вскрывает писатель внешнюю оболочку мнимой «порядочности» и «благопристойности» и обнажает отвратитель-

ную возню и беготню омерзительных микробов, из-за которых округ Кончарти разлагается заживо.

В этом — основная ценность книги. Чем уродливей бичуемые Милберном явления, тем выразительней и безжалостней клеймит он носителей зла. Но при этом он не впадает в морализирование и предоставляет читателю самому делать соответствующие выводы.

Если в начале книги читателю кажется, что она посвящена всецело описанию того, как проникают в округ Кончарти щупальцы крупных торговых концернов и как реагируют на это различные слои обитателей округа, то уже вскоре ему становится очевидным, что это лишь внешний фон книги. По существу, на всем протяжении книги дается яркое изображение того, что представляет собой маленький провинциальный городок США. Несмотря на внешне атрибуты культуры — «свою» газету, телефон, автомобили, — это «глухое захолустье», настоящий медвежий угол, где ханжество и лицемерие, тупой идиотизм жизни и невежество безграничны. Даже если сделать поправку на то, что книга содержит в себе элементы гротеска, картина получается потресающая.

Вот он перед нами, этот убогий городок с его 1.500 жителями, «не считая негров». При наличии телефона и такси город не имеет канализации. И вопросу о ее постройке Милберн отводит немало места. Он намеренно

снижает тематику, считая, что раз центральное место в «общественной жизни» города занимают подобные вопросы, то показ ее приобретает еще большую выпуклость благодаря таким «неколоритным» деталям. Зловоние от выгребных ям отравляет воздух города, но проведение канализации невыгодно подлинному хозяину города, банкиру Уинстону; и он путем угроз и подкупа добивается отмены проекта.

Открывая книгу этим эпизодом, Милбэрн зло высмеивает пролажность и никчемность «стцов города», в частности, председателя муниципального совета и редактора местной газеты Р. Уолдо Ледбэттера. Образ Ледбэттера — меткая и острая карикатура не на одного общественного деятеля-либерала, идущего на поводу у банкиров и промышленников. В поисках дешевой популярности он панибратски похлопывает по плечу отдельных горожан и в своих передозных беседах с ними в развязно снисходительном тоне. Он пишет передозную с красноречивым описанием благ канализации. Но стоит только богатею Уинстону вызвать к себе Ледбэттера и пригрозить ему финансовыми репрессиями, как тот извмляет готовность прекратить обсуждение негодной темы.

В стократ нетерпимее этой вонии та атмосфера морального зловония, которой отравлен город. Она выражается, прежде всего, в беспримерной травле негров. Опустившийся пьяница и хулиган Бэттс, желая оскорбить почтмейстера Шэннона, которого он с упреком называет «негролюбом» за то, что белые у него стараег негритянка, говорит Шэннону: «Я уверен, что, по вашему мнению, негр такой же человек, как и белый».

Все нарастающий к концу книги, несколько тягучий в начале, темп повествования достигает особого напряжения в сцене убийства негра Силвестра Меррика личцевателями. Его казнили, обвинив в убийстве шофера единственного городского такси Каллахаана, который, на самом деле, был убит на вечеринке у местного самогонщика Гудермана подвыпившим наборщиком. Личцевание негра явилось кульминационным пунктом праздника торжественного сочинения прейскурантов, устроенного местной торговой палатой.

В сцене личцевания особенно ярко показан звериный оскал подонков городского дна, образующих немалую часть фашистских «адептов» в США. Не случайно в кругу городских обывателей раздаются реплики: «Вот что нам надо... еще одну хорошую войну, чтобы дела поставили на ноги».

Банкир Уинстон, громила Бэттс и политиче-

ский делец Ледбэттер, помогающий первым двум, выступают в книге, как триединство. Но кого же противопоставляет им автор? Перед читателем проходит целая галерея персонажей — рядовых жителей Кончарти.

Негр Силвестр Меррик гибнет жертвой убийц и громила. Жалкое существование влечит безногий калека Лэнд. В одиночестве и нужде доживает свои дни старый одаренный музыкант Мэтт Кифер: тяжелее, чем голод, переносит он невозможность играть на скрипке после того, как лопнула струна и он долго не может купить новой. В бесплодных мечтах о кругосветном путешествии ищет спасения от окружающей бесцветной и тусклой жизни сын «редактора» Уолдо Ледбэттер-младший. И, наконец, целый ряд второстепенных персонажей, фигурирующих в книге, так или иначе выполняющих свои «функции», внося в повествование то юмористические, то трагикомические нотки.

Но никто из них не склонен выразить свое недовольство существующим положением вещей, хотя поводов к этому немало. В результате получается, что единственным персонажем, играющим какую-то положительную роль, является почтмейстер Шэннон. Однако, хотя кое-кто и называет его «красным», кличка эта совершенно незаслуженна: он до конца пребывает в убеждении, что, выступая за канализацию, газета «Демократ» (до грехопадения ее редактора) служила «высочайшим общественным идеалам»; это — стоящий на букве закона чиновник, сторонник «умеренных реформ», и не в его силах (да и не в пределах его желаний) бороться за радикальное изменение порядков в Кончарти.

Значит, порядки эти неизблемы и нерушимы вовеки веков? Тут мы подошли к одной из самых уязвимых сторон книги: Милбэрн (опять-таки переключаясь с Баром) не делает даже намека на то, что эти законы Кончарти не вечны и что есть силы, стремящиеся к уничтожению этих законов. Эта «односторонность» книги особенно бросается в глаза потому, что Милбэрн, хотя и впадая порой в гротескный тон, старался насытить книгу фактами из подлинной жизни, либо, во всяком случае, данными, типичными для современной действительности США.

Другим недостатком книги является некоторый схематизм в обрисовке действующих лиц.

Но, несмотря на эти слабые стороны, книга Дж. Милбэрна представляет несомненный интерес и говорит о том, что от автора ее читатель вправе ждать еще более ярких и значимых произведений.

Вл. Рубин.

Редакция: Ф. В. Гладков

Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»